



КВИНТЭССЕНЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ
АЛЬМАНАХ



КВИНТЭССЕНЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 87

К32

Составители: *В. И. Мудрагей и В. И. Усанов*

К32 **Квинтэссенция:** Филос. альманах / Сост.:
В. И. Мудрагей, В. И. Усанов.— М.: Политиз-
дат, 1990.— 447 с.
ISBN 5—250—00318—4

Известные философы и публицисты дискутируют о человеке, о предпосылках и природе культа личности, о гуманистическом смысле права, об эволюции командно-административной системы. В представленных статьях анализируются противоречия марксизма, сложные взаимоотношения философии и религии. Авторы альманаха пытаются осмыслить истоки лысенковщины, возможности и пределы генетики человека и другие актуальные вопросы.

Раздел «Наши публикации» представлен статьей П. Сорокина «Голод и идеология общества», а также впервые публикуемыми в нашей стране работами Б. Рассела и советского философа Н. Н. Трубникова.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

К $\frac{0301020000-117}{079(02)-90}$ 265—91

ББК 87

ISBN 5—250—00318—4

© ПОЛИТИЗДАТ, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

Слово об альманахе. 5

РАЗГОВОР О ЧЕЛОВЕКЕ

Фролов И. Т. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ. 10

Эфроймсон В. П., Изюмова Е. А. НА ЧТО МЫ НАДЕЕМСЯ, ИЛИ НУЖНО ЛИ РАСТИТЬ ГЕНИЕВ? 18

Филатов В. П. ОБ ИСТОКАХ ЛЫСЕНКОВЩИНЫ. (*Точка зрения философа*) 40

ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ

Мотяшов В. П. ПЛЮРАЛИЗМ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЕДИНСТВО? 77

Королев С. А. АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ. 106

Бутенко А. П. ПРИРОДА КУЛЬТА И ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ. 133

Зотов А. Ф. О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПРИРОДЕ ВЛАСТИ «ХОЗЯИНА». 150

Соловьев Э. Ю. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРАВА. 162

Виттенберг Е. Я. СТРАШНОЕ И ЧУДОВИЩНОЕ. (*О культе личности и режиме личной власти*) 236

ДИАЛОГ

СОЦИАЛИЗМ: АГОНИЯ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ? 255

Вжезинский З. БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ. АГОНИЯ КОММУНИЗМА. 256

Красин Ю. А. ОТ КРИЗИСА К ВОЗРОЖДЕНИЮ. (*Социализм на переломном рубеже*) 278

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Митрохин Л. Н. РЕЛИГИЯ И МЫ.	307
Карасев Л. В. ПАРАДОКС О СМЕХЕ.	341

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Сорокин П. А. ГОЛОД И ИДЕОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА. (Предисловие и публикация Согомонова А. Ю.)	371
Рассел Б. ЭССЕ: ВЫСШАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ УГНЕТЕН- НЫХ. КОШМАРНЫЙ СОН СТАЛИНА. ЛЮДИ ИЛИ НАСЕКОМЫЕ. (Предисловие и перевод Яковле- ва А. А.)	414
Трубников Н. Н. [ПРОСПЕКТ КНИГИ О СМЫСЛЕ ЖИЗ- НИ]. (Предисловие Никитина Е. П., публикация Жел- товой В. П. и Никитина Е. П.)	425

СЛОВО ОБ АЛЬМАНАХЕ

Философский альманах?! Был ли такой у нас в последние семьдесят лет? Откровенно говоря, не помним. Литературно-художественные были, и издавались они в изрядном количестве. «Полярная звезда», «Знание», «Дохлая луна», «Пощечина общественному вкусу» — в давнем и сравнительно недавнем прошлом. Позднее, уже в наше время, — «Прометей», «Метрополь», «Чистые пруды» и другие. О них читатель, наверное, слышан немало. Достаточно широко известны альманахи и по разным отраслям знания — например, наши, политиздатовские, «Атеистические чтения», «Беседы по этике».

И вот еще один. Философский! Зачем он? Что вызвало его к жизни? В наш быстротекущий век — время гласности и информационного взрыва, резкого всплеска эмоций и интеллектуального взлета — значительно усиливается интерес к философской проблематике. Сакраментальные вопросы метафизической премудрости — «Что это есть в своей сущности?» и «Где мы сейчас и куда идем?» — встают перед людьми, перед обществом, как никогда, часто и с невиданной остротой. Все вдруг разговорилось, у каждого возникло желание сказать что-то свое, сокровенное. Идущая из глубин человеческой души жажда познавать и делиться познанным с людьми требует утоления.

Читатель ныне буквально насыщен информацией — яркой, живой и острой публицистикой, искренней, берущей за душу мемуарной литературой. Участвуют в полемике и обществоведы — философы, социологи, историки, психологи. Различие оценок, оригинальность позиций, глубина и аргументированность анализа, точность и ясность изложения своих взглядов — все это позволяет говорить о том, что отечественное общественное знание отнюдь не исчерпало творческий потенциал. И все же, все же!

Во всех этих дискуссиях все-таки чувствуется дефицит философского обобщения, острая потребность в осмыслении специфических и общих черт нашей трудной истории, в раскрытии глубинных тенденций и закономерностей того, что совершается на наших глазах. Философия всегда была призвана помочь человеку разглядеть в потоке единичных фактов и явлений главное, сущностное, увидеть за случайными эпизодами нечто устойчивое, закономерное. То, что определяет квинтэссенцию бытия. Отсюда и название альманаха — «Квинтэссенция»! Пусть он поможет читателю разобраться в сложных перипетиях духовной жизни современного мира!

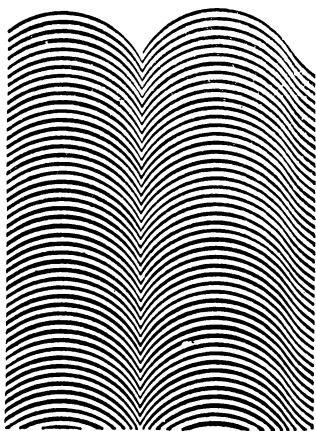
В этом альманахе мы предполагаем обсуждать самые различные вопросы, стоящие сегодня в центре дискуссий. Это и проблемы становления, сущности, путей и перспектив развития социалистического общества, и вопросы, касающиеся бытия человека, роли личности в социальной системе и отношения этой системы к проявлению нестандартных личностных качеств. В планах редакции — организовать на страницах альманаха обмен мнениями о том, каковы успехи и неудачи на сложном пути обновления нашего общества, о том, как процессы перестройки влияют на положение людей, относящихся к различным социальным группам, и как, в свою очередь, эти люди воспринимают и оценивают современные политические и экономические нововведения.

В рубрике «Приглашение к дискуссии» мы будем публиковать статьи, в которых заложены подчас спорные, но, несомненно, интересные мысли, представлена оригинальная позиция автора, нестандартный, неординарный подход к какой-либо проблеме. Мы приглашаем всех читателей принять участие в обсуждении этих вопросов, предложить свои темы для дискуссии.

Обратите внимание и на рубрику «Наши публикации»! Как долго мы были оторваны от мировой — да и отечественной! — интеллектуальной традиции, как много приходится теперь наверстывать! Мы будем знакомить читателя с малоизвестными в нашей стране произведениями крупных мыслителей, возвращать к жизни страницы рукописей, не дождавшихся публикации, вспоминать, казалось бы, давно забытые имена.

Итак, мы начинаем!

РАЗГОВОР О ЧЕЛОВЕКЕ



Сегодня стало наконец очевидным, что внимание к человеку, его нуждам и чаяниям, проблемам и радостям — не второстепенное (и потому необязательное) дополнение к важным и серьезным делам, а то главное, основное условие, без которого невозможен никакой социальный прогресс. В прессе в последнее время появилось немало публикаций, посвященных проблемам гуманизации нашего общества, создания надежной системы гарантий правовой и социальной защищенности советских людей. Вокруг проблемы человека не смолкают споры, сталкиваются точки зрения на то, как совместить свободу личности и ответственность человека перед обществом, равенство и неодинаковость способностей, социальную справедливость и поощрение неординарных, творческих решений.

В нашем альманахе мы предоставим слово многим известным ученым и публицистам. В первом выпуске вниманию читателей мы предлагаем три статьи — президента Философского общества академика И. Т. Фролова, философа В. П. Филатова и генетиков В. П. Эфроимсона и Е. А. Изюмовой. Написанные на разные темы, эти статьи посвящены, в сущности, одной проблеме — проблеме судьбы творческих, ярких личностей, подлинных ученых, мыслителей в условиях общества, в котором лозунгом было уравнивание, нивелировка личностных особенностей людей, и утверждению необходимости отказа от принципа командования наукой, коренного изменения отношения к человеческой проблематике в условиях перестройки.

И. Т. Фролов

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

Довольно много лет понадобилось для того, чтобы убедить ученых и политиков в том, что человеческая проблематика является приоритетной не только в теоретическом, но и в практическом смысле, что человек должен стать главным объектом научных изысканий. Другими словами, в ближайшей перспективе все научные исследования должны получить человеческое измерение. К сожалению, в проекте перестройки фундаментальной науки это никак не отражено!

Между тем сегодня ни один крупный инженерный проект не может быть принят без предварительной социальной экспертизы. В особенности это относится к новой технике и так называемым авангардным технологиям, которые не могут быть реализованы в современном обществе, пока не проведены глубокие исследования способностей и возможностей самого человека, не осуществлена его адаптация к новым условиям жизни, труда в современной, очень обострившейся экологической ситуации. Короче говоря, сегодня нельзя успешно продвигаться вперед, не исследуя комплексных проблем человека.

Эта идея появилась в нашей науке давно, но она долго не получала признания. Такие замыслы были у В. Бехтерева и позже у М. Горького, который еще в середине 30-х годов собирал вместе врачей, ученых, философов, писателей для того, чтобы организовать Институт человека.

В последующие годы не один раз ставился вопрос о реализации этих идей, но они так и не получили практического воплощения. И не случайно, ибо для

этого нужно было произвести на первый взгляд простую, а на самом деле чрезвычайно сложную интеллектуальную операцию — кое-что и весьма существенное изменить в собственном мышлении. Ведь если мышление ориентировано на сугубо технократические подходы, то для него абсолютно недоступно понимание приоритета человека. Недаром и в самой авторитарно-бюрократической системе понимание такого рода исключалось как нечто лишнее.

Помнится, как лет пять тому назад в Министерстве здравоохранения было организовано обсуждение, вернее, осуждение идей, которые выдвигала в том числе и академик Н. Бехтерева, по поводу необходимости более концентрированного, целостного исследования комплексной проблематики человека и, может быть, организации — не сейчас, а в какой-то перспективе — Института человека.

И я помню, один из тогдашних руководителей медицинской науки сказал:

— О чем вы беспокоитесь? В сущности, Академия медицинских наук и есть Институт человека. Ничего не надо создавать специально...

Хорошо, что многие, в том числе ученые-естествоиспытатели, проявили чрезвычайную настойчивость, и мы имеем теперь Центр наук о человеке и Институт человека при нем.

Но как это все начиналось? Еще в 50-х годах у нас в стране было организовано комплексное исследование философских вопросов естествознания и началось довольно энергичное движение с острокритической обращенностью в прошлое. Был создан Научный совет, который возглавил тогда академик П. Федосеев. Мы провели несколько совещаний, разработали стратегию наших исследований, наполнили их мировоззренческой, гуманистической проблематикой.

Отчасти параллельно с этим, а затем во все большем взаимодействии развивались философско-антропологические исследования и делались первые попытки комплексных подходов. И когда в 1988 году состоялся Всемирный философский конгресс на тему «Философское понимание человека», мы сами с некоторым удивлением обнаружили, что, несмотря на годы так называемого застоя, в пределах отечественной философии возникла определенная традиция исследования человека, позволившая нашей делегации на круп-

ном международном научном форуме выступить на уровне по крайней мере не ниже развития мировой философской мысли.

Это не наша собственная оценка, а констатация зарубежных ученых. И, быть может, косвенным отражением этого положения явилось то, что местом проведения следующего Всемирного философского конгресса избрана наша страна — впервые за всю историю развития философских конгрессов с начала XX века. Таким образом, многолетняя работа советских философов в области антропологии, анализа развития науки, в других направлениях не пропала бесследно и в конце концов позволила нам сформулировать общеакадемическую программу «Человек, наука, общество: комплексные исследования».

В известном смысле программа выстрадана поколениями советских философов, которые и во времена застоя, и сейчас активно ведут работу в этом направлении, не прекращая ее ни на один год. Какие же цели преследует программа?

Она состоит из четырех направлений. Первое — «Человек в системе социальных отношений и институтов обновляющегося социализма» — ориентируется на выработку методов и средств формирования социально активной личности.

Второе направление — «Гуманистические идеалы в труде и развитие духовной культуры человека» — исследует пути развития человека как субъекта духовной и практической деятельности, методы реализации гуманистического знания в практике, того, что мы сейчас называем перестройкой. Дело в том, что то, как мы сейчас формулируем цели, задачи, смысл и предназначение перестройки, целиком совпадает с целями и задачами, которые мы ставим в нашей программе по изучению связи человека, науки, общества. Поэтому не случайно очень заинтересованное отношение и в общественных кругах, и в партийном руководстве, и в Академии наук СССР эта программа встретила именно сейчас, когда мы осуществляем перестройку и не только провозгласили, но и организуем все для того, чтобы в соответствии с традициями гуманизма человек стал центром, мерилom всего, что у нас происходит.

Третье направление — «Анализ диалектики социального и природного развития человека». Здесь мы

стремимся соединить гуманитарные, общественные знания с естественнонаучными. Мы будем развивать исследования психофизиологических возможностей человека. Попытаемся интегрировать новейшие результаты исследований человеческого мозга с нашими представлениями о личности в целом.

Особо хотелось сказать вот о чем. Долгое время мы считали себя передовыми, выдвигали всякие гуманистические лозунги. Но как они совмещаются с тем, что у нас нет ни Института экологии, ни тем более Института экологии человека? Нет у нас и Института генетики человека, что говорит об очень многом. Сегодня необходимо осуществить комплексный подход к исследованию человека, включающий и его экологию, и генетику. У нас уже наблюдается такое соединение усилий, в частности по программе «Геном человека». В рамках этой программы весьма плодотворным обещает быть глубокий учет ряда социальных проблем, и в том числе принципов этики.

Это необычная ситуация. Генетика столкнулась с ней тогда, когда вышла на исследование человека, на формулирование комплексов идей, которые и у нас в стране очень сильно развивались в русле гуманистической евгеники. Именно евгеники.

Если внимательно изучить взгляды Н. Кольцова, А. Серебровского, Ю. Филипченко, то их нельзя определить иначе, как гуманистические взгляды. В свое время все это было ошельмовано как полунацистские представления о «расовой гигиене» и т. п. Причем меня до сих пор не оставляют сомнения: не являлись ли провокацией обильные ссылки в нацистской литературе на работы Н. Кольцова и А. Серебровского? Плоды мы пожинаем сейчас. Например, мы не можем провести фундаментальные исследования, скажем, отдаленных генетических последствий той же чернобыльской аварии. Это нам почти недоступно вследствие того, что у нас генетика человека и вообще исследования такого рода поставлены очень слабо, а те, что имеются, часто вуалировались какими-то другими названиями, лишь бы только не употреблять понятие «генетика человека», которое у ряда «идеологически мыслящих» ученых тут же ассоциируется с представлениями о евгенике и тому подобном.

Поэтому одна из задач нашей программы — стимулирование такого рода исследований, постепенный вы-

ход на углубленное изучение проблем, связанных с выживанием человека в новых, измененных условиях.

Многие ученые двадцать и более лет тому назад уже говорили приблизительно об этом же. Но как сильна все-таки в обществе сила невежества, о которой предупреждал еще К. Маркс, утверждавший, что оно еще очень много бед принесет человечеству. Невежество и замешанный на нем командно-бюрократический подход — вот предпосылки того, почему мы нередко откатывались к исходным рубежам и, потеряв многие десятилетия, оказывались во многих случаях безоружными перед лицом новых угроз.

Мы ставим перед собой цель — разработать принципы гуманитарной экспертизы масштабных энергетических, социальных, технологических проектов в различных сферах жизни, в том числе в промышленности и образовании.

Наконец, мы ставим такую цель, как разработка методологии современных методов комплексных исследований человека. Это очень важная и, пожалуй, самая трудная задача.

Тут-то и не срабатывает наше современное, казалось бы, изошренное научное знание. На протяжении предшествующих десятилетий развития науки мы утратили способность целостного, синтетического мышления. Мы можем знать о человеке буквально все — как у него работают сердце, печень и иные органы, но как это все вместе интегрируется, как это соединяется с качествами человека как личности, этого мы почти не знаем. Мы можем только констатировать, что эти факторы играют большое, иногда решающее значение. Но этого явно недостаточно. А ведь именно на стыках социальных, нравственных и физиологических, психологических, медицинских проблем и возникает то главное, что пока не изучено в нашей науке.

Это заставляет совершенно по-новому формулировать задачи науки. Мы можем изучать различные виды, скажем, кровоизлияний, но вряд ли физиолог, психолог или медик может сказать о том, как можно убить человека словом.

А такие писатели, как Достоевский и — особенно — Толстой, считали проблематику болезни и смерти нравственной. Только сейчас мы начинаем понимать, насколько все это важно. И настолько все это ново для нас! Почему? Да потому, что соответствующих кадров,

которые бы обладали этим новым мышлением, у нас пока еще либо нет, либо их очень мало.

Когда пять лет назад я прослушал дискуссию в Минздраве, где «атаковали» академика Н. Бехтереву по поводу идеи создания Института человека, я согласился с тем, что такой институт невозможно создать. И не потому, что в то время это была утопическая, нереальная идея. Нет, это было невозможно прежде всего вследствие «состава умов», расчленяющего, редуционистского мышления, берущего свое начало в естествознании, которое господствовало во всей нашей науке.

Мне кажется, что теперь мы можем начать с немалой надеждой на успех. Если есть хорошие социальные возможности, организационные возможности в Академии наук, если есть расположенность ко всему этому в общественном сознании, то почему бы нам не попробовать?

Я очень осторожно формулирую эти идеи. Осторожно, потому что мы очень часто форсируем события, потому что мы пока еще мало готовы к тому, чтобы по-настоящему развивать научную деятельность в духе целостного исследования целостного человека и т. д. Ведь, по существу, это означает переворот, который может иметь большие общенаучные и социальные последствия. Это ни больше ни меньше как «переворачивание» всей пирамиды науки, переход к такому состоянию, когда природу будут исследовать под углом зрения интересов и потребностей человека, а не наоборот.

Для реализации программы, о которой я говорил, надо объединить многие институты, и прежде всего Институт социологии, Институт психологии, Институт философии, Институт истории естествознания и техники.

Но этого явно недостаточно. Необходимы определенные научные отношения и с институтами, исследующими сознание, психику, мозг человека, генетику, экологию и многое другое. Для этого, естественно, нужны определенные средства. Президиум Академии наук СССР под эту программу выделил 5 миллионов рублей в год, причем уже в ближайшее время, как нас уверили, эта сумма может быть доведена до 15 миллионов. Все зависит от того, какие результаты будут получать ученые, работающие в рамках этих исследований.

Наша программа не имеет своей главной целью создание статей, книг и т. д. Мы будем строить свои отношения с научными коллективами на основе определенного проекта, заказа. Мы объявили конкурс проектов и по результатам этого конкурса провели соответствующее финансирование. Для того чтобы как-то организационно двинуть эту работу, в январе 1989 года принято решение о создании Всесоюзного межведомственного центра наук о человеке. Это весьма своеобразная организация. Она не является подобием какого-то института, потому что основная функция Центра — стимулирование и координация исследований проблем человека в разных направлениях.

Не очень хорошо, может быть, говорить об этом, но что сдерживает реализацию программы, так это отсутствие соответствующим образом подготовленных специалистов по комплексному изучению человека, специалистов, которые могли бы быть организаторами интеграции представителей разных наук. Замечу, что мы не хотим создавать какое-то новое исследовательское учреждение в виде, образно выражаясь, какого-то здания в несколько этажей: сколько будет направлений и разделов программы — столько будет и этажей.

Мы хотим сделать по-другому. Прежде всего обеспечить развитие всех направлений внутри уже имеющих институты (скажем, Института генетики) и обеспечить их финансирование. Мы будем совместно обсуждать и встраивать эти исследования в наш общий план, в нашу общую программу, но не пойдем по пути создания отдельных лабораторий, иногда дублирующих друг друга. Зачем отрывать специалистов от своих институтов? Они сами идут к нам, и многие охотно сотрудничают с нами и делают все для того, чтобы мы занимались интеграцией исследований. Тем не менее определенное количество специалистов необходимо. Их надо готовить. И уже сейчас при Центре имеется около 10 аспирантов, которых мы начали готовить в качестве будущих кадров Института человека.

Мы хотим сделать так, чтобы и в некоторых учебных заведениях, и прежде всего в МГУ имени М. В. Ломоносова, были такие подразделения, кафедры, которые бы со студенческой скамьи готовили для нас специалистов.

Большие надежды мы связываем с вновь создаваемыми

мым при Центре наук о человеке общественно-политическим, научно-популярным иллюстрированным журналом «Человек». Он должен выполнять функцию не только стимулирования исследований, но и популяризации человековедческих знаний.

Есть еще один момент, о котором я пока не упоминал. Дело в том, что мы видим свою задачу не только в том, чтобы использовать для исследования человека имеющийся научный потенциал, но и в том, чтобы задействовать весь потенциал нашей культуры, в том числе литературы и искусства.

С самого начала мы привлекли к участию в исследованиях крупных деятелей культуры, таких, как писатель С. Залыгин, кинорежиссер Э. Климов, артист М. Ульянов. Мы будем развивать и дальше нашу работу совместно с Фондом культуры, с другими культурными и творческими союзами. Их руководители высказывают встречные пожелания и свою заинтересованность в сотрудничестве. Мы будем делать все для того, чтобы эти контакты не ограничивались разговорами, а вылились в комплексные исследования человека средствами культуры, литературы и искусства. Это является традиционным в области мировой гуманистической мысли, и мы будем следовать этой традиции.

Сейчас мы находимся лишь в самом начале большого и трудного пути — пути возвращения к человеку. Предстоит создать единый комплекс наук о человеке. И если удастся объединить усилия многих ученых, то можно сделать что-то действительно значительное, принести большую пользу и нашей науке, и всему обществу.

В. П. Эфроимсон, Е. А. Изюмова

НА ЧТО МЫ НАДЕЕМСЯ, ИЛИ НУЖНО ЛИ РАСТИТЬ ГЕНИЕВ?

В мире есть три типа людей. Первый тип — это люди. Их больше всего и, в сущности, они лучше всех.

Г. К. Честертон

Отдайте ребенка на воспитание рабу — и у вас будет два раба.

Древнее изречение

Среди огромного числа проблем, которые волнуют всех нас, требуют решения, настойчиво напоминают о себе, есть несколько таких, без осознания которых, пожалуй, все другие решить будет невозможно. Проблемы эти — глубинные, основоположные: возрождение культуры, возрождение нравственного, духовного здоровья. Ни экономических, ни политических, ни экологических задач, стоящих перед страной, не существует без тех, кем и для кого они должны быть решены, — без людей, граждан, личностей, создающих и берегающих созданное.

Но именно эти проблемы всегда связывались и связываются с вопросами воспитания, образования. Поэтому вопросы педагогики, развития школы, подготовки и обучения самих учителей широко обсуждаются практически везде и всеми. Незаинтересованных в их решении нет. Потребность в преобразовании школы, педагогической науки и практики, существующего подхода к воспитанию и образованию стала очевидной для всех.

Однако именно потому, что так возрос интерес к вопросам воспитания и обучения детей, с особой силой разгораются споры о возможностях воспитания. Что может педагогика? Что может учитель? Где предел (и кем он положен), до которого воспитание, окружение, среда может поднять обычного, нормального ре-

бенка? Где предел человеческим возможностям в сфере духа, интеллекта? Насколько врожденные особенности ребенка, его наследственность важны или даже главенствуют в процессе развития человека? Ответить на лежащий в их основании вопрос «Кто виноват?» или «Кого благодарить?» — природу или воспитание — в каждом конкретном случае не так уж сложно. Генетика человека и психология уже многое знают о наследовании самых разнообразных особенностей психики и интеллекта.

Если не касаться тех случаев, когда дети рождаются с грубыми нарушениями в психической сфере (к сожалению, случаи эти становятся все более и более многочисленными, и сама по себе эта проблема требует особого разговора), или когда условия жизни ребенка с первых дней жизни сверхэкстремальны (чаще всего для иллюстрации таких условий приводят примеры не киплингских, а вполне реальных «маугли», но, к сожалению, нам приходится сталкиваться с чем-то очень похожим и в случае детей, с самого рождения оказывающихся в «Домах младенца», лишенных обыденной, индивидуальной, семейной обстановки, — детей с синдромом «госпитализма», также относящихся к группе особого риска в плане развития психики и интеллекта), — так вот, если не касаться этих крайних случаев, в норме, в обычных, средних условиях жизни тестирование, нейропсихологическое обследование ребенка, членов его семьи позволяют судить о том, как, когда и в чем конкретно «сыграла свою роль» природа, наследственность, а как, когда и каким образом — воспитание, среда.

Для педагогов и воспитателей такое знание поистине неоценимо. Однако похоже, что и до сих пор мало кто из них понимает значение, важность, необходимость обращения к генетическим знаниям.

Андре Моруа шутил: «Люди так любят слушать, когда о них говорят, что даже пересуды по поводу их недостатков приводят их нередко в восторг». Мы не уверены, что можно прийти в восторг от наших недостатков в области педагогики и тем более педагогической генетики, но поговорить о них, несомненно, нужно.

Каждый ребенок, рождающийся на свет, таит в себе нечто, чего никогда и нигде до его появления не было. Нет двух людей одинаковых, как нет двух одинаковых лиц. Про лица это все знают. Но наследственность каждого человека, его генотип — это тоже «лицо», только проявляется оно в ходе развития человека. Неодинаковость генотипов, неодинаковость наследственных задатков и их комбинаций — это принципиальный факт, на котором основывается принцип неисчерпаемого наследственного разнообразия человечества.

Еще до появления ребенка на свет каждой матери, каждому отцу хочется, чтобы он, этот будущий человек, был и лучше, и счастливее своих родителей. Мечты родителей! Сколько снов, сколько надежд и сколько... поражений и разочарований! Дети ленивы? Родители сделали не все, что могли? Или мы чего-то все-таки не знаем?

Чаще всего говорят о том, что родители и педагоги плохо воспитывают, плохо учат. И это, к сожалению, неоспоримо. Но мало кто задумывался над тем фактом, что в XX веке сотни миллионов детей получили условия, довольно благоприятные для развития, во всяком случае два века назад доступные лишь единицам. Многие десятки миллионов людей почти в обязательном порядке получили среднее образование, десятки миллионов — высшее. Но число людей, достигающих предельных высот, оставляющих свой неизгладимый след в науке, искусстве, истории, мягко говоря, не очень-то возросло. Поистине титаны и гении не стали появляться чаще — кажется, они еще более редки, чем 100 и 200 лет назад, хотя наследственный фонд человечества за последние четыре-пять столетий не очень изменился, а условия жизни в среднем для большинства людей значительно улучшились. Почему же так редко, может быть даже реже, чем раньше, появляются великие люди, гении, титаны?

Ответ на этот вопрос, по сути дела, очень прост. Во-первых, великие потому и велики, что они редки. Во-вторых, рождается и рождалось всегда вероятностно одинаковое число сверходаренных и гениальных людей. Но вот подходы к воспитанию и развитию детей даже в небедных семьях не только не изменились к лучшему, но в значительной степени даже ухудшились.

И дело не в том, что у каждого потенциального Александра Македонского не всегда появляется учитель, сопоставимый с Аристотелем. Поражает педагогическая неграмотность подавляющего большинства населения.

Беспомощность наших родителей и подавляющего большинства педагогов в вопросах педагогики, психологии, возрастных особенностей психики и интеллекта — ужасающа! До сих пор воспитывают вслепую, наугад, не сознавая, что творят. И хотя бывают счастливые исключения (врожденная тонкость, врожденное чувство такта, талант воспитателя — для таких родителей и педагогов лучшая теория — это голос их сердца!), все же огромное число людей начинают осознавать свою педагогическую несостоятельность лишь тогда, когда их ребенок, их ученик уже сложился, созрел, вырос. Тогда начинается процесс «перевоспитания», что зачастую приносит еще более дикие результаты (не будем приводить здесь цифры рецидивирующей преступности среди подростков, примеры искалеченных «воспитателями» детских судеб — их много сейчас в прессе...).

В целом наше общество относится к детству преступно — это утверждение не более сильное, нежели так часто слышимые — «Школа ничему не учит», «Родители не воспитывают детей». Правда, справедливости ради надо сказать, что в некоторых случаях общество все же умело пользуется «дарами природы» — например, когда речь идет о шахматистах, спортсменах... Как тщательно их выискивают, как прицельно отбирают, растят, какие возможности «показать себя» им предоставляют и каких успехов они добиваются (хотя и в этой области немало извращений, перекосов, трудных проблем, а не будь их — и успехи были бы выше, но, к сожалению, истоки этих проблем лежат вне спорта, шахмат и т. д.).

Что мешает достичь сравнимых успехов в других сферах человеческой деятельности? Как это ни парадоксально звучит, но именно социум, общество, казалось бы так заинтересованное в талантах, достижениях и успехах, прежде всего само и мешает этим талантам реализоваться, этим достижениям и успехам появиться на свет, вернее — пробиться на свет.

Приведем один очень поучительный, на наш взгляд, пример. Пример мобилизации интеллектуального по-

тенциала в США. В начале 60-х годов в Соединенных Штатах была введена программа «Мерит», что в переводе означает «заслуга», «заслуженный». В те годы у американцев была популярна шутка: «Или мы срочно должны заняться физикой и математикой, или нам всем придется учить... русский язык». Такой была реакция на полеты первых советских спутников. Америка была потрясена, но американцы, видимо, не слишком стремились изучать русский... Они решили обойтись своими силами, а для того, чтобы эти силы мобилизовать, в течение ряда лет отбирали из каждого старшего класса всех школ по четыре человека — наиболее перспективных учеников, причем отметки не играли особо важной роли. Важны были отзывы учителей о нестандартности, увлеченности ребенка тем или иным предметом, важен был и возраст — дети, обучавшиеся в старших классах в более молодом возрасте и успешно справлявшиеся с программами, отбирались обязательно. Ежегодно таких детей на всю страну насчитывалось около 600 тысяч! Из этих 600 тысяч путем усложненных тестов отбирали около 35 тысяч детей с наилучшими показателями развития. Их обеспечивали стипендиями, субсидиями, принимали без экзаменов в лучшие колледжи, им создавали наиболее благоприятные условия развития. Очень важно, что тесты были ориентированы не на выявление суммы знаний, а лишь на умение думать, ориентироваться в задании, нетривиально оценивать ситуацию, быстро находить решение.

Конечный результат этой программы хорошо известен. Это — качественный скачок в технологии, во всех точных и естественных науках и, как следствие, — в освоении космоса...

Уже в 1969 году (1) американский психолог Дж. М. Сталнакер, подводя предварительные итоги программы «Мерит», писал: «Этих талантливых подростков уже в начале жизни нужно вводить в мир идей, книг, научных лабораторий, научить радостям учения. Если в старших классах им предоставляется преимущество, то их надо вести дорогой трудной интеллектуальной активности. Только это создаст им и мотивацию, и подготовку к соревнованию в старших классах. Из многих вещей, которым мы научились в ходе пятилетнего проведения программы «Мерит», самой важной является понимание того, как мало нам

известно о выявлении творческого таланта (курсив наш.— В. Э., Е. И.) и насколько менее еще мы знаем о его надлежащем развитии».

Вывод этот привел, в частности, к тому, что программы по изучению развития детей, по генетико-психологическим аспектам воспитания до сих пор остаются одними из наиболее устойчиво финансируемых в США. «Мерит» просуществовал около 15 лет, а затем подобные программы стали достоянием каждого штата. Более того, в процессе проведения программы стало очевидным, что самые большие потери интеллектуального фонда происходят на самых ранних стадиях развития — в младенчестве, в раннем детстве. Из программы «Мерит» выросли программы раннего обучения и развития совсем маленьких ребят — до двух-трех лет и «детсадовских» малышей — до пяти-шести лет. Прагматичные американцы не захотели воспитывать вслепую, они «открыли глаза» и начали учиться: учиться учить, учиться воспитывать, учиться растить детей так, как это в принципе и подобает современному человеку. В частности, огромное значение они уделили переводу и изданию классики мировой психологической и медико-генетической науки. Американские учителя изучают труды выдающегося советского психолога Л. С. Выготского в таком объеме, который нашим учителям даже не снился.

Если говорить по существу, то, конечно, перед программой «Мерит» вовсе не стояла задача «вырастить гениев», как часто с сарказмом и пренебрежением оценивалась эта и другие подобные программы нашими отечественными учеными. Задача была гораздо утилитарнее: найти то, что нужно, вернее — тех, кто нужен. Главное — не прозевать, не пропустить, не потерять талант, данный природой!

Д. Дидро высказал как-то и по сей день не устаревшую мысль: «Гений падает с неба. И на один раз, когда он встречается ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо». Отвлечемся от слова «гений» (можно насчитать сотню определений гениальности, и каждое из них не будет ни полным, ни абсолютным) и «простим» Дидро его веру в небеса — конечно, гении не падают с неба, они рождаются на земле. Только очень редко. Но, к сожалению, приходится констатировать, что и эти чрезвычайно редкие по-прежнему не находят своего «дворца».

Потенциальные возможности человеческого мозга неисчерпаемы. Так же неисчерпаемо многообразие комбинаций способностей. Это поистине бесценный дар природы. Это тот дар, тот резерв, который позволяет человечеству не страшиться будущего. Но этим даром чаще всего человечество распоряжается до дикости халатно. Хотя наука к концу XX века настолько преуспела в определении всего спектра человеческих способностей, что в принципе остается очень немного — подвести, подтолкнуть данного ребенка к тому самому источнику, который именно его наиболее полно напоят, из которого именно этот, данный ребенок впитает предназначенную именно ему живительную влагу. И если среднего, нормального, обычного человека отсутствие индивидуального источника обрекает на средние, «нормальные», обычные условия жизни, для гениальности, для высокой одаренности это равносильно чаще всего гибели. Педагоги в массе своей до сих пор так и не понимают, что обычный подход к необычным детям, нормальные условия для сверходаренных — это и есть та основная причина, из-за которой «звезды» на нашем небосклоне вспыхивают все реже и реже.

Претензии, которые мы высказываем в адрес наших рядовых учителей, разнообразны. Но приходится считаться с тем, что, сколько бы слов ни было произнесено, вряд ли сотни тысяч учителей, воспитателей сегодня, завтра или даже через несколько лет станут другими. Наша педагогика находится в «каменном веке». И чтобы вывести ее из этого далека, необходимы годы и годы.

Мы ужасаемся тому, что пропадают миллионы кубометров воды, уходя в почву и превращая землю в соленые пустыни. Но только в последнее время немногие наши сограждане вслух ужаснулись тому, что мы из года в год, из десятилетия в десятилетие безрассудно миримся с «утечкой мозгов». Сотни, тысячи людей, чрезвычайно одаренных, обладающих уникальными способностями, даже гениальных, остаются невостребованными, нереализованными, неразвитыми. Это их мы теряем из-за неумения справиться с амбициями и предрассудками, из-за нежелания отказаться от застарелых догм. «Мозги утекают» в песок повседневной жизни, в песок рутины, в песчаные пустыни дикой, повальной, чудовищной безграмотности.

Что мешает большинству наших ученых и педагогов открыть глаза? Может быть, они не хотят видеть беды? Не хотят видеть, что все реже и реже встречаются *лица*? Или им достаточно тех, кто смотрит на них в тиши музеев с картин прошлых веков?

* * *

Прошлое неизбежно и закономерно сказывается в настоящем. Вероятно, не пришлось бы сейчас так настойчиво (и кто знает — с каким результатом) доказывать абсолютно тривиальный факт — то, что люди рождаются в разной мере наделенными разными способностями и что способности эти требуют разного подхода к их обладателям, — если бы 50—60 лет назад в науку о наследственности человека, в генетику человека не вмешались силы, столь же далекие от всякой науки, сколь и уверенные в своем праве решать ее судьбы.

В конце 20 — начале 30-х годов в нашей стране начался (и очень быстро с «полным успехом» закончился) «крестовый поход» против евгеники. И до сих пор само это слово многих пугает. И сейчас еще в книге академика Н. П. Дубинина «Генетика — страницы истории», выпущенной в свет в 1988 году, можно прочесть гневные отповеди тем ученым, которые «предприняли попытки возродить евгенику»... Дубинин пишет о евгенике так, что у читателя не должно остаться даже тени сомнения: тезис «Евгеника — служанка фашизма» неоспорим. Называя имена замечательных отечественных ученых Б. Л. Астаурова, М. Е. Лобашева, П. Ф. Рокицкого, академик Дубинин с нескрываемым раздражением пишет: «Однако до сих пор есть отдельные последователи евгеники, и *даже среди генетиков*» (курсив наш. — В. Э., Е. И.).

В Советском энциклопедическом словаре написано: «Евгеника — теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения». Так чего же здесь пугаться?

В 1939 году собравшиеся со всего мира генетики создали свой знаменитый «Эдинбургский манифест», в котором говорилось: «Нельзя определять и сравнивать действительную ценность индивидов, если члены общества разделены на классы, крайне разнящиеся по своим привилегиям, если не созданы такие экономические и общественные условия, которые обеспечивают

всем людям примерно равные возможности». Этот тезис был всегда основополагающим для всех настоящих ученых-евгеников. Евгеника, расцвет которой в России пришелся на 20—30-е годы (и связан он с именами Н. К. Кольцова, Ю. А. Филипченко, С. Г. Левита), была не чем иным, как наукой о наследственности человека, разделом частной генетики, со своим предметом, методами, особенностями.

Именно в годы расцвета генетики человека в нашей стране в педагогике чрезвычайно широко начали применяться тесты. При помощи тестов выявляли склонности школьников, особенности их интеллекта, в больших масштабах вводили профессиональную ориентацию подростков. Но уже в 1933—1934 годах, а окончательно в 1936 году — после печально известного постановления «О педологических извращениях» — тестирование было осуждено и практически запрещено. Не очень осведомленной в тонкостях метода общественности тесты были представлены как антидемократические, псевдонаучные и, безусловно, вредные. Ученых и педагогов, пропагандировавших и применявших тестирование, обвинили в попытке создать элиту, нарушить основной принцип социальной справедливости — всеобщее равенство.

«Вожди научного фронта», скорее всего, не знали слов Дидро, которые мы приведем ниже, но порою кажется, что, запрещая тестирование, затем медицинскую генетику и генетику человека, а впоследствии и всю генетику вообще, они понимали, *чувствовали* опасность, которую таит в себе индивидуальный, дифференцированный подход к людям и их наследственности. Они не нуждались в гениях, им пужны были «винтики»...

Вот эти слова Дидро: «Гении, вынужденные чувствовать и решать лишь по своему вкусу, по своему отвращению... очень догадливые, мало предвидящие... — представляются мне более подходящими для опрокидывания старых или создания новых государств, чем для их поддержания; более подходящими для установления порядка, чем для следования ему».

Предубежденность и недоверие к генетике человека, к ее обычным методам (близнецовые исследования, нейропсихологическое тестирование, тестирование способностей и интеллекта) сохраняются до сих пор, и не только в массовом обывательском сознании. Вот что

пишет в уже цитированной книге Н. П. Дубинин: «Практика педагогики и психологии в ряде случаев определялась теорией, в которой роль биологической наследственности преувеличивалась в понимании причин формирования личности человека. На этой основе, без учета сложного пути в развитии духовной жизни людей, пропагандировалось учреждение элитарных школ для особо одаренных детей, распространялись взгляды, что преступное поведение — это в первую очередь не социальное явление, оно якобы зависит от социально опасных генов (криминогенов) и т. д.»

Что касается «криминогенов», то академик Н. П. Дубинин прекрасно знает, что никто не утверждал того, с чем он спорит, хотя (и это тоже известно Дубинину, судя по его же работам) действительно существуют некоторые наследственные аномалии, которые (по вполне авторитетным исследованиям) гораздо чаще встречаются среди преступников вполне определенного типа. А вот «элитарные школы» — это особый вопрос. Н. П. Дубинин выступает против них, так как, по его мнению, существование таких школ противоречит «марксистскому тезису, что сущность человека является социальной».

Пусть читатель простит нам еще одну цитату из Н. П. Дубинина. Он пишет: «Успехами генетики можно объяснить повсеместные попытки представить действие генов (биологическая наследственность) в качестве детерминаторов социальных черт человека, содержательных сторон деятельности мозга. Это мнение противостояло марксистскому пониманию личности человека. Оно отвергало, что от самого человека, от воспитания и от общества зависит то, каким он станет в жизни». Правда, Николай Петрович Дубинин почему-то не разъясняет, что означают его же слова «от самого человека», ведь «сам человек» — это и есть совокупность его биологических задатков, реализовавшихся под действием именно среды, именно воспитания, именно общества.

Несомненно, в науке о наследственности человека, особенно в том ее разделе, который занимается психикой, интеллектом, есть немало проблем, пробелов, сложностей. Профессиональные претензии психологов к тестам мы здесь не затрагиваем. Еще в конце 20-х годов Лев Семенович Выготский призывал вместо извечного противопоставления психологов и генетиков

выйти наконец на единую платформу. И прислушаться к его советам хотя бы в конце XX века было бы и лучше, и разумнее, и плодотворнее.

Ведь более 50 лет прошло с тех пор, как железной рукой была раздавлена генетика. Неужели и сейчас нужно доказывать, что за слепоту (или злой умысел) почивших в бозе вождей расплачиваемся мы, а за нашу слепоту, за нашу безответственность, за наши ошибки или намеренную ложь расплачиваются наши дети.

* * *

Высокий интеллект и творческие способности, прекрасная память и изобретательность часто связаны между собой, но вовсе не всегда сосуществуют. Есть два полярных типа личности: один — «конформный», стремящийся изучать и запоминать уже известное и все, из него непосредственно вытекающее; другой тип — «критичный», стремящийся к пересмотру общепринятого, к конструированию нового, необычного, неожиданного. Существовая в каждом человеке в разных пропорциях, оба эти типа несут в себе положительное начало. Второй тип личности более плодотворен. Современные тесты все в большей и большей степени выявляют именно его.

Творческое мышление встречается гораздо реже, но если оно к тому же не поощряется ни преподавателями, ни однокашниками, ни коллегами, ни обществом в целом, то способности творчески одаренных личностей зачастую гаснут. Некоторые предпочитают их просто скрывать.

Стремление к конформности, к удовлетворению жизненных потребностей превращает одаренного, талантливое, способного ребенка, кажущегося иногда даже гениальным, в среднего человека.

Конечно, с истинными гениями сложнее: иногда они не поддаются нивелировке, пробивают себе дорогу, идут вперед. Николай Константинович Кольцов в одной из своих «евгенических» статей проанализировал родословную Пушкиных-Толстых и, отмечая большое число талантливых и даже гениальных литераторов, поэтов, писателей, философов в этой родословной, тут же отметил: «Конечно, совсем иная картина обнаружилась бы, если бы эта исключительная по своей ценности семья развивалась бы в иной среде, например ес-

ли бы родоначальники ее были крепостными и вели тяжелую борьбу за материальное существование. При таких условиях поэтический талант ценился бы мало, для борьбы за жизнь требовались бы совсем иные способности — физическая сила, здоровье, приспособляемость. Большинство талантливых поэтов оказались бы плохими земледельцами: они не могли бы развить в полной мере своего поэтического таланта, может быть, остались бы типичными жизненными неудачниками, не приспособленными к окружающей их среде.

Гении, как А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой, конечно, выдвинулись бы и при таких условиях и проявили бы огромную мощь своего генотипа, но характер их деятельности и содержание их произведений были бы, конечно, совсем иными. И мы с удивлением спрашивали бы себя, откуда взялись эти гениальные «выдвиженцы-самородки».

Однако истинные гении всегда единичны. Гений кажущийся все же следует «мирскими путями». А пути эти начинаются слишком рано, уже у колыбели. И родители, и воспитатели в детских садах, и педагоги тратят огромную часть своих усилий на то, чтобы вырастить «нормального» ребенка, то есть в конечном счете достичь конформности, а следовательно, — и это почти неизбежно — погасить чрезмерную любознательность, живость, нестандартность, превратить ребенка в существо непроказливое, ненадоедливое, поменьше спрашивающее, минимально неудобное, минимально любопытное, минимально инициативное, максимально инертное, максимально *послушное*.

И это вполне объяснимо, потому что ни в семье, перегруженной повседневными заботами, ни в детском саду, ни в школе иначе нельзя управиться. Объяснимо, но непростительно. Потому что «почемучка» постепенно превращается в существо, принимающее любые установления и факты такими, какие они есть, и теряющее всякий интерес к исследованию причинно-следственных связей, то есть всякий интерес к творчеству.

В «единой советской школе» есть отметка по поведению. Было бы точнее назвать ее оценкой «за послушание». Выставляя неудовлетворительные оценки за поведение, учителя добиваются «дисциплины». Но послушание и конформизм — не дисциплина! Это прежде всего и самое главное — уничтожение или притуп-

ление самобытности, самостоятельности мышления, своего, особого, своеобразного взгляда на мир, на отношения между людьми.

То, что не все в конце концов становятся конформистами,— заслуга прежде всего «самого человека», то есть его природной, врожденной разности в «сопротивляемости». Сколько бы ни говорили сейчас о необходимости изменения подхода к личности ребенка, но и по сию пору дети в наших школах являются в значительной степени объектами социального отбора на конформизм, на послушание. Школе мешает «сопротивляемость» учеников.

Общество, в котором на протяжении нескольких поколений преимущественного успеха достигают конформисты, в результате оказывается перед лицом катастрофической нехватки человечности, нравственности, справедливости. В таком обществе неизбежно начинают господствовать лицемеры, приспособленцы, циники, эгоисты, хапуги и рвачи. А жизненными неудачниками вполне закономерно, точно в соответствии с Н. К. Кольцовым, нередко становятся истинные поэты, которые уходят в истопники, философы, предпочитающие мести дворы, ученые, работающие ночными сторожами. Что важнее — заставить творческого человека жить «как все» или предоставить ему право на особость и получить, может быть, нового Пушкина, нового Эйнштейна? Риторический вопрос...

Правда, есть еще один и, вероятно, самый губительный вариант — послушные, но умные люди, способные к самостоятельному мышлению. Они могут стать конформистами лишь при дополнительной и чрезвычайно трудной нагрузке при сознательном лицемерии. Результат — «двоемыслие», двуличие, двоедушие, безнравственность, отсутствие совести... Всего этого сейчас, на пороге последнего десятилетия XX века, в нашей стране предостаточно. Но в огромном дефиците самостоятельность, предприимчивость, нестандартность, оригинальность...

В старой австрийской армии существовал орден Марии Терезии для награждения тех, кто добился успеха вопреки приказу... Даже в этой одряхлевшей империи нет-нет да и понимали значение инициативы, неконформности. Кажется, все больше людей начали это понимать и в нашей стране. Но от признания факта до практических следствий могут пройти многие годы.

Среди природой predeterminedных свойств человеку присуща наивысшая способность к обучаемости в юные годы. Предопределена нестандартность восприятия, способность к нахождению непредсказуемых решений. Поэтому именно интенсивное развитие в юные годы закладывает основу, а вернее, всю «конструкцию» будущего человека. Примерно к девятилетнему возрасту интеллект человека сформирован уже на 90 процентов. Однако среда продолжает оказывать глубокое воздействие на развитие интеллекта, на становление психики и в 15, и в 18 лет. К 20 годам любому человеку для дальнейшего совершенствования уже необходимо ощущать плоды своего труда. Само по себе осознание успеха в избранной сфере деятельности, сама по себе самостоятельная работа в этом возрасте «подстегивают», подталкивают к более высоким целям...

Медицина смогла намного снизить детскую смертность, смогла продлить человеческую жизнь. Но никакая медицина не может существенно продлить молодость, не может заставить «постареть» биологически присущий человеку возрастной интеллектуальный пик. А он, этот пик, существует и выпадает на возраст 25—30 лет.

Подсчитано, что основная часть данных, легших в основу открытий, впоследствии удостоенных Нобелевской премии, была добыта 25—30-летними учеными. К этому возрасту человек должен уже пройти серьезную школу самостоятельной работы, самостоятельной деятельности — ответственной, напряженной, важной, значимой, ожидаемой и поощряемой обществом. Любая остановка, любая задержка в молодости, любое топтание на месте — это верная предпосылка поражения в борьбе за реализацию наследственных задатков, за интеллектуальную, творческую отдачу. Весьма немногочисленные примеры, когда люди «находили себя» в зрелом и даже преклонном возрасте, доказывают лишь одно: их генотип был настолько мощен, что все-таки пробился сквозь все неблагоприятные условия. Такая мощь генотипов встречается исключительно редко. Это уже сродни гениальности.

Поэтому «элитарные школы» — это не роскошь, не лучшие обеды, бассейны и импортная мебель (почему бы в каждой школе не кормить детей качественно и не

иметь бассейнов?). Элитарные школы — это жизненная необходимость для того, чтобы не растратить богатство уже созданных природой уникальных сочетаний способностей. И отличие этих школ от «нормальных» — перегрузочные условия, интенсивность программ, углубленность изучения предметов, увеличение количества изучаемых дисциплин и — труд, труд, труд. Бояться того, что дети в таких школах почувствуют себя незаменимыми, вероятно, не стоит, ведь тезис: «Незаменимых людей нет» — страшный и антигуманный по сути своей — все-таки сходит «со сцены»...

Так же, как наконец-то поняли псевдодемократичность одного из самых неоправданных решений, принесшего огромный, хотя не вполне еще оцененный вред нашему государству, — поняли и расстались с ним, хотя и до сих пор кое-кто «взывает» к социальной справедливости. Мы имеем в виду то чудовищное решение, по которому студенты вузов с первого и второго курсов призывались на службу в ряды Советской Армии. Не стоит возвращаться и доказывать очевидное. На первой сессии Верховного Совета об этом было сказано много справедливых слов.

Чрезвычайно важно, что уже на самом высоком уровне всерьез стали относиться и к проблеме профессиональной армии, о которой мы лишь «посмели заикнуться» в 1988 году.

А по поводу справедливости и равенства заметим, что, когда говорят «все равны», очень часто по-прежнему подразумевают, что «все одинаковы». Но в то же время многочисленные борцы «за равенство и справедливость» почему-то не призывают к тому, чтобы все «на равных» учились в консерватории или на мехмате. Почему-то все они с этим «неравноправием» мирятся и живут спокойно. Привыкли? Или все-таки в глубине души понимают, что все «равные» немножечко все же неодинаковы?

Почему же в таком случае не могут не то чтобы привыкнуть, а хотя бы осознать самую очевидную вещь: не только после окончания школы, не только при поступлении в институт, но и при поступлении в школу и *при рождении все дети разные*. Просто разные. От природы. И эту «разность», эти различия детей можно вполне объективно оценить...

Почему, как только говоришь «разные», сразу слышат — «лучше — хуже». Почему все градации должны

быть только иерархичны — или так уж нас к этому приучили, что чаще всего никто не смотрит по сторонам, а лишь вверх или вниз. Можно ли ответить на вопрос, кто лучше — Сократ или Пушкин? Почему нужно все время строить пирамиду, и притом только одну?

Да потому, что именно иерархическое сознание выковывалось десятилетиями — именно оно и есть порождение авторитарной системы. Потому что рамки при возведении пирамиды строитель ее сколачивает по своей воле, своей властью, исходя из своих предпочтений, своего разума. А в результате этот строитель получает право на то, чтобы проводить свой социальный отбор. В результате Иосифу Бродскому можно было задать глубокомысленный вопрос: «А кто вам сказал, что вы — поэт?»

Потому что это лукавое, завуалированное, «для себя» и «про себя» признание неодинаковости приводит к знакомому оруэлловскому тезису: «Все животные равны, но некоторые равнее других».

И когда в основание единственной пирамиды помещают «всех вообще» (равных, то есть одинаковых), а дальше почти автоматически все круче и круче возводят ее вверх, к вершине, на ней почти естественным образом оказывается один — но уже обязательно «гений всех времен и народов».

Не пора ли все-таки всем вернуться на грешную землю? К основанию, к сути. Не пора ли на этой земле увидеть каждого конкретного человека и, не оказывая никому в достоинстве и равенстве, понять, что этот человек — он тоже может быть вершиной какой-то пирамиды? И таких пирамид — множество. Вспомните марктовенковскую притчу о сапожнике, в котором погиб самый гениальный, самый великий полководец из всех, когда-либо рождавшихся на земле! Вспомните, как часто ошибались в своих оценках учителя, неспособные отказаться от стереотипа «одной пирамиды». В истории достаточно тому примеров.

Эдисон был исключен из школы «из-за полной бездарности».

Уинстон Черчилль был хронически предпоследним учеником, что, кстати сказать, не очень беспокоило его деда, говорившего, что «мальчики начинают хорошо работать только тогда, когда они ясно видят, в чем смогут отличаться».

Альберт Швейцер был безнадежным школьником! Об «успехах» Эйнштейна в школе все наслышаны.

Юстус Либих — великий химик, открывший явление изомерии, должен был «по неспособности» оставить школу в 14 лет, что не помешало ему в 21 год стать профессором химии.

Почему же история оказывается для многих, в том числе и для большинства учителей, таким трудным предметом?

Что, перечисленные нами люди были действительно неспособны? Конечно... Без сомнения, они были не способны учиться в неподходящих *для них* школах у не понимающих *их* учителей. Они были не способны учиться так же, как все остальные. Потому что они *очень* отличались от всех остальных. Они были лишены одного очень существенного свойства — «одинаковости». Они были вершинами «других» пирамид.

Как же каждому человеку найти свою пирамиду? Для этого обществу нужно решить, может быть, самую главную задачу — найти, следуя старой английской поговорке, «надлежащего человека на надлежащее место».

* * *

Наследственное разнообразие особенностей интеллекта и психики людей бесконечно велико. Поэтому в принципе бесконечно много способов оптимального развития людей. Не будем ставить перед педагогами утопическую, да и ненужную задачу — воспитывать каждого ребенка отдельно, изолированно от других. Это не только недостижимо — это было бы грубейшей ошибкой. Общение с другими людьми — со сверстниками, друзьями, единомышленниками, общение в процессе работы, учения — необходимо.

Воспитание, несомненно, должно быть индивидуально, должно быть направлено на конкретного человека. Самые первые шаги в воспитании делаются в семье. И переоценить значение семьи, особенно матери (любящей, внимательной, лучше кого бы то ни было знающей, понимающей, чувствующей ребенка), — невозможно. Но ведь и родителей нужно учить... Но рано или поздно каждый ребенок попадает в школу. И здесь индивидуальный подход прежде всего должен вылиться в самое естественное, но самое труднодостижимое, о чем приходится чаще всего лишь мечтать, —

у каждого ребенка должен быть свой Учитель, Наставник, Советчик, Исповедник. Доброжелательный, понимающий, хорошо знающий своего ученика. Учить и воспитывать детей можно доверить лишь таким людям, которые способны на любовь и понимание. Если бы можно было взмахом волшебной палочки превратить всех наших «преподавателей» в таких Учителей — все проблемы школы были бы решены.

Волшебной палочки у нас нет. И ни у кого нет. Хуже того — для того чтобы такие Учителя хоть когда-то появились, нужно, чтобы их самих учили... И так — до бесконечности... Именно здесь — альфа и омега всех трудностей, с которыми сталкивалась, сталкивается и будет сталкиваться школа. Имена настоящих учителей — в каждом городе, в каждом районе — хорошо известны. Потому что таких учителей — считанные единицы. Школы заполняют — сплошь и рядом — полуграмотные, полуобразованные, бесконечно серые, уставшие, почти обезличенные люди. Хорошо еще, если они не озлоблены. Общество столь долго считало, что учитель — это нечто второстепенное, что за десятилетия в школе действительно накопилось вдоволь антиучителей... А если учесть, что в каждой школе есть своя иерархия и руководителей педагогических коллективов назначали опять-таки вовсе не по признакам понимания детей, осознания детских проблем, а по признаку послушности начальству, то директорский корпус — это, если можно так выразиться, антиучителя в квадрате...

Остановимся. Сразу принесем извинения всем тем учителям, которые могут сказать, что дети смотрят на них с любовью и без страха. Одного этого достаточно, чтобы человек был настоящим педагогом. Но ведь мало, до ужаса мало таких...

А как всех остальных научить понимать детей, понимать и принимать такими, какие они есть? Принимать и любить? Как можно советовать учителю распознавать в детях те отличия, те биологические, врожденные особенности, на которые и должно опираться воспитание и обучение, если ребенок «закрыт» для учителя. О какой педагогике сотрудничества может идти речь, если учителя просят: «Дайте нам методические разработки по этому самому сотрудничеству». О какой перестройке школы можно говорить, если любые попытки создать «независимые» школы, с особы-

ми программами, стилем учебного процесса, способом формирования классов и прочими новациями, наталкиваются прежде всего на запрет, и только очень настойчивые, очень жизнестойкие учителя и директора могут через все запретительные барьеры прорваться? О каком притоке в школу преподавателей университетов, сотрудников Академии наук можно всерьез говорить, если остаются в силе сотни всевозможных инструкций, постановлений и запретов, делающих все благие пожелания лишь недостижимой мечтой.

Перестройка коснулась лишь каких-то поверхностных элементов в школе. Уменьшено количество экзаменов в выпускных классах. Само по себе это лишь признание негодности старой системы, но отнюдь не меняющее сути дела преобразование. Кое-какие предметы перенесены в разряд факультативных. Но ведь качества преподавания это не меняет. Запрещены кооперативные школы — опять-таки вроде бы из благих намерений соблюсти принцип социальной справедливости. Родителям десятиклассников, которые платят репетиторам гораздо большие деньги, чем если бы их дети все 10 лет учились в кооперативной школе, эту «справедливость» трудно оценить. Точнее — очень легко.

Все-таки было бы честнее и лучше сознаться перед лицом всего общества: государство боится потерять монополию на школьное образование, так как перед государственной школой по-прежнему кроме образовательных задач стоит и задача воспитательная, а воспитание по-прежнему должно вестись по определенной, проверенной и утвержденной программе. Воспитание должно быть «идейно выдержанным». Именно поэтому страшно допустить свободные школы, религиозные школы, частные школы.

Позволим здесь все-таки выразить наше глубокое убеждение: не обойтись нашей стране без всех этих школ. Все они будут. Рано или поздно. Лучше бы прямо сегодня...

В печати то и дело появляются сообщения о создании «лицеев». Да, само слово «лицей» обладает удивительной силой воздействия. Только многие ли понимают, в чем секрет «пушкинского лицея», с которым чаще всего ассоциируется это название? И многие ли знают, что лицей существовал в Петербурге еще мно-

гие и многие годы после Пушкина, но дух его был уже совершенно иным?

Эффект «пушкинского лица» как раз и состоял в том, что в нем, прежде всего благодаря стараниям его первого директора, культивировался и охранялся дух уважения к иной, нежели ты сам, личности, признание ее законного права на самовыражение; культивировались, поддерживались в каждом из воспитанников самые малые, самые незначительные ростки интереса к той или иной сфере деятельности... Однако при любых условиях, какие бы силы мы ни прикладывали, ни «эффект лица», ни какой-либо другой хороший эффект недостижим, пока для каждого педагога не станет абсолютным правилом: ни разу, ни одного ребенка, ни при каких обстоятельствах не оскорбить, не унижить, не срезать грубым окриком, бранным словом, уничижительным эпитетом. Мало кто из детей после подобного «педагогического воздействия» станет лучше учиться или вести себя. Скорее наоборот — это лишний раз докажет кому-то его неполноценность, посредственность. А для многих это будет уроком совсем иного рода: уроком жестокости, уроком грубости, уроком несправедливости...

Образование — это ведь, по сути, придание образа человеческого. И одна из фундаментальных проблем воспитания и образования (кстати, по Луначарскому) — создание общечеловеческой шкалы ценностей. Той шкалы, которая может и должна стать единственной и абсолютной, перед которой все и равны и одинаковы. Той шкалы ценностей, которая почти неудержимо восстанавливается из века в век, в каждой стране, после любых периодов зверств и кровопролитий.

* * *

Современное развитое общество нуждается более чем в 40 тысячах профессий. Нелепо говорить, что каждая профессия — творческая. Но ведь совсем не каждый человек и может, и хочет творить, даже если он получит наиболее благоприятные условия развития. Мы ведь вовсе не все поголовно рвемся в горы или прыгать на лыжах с трамплина. Большинство из нас все же предпочитают смотреть на это по телевизору (иногда даже с завистью). Но мало кого эта зависть заставляет хотя бы ежедневно делать гимнастику. Что же говорить о творчестве?

Однако все люди без исключения хотят быть прежде всего людьми. Теми «просто людьми», которым, по словам Г. К. Честертона, «мы обязаны стульями, на которых сидим, одеждой, которую носим, домами, в которых живем; в конце концов, мы и сами относимся к этому типу — «просто людей».

Можно спорить, а можно и не спорить о том, творческая ли работа у водителя троллейбуса. Но то, что эта работа, так же как и любая из 40 тысяч существующих профессий, требует от человека какого-то особого склада, особых задатков, без которых дело, приносящее радость и удовлетворение одним, другим принесет лишь чувство ненужности и пустоты жизни,— это не должно вызывать споров. Короче говоря, если тех, кто делает мебель, шьет одежду, выращивает картошку, тех самых «просто людей», без которых не было бы ни поэтов, ни мыслителей,— если их растить всех как «равных-одинаковых», то не будет у нас ни хорошей мебели, ни красивой одежды, ни даже картошки; и поэтов не будет, и мыслителей...

Поэтому любые призывы к возрождению культуры, возрождению достоинства и нравственности прежде всего надо обратить к истокам — к тому, что является нашей единственной надеждой,— к нашим детям. Надо глубоко осознать глубину той ужасающей пропасти, в которой оказалась наша система воспитания и образования, надо расчистить завалы на пути всех, даже самых малых источников, из которых может пролиться хоть капля чистой воды.

Человечество тысячелетия мечтало о социальной справедливости, о социализме — библейском, христианском, утопическом, научном... Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, ожидая, покуда вымрет поколение, рожденное в рабстве. В XX веке реальный социализм существует уже гораздо более 40 лет, но приходится с горечью констатировать, что от несвободы и рабской психологии мы не ушли дальше, а может быть, сейчас еще ближе к ней, чем в начале пути. Реально существующий социализм не принес духовной свободы человеку.

Более того, реальный путь, пройденный нами, лишний раз доказал, что нет ничего страшнее разрыва между провозглашаемыми лозунгами и действительной жизнью. Дети с раннего возраста чутко улавливают разрыв между словами и делами, как губка впитывает

вают впечатления, видят несправедливость, чувствуют ее гораздо острее претерпевшегося взрослого, очень рано выводят свои умозаключения. И именно поэтому поражение в деле духовного освобождения людей объясняется прежде всего извращением принципов реальной социальной справедливости, подменой этих принципов ложной идеей всеобщей одинаковости.

Для создания истинно справедливого общества требуется многое: люди должны быть и сыты, и одеты. Но не только это и прежде всего не столько это. Требуется поднять общественную и личную этику до уровня само собой разумеющихся достоинства, равенства и свободы. Можем ли мы уповать на современную нашу школу, способна ли она хоть в какой-то мере приблизиться к решению столь высоких задач?

Со всей ясностью, со всей откровенностью нужно признать — нет. Нам не на что надеяться. И весь опыт вот уже почти пятилетней «перестройки» системы народного просвещения лишь убеждает нас в этом. Косметическими переделками не обойтись. Время — конструктивным изменениям. Прежде всего, повторяем, необходим отказ от монополии государства на образование и воспитание. Коренная переориентация программ подготовки учителей в вузах — переориентация на психологию, генетику человека, на гуманитарное в самом высоком смысле образование, на подготовку наших будущих учителей к самому главному, чего мы от них ждем, — к работе с достойными и свободными юными нашими согражданами.

В. П. Филатов

ОБ ИСТОКАХ ЛЫСЕНКОВЩИНЫ

(Точка зрения философа)

Одним из свидетельств происходящего в стране обновления духовной жизни является расширение и углубление нашего понимания собственной истории. Там, где еще недавно были «белые пятна», проступают сложные и драматические события, в число участников которых вводятся все новые и новые имена. С привычных, казалось бы, самоочевидных исторических картин снимаются напластования, за которыми открываются иные и вовсе не очевидные сюжеты. Среди тем, которые вызвали большой резонанс в общественном сознании в результате такой работы, не последнее место занимает лысенковщина. Романы В. Дудинцева «Белые одежды» и Д. Гранина «Зубр», воспоминания и размышления биологов, материалы о судьбе Н. И. Вавилова переносят нас в трагическую ситуацию в отечественной биологии 30—50-х годов, заставляют задуматься о причинах пусть временного, но все же торжества зла над добром, лжи над правдой в науке — в той области человеческой деятельности, для которой стремление к истине и противостояние невежеству всегда были основным идеалом. Справедливости ради нужно сказать, что нынешние попытки разобраться в феномене лысенковщины — не первые. В 60-е годы биологи и философы опубликовали ряд работ, содержащих обстоятельную критику «учения» Т. Д. Лысенко (см., например, книгу И. Т. Фролова «Генетика и диалектика», вышедшую в «Науке» в 1968 г.). Эти работы сохранили свое значение, и вместе с тем сейчас необходимо продолжение и углубление анализа лысенковщины, прежде всего в сторону изучения ее социально-исторических корней.

Заслуживает ли лысенковщина изучения?

Многим сам вопрос: «Как была возможна лысенковская агробиология?» — по-видимому, может показаться неуместным. Стоит ли изучать в историческом, гносеологическом или социологическом плане «лженаучные догмы лжебиологии Лысенко», заслуживает ли эта бесовщина в науке внимательного и беспристрастного анализа? Представляется, однако, что подобный анализ необходим по ряду причин. Одной лишь характеристики лысенковщины как «лже-» или «псевдонауки» явно недостаточно, поскольку она не походит на обычные псевдонауки, которых было немало в истории познания, в том числе и в XX веке. К тому же масштабы лысенковщины, ее последствия для судеб ученых, огромный урон, принесенный ею авторитету отечественной биологии, а косвенно — и науке в целом, заставляют рассматривать ее как общественно значимый феномен, а не как некое досадное недоразумение, случившееся в нашей истории.

Нужно учитывать и то, что социальный и идейный контекст, в котором возникла лысенковская биология, был достаточно общим, он порождал сходные, хотя и не столь «яркие», явления и в некоторых других научных дисциплинах. Причем есть основания предполагать, что отголоски этого контекста в непроясненном, а потому непроблематичном виде встречаются и в наши дни. Это такое прошлое, которое до конца еще не прошло: оно сохранилось в языке, в стереотипах, в оценках, используемых при обсуждении вопросов о месте науки в культуре и обществе, о связи науки и философии, науки и практики и т. п. Оно дает себя знать в известных феноменах «прирученной» науки, в «академизированной идеологии», выдающей себя за науку, в научно-политических приемах, с помощью которых сторонники тех или иных направлений добиваются монополии в своих научных дисциплинах. Все это говорит о том, что исследование феномена лысенковской агробиологии имеет не только антикварный интерес, оно может послужить достаточно общей задаче демократизации нашей интеллектуальной жизни, критическому преодолению негативных элементов в идейном наследстве, доставшемся нам от 30—40-х годов.

Эта книга — философский альманах. Поэтому уместно задаться вопросом: чем точка зрения философа на лысенковщину может отличаться от отношения к ней писателя или биолога, чем философия может дополнить общую картину обсуждаемых событий. Писатели и публицисты обычно видят в Лысенко воплощение зла и шарлатанства. В конечном счете это так, но нужно заметить, что образ «Распутина в биологии» с трудом совмещается с историческими реалиями. Скорее к Лысенко подходит образ Савонаролы — фанатика, уверовавшего в непогрешимость своих «теорий» и убежденного в том, что он несет процветание советскому земледелию и, следовательно, благосостояние всему народу. Возможно, что в теме зла, вырастающего из благих, но слепых устремлений, и состоит подлинный трагизм как лысенковщины, так и сходных с ней явлений в духовной культуре 30—40-х годов. С другой стороны, сами средства литературы толкают к персонификации зла, тогда как с точки зрения философии, Лысенко — лишь марионетка, выброшенная на сцену сложившейся в 30-е годы причудливой констелляцией идеологических, социальных и научно-политических факторов. Правда, он был ловок и удачлив в использовании этих факторов, но, не будь Лысенко, нашлись бы, видимо, другие кандидаты на роль лидера «творческого советского дарвинизма», ведущего борьбу против «буржуазной генетики» с позиций «диалектико-материалистической биологии» и «передовой науки колхозно-совхозного строя»¹.

Уже с середины 30-х годов ученые-биологи настойчиво боролись с лысенковщиной, лишь единицы из них поддерживали «народного академика». Лженаучность «мичуринской биологии» разоблачалась биологами в целом ряде вышедших и еще ждущих

¹ Одной из важных сторон лысенковщины был особый тип речи, используемый ее сторонниками в публикациях и дискуссиях. Это крайне идеологизированная речь, которая собиралась из определенных штампов, раскавыченных лозунгов, цитат и т. п. Здесь слова теряли свое исходное значение и потому легко превращались в ярлыки, используемые для обозначения любых явлений, в зависимости от ситуации. В дискуссиях с научными оппонентами этот тип речи позволял легко переводить вопрос в «идеологическую и политическую плоскость». Что касается более широкой публики, эта речь деморализовывала людей, ошарашивала и оглушала их восприятие. Не имея возможности обстоятельно цитировать образчики этой речи, мы все же будем включать в текст характерные для нее обороты.

своей публикации работ. И все же некоторые из предлагаемых в этих работах объяснений обсуждаемого феномена нуждаются, на наш взгляд, в коррекции. Так, еще в 50—60-е годы основная роль в возникновении лысенковщины отводилась философам: Деборину, Митину, Презенту. Лысенко же представлял «тупым орудием» в руках этих агрессивных и коварных «марксистов». Нет спору, их роль, особенно Презента, довольно велика. Однако она, как это показано в упомянутой книге И. Т. Фролова, далеко не решающая. Ниже мы еще скажем об этом, здесь же нужно отметить то редко учитываемое биологами обстоятельство, что философия в начале 30-х годов претерпела свою лысенковщину, и те люди, которые обрамляли «мичуринскую биологию» философскими словами, имели столько же прав называться философами, как Лысенко — биологом.

Несколько упрощающим ситуацию представляется и объяснение лысенковщины как результата борьбы за власть, за роль лидера в биологии между Н. И. Вавиловым и Лысенко с использованием со стороны последнего чуждых науке приемов¹. Действительно, Вавилов победил бы, если бы дискуссии шли «с соблюдением всех норм научной этики, правил чести». Но остается вопрос — почему эти нормы не соблюдались? Вопрос, на который трудно ответить, ограничивая дело внутринаучной борьбой направлений и школ.

В своих воспоминаниях Н. П. Дубинин объясняет поражение генетики тем, что в ней в 30-е годы сложился кризис, который недооценили старые кадры — Кольцов, Вавилов, Серебровский, Филипченко и другие, не предпринявшие диалектической критики метафизических концепций евгеники, автогенеза и т. п. Этим воспользовались противники: «...нашлись люди, которые в пылу борьбы вслед за действительно обветшалыми понятиями пытались выбросить в мусорную яму истории все основы генетики»². Причем эти люди — Лысенко и его сподвижники — активно поддерживали задачу переделки природы на благо социализма, тогда как в вавиловском направлении дело с практическим применением генетики затягивалось.

¹ См.: Шумный В. За истину в науке // Наука и жизнь. 1987. № 12. С. 62—65.

² Дубинин Н. П. Вечное движение. М., 1973. С. 113.

Причина заключается, таким образом, в том, что генетика вовремя не проделала реконструкцию на диалектико-материалистической основе и поплатилась за это тем, что не вынесла атак людей, которые осуществили эту реконструкцию, пусть и сомнительным образом. Определенный резон в таком объяснении есть, однако представляется, что в свете нового понимания нашей истории этого периода мы уже не можем выдавать нужду за добродетель и пытаться объяснить обсуждаемый феномен с помощью таких представлений, которые активно использовались внутри его самого.

На более глубокие причины событий указывает В. А. Александров: «Трагедия, постигшая в тридцатых — пятидесятых годах советскую биологию, произошла из-за того, что ее использовали как фронт идеологической борьбы и противопоставляли советскую биологию «буржуазной». Были тогда попытки привлечь к политической борьбе и другие науки — физику, химию, но физикам и химикам удалось отбить эти атаки... Были свои причины, почему среди естественных наук именно на биологию пал этот тяжкий жребий. Она ближе других естественнонаучных дисциплин стоит к гуманитарным наукам, основой которых служит партийность. К ней примыкает комплекс агрономических и зоотехнических наук, от которых инстанции ждали спасения нашего разрушенного сельского хозяйства и, как тяжелобольной, готовы были довериться любому знахарю. В области биологии выдать себя за специалиста гораздо легче, чем в математике, астрономии или физике»¹.

В качестве первого приближения это объяснение представляется верным, и в дальнейшем мы попытаемся конкретизировать его и дополнить некоторыми менее очевидными чертами. Целесообразно также, чтобы яснее был ход дальнейших рассуждений, обозначить основную характеристику лысенковской «агробиологии». Это непростой вопрос. Обычно ее характеризуют как лженауку или фальсификацию науки. Однако первый термин мало что говорит, а фальсификация предполагает намеренный обман, которого, судя по всему, не было в деятельности Лысенко, по

¹ Александров В. Трудные годы советской биологии // Знание — сила. 1987. № 10. С. 72.

крайней мере в довоенное время. Несхожа лысенковщина и с «псевдонаукой», хотя у нее есть некоторые общие черты с типичными псевдонауками и прошлого, и наших дней. На наш взгляд, имеющихся понятий (кроме названных в социологии знания используются также понятия «паранаука», «девиантная наука», «альтернативная наука») явно недостает для обозначения этого уникального феномена. Но если все же исходить из имеющегося инструментария, то, как представляется, предпочтительнее всего характеризовать это «учение» как «гипертрофированную вульгарную науку». Понятием «вульгарная наука», как известно, пользовался К. Маркс для обозначения политико-экономических учений, соединяющих в себе определенное экономическое знание с апологетикой складывающихся вне науки классово-практических интересов господствующих слоев общества. Здесь нет прямой аналогии (поскольку существенно отличны области науки и социальный контекст), однако сходный аспект вульгаризации явно присутствует в лысенковщине. Кроме того, последняя вульгарна еще в двух смыслах этого термина: в смысле упрощенности, пошлости (подобно тому, как мы говорим о вульгарном социологизме или вульгарном материализме, элементы которых, кстати сказать, активно использовались в лысенковщине) и в смысле «популярности», «народности», игравших в ней очень существенную роль. На степень же (гипертрофированную) вульгаризации «народного мичуринского дарвинизма» влияло то, что он был довольно быстро выведен из-под научной критики и пользовался прямой и сильной идеологической и политической поддержкой на протяжении многих лет.

На одну ли биологию пал тяжкий жребий?

История научного познания показывает, что в нормальном социально-культурном окружении наука обладает достаточным иммунитетом против процессов вульгаризации. Даже если феномены вульгарной науки пользуются популярностью во внеучебной среде (как обстояло дело, например, с учением Мальтуса), в самой науке, в научном сообществе они подвергаются постоянной критике, оттесняются на периферию

науки и оцениваются как девиантные или псевдонаучные течения. Однако социальная и культурно-гуманитарная «инфраструктура», в которой возникла и распространялась лысенковщина, существенно отличалась от нормальной и резко понижала такой иммунитет.

Как говорилось выше, возникновение лысенковщины нельзя рассматривать только как внутринаучный процесс. В частности, нередко упускается из виду то очевидное обстоятельство, что появлению лысенковщины предшествовали развернувшиеся в конце 20 — начале 30-х годов деструктивные процессы в области культуры и социально-гуманитарной мысли. Эти процессы были во многом аналогичны лысенковскому и подготовили для него организационные образцы, языковые и идейные ресурсы. В нашей литературе эта деструкция социально-гуманитарной мысли еще не получила достаточно полного освещения и оценки, но некоторые ее фактические моменты нельзя не упомянуть, ибо без этого непонятна та почва, на которой могла появиться лысенковщина.

Так, уже к концу 20-х годов интенсивно развивавшиеся до этого исследования в области общей социологии и конкретных социологических дисциплин — социологии труда, быта, социальной психологии, демографии и т. п. — начали сворачиваться. Социология была объявлена «буржуазной псевдонаукой», несовместимой с единственно верным учением об обществе — историческим материализмом. В 1928—1929 годах развернулась экономическая дискуссия, положившая начало борьбе «на два фронта» в политической экономии — против «механической ревизии марксизма», с одной стороны, и против идеализма (позднее «меньшевистствующего») — с другой. Эта борьба практически остановила исследования в области экономики переходного периода и политической экономии социализма в целом (возник даже тезис о том, что плановое социалистическое хозяйство в отличие от капиталистического не может быть предметом теоретического анализа); была разгромлена замечательная школа аграрной экономики А. В. Чайнова (бывшего, кстати говоря, в тесных дружеских отношениях с Н. И. Вавиловым). Издержки коллективизации, голод 1932—1933 годов и другие факторы послужили причиной погрома в экономической статистике — дисципли-

лине, имевшей отмеченные еще В. И. Лениным богатые отечественные традиции.

В это же время происходило разрушение исторической науки — отстранялись от работы известные историки, закрывались журналы, пресекалось преподавание отечественной истории, ликвидировались многочисленные общества по изучению и охране памятников старины. С письмом Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» (1931 г.) утвердились новые принципы пролетарской историографии, суть которых сводилась к тому, что все направления в рабочем и социалистическом движении, в чем-то отклоняющиеся от большевизма (а с 20-х годов фактически от сталинской позиции), являются очагами измены. Эти принципы стали каноном исторических исследований, были развернуты позднее в схему краткого курса «Истории ВКП(б)» и исключили возможность какого-либо критического исследования истории. Тогда же благодаря усилиям Е. Б. Пашуканиса и его последователей насаждался правовой нигилизм под лозунгом «отмирания права» в социалистическом обществе. Сменивший Пашуканиса в качестве лидера правопедания А. Я. Вышинский, как это известно, с успехом довершил разгром права и в теории и на практике. Были пресечены замечательные традиции и школы отечественного языкознания, на место которых водрузилось так называемое «новое учение о языке». Создатель последнего Н. Я. Марр (идею которого о едином наднациональном языке коммунистического общества публично поддержал в 1930 г. Сталин) и его последователи уже в конце 20-х годов стали бороться со своими оппонентами такими средствами, которые весьма напоминают используемые позднее Лысенко¹.

По-видимому, этот перечень можно расширять (так, ниже мы подробнее рассмотрим, что произошло в философии), но и перечисленного достаточно для понимания того, что на рубеже 20—30-х годов началась фронтальная деструкция культуры и социально-гуманитарной мысли. В передовой статье журнала «Естествознание и марксизм» некоторые участки этого фронта описывались так: «Область теории никогда не была нейтральной, никогда не была лишена классово-

¹ См.: *Ларцев В. Евгений Дмитриевич Поливанов: страницы жизни и деятельности.* М., 1988. С. 74—90.

вой основы. Сейчас, в период обострения классовой борьбы, в теории также проявляется сопротивление враждебных пролетариату классовых сил... Так, в теоретической экономике идеология враждебных пролетариату классов выражается в теориях Базаровых, Громанов, Сухановых, Кондратьевых, Рубиных и др. В литературе — в переверзевщине. В области философии мы имеем и открытые выступления явных идеалистов (Лосев, Нуцубидзе и другие) и скрытые формы борьбы с марксистско-ленинской философией под флагом асмусовщины, в виде псевдомарксистского течения Корнилова и его школы в психологии, в виде прикрытой, выступающей под маской ленинизма механистической по существу ревизии ленинизма Обухом и его школой в медицине. Мы имеем общее оживление механистов всех толков (Тимирязев, Варьяш, Обух, Корнилов и др.). В естествознании активизируются также витализм (биологи Берг, Гурвич), махизм (физик Френкель), конвенционализм (математики Каган, Богомолов)... Совершенно очевидно, что никакая теория, в особенности в условиях обостренной классовой борьбы, не может быть свободна от политики... Философия, естественные и математические науки так же партийны, как и науки экономические или исторические»¹.

Хотя события развивались весьма быстро и во многом параллельно в различных областях науки, все же ясно, что «тяжкий жребий» выпал сначала на долю социально-гуманитарных наук и философии. К руководству «научным фронтом» в этих областях пришли «ученые новой формации», проложившие себе путь политическими наветами на коллег и идеологической демагогией, незнакомые с историей своих дисциплин и зарубежной литературой, заменявшие научную работу комментированием партийных постановлений и речей Сталина. Этот тип «сталинского ученого» в полном виде был воплощен в Лысенко, но он не был первым из этой когорты и имел предшественников в сфере социальных наук.

Даже если предположить, что этот деструктивный процесс остановился бы на границе между общественными и естественными науками и не затронул бы био-

¹ За партийность в философии и естествознании // Естествознание и марксизм. 1930. № 2—3. С. III—IV.

логию в большинстве ее разделов, физику (например, борьба с «физическим идеализмом» в теории относительности и квантовой механике, гонения на так называемое отечественное ответвление копенгагенской школы — Ландау, критика ряда крупных физиков — Тамма, Френкеля и др.), математику (например, преследование основателей московской математической школы — академиков Егорова и Лузина), то и тогда его последствия были бы весьма негативными. Сейчас мы много пишем о том, какое важное эвристическое значение для развития науки имеют философские идеи, гуманитарная мысль, духовная культура в целом. И редко задумываемся над тем, какие следствия для науки может повлечь деструкция этой духовной культуры. А между тем это не проходит бесследно для естественных наук, даже если их минует обсуждаемый «тяжкий жребий» или коснется лишь вскользь. В. И. Вернадский, много и со всех сторон размышлявший над включенностью естествознания в общий духовный контекст эпохи, еще в начале века высказал очень ясную и, как оказалось, пророческую мысль: «Если мы хотим понять рост и развитие науки (имеется в виду естествознание.— В. Ф.), мы неизбежно должны принять во внимание и все эти другие проявления духовной жизни человечества. Уничтожение или прекращение одной какой-либо деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой. Прекращение деятельности человека в области ли искусства, религии, философии или общественной мысли не может не отразиться болезненным, может быть, подавляющим образом на науке»¹.

Та деструкция культуры, социально-гуманитарной мысли, которой наше общество обязано сталинизму, вне всякого сомнения, именно так сказала на развитии науки. Лишь в подобной атмосфере могла возникнуть и существовать и та крайняя форма вульгаризации науки, которую представляла собой «творческая агробиология» Лысенко².

¹ Вернадский В. И. Избр. труды по истории науки. М., 1981. С. 50—51.

² По иронии судьбы Лысенко начинал свои опыты с гороха, что позволило затем «придворным историографам» раскрасить его путь в науке такими перлами: «тот самый горох, в котором монах Мендель искал подтверждения своего метафизического «закона» неизменяемой наследственности, навел молодого специалиста Ганджинской селекционной станции большевика Лысенко на

*В тисках между «механицизмом»
и «меньшевистствующим идеализмом»*

Во второй половине 20-х годов, когда мало кому еще известный Лысенко проводил в Азербайджане свои «эпохальные» опыты по переделке озимых сортов в яровые, в Москве и других крупных научных центрах уже началась работа по «социалистической реконструкции» биологии, по выправлению в ней «генеральной линии», по «внедрению в нее диалектического метода». На первом этапе этой работы в ней активную роль играла философия, в которой происходили жаркие дискуссии в борьбе за лидерство на «философском фронте». Итогом этой борьбы, закончившейся в 1930 году, стало безраздельное господство философии сталинской эпохи — крайне идеологизированного и вульгаризированного марксизма без Маркса, представляющего собой, по сути дела, упрощение и ревизию марксистско-ленинского учения во всех его основных пунктах. Когда же была поставлена задача по «внедрению» подобного диалектического материализма в естествознание, то быстро обнаружилось, что подлинная наука имеет мало шансов соответствовать подобной философии, тогда как такие монстры, как «мичуринская агробиология», вполне укладывались в прокрустово ложе последней и получали в результате сильную идеологическую, а затем и политическую поддержку¹.

Сердцевиной философских споров второй половины 20-х годов была дискуссия «механистов» (И. И. Скворцов-Степанов, А. К. Тимирязев и дру-

путь совершенно иных исканий, увенчавшихся крупнейшей победой диалектико-материалистического метода познания» (Александров Б. А. Творцы передовой биологической науки. К. А. Тимирязев, И. В. Мичурин, В. Р. Вильямс, Т. Д. Лысенко. М., 1949. С. 149).

¹ В связи с этим следует отметить важное обстоятельство, касающееся отношения философов к лысенковщине. Настоящие философы не поддерживали ее, к тому же они не в меньшей степени, чем генетики, пострадали в рассматриваемый здесь период — многие из них были репрессированы, уцелевшие уходили в психологию, в филологию или вообще прекращали научную деятельность. В этом смысле очень символичным является то, что Н. И. Вавилов оказался в саратовской тюрьме в одной камере с философом И. К. Лупполом, а Лысенко в неприятный для него момент укрылся в кабинете одного из лидеров «сталинской философии» — М. Б. Митина.

гие) и группы «диалектиков» во главе с А. М. Дебориным. Теоретический уровень этой дискуссии был весьма невысок¹, к тому же в ней быстро вошли в оборот политические ярлыки: стороны начали обвинять друг друга в махизме и ликвидаторстве, идеализме и витализме, в отрыве от практики социалистического строительства и выражении идеологии кулачества и нэпманской буржуазии. В целом «механисты» стояли на позициях естественнонаучного материализма, а в отношении биологии отстаивали принципы умеренного редукционизма, значимость эмпирических, физико-химических методов исследования. Деборин и его сторонники от имени диалектики подвергали такую установку, а вслед за ней и «формально-логическое», «метафизическое» естествознание резкой критике. Они отстаивали тезисы, которые потом стали своего рода догмами, нередко воспроизводимыми и теперь. К их числу относятся положения о том, что естествознание должно спонтанно рождать диалектику, что кризисы в науке связаны с тем, что ученые не осваивают сознательно диалектический метод. Последний объявлялся ими единственно верным методом научного исследования, тогда как эмпирический метод и формальная логика трактовались как ограниченные и ошибочные. В целом они требовали от ученых и философов новой, диалектической науки, а тех, кто не разделял этого требования, объявляли «метафизиками», сторонниками буржуазной идеологии и т. п.

Следует отметить, что диалектики слабо разбирались в естественнонаучном материале² и их методы борьбы были в основном цитатными. Однако в это время идеологический напор уже брал верх над рациональными аргументами; в 1929 году «механисты-метафизики» были официально осуждены на конфе-

¹ См., например: *Деборин А.* Диалектика и естествознание. М.—Л., 1929; *Степанов И. И.* Диалектический материализм и деборинская школа. М.—Л., 1928.

² Это было признано даже в резолюции по докладу О. Ю. Шмидта, подводившего итоги победы «диалектиков» над «механистами»: «Борьба диалектиков и механистов, ввиду отсутствия в лагере диалектиков подготовленных естественников, вначале получила форму дискуссии между философами, с одной стороны, и естествоиспытателями — с другой. Рост наших собственных кадров вскоре, однако, изменил ситуацию, и борьба перекинулась в лагерь самих естественников» (Естествознание и марксизм. 1929. № 3. С. 213).

ренции Коммунистической академии. Но и деборинцы недолго стояли во главе философского фронта. В 1930 году группа молодых активистов Института красной профессуры во главе с М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным выступила против деборинцев, обвинив их в недостатке партийности. В беседе на бюро партячейки института Сталин поддержал это выступление, квалифицировав Деборина и его сторонников как «меньшевиствующих идеалистов». В официальной резолюции отмечалось, что работы последних содержат каутскианские ошибки в вопросе о диктатуре пролетариата, правооппортунистические взгляды по вопросам культуры, богдановские ошибки по вопросам коллективизации, полутроцкистские ошибки в вопросах классовой борьбы, идеалистические ошибки в понимании диалектики.

Однако и после разгрома деборинцев механицизм (а косвенно — и большинство ученых, скептически настроенных к вульгарным требованиям немедленно «диалектизироваться»¹) продолжал оставаться «главной опасностью» на пути «социалистической реконструкции науки». Этот разгром привел к сворачиванию неплохих исследований по истории диалектики и истории философии, которым в деборинском окружении уделяли большое внимание, справедливо подчеркивая связи марксизма с предшествующей философией. Стиль хлесткой, но малоквалифицированной критики «метафизической» науки прочно вошел в арсенал новых лидеров философского фронта. С их воцарением незыблемо утвердился «сталинский диамат», по своему уровню недостойный названия философии, неве-

¹ Это настроение хорошо выражено известным в те годы биологом А. Ф. Самойловым. Включившись в описанную дискуссию, он говорил, что «диалектики» должны «на деле доказать, что они, применяя диалектическое мышление, диалектический метод, в состоянии пойти дальше, скорее, с меньшей затратой труда, чем те, которые идут иным путем. Если они это докажут, то этим без всякой борьбы, без излишней бесплодной оскорбительной полемики диалектический метод завоюет себе свое место в естествознании. Естествоиспытатель прежде всего не упрям. Он пользуется своим теперешним методом только и единственно потому, что его метод есть метод единственный. Такого естествоиспытателя, который желал бы пользоваться худшим методом, а не лучшим, нет на свете. Докажите на деле, что диалектический метод ведет скорее к цели, — завтра же вы не найдете ни одного естествоиспытателя не диалектика» (Самойлов А. Ф. Диалектика природы и естествознание // Под знаменем марксизма. 1926, № 4—5. С. 81).

жественно-агрессивный в отношении к любым проявлениям настоящей культуры и атмосфере свободного научного поиска.

Между тем именно его представители, а главное, те «собственные кадры» в «лагере естественников», которые быстро освоили этот нехитрый «идейный» арсенал, возглавили работу по реконструкции науки. В частности, они в 1930—1931 годах пришли к руководству ранее созданных обществ биологов-материалистов, врачей-материалистов, физиков и математиков-материалистов и т. п. С этого времени ситуация стала меняться. Борьба, в соответствии с приведенной оценкой О. Ю. Шмидта, действительно «уже перекинулась в лагерь самих естественников». Не следует, разумеется, думать, что эта борьба парализовала все естественнонаучные дисциплины, что везде стала появляться лысенковщина. Наука есть наука, в ней существуют стандарты научности, от которых ученые предпочитают не отходить даже при сильном социальном давлении. Физики, математики, химики, представители других дисциплин находили способы (отсылки к оборонной или экономической значимости исследований, дежурную риторику, прикрытие признанными авторитетами в науке, уход от идеологических споров и т. п.) для сохранения научных школ и плодотворных традиций. Но в биологии этот напор, по-видимому, было сдержатъ труднее всего в первую очередь из-за катастрофических социально-политических процессов, развернувшихся в сельском хозяйстве страны в 30-е годы. Реконструкция науки здесь сразу же стала приобретать серьезный оборот.

В плане работы общества биологов на 1931 год записано: «Важнейшей задачей общества биологов-марксистов является разработка совместно с БИКА (Биологический институт Коммунистической академии) большевистской реконструкции биологии. Эта основная задача должна пронизать все содержание работы общества и всех его бригад, проводимой на основе широкого развертывания подлинной коллективности, соцсоревнования и ударничества»¹. Дискуссия на общем собрании общества биологов Комакадемии в 1931 году вообще очень поучительна и являет собой

¹ Против механического материализма и меньшевистствующего идеализма в биологии. М.—Л., 1931. С. 92.

как бы прообраз всех последующих дискуссий и событий в биологии. Лысенко еще нет в списках «ударников» и «бригадиров» не только центрального, но и украинского (к этому времени он уже перебрался в Одессу) общества биологов-марксистов. Как, впрочем, нет в этих списках и философов. Но все задачи, которые Лысенко решал, уже предопределены: критика «вейсманизма» и «морганизма», борьба с «буржуазным» и даже «социал-демократическим (!) естествознанием», разоблачение основных отечественных биологических школ, создание особой социалистической биологии на основе, которую дает «наше коллективизированное сельское хозяйство для всех ветвей теоретической биологии»¹.

Причем намечены эти задачи довольно конкретно. В докладе нового председателя общества Б. П. Токина (печально известного своим поведением на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.) и в принятой резолюции к числу важнейших задач реконструкции биологии относится разоблачение «школ и лиц», стоящих на позициях механицизма, идеализма и буржуазной идеологии: «В развитии биологии в СССР мы имели и имеем ярко выраженные буржуазные направления, течения, школы. Совершенно необходимо организовать разоблачение идеалистических концепций А. Гурвича, Любищева, Беклемишева, Берга, Соболева и др., так же как и механистических школ и концепций Н. Кольцова, М. Завадовского, И. Павлова, П. Лазарева, А. Самойлова. Необходима борьба с ламаркистскими направлениями типа Богданова, Е. Смирнова, вместе с решительной борьбой против автогенетической концепции Филипченко и др., а также по существу автогенетических концепций Серебровского, Левита, Левина, Агола и др.»². Сказано — сделано, принимается решение организовать специальные «бригады» по разбору работ Кольцова, Лазарева, Самойлова, Серебровского. В своем докладе Токин сокрушается, что «до сих пор мы имеем «святое» невмешательство в основные методологические установки Вавилова. Но общество не выполнило бы своих задач, если бы свою работу строило мимо Нарком-

¹ Против механического материализма и меньшевистствующего идеализма в биологии. М.— Л., 1931. С. 85.

² Там же. С. 89.

зема»¹. И утверждается особая бригада для работы «по методологическому контролю над существующей и развертываемой сетью научно-исследовательских учреждений, входящих в состав Наркомзема (прежде всего ВАСХНИЛ)»².

Образ Лысенко уже как бы витает над биологией. Во время дискуссии, в которой участвовал целый ряд ведущих биологов тех лет (Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский и др.), звучали сомнения в возможности развития биологии в том случае, если основные отечественные школы вместе с их лидерами будут разоблачены как буржуазные, метафизические и т. п. На это руководитель общества заявил: «Пусть пролетарская молодежь и действительно преданные пролетариату специалисты не поддаются этим мещанским воплям. При всех поворотах находятся группы мещан, которые говорят об этом. Мы не будем этого бояться и не будем слушаться Вермелей и Смирновых, которые никак не могут найти людей, которых они могли бы считать своими авторитетами. Если для них не авторитет мощный, создающийся сейчас коллектив пролетарских научных работников, объединяющийся вокруг Академии, то и без них справится наука, без них справится рабочий класс прекраснейшим образом. Суть не в том, чтобы сейчас указать Иванова или Петрова, за которым нужно идти. Всякий видящий видит — создается мощный пролетарский коллектив научных работников»³. Было бы, пожалуй, нелогично, если бы в подобной ситуации рано или поздно на сцене не возник новый руководитель «биологического фронта» (тем более что начал Токин свой доклад фразой, которая сделала бы честь и самому Лысенко: «Фронт биологии — отсталый фронт») — Иванов, Петров или Лысенко, «за которым нужно идти».

Сказанное наводит на мысль, что истоки проблемы гораздо шире оппозиции между генетикой и механоламаркизмом (к которому обычно причисляют позицию Лысенко) и борьбы биологических школ. Социально-идеологический и научно-политический (имеются в виду задачи реконструкции науки, новых меха-

¹ Против механического материализма и меньшевистствующего идеализма в биологии. М.—Л., 1931. С. 12.

² Там же. С. 92. (Н. И. Вавилов в эти годы был президентом ВАСХНИЛ.)

³ Там же. С. 85.

низмов формирования и организации научного сообщества, очистки последнего от старых кадров и т. п.) контекст складывался так, что гипотетически можно даже предположить (рискуя, конечно, вызвать праведную критику), что и на основе генетики, получи она в этом контексте поддержку, могли бы развернуться события, сходные с лысенковскими. Некоторые ростки этого проявлялись, когда генетика еще не оценивалась как «формальная, буржуазная лженаука». Так, в «Задачах общества врачей-материалистов в период социалистической реконструкции» (1930 г.) говорится, что «механистические теории в медицине и смежных с ней областях конкретизируются главным образом по линии ламаркизма и признания адекватного наследования благоприобретенных признаков» (то есть позиции Лысенко.— В. Ф.), тогда как «сугубое значение для коренной реформы многих теоретических основ патологии приобретают генетика и смежная с последней механика развития»¹. В свете этого ставятся задачи «улучшения генотипа» в целях «максимального развития творческих возможностей грудящихся масс», разработки «основ социалистической евгеники» с учетом того, «что лишь коммунистическое общество создает действительно благодарную почву для активных евгенических мероприятий»².

Разумеется, можно лишь гадать, к чему бы привели в то время активные евгенические мероприятия, будь они развернуты. Все же в сложившемся контексте сама логика событий вела к тому, что менделевская генетика должна была оказаться «механистической», «метафизической», «формальной» наукой, подлежащей критике и запрету. Дело в том, что генетические исследования, начатые Менделем и продолженные его последователями, в том числе и в СССР в 20—30-е годы, и в самом деле были в определенном смысле «механистическими», если не придавать этому понятию только негативный смысл. Менделем была инициирована первая в биологии научно-исследовательская программа, в которой был успешно реализован «галилеевско-ньютонский» (и в этом смысле — механистический) стиль мышления, с характерными для него нормами аналитизма, точного контро-

¹ Естествознание и марксизм. 1930. № 1 (5). С. 209, 208.

² Там же. С. 208, 209.

лируемого эксперимента, использования математического языка и т. п.¹ Развитие различных научных дисциплин происходит неравномерно, и если в физике в начале XX века «механистический стиль» мышления в ряде аспектов начал обнаруживать свою ограниченность (прежде всего в связи с развитием квантовой теории), то в биологии в это время он, по существу, еще только начал формироваться, и потому борьба с ним объективно отбрасывала биологию к уровню описательного естествознания, натурализма, а в случае с «мичуринской агробиологией» Лысенко — также еще и к элементам более архаического, донаучного типа мышления. И не случайно на дискуссии 1939 года, организованной журналом «Под знаменем марксизма», Н. И. Вавилов говорил Лысенко, что тот своим отрицанием генетики как «формальной», «механистической» концепции тянет биологию назад, в додарвиновские времена, в начало XIX века.

*«Буржуазная генетика»
и «социалистическая агробиология»*

Всякому читавшему работу В. И. Вернадского «Научная мысль как планетное явление», наверное, бросался в глаза тот пафос, с которым замечательный мыслитель подчеркивал сквозную для этой книги мысль об универсальности, «вселенскости», интернациональности науки. Наука, подчеркивает Вернадский, *«одинакова для всех времен, социальных сред и государств»*

¹ Подробно анализ этого см., например: Микитенко Д. А. Взаимодействие генетики с другими науками (философско-методологический анализ). Киев, 1987. С. 6—55. Оценивая роль Менделя, Н. В. Тимофеев-Ресовский отмечал, что уже до него были выявлены многие закономерности наследственности, но они фиксировались в рамках качественного, натуралистического подхода. «Его величие в том, что, зная и учитывая все эти явления, открытые, но точно не проанализированные, он так поставил свои опыты и обработал их результаты, что смог дать точный, количественный анализ наследования и перекомбинирования элементарных наследственных признаков в ряду поколений. Из полученных таким образом экспериментальных данных он смог сформулировать вероятностно-статистические и комбинаторные закономерности наследования и построить гипотезу наследственных факторов и чистоты гамет. В этом Мендель опередил свое время, стал пионером истинного внедрения строгого математического мышления в биологию и создал основу быстро и прекрасного развития генетики в нашем веке» (О Менделе // Бюл. Моск. общества испытателей природы. Отд. биологии. 1965. Т. 70. № 14. С. 20).

венных образований», в ней «несть иудея, ни эллина», в ней «ищутся и вырисовываются новые формы научного братства — внегосударственные организованные формы мировой научной среды», в ней есть «остов, который может считаться общеобязательным и непреложным для всех, не может и не должен возбуждать сомнений»; «есть часть науки общеобязательная и научно истинная. Этим она резко отличается от всякого другого знания и духовного проявления человечества — не зависит ни от эпохи, ни от общественного и государственного строя, ни от народности и языка, ни от индивидуальных различий»¹.

Нет никакого сомнения в том, что этот пафос объясняется не только той ролью, которую Вернадский отводил науке в формировании общечеловеческой ноосферы, но и той деструктивной атмосферой, которая складывалась в науке, философии, духовной культуре в 30-е годы, когда обдумывалась и писалась эта книга². В самых вульгарных и гротескных формах говорилось с трибун и писалось в журналах и книгах о буржуазной математике и пролетарской физике, о социал-демократической науке и социалистической биологии и т. п. и т. д. Эта «кавалеристская атака» на науку не могла не вызывать негативной реакции у честно мыслящих ученых.

Между тем в этой мутной воде Лысенко и его сподвижники (особенно такие, как И. И. Презент) чувствовали себя «как дома», они активно осваивали и выработывали эту вульгарную риторику, а главное, cynично использовали ее как для нападок на своих противников, так и для достижения идеологической и

¹ Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Кн. 2. Научная мысль как планетное явление. М., 1977. С. 60, 68, 77, 85—86.

² В издании 1977 года опущены ясно раскрывающие эту связь пять параграфов работы с той мотивировкой, что «их содержание целиком навеяно нездоровой ситуацией, сложившейся в дискуссии по биологии в СССР в 1936—1938 годах, и спорами по вопросам методики радиобиологии в 1934 г.» (Там же. С. 154). Однако и в недавнем юбилейном издании (Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988) издатели решили, как и прежде, не травмировать читателей «нездоровыми ситуациями». В опущенных фрагментах (они опубликованы в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», 1988, № 1) Вернадский, в частности, подвергает критике то, что мы назвали выше «сталинским диаматом». По-видимому, марксизм все же не нуждается в такой форме защиты, когда даже крайние формы его вульгаризации заботливо выводятся из-под вполне справедливой критики.

политической поддержки своей деятельности. Нет особой нужды говорить о том, какое значение имела такая риторика в условиях «обострения классово-борьбы», нарастающей волны разоблачений «заговоров», «вредительств» и т. п.

Возникает естественный вопрос: как могла сложиться такая риторика и почему в ее рамках агробиология была «социалистической», а генетика «буржуазной»? Чтобы понять это, следует сделать небольшое отступление. Общепринято (в том числе и в «буржуазной» социологии знания), что в работах Маркса содержится сложная и развернутая концепция социальной природы и социальной детерминации сознания и различных форм духовного производства. Применительно к рассматриваемой проблеме суть этой концепции состоит в следующем. Буржуазными или социалистическими, по Марксу, могут быть определенные уровни повседневно-практического сознания, классовое сознание, идеология и то, что он называл «вульгарной наукой»¹. Наука как таковая, будь то естественная, будь то гуманитарная, не является формой идеологии или классового сознания. Наука есть форма «свободного духовного производства», «всеоб-

¹ «Вульгарные экономисты — их надо строго отличать от экономистов-исследователей, являвшихся предметом нашей критики, — фактически переводят [на язык политической экономии] представления, мотивы и т. д. находящиеся в плену у капиталистического производства носителей его, представления и мотивы, в которых капиталистическое производство отражается лишь в своей поверхностной видимости. Они переводят их на доктринерский язык, но с точки зрения господствующей части [общества], капиталистов, и поэтому не наивно и объективно, а апологетически» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 471). Наиболее яркой фигурой вульгарной науки Маркс считал Мальтуса. «Этот негодяй, — пишет о нем Маркс, — извлекает из добытых уже наукой (и всякий раз им украденных) предположений только такие выводы, которые «приятны» (полезны) аристократии против буржуазии и им обеим — против пролетариата; он стремится «приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами». «И ради этой цели он фальсифицирует свои выводы в области науки. В этом его низость в отношении науки, его грех против науки, не говоря уже о его бесстыдном плагиаторстве, практикуемом им в качестве ремесла» (Там же. Т. 26. Ч. II. С. 124—125). Как представляется, большинство из этих характеристик, с понятными поправками на время и социальный контекст, применимо к научной деятельности Т. Д. Лысенко и его приспешников.

щего труда», обладающая собственным типом социальности и связанная с социально-культурной сферой существенно иначе, чем названные выше формы сознания. Поэтому если идеология может быть «немецкой», «буржуазной», «пролетарской» и т. п., то в точном смысле понятий не может быть науки «буржуазной», «социал-демократической», «пролетарской» или «русской», — наука имеет всеобщий характер, в ней действительно «несть иудея, ни эллина».

Резкая отповедь вульгарному социологизму дана В. И. Лениным в замечаниях на полях книги В. Шулятикова, в которой автор предпринял попытку изобразить западноевропейскую философию (не говоря уже о науке) как прямой идеологический рефлекс буржуазного общества. Ленин постоянно отмечает: «...экий вздор!», а в конце делает вывод: «Вся книга — пример безмерного опошления материализма»¹.

Из материалов различных философских и биологических дискуссий 30-х годов можно привести сколько угодно примеров, в сравнении с которыми шулятиковский вульгарный социологизм выглядит невинной забавой. Многие биологи, руководители общества биологов-марксистов (а также и активисты смежных с ним обществ физиков, математиков — А. А. Максимов, Э. Кольман и другие) все глубже увязали в таком опошлении и науки, и марксизма. Пролеткультовский дух и вульгарно-социологическая риторика буквально хлынули в статьи и книги, посвященные проблемам науки и вопросам ее отношения с обществом, практикой и т. п.

По каким же основным направлениям шла эта вульгаризация? В откровенной по своей наивности и пошлости форме они выражены, например, в статье В. Егоршина (которую мы приводим лишь как типичный образчик такого рода представлений) еще в 20-е годы. Трактую естествознание как идеологию в его теоретической части и как технику — в прикладной, он мыслимыми и немыслимыми способами «доказывает» следующие положения, вынесенные им в названия разделов статьи: «Философия управляет естествоиспытателями», «Естествознание как идеология», «Классовый характер естествознания», «Партийность в естествознании». На вопрос о функциях естествознания этот

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 474.

«марксист» отвечает: «Основных функций у него две: во-первых, удовлетворять потребности техники и, во-вторых, служить укреплению идеологии соответствующего класса»¹.

Внешне не очень заметную, но крайне существенную роль сыграла ревизия ленинского положения о том, что мировоззрением подавляющего большинства ученых является стихийный материализм. Нет нужды говорить о важности этого тезиса, положенного в основу ленинской программы союза марксистской философии и естествознания. Между тем уже к концу 20-х годов этот тезис был существенно извращен, из публикации в публикацию начала кочевать идея, что зарубежные ученые — а вслед за ними и советские естествовники, не отвергающие теорий «буржуазных» ученых, — в подавляющем большинстве переметнулись в идеалистический лагерь. Мысль эта стала настолько общепринятой (она «обосновывается» в статьях О. Ю. Шмидта, Э. Кольмана, А. А. Максимова и других), что была закреплена в резолюции Комакадемии «Задачи марксистов в области естествознания»: «Ленин отличал «стихийных материалистов», к которым в то время принадлежало большинство экспериментаторов (о теоретиках речь не идет — как идеологи, они однозначно оказываются идеалистами.— В. Ф.), от идеалистов, махистов и пр. В настоящее время это деление осложняется, с одной стороны, под влиянием накопления нового фактического материала, с которым теории не справляются, а с другой — под влиянием политической обстановки после войны и революции. Классово-политические причины заставили большинство ученых проделать поворот вправо, в сторону явно-го идеализма»².

Сейчас уже непросто разобраться, кто именно из представителей научного и философского «фронта» вводил в оборот названные здесь и подобные им положения, извращающие марксистскую концепцию науки. Существенно то, что в 30—40-е годы они прочно вошли в арсенал «ученых» и «философов» сталинской формации, позволяли им легко переводить научные споры в плоскость борьбы с идеализмом, классовой

¹ *Егоршин В.* Естествознание и классовая борьба // Под знаменем марксизма. 1926. № 6. С. 112.

² Естествознание и марксизм. 1929. № 3. С. 212.

борьбы с буржуазной наукой и проведения «генеральной линии партии в естествознании».

В то время как с середины 20-х годов в мировой науке, особенно в физике, в биологии и смежных с ними дисциплинах, начался период бурного теоретического прогресса, эти борцы за «социалистическое естествознание» твердили о продолжении и углублении кризиса «буржуазной науки», о ее неспособности дать подлинно научное объяснение открываемым фактам и т. п. Эта демагогия сказывалась и на практике: свертывались международные связи (сохранение их ставилось в вину, как это было, например, в случае с Н. И. Вавиловым), ограничивался доступ к зарубежной литературе, изымались из преподавания те или иные разделы науки и т. п. Настоящие ученые, конечно, осознавали всю пагубность этой нарастающей изоляции от мировой науки, третирования взглядов многих выдающихся зарубежных ученых как идеалистических, лженаучных. Они не могли заставить себя, как этого требовали Митин, Лысенко, Презент и другие «сталинские ученые», осуждать взгляды зарубежных коллег, с которыми их связывала общность теоретических позиций. В своем выступлении на дискуссии по генетике и селекции в 1939 году Н. И. Вавилов, очертив огромный фактический материал, подтверждающий достоверность законов генетики, обращался к аудитории: «Нам, научным работникам, для которых дорога истина и которые посвятили себя науке, нелегко отказаться от наших воззрений. Вы поймете всю трудность положения, ибо то, что мы защищаем, есть результат огромной творческой работы, точных экспериментов, советской и заграничной практики»¹.

Между тем и политическое давление, и конъюнктурные соображения, и особенности формирования научного сообщества тех лет (о чем пойдет речь ниже) деформировали позиции многих биологов. Над обществом ученых как бы навис вопрос, который волновал в те же годы одного из героев платоновского «Котлована»: «Не есть ли истина лишь классовый враг?»²

В наиболее гипертрофированной форме это вульгарное расчленение науки по классовым, идеологичес-

¹ Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 139.

² Новый мир. 1987. № 6. С. 69.

ким, национальным принципам и соответственно прямая политическая поддержка «творческого советского дарвинизма» проявились на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда «классовость и партийность естествознания» приняли форму прямого контроля взглядов ученых. В. Александров приводит очень характерное в этом плане заявление генетика А. Р. Жебрака, долго и стойко боровшегося против лысенковщины: «До тех пор, пока нашей партией признавались оба направления в советской генетике и споры между этими направлениями рассматривались как творческие дискуссии по теоретическим вопросам современной науки, помогающие в споре найти истину, я настойчиво отстаивал свои взгляды, которые по частным вопросам расходились со взглядами академика Лысенко. Но теперь, после того как мне стало ясно, что основные положения мичуринского направления в советской генетике одобрены ЦК ВКП(б), то я, как член партии, не считаю для себя возможным оставаться на тех позициях, которые признаны ошибочными Центральным Комитетом нашей партии»¹.

Сказанное все же лишь отчасти объясняет, почему именно лысенковская агробиология оказалась идеологически и классово приемлемой, а генетика — классово чуждой, «буржуазной» в социальном контексте 30—40-х годов. Чтобы сделать это объяснение более полным, нужно обратить внимание на еще один пласт проблемы, который обычно остается в тени, а если и упоминается, то с оттенком иронии. Речь идет о «народности» лысенковской агробиологии.

*«Народная наука» колхозно-совхозного строя
против «кастовой», «профессорской» генетики*

Конечно, непросто тягаться с писателями и публицистами, высмеивающими шитую белыми нитками псевдонародность «народного академика» Т. Д. Лысенко. И мы не собираемся этого делать, хотя трудно удержаться от того замечания, что 40—50 лет назад хватало литераторов, с умилением описывающих борьбу этого «народного» ученого, прокладывавшего новаторские пути ударникам колхозно-совхозного фронта и вдохновлявшего своим примером несметные отряды

¹ Знание — сила. 1987. № 10. С. 77.

юных мичуринцев. И не была ли роль этих «мастеров пера» в возникновении феномена Лысенко не менее значимой, чем роль Митина, Презента и других? Ведь в инстанциях читали не только наводящие тоску писания философских мичуринцев, там читали книги и смотрели фильмы, полные бодрящих душу сюжетов о победах шагающих по полям молодцов в косоворотках над замкнувшимися в лабораториях консерваторами в галстуках и пенсне.

Но есть и иной аспект «народности», связанный с социально-философскими проблемами отношения науки и практики, институциональных структур науки, взаимосвязи различных типов знания, в том числе специализированного научного знания и опыта практической селекции, собственно науки и так называемой народной науки — народной агрикультуры, донаучного искусства селекции животных и т. п. Сторонники Лысенко тонко сыграли на идеологических и политических аспектах этих сложных взаимоотношений, в результате чего их «народная мичуринская агробиология колхозно-совхозного строя» стала выглядеть предпочтительнее «лабораторной», «профессорской» генетики в социально-политическом контексте 30-х годов.

Здесь будут рассмотрены лишь некоторые стороны этого вопроса, причем следует отметить, что ряд выводов носит предположительный характер и нуждается в дальнейшем анализе и обосновании.

Прежде всего следует иметь в виду, что в дискуссиях тех лет сошлись (помимо идеологии) три типа знания, достаточно отличные друг от друга по своим источникам, образам и структуре. Во-первых, это *практическое знание селекционеров*, не использовавших в своей работе методов генетики и опиравшихся прежде всего на накопленный с годами опыт селекции растений и животных. Одним из представителей подобной практической селекции (которую можно, правда с очень большими оговорками, квалифицировать как «народную науку») был И. В. Мичурин (1855—1935). Во-вторых, это *дарвинизм*, сохранивший от классического натурализма XIX века стиль описательного, синтетического естествознания. Причем благодаря многочисленным комментаторам и пропагандистам в XX веке дарвинизм во многом превратился в «популярную науку», и, что также важно, в общественном сознании он предстал неразрывно связанным с марксистским

учением о развитии в качестве одной из его естественнонаучных основ. В-третьих, это *генетика*, которая, как уже отмечалось, была первой в биологии научной программой, реализовавшей точный, экспериментально-математический, аналитический стиль мышления. Лысенковское «учение» создавалось и развивалось в этом контексте как идеологически ориентированная смесь вульгаризированного дарвинизма с перетолкованными и возведенными на «теоретический» уровень мичуринскими методиками и некоторыми приемами традиционной народной агрикультуры.

Чтобы понять, почему такое «учение» могло возобладать над генетикой, нужно учесть несколько обстоятельств. Существенно то, что большинство крупнейших представителей ранней генетики — де Фриз, Йогансен, Бэтсон и другие — занимали антидарвинистские позиции, что в глазах «биологов-марксистов» бросало тень и на их советских коллег. Важно также то, что генетика в первой трети XX века разрабатывалась в основном как фундаментальная дисциплина: опыты велись прежде всего на удобных ученым, но лишенных практического значения объектах (печально известные дрозофилы), еще не была создана разветвленная «сеть» практически ориентированных теорий и методик, связывающих основные законы генетики с реальной работой селекционеров.

В ситуации 30-х годов, когда тезис о единстве теории и практики понимался буквально и вульгарно — как возможность прямого и немедленного практического воплощения теории, когда в сельском хозяйстве насаждалась атмосфера «ударничества», требовавшая многократного увеличения урожаев и прочих чудес на полях и фермах, положение генетики стало весьма уязвимым. Как всякая настоящая наука, она не только обещала определенные практические достижения, но и отрезвляла человеческий разум — налагала определенные запреты на возможности преобразования живой природы и остерегала людей от неоправданного ожидания чудес в этой сфере деятельности.

Этот реализм, свойственный научному мышлению, казался чуждым и подозрительным тем, кто жаждал немедленных успехов и требовал от ученых простых и чудодейственных технологий, кто насаждал идеологему грандиозного преобразования природы по социалистическому плану. В этом контексте уже с 20-х годов

начала проявляться чрезмерная поддержка альтернативных академической науке форм знания и практики. В кругу последних оказалось и практическое искусство селекции И. В. Мичурина. Его длительная и упорная работа с плодовыми растениями дала в результате оригинальный сплав знания и практического мастерства, отличающийся от обычного научного знания и сближающийся с тем, что можно назвать «народной наукой» наших дней¹. В 20—30-е годы деятельность Мичурина была замечена и получила сильную социально-политическую поддержку: он получал телеграммы вождей партии и правительственные награды, его питомник посещали руководители государства, в 1932 году город Козлов был переименован в Мичуринск и в нем был создан научный и учебный центр для распространения идей Мичурина, еще при жизни получившего титул «великого преобразователя природы»². По-видимому, — субъективно — мотивы Мичурина были вполне благородны, но объективно в его работах, выступлениях, приветствиях и т. п. постепен-

¹ Разумеется, мичуринское учение заметно отличается от народной агрокультуры как таковой. Последняя есть результат многовекового коллективного опыта, причем она неразрывно связана с религиозным мировоззрением, с обрядами традиционной крестьянской жизни, со всей системой народных земледельческих технологий (см., например: *Селиванов В. В.* Год русского земледельца // Письма из деревни. Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века. М., 1987. С. 24—145). Вместе с тем при внимательном чтении в работах Мичурина и Лысенко можно обнаружить многие отзвуки традиционного земледельческого сознания: мистики земли, восприятия природы как органической игры целостных стихий и качеств (земли, света, холода, тепла и т. п.), антропоморфизации растительного мира и даже осмысления его жизни в духе леви-брюлевских партиципаций, оформления «законов природы» в форме емких афоризмов, что характерно и для народной агрокультуры.

² В результате образ Мичурина был очень быстро канонизирован, и апелляции к нему стали играть важную роль в научно-политических дискуссиях тех лет. Так, на дискуссии 1939 года М. Б. Митин говорил: «Вопрос об отношении к Мичурину, к мичуринскому наследству, к развитию его работ имеет чрезвычайно большое значение. Мичурин — очень серьезное и очень глубокое явление в биологической науке. Мичурин прокладывал новые пути в науке. Наша партия называет его великим преобразователем природы. Вы знаете, что наша партия очень высоко ценит науку, что она очень строго подходит к оценке роли и деятельности тех или других представителей науки, и если большевистская партия называет Мичурина великим преобразователем природы, то это много значит» (*Митин М.* За передовую советскую генетическую науку // Под знаменем марксизма. 1939. № 10. С. 172).

но нарастала тенденция к вульгаризации образа науки, в них нетрудно найти многие наметки тех идейных ресурсов, которые послужили Лысенко в его борьбе с генетикой¹. Гипертрофированная поддержка вольно или невольно подталкивала Мичурина к противопоставлению своего практического искусства селекции как подлинно «народной» науки, способной «войти в каждую хату», науке профессоров, опирающихся на узкий «лабораторный» опыт, оторванный от естественной жизни природы. Мичурин и его последователи подталкивались к тому, чтобы эта «народная селекция» имитировала структуру академической дисциплины с ее курсами и учебниками, аспирантурой и научными степенями и в такой респектабельно-научной форме могла противопоставлять свои принципы «гороховым законам» менделистов-морганистов. Вышеупомянутая «поддержка» подталкивала его к псевдонаучным по своей сути «космократическим» проектам великого преобразования природы. «Я вижу,— писал в 1932 году Мичурин,— что колхозный строй, через посредство которого Коммунистическая партия начинает вести великое дело обновления земли, приведет трудящееся человечество к действительному могуществу над силами природы. Великое будущее всего нашего естествознания — в колхозах и совхозах»².

Этот комплекс идей был подхвачен и превращен в широкую платформу Лысенко в его пропаганде движения «хат-лабораторий» (одной из которых заведовал на Полтавщине его отец), в его критике «кастовой» профессорской генетики и противопоставлении ей «народной агробиологии» (в которой, как он отмечал в статье под скромным названием «Мой путь в науку»³, «очень трудно и даже невозможно провести резкую, непроходимую грань между учеными и неучеными. Каждый сознательный участник колхозно-совхозного строительства является в той или иной степени представителем агронауки»), в его обвинениях в адрес генетики в неспособности включиться в общее дело обновления земли, в движение ударничества на селе и т. п. В своем выступлении на дискуссии 1939 года Лысенко подчеркивал, что менделевской генетикой занимается небольшая горстка людей, едва насчитыв-

¹ См.: Мичурин И. В. Избр. соч. М., 1955.

² Мичурин И. В. Соч. В 4-х т. М., 1948. Т. 4. С. 293

³ Правда. 1937. 1 окт.

вающая полторы сотни специалистов и базирующаяся в центральных городах, тогда как «мичуриновское учение широкой волной движется в нашей стране... десятки и сотни тысяч охвачены этим учением»¹.

На мой взгляд, хотя этот тезис многим покажется спорным, популярности «мичуриновской стороны» лысенковщины — а такую популярность нельзя отрицать — способствовали некоторые глубокие традиции нашей отечественной культуры. В частности, нельзя не видеть здесь явной близости к тому образу науки, который отстаивался рядом представителей радикальной (прежде всего народнической) мысли, с одной стороны, и утопически-консервативной — с другой. В рамках этих традиций космократический пафос преобразования и регуляции природы по разумному плану был тесно увязан с критикой специализированной, оторванной от народной жизни «кабинетной», «городской» науки, являющейся плодом «западной», «протестантской» культуры. Подобной науке противопоставлялся идеал менее специализированного познания, способного стать «всеобщим делом». Так, у родоначальника русского философско-научного космизма Н. Ф. Федорова подобное всеобщее, «сельское» знание должно основываться не на узком лабораторном эксперименте, а на всеобщем наблюдении, на опыте, производимом всеми людьми в естественном течении природных явлений. Это наука, которая создается не замкнутым, оторванным от народа «сословием ученых», но опирается на общее дело, объединяющее «ученых и неученых» в проекте преобразования природы и человека. Сходный комплекс идей можно найти и у некоторых славянофилов, в народничестве. Дополненный распространенным представлением о вине интеллигенции перед народом, постоянно проявляющимися сомнениями в ценности чистого культурного творчества, в частности в значимости «чистой науки», этот комплекс порождал амбивалентную установку по отношению к науке в отечественном общественном сознании. Постреволюционная атмосфера в определенной степени способствовала реактивации и актуализации этой установки, поскольку наличная наука и институциональные формы ее организации стали рассматриваться как продукт старого общества и культуры, новая же наука виделась как

¹ Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 159.

поприще деятельности поднятых революцией широких народных масс¹.

Непросто однозначно оценить эту мировоззренческую установку. С одной стороны, она приводит к активизации «низового» культурного творчества; создает климат, в котором нетривиальные научные и технические идеи, стоящие вне официальной науки, получают свой шанс на реализацию (подобными примерами полны 20-е годы); воплощается в действительно важных делах, каким было, например, широкое движение «народного краеведения» 20-х годов, объединившее в себе ученых и не относящихся к науке людей и давшее огромную литературу и еще мало оцененные результаты. С другой стороны, в деформированном социально-культурном контексте эта установка может вульгаризироваться, и порождаемые на ее волне псевдонародные феномены «поп-культуры» и «поп-науки» легко могут оборачиваться в движение против высокой культуры и настоящей науки.

Нечто подобное и произошло в 30-е годы в биологии, и не только в ней одной. Причем вульгаризации ситуации способствовало и то обстоятельство, что изначально единый с идеей народности космократический пафос к 30-м годам был уже на излете, и сплав этот постепенно остывал в бюрократических притязаниях на всеобщее планирование и контроль общества и природы, в практике народных строек, в тех проектах преобразования природы, которые осуществлялись в те годы на базе массовых, «народных технологий» при строительстве каналов и т. п.

Дело усугублялось еще и тем, что в нашей стране (как, впрочем, и во всех научно развитых странах) в межвоенное время развернулся сложный процесс институциональных перестроек в науке — переход от академических форм организации научной деятельности (типичных для XIX — начала XX вв.) к новым формам «большой науки», организационно связанной с промышленностью, военными разработками, сельскохо-

¹ См., например: *Алексеев П. В.* Революция и научная интеллигенция. М., 1987. С. 44—55. Следует отметить, что периоды глубоких революционных изменений общества обычно сопровождаются критикой наличных форм науки. Так, в XVI—XVII веках шла критика университетской учености со стороны науки, связанной с практическим опытом ремесленников, оружейников и т. п. Определенная критика академической науки имела место и во времена Великой французской революции.

зайственным производством. При этом менялись не только институциональные структуры науки, но существенно расширялись и те слои общества, из которых формировалось научное сообщество. Ломались старые академические традиции социализации «новобранцев» в науке, предполагавшие многолетнюю работу под руководством профессора, передававшего вместе с опытом научной деятельности еще и весьма строгий «кодекс чести» ученого; включавшие длительные стажировки в научных центрах с высокой международной исследовательской репутацией и т. п., как уже неспособные обеспечить формирование быстро растущего научного сообщества. В этой ситуации как образ ученого академического типа, так и традиционный академический этос науки начинали выглядеть старомодными в глазах молодежи, массово и по разным каналам вовлекаемой в те годы в науку. Все это также снижало внутренний иммунитет науки против лысенковской и подобной ей деморализующей научную молодежь риторики о народности науки, о борьбе в ней консерваторов-профессоров и молодых новаторов, против практики создания ударнических бригад в науке, против сомнительных с точки зрения стандартов научной деятельности и научной этики стремительных научных и научно-политических карьер и т. п. Под лозунгом «народности» в подобной обстановке по тропам, протоптанным Лысенко и подобными ему «сталинскими учеными», в науку потек поток малообразованных, впитавших извращенные представления о существовании научной деятельности «новаторов», оттеснявших настоящих ученых и активно поддерживавших «народного академика» в его «научных» и политических акциях.

* * *

В эпилоге романа В. Дудинцева «Белые одежды» дряхлеющий академик-мичуринец задается вопросом, оставленным автором как бы без ответа: «Одного не понимаю,— сказал он, меланхолично растирая валенком плевков.— Их было сколько? Тысячи. А я один. Почему они мне сдались?» Если сказанное выше в какой-то степени верно, то следует признать, что этот изящный вопрос поставлен не вполне точно. Нельзя видеть в Лысенко одиночку-интригана, на свой страх и риск пробиравшегося к власти в науке и использовавшего для этого все допустимые и недопустимые методы. Си-

туация гораздо сложнее, и она лишь в небольшой части может объясняться особенностями личности Лысенко. Если попытаться дать самую схематичную реконструкцию процесса возникновения и «успеха» лысенковской агробиологии, то она может быть, если учесть предшествующее, примерно такой.

Появившись на научной арене в конце 20-х годов с идеями яровизации и стадийного развития растений, Лысенко еще находился на периферии биологических исследований (и в смысле буквальном — как молодой новатор из далекого Азербайджана, и в смысле отсутствия связей с исследованиями признанных научных школ). На этом этапе он как «талантливый самородок» был замечен Н. И. Вавиловым и получил от него определенную поддержку. Эта поддержка была кредитом, достаточно естественным со стороны такого крупного организатора науки и доброжелательного человека, каким был Вавилов.

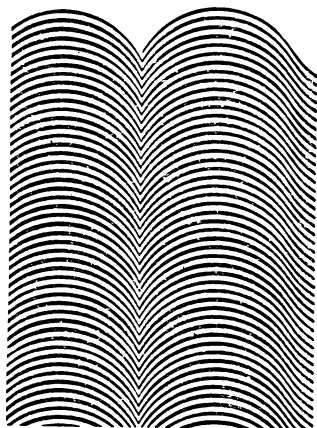
Вместе с тем, как это отмечает большинство исследователей, несмотря на подобный кредит, в нормальной научной и политической атмосфере у учения Лысенко, выдержанного в устаревшем описательно-натуралистическом стиле, не было особых шансов в конкуренции с генетикой, освоившей качественно иные, современные методы исследования. И здесь, на этом этапе (1931—1936 гг.), Лысенко находит новых союзников и новые — уже готовые — каналы поддержки. Причем каналы не чисто научные, а более существенные в тогдашнем контексте: идеологические, научно-политические (связанные с задачами реконструкции науки на основе диалектического материализма и социалистической практики, искоренением буржуазной науки и т. п.) и «общекультурные», связанные с рассмотренным выше комплексом «мичуринских» идей. Переключившись на эти новые каналы и обрастая сторонниками, Лысенко уже на дискуссии 1936 года показал, что он готов к решительной атаке на Н. И. Вавилова и генетику в целом, обвинив последнюю в целом ряде методологических, идеологических и практически-политических грехов.

В ходе этого развития «мичуринская агробиология» быстро превращается из натуралистической концепции в вульгарную науку «колхозно-совхозного строя», в ней нарастает антрепренерский стиль деятельности: готовность браться за любые угодные властям задачи —

от получения сортов ветвистой пшеницы до научно-политических задач по внедрению плановости в науку, очистке ее от вредителей и т. п. Соответственно этому нарастает значение чисто политических механизмов поддержки, что приводит к «бесовщине» в биологии, начавшейся уже перед войной, временно приостановленной ею (а также личными обстоятельствами Лысенко, связанными с судьбой его брата) и развернувшейся во всю ширь в конце 40-х годов.

Лысенковская агробиология рождалась в деформированной и вульгаризированной духовной атмосфере, активно впитывала ее и сама налагала печать вульгаризации на все, что попадало в сферу ее влияния. Идеалы и методы науки; диалектика и основные принципы марксизма; идеи народности и связи науки с жизнью; выношенные в лоне революционного и утопического сознания и в целом понятные в контексте той эпохи идеи преобразования науки, человека, природы и т. п.— все это приобретало в лысенковщине гротескную и пошлую форму. Но не может же быть, чтобы два с лишним десятилетия развития «творческого дарвинизма» не принесли каких-то плодов. Плоды эти были, но не там, где их можно было ожидать. В научном отношении лысенковщина бесплодна, подлинное творчество и вульгарная наука малосовместимые вещи. Кем-то было замечено: то, что в лысенковском учении верно, то банально, а то, что ново, то неверно и псевдонаучно. Результаты лысенковщины лежат в иной плоскости: это — прерванные и искалеченные судьбы ученых, разрушенные научные школы и традиции, сотни и сотни «желтых научных работ», деморализация и обман научной молодежи, утрата авторитета советской науки и ее многолетняя изоляция от мировой науки, деформация научной этики, от которой наша наука не оправилась вполне и до сих пор.

ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ



Эта тема — одна из главных в духовной жизни перестройки, в процессе мучительной самокритики и трудного обновления. Истоки авторитарной, командно-административной системы, культа личности Сталина, социальная база и сущность этого явления, причины его возникновения, факторы, ему содействующие, и средства его преодоления — все эти проблемы будоражат массовое сознание, привлекают к себе всеобщее внимание. И причина этого — не в праздном интересе или простом любопытстве людей. Ведь именно обсуждение этой темы позволяет глубже понять все, что с нами было в эти годы. В чем следует искать корни наших просчетов и деформаций? Почему все это случилось с нашим народом? Как оценить наше прошлое? Что из него взять с собой в новое тысячелетие и от чего решительно отказаться, чтобы избежать повторения бед и несчастий 20—40-х годов? И, наконец, вопрос всех вопросов — так, как его поставил М. С. Горбачев — «Почему Сталину удалось навязать партии, всему обществу свои программы, свои методы?»

Чтобы осуществить демонтаж устаревшей модели социализма, высвободить интеллектуальную и морально-психологическую энергию народа, необходимо найти правильные ответы на все эти вопросы. Однако и поныне бытует мнение, что время для научного изучения этой проблематики еще не пришло. Наверное, с этим трудно согласиться. Наука, ученые не могут ждать, когда все будет «готово», когда будет подан обнадеживающий сигнал и позволяющая команда. Изданные в последние годы статьи и книги советских

исследователей немало значили как для реконструкции ситуации тех лет и непредвзятого анализа последней, так и для более корректной постановки вопросов в процессе исследования. Сегодня уже ясно, что осмыслить сложные исторические явления, дать им взвешенную научную оценку можно, только сопоставляя различные позиции, мнения, оценки. Ниже публикуется подборка материалов, в которых нашли отражение разные, в чем-то даже противоположные, точки зрения по широкому кругу социально-философских вопросов, связанных с феноменом командно-административной системы и культом вождя.

В. П. Мотяшов

ПЛЮРАЛИЗМ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЕДИНСТВО?

Среди наиболее острых проблем, выдвинутых революционной перестройкой советского общества, огромное и практическое, и теоретическое значение имеет верное понимание диалектики единства и многообразия в процессе социалистического строительства. Без этого невозможно, например, прийти к оптимальному сочетанию централизма и самостоятельности, указаний сверху и инициативы снизу. Без этого нельзя ответить на поставленный перестройкой вопрос: в каком отношении к социализму находится концепция плюрализма?

Интерес здесь далеко не академический. Речь, по сути, идет о выборе пути развития страны. Мы так часто и крупно ошибались здесь, что еще один стратегический промах способен не только драматическим образом сказаться на судьбе перестройки, но и на шансах социализма как гуманистического идеала и социальной системы.

Сейчас новый путь наше общество нащупывает в обстановке, мало напоминающей всеобщее взаимопонимание и согласие. После долгих лет апатии, безропотного соглашательства и приспособленчества, после вошедшего в привычку бездумного одобрения каких угодно начальственных решений, даже тех, которые с очевидностью противоречили здравому смыслу, после слепой веры в многочисленные догмы, общественной немоты, страха сказать вслух правду, поразивших не одно поколение,— после всего этого страна словно спешит выговориться.

Дискуссии, столкновения, борьба мнений, позиций, оценок — всем этим полны сегодня газеты и журналы,

передачи телевидения и радио. Атмосфера многоголосья вошла в литературную публицистику и документальное кино, вызвав их настоящий бум. Споры кипят на работе и дома. Многие из того, что считалось неприкосновенным, подвергается переосмыслению и переоценке. От бывшего единодушия не осталось и следа.

С таким тотальным наступлением на утвердившиеся монополии в различных сферах не все могут согласиться и примириться. Слишком много претензий на власть, на бесконтрольность, на право диктовать свою волю и изрекать истины поставило оно под вопрос.

И мы видим, как отнюдь не только сталинисты и консерваторы ищут козла отпущения в этом порождении перестройки. Кому-то кажется чрезмерным и преждевременным допуск в нашу жизнь интеллектуальной свободы и общественной самодеятельности: от них, мол, сплошные раздоры в обществе, межнациональные распри, доходящие до кровопролития конфликты. Кто-то считает, что навести должный порядок и дисциплину, как того справедливо требуют граждане, можно исключительно карательными и диктаторскими методами, лишь приведя к общему знаменателю сознание и поведение людей.

Да и уставшая от бесконечных бурных дебатов, от достигающей нередко предельных температур общественной напряженности и неопределенности психика человека жаждет эмоционального комфорта, однозначности и простоты. Она истосковалась по стабильности и предсказуемости. Но, увы, ничего такого перестройка предложить не может.

Напротив, реформа экономики, осложняемая недостаточной отработанностью некоторых ее шагов и их половинчатостью, на какое-то время неизбежно нарушает хотя и безнадежно отставшие от жизни, но устоявшиеся хозяйственные связи. А это сказывается на материальном положении людей. Переоценка привычных ценностей, в том числе и тех, что считались неприкосновенными, тоже не способствует гармонии общественного сознания, вносит в него раздробленность, противоречивость, смятение. В результате у значительной, как теперь очевидно, части людей возникает более или менее стойкое представление, что нанесен удар по фундаментальным ценностям, по какой-никакой, но очень-то радужной, но все-таки определенности и стабильности.

Это пугает, рождает неуверенность в завтрашнем дне, подталкивает к импульсивному неприятию многообразия и многоголосия, в которых усматривается корень дестабилизации. Больше того, нарастает ощущение, что после того, как стала демонтироваться созданная Сталиным жестко централизованная, авторитарная система государственной власти и общественной организации, страну преследуют сплошные утраты.

Чаще в обыденных разговорах речь идет о материальных потерях в виде исчезнувших с полок магазинов крабов, икры, осетрины, колбасы десятков сортов, кондитерского разнообразия и т. д. Сравнивают нынешние, ползущие вверх цены с хотя и развенчанными многими авторитетными экономистами как обман, но тем не менее памятными ежегодными снижениями цен на ходовые товары в былые времена.

Гораздо реже говорят о потерях другого свойства, но ранят они, думается, сильнее. Имеется в виду даже не всегда сознаваемая, а скорее ощущаемая утрата внутренней цельности, ясности задач, непоколебимой уверенности в своей сплоченности и силе. То есть того мировосприятия, которое и при очевидной бедности и всевозможных нехватках позволяло воспринимать самих себя так, как пелось в песне: «...кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя...»

Что и говорить, доводы для защитников монолитно-административной схемы общества сильные. В самом деле, оперируя ими, легко убедить доверяющихся первому взгляду и эмоциям, что речь идет о последовательной деградации. Но верен ли этот первый взгляд — вот в чем вопрос.

В период застоя причины чуть ли не всех наших бед нередко виделись в отсутствии перемен. Сегодня именно перемены вызывают растущую волну нареканий. Одним не нравятся демократизм и гласность, приведшие, по их мнению, к тому, что каждый отстаивает свой интерес и ему дела нет до интереса общенародного. Другие негодуют по поводу «слишком много себе позволяющей» прессы, которая-де впала в очернительство и натравливает народ на аппарат. Третьим активно не по душе расплодившиеся «неформалы» и националисты, грозящие раздробить страну, посеять политический и социально-экономический хаос. Четвертые почем зря клянут индивидуалов-спекулянтов и оборо-

тистых кооператоров, будто бы повинных в опустошении государственных магазинов, в усугублении дефицита товаров и набивающих карманы нетрудовыми рублями.

Одним словом, есть большая потребность разобраться в тех острейших вопросах, которые ставит время. А это, в свою очередь, невозможно сделать, если мы будем хранить верность крепко засевавшему во многих из нас мифологическому сознанию, готовому искать «золотой век» в прошлом. Перестройка имеет на своем счету немало ошибок. Но истина все же состоит в том, что многие нынешние недостатки и судороги в экономике, в распределении и потреблении благ, в духовной жизни родились вовсе не сегодня. И любая попытка реанимировать в первоизданном или усовершенствованном виде те методы и ту систему, которые повинны в этом, не только не в состоянии что-либо улучшить, а способна завести в безнадежный тупик.

Перестройка прошла еще слишком короткий путь, чтобы можно было со знанием дела судить о ее возможностях. Однако уже сегодня ясно, что альтернативы ей нет. Хорошо известно, например, что скрывалось за благополучным фасадом отсутствия конфликтов, за декларируемым единством нашего общества в годы безраздельной власти административной системы.

Когда мы сетуем сегодня на то, что огромное число людей разучилось и утратило желание работать с полной отдачей, возмущаемся пустыми полками в магазинах, испытываем беспокойство и усталость от напряженности в межнациональных отношениях, чувствуем себя приниженными и беспомощными, сталкиваясь с чиновным высокомерием и равнодушием, то не всегда отдаем себе отчет в том, что ниточки ко всему этому тянутся издалека, от десятилетиями попираемого личного интереса, от укоренившейся уравниловки, от насильственных экспериментов с целыми народами, от возраставшего из года в год бюрократического всевластия.

Нужно немало условий, чтобы наше общество пришло к качественно новому состоянию. И среди них на одном из первых мест стоит избавление от иллюзий, касающихся и нашего прошлого, и настоящего, и будущего. По мере того как это будет происходить, мы все больше будем утверждаться в том, что перестройка означает движение от авторитарного единообразия

к демократическому многообразию во всем — в сознании, в формах жизнедеятельности, в отношении к человеку, его свободному выбору и назначению на Земле.

Две модели единства

Наш исторический опыт за последние несколько десятилетий знает два резко различающихся подхода к достижению единства общества, две формы консолидации масс для решения приоритетных задач.

В основе первого подхода — безусловное подчинение личного начала государственному, нивелировка индивидуальных интересов и потребностей, изгнание из социальной практики вариантности, дискуссий, инакомыслия. Было ли результатом этого жесткое, а нередко и жестокое «железное единство» в годы культа личности или внешне больше полагавшееся на пряник, нежели на кнут, «монолитное единство» времен застоя — суть дела не менялась. И в том, и в другом случае инструментом достижения общественной консолидации служила командно-административная система. А это такое обстоятельство, которое не могло не придать всему процессу и его результатам глубоко порочный характер.

Начать с того, что достигаемое авторитарными методами единство всегда иллюзорно. В отношении «эры Брежнева» на этот счет вроде никто и не сомневается. Тут показушность была откровенной, а официально демонстрируемые сплоченность и единодушие мало кем принимались всерьез. Слова о морально-политическом единстве выглядели издевкой на фоне не составлявших и в ту пору тайны деяний Медунова, Рашидова, Кунаева, Алиева, Чурбанова и многочисленных их двойников рангом пониже.

Далеко не столь однозначна оценка «эры Сталина». И поныне стойко держится в сознании немало число людей представление о ее главном герое как лидере, умевшем сплотить, повести за собой миллионы, окрылить их и объединить великими целями. Широкое хождение этой версии обеспечивается не только стараниями корыстных защитников сталинизма, которые, мифологизируя образ «отца народов», пытаются прежде всего обелить самих себя, оправдать собственное участие в нарушениях законности и прочих деформациях социализма. Гораздо больше тех, кто искренне убеж-

ден, что в 30-е и 40-е годы страна жила хоть и трудно, но в атмосфере эмоционального родства, идейной спайки. Людей объединяли возвышенный патриотизм и сознание выпавшей на их долю исторической миссии.

Да, были реальные основания и для общей гордости, и для того, чтобы прошедший через тяжелейшие испытания народ ощутил себя необоримым целым, связанным одной судьбой. Но ведь было и другое. И это другое заставляет очень сильно усомниться в самой версии, согласно которой советское общество времен Сталина отличалось единством.

На самом деле в эти годы шло методичное и неумолимое разрушение естественных общественных связей. Значительная часть народа — не парадокс ли? — оказалась превращенной во «врагов народа». Сталинизм обрушил террор на старых большевиков, уничтожил важнейшие звенья преемственности поколений коммунистов, подорвал экономические и социальные основы союза рабочих и крестьян, многие годы шельмовал интеллигенцию. Он насильственно развел по разные стороны баррикад мужей и жен, родителей и детей, вчерашних друзей, единомышленников. Беспощадная секира прошла по человеческим душам, расчленив их на два «я» — одно всем видимое, другое — тщательно скрываемое.

Нет, не было и не могло быть истинного единства в обстановке репрессий, доносов, подозрительности, страха за любое неосторожно сказанное слово. Больше того, именно при Сталине под общественное единство были заложены грохочущие сегодня то здесь, то там мины замедленного действия. Разве беззакония против целых народов не стали «зубами дракона», давшими через годы всходы тех сложнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся в области национальных отношений? И разве не обязаны мы своим так заметным в наше дискуссионное время неумением вести общественный диалог десятилетним прививкам нетерпимости?

Попытки сплотить народ на основе подавления и нивелировки личности имели губительные последствия как для общественного, так и для индивидуального развития. Когда истина социального прогресса, науки, искусства, человеческого счастья монополизируется верхушкой административной пирамиды и отливается в бетон не терпящих возражения директив, то жизнь

не просто теряет свои краски, безмерно обедняется. Она лишается перспективы, ибо отсутствие выбора с неизбежностью приводит в тупик.

Мы сегодня яснее, чем когда бы то ни было, видим: все, что огромным трудом народа было сделано до сих пор, могло бы делаться лучше, быстрее, экономнее, с меньшими затратами, если бы на всех этапах нашей социалистической истории развитие шло как свободное соревнование идей, аргументов, позиций, как реализация наилучших, доказавших свои преимущества вариантов.

С преодолением синдрома нетерпимости к любому инакомыслию, с расширением нашего социального кругозора мы вдруг открываем для себя, что многое в воззрениях, скажем, Н. И. Бухарина или экономиста-аграрника А. В. Чаянова, десятилетиями трактовавшихся как враждебные отклонения от магистральной линии социализма, может быть, является упущенными альтернативами, драматичной утратой представлявшихся нам исторических шансов.

Навязывание извне единодушия и единомыслия не может обойтись без насилия, которое вызывает нравственную эрозию общества, культивирует и поощряет двойную мораль. Уделом личности, вынужденной ломать себя и лицемерить, дабы не быть подвергнутой остракизму, становится беспринципное приспособленчество, конформизм. А масса, растворяющая в себе личность, оказывается беззащитной перед попытками совершать от ее имени несправедные дела.

Вспомним, как «волей трудящихся» не однажды санкционировалось подавление еретиков. Как на удивление легко переходило общественное настроение, повинуюсь указующему персту, от обожания и любви к презрению и ненависти в тех случаях, когда система обезлички оказывалась не в состоянии обстругать талант и достоинство неординарных фигур. Маршал Тухачевский, генетик Вавилов, поэт Мандельштам, да и мало ли не столь известных испили сию горькую чашу.

Усилия административной системы по сплочению народа слишком часто давали результат, обратный ожидаемому. Организаторам жесткого надзора за политической и моральной благонадежностью, авторам запретов думалось, что подобным образом удастся поднять ответственность граждан. А что получалось в действительности?

Если выбор за человека уже сделан, то от него требуются не размышления, не сомнения и поиски, не способность принимать самостоятельные решения, а послушание и подчинение. Отнятая у личности, ставшая анонимной, ответственность обертывалась всеобщей безответственностью. Не здесь ли надо искать корни искривления кадровой политики, отдающей предпочтение сговорчивым и посредственным? Не тут ли одна из существенных причин падения дисциплины и общественных нравов, срыва обязательств и договоров в народном хозяйстве, вопиющих безалаберности и расточительства, потерь живого труда, изготовленной и выращенной продукции?

Защитникам унификации мыслей и поведения казалось, что следствием ее должно стать всеобщее национальное согласие. В жизни, однако, происходило нечто прямо противоположное. Взаимодействие единства и многообразия всегда противоречиво, диалектично. В условиях монопольного права на истину это противоречие просто объявлялось несуществующим. Будучи загнанным под спуд, оно разрасталось, принимало гипертрофированные, остроконфликтные формы. В результате не гражданский мир имели мы, а, по существу, спровоцированный рост политического и духовно-культурного диссидентства. Неспособность решать проблемы искала выход в изоляции тех, кто эти проблемы видел и открыто поднимал, в выталкивании за кордон «смутьянов», она в значительной степени породила так называемую третью волну эмиграции.

Социально-политическая практика перестройки все шире утверждает сегодня иное, действительно социалистическое понимание единства общества. Ведь социализм по природе своей отвергает ущемление личности, идеологию людей-«винтиков», слепых исполнителей. Ему в корне противоречит сплочение индивидов на основе их усреднения, подгона под общий шаблон. Социалистическими формами общественного единения являются лишь такие, которые наилучшим образом помогают реализовать гуманные цели и ценности нового строя. Уже первые шаги развернувшейся в стране перестройки показали: в полной мере этому требованию отвечает плюрализм — новая, но органично присущая социализму реальность.

Нередко сомневаются: а надо ли вообще употреблять столь «захватанный» буржуазными идеологами

термин? Ведь еще сравнительно недавно слово «плюрализм» в нашем политическом и обществоведческом лексиконе использовалось однозначно как бранное. И хотя его реабилитация — состоявшийся факт, оно и сегодня режет идеологический слух наиболее непоколебимых стражей «монолитности».

Тут стоит, видимо, задержаться и подчеркнуть, что такая реабилитация произошла вовсе не потому, что кому-то этого очень захотелось. Сама логика перестройки вела не только к переосмыслению отношения к плюрализму, но и к превращению его в повседневную практику, в неотъемлемую и неуклонно раздвигающую свои рамки часть нашей жизни независимо от чьих-то симпатий и антипатий. И конечно же далеко не одних мнений, взглядов, идей касается плюрализм в этом своем новом качестве.

Мы видим, что в советском обществе идет активное формирование новых социальных институтов и структур. Осуществляется демонополизация функций партии. Общественно-политическая жизнь, на арену которой вышли различные самодеятельные организации и движения, приобрела многополюсный характер. Явью, причем облеченной в легальные формы завоевания общественного мнения, стала политическая борьба. Черты плюрализма зримо присутствуют сегодня в экономике — в избавлении от догматических шор, которые долгие годы лишали нас широты взгляда на проблему рынка, собственности, хозрасчета. О культуре, стряхнувшей с себя многие вчерашние запреты, освободившейся от политической цензуры, и говорить не приходится.

Ведет ли признание универсальной ценности плюрализма к размыванию границ между социализмом и капитализмом, в чем нередко упрекают перестройку различные блюстители «чистоты принципов»? Всякий раз, когда поднимается такой вопрос, так и хочется задать встречный: а почему, собственно, не вызывает опасений слово «социализм»? Ведь последний бывает, если вспомнить известные характеристики «Манифеста Коммунистической партии», и феодальным, и реакционным, и мелкобуржуазным. Но то же можно сказать и о плюрализме.

В нем заключено общечеловеческое и классовое. Вспомним, какие аргументы в защиту плюрализма приводят буржуазные идеологи и политики. Они свя-

зывают с плюрализмом «равенство возможностей», «свободу выбора», «раскованность субъекта», «демократию в действии» и множество других подобных ценностей, которые вовсе не противоречат социализму.

Есть, конечно, и то, в чем мы расходимся с нашими идейными оппонентами коренным образом. Плюрализм на буржуазный лад — это допущение и даже, по крайней мере на словах, равное принятие самых разных философско-исторических и социологических концепций. Не будем сейчас касаться искренности этих заверений, которые постоянно подвергаются испытаниям, как только дело касается коммунистических взглядов.

Плюрализму, согласующемуся с целями социалистического строительства, нет нужды прибегать к лицемерию. Мы никогда не признавали и не признаем «равенства» между идеями коммунизма и, к примеру, идеологией фашизма. Но мы говорим: многообразие — сущностная характеристика социализма, его истинное состояние, неотъемлемая часть его духовного и нравственного климата. Социализму подходит все, что служит интересам человека труда, помогает развернуться богатству человеческой личности, выявить ее уникальность, неповторимость.

А как же быть с границами, с запретами? Их что же, вовсе не существует? Существуют, конечно, — и границы, и запреты. Но правовые, нравственные, а не деспотические. И потом, сам плюрализм снимает вопрос о каких-то заранее определяемых и жестко обусловленных рамках и допусках. Ведь с изменением взгляда на социализм как на нечто неподвижное, с развитием социалистических форм будет неизбежно меняться, обогащаться представление о плюрализме. Обретая новые краски, лишаясь тех «табу», которые сегодня кажутся чуть ли не естественными, он будет стремиться к расширению своего человеческого измерения, к повышению своей гуманистической ценности.

Конечно, инерция единообразия все еще сильна. Приверженцы монолитной схемы общества даже не замечают, сколь оскорбителен взгляд на социализм как на социальный примитив. Годы жизни по указке так приучили к одновариантности, что и сегодня немало наших сограждан страшится любого выхода за рамки привычного, санкционированного когда-то в качестве единственно верного.

Пугает сложность, противоречивость реальной жизни, подкупает простота схем, призрачная возможность все поделить на черное и белое. Для кого-то не утратили своей убедительности фразы типа: кто не с нами — тот против нас. Кто-то требует во избежание «непредсказуемых последствий» не торопиться с переменами, полагая, что любая, даже не ахти какая определенность лучше сомнительной неожиданности. Кто-то бдительно стережет девственность того социализма, каким он предстает из «Краткого курса истории ВКП(б)», превыше всего ставит верность сложившейся системе, независимо от ее способности сделать полнее полки магазинов, избавиться от дефицитов, защитить человеческое достоинство.

Но, перекрывая эхо вчерашнего дня, все громче звучат новые мотивы и голоса, сквозь трещины в административном монолите прорастает новая реальность. Нам еще многому предстоит научиться и многое сделать, чтобы общество обрело черты творческого содружества свободных людей. Такое общество никогда уже не примет, не сможет принять продиктованной истины. Оно никогда не сможет предпочесть монолог диалогу. Неординарность для него не зло, а благо. Оно обязательно овладеет искусством решать проблемы средствами, которые полностью согласуются с признанием разнообразия, многоцветья, полифоничности жизни. Только многообразие идей, раскованность интеллекта, открытое столкновение взглядов, сравнение позиций выводят противоречия наружу, создают условия для своевременного их разрешения.

Поколеблена одна из самых заскорузлых догм административной системы, которую можно было бы сформулировать так: чем меньше в созидании нового оппонентов, тем дружнее идет работа. Жизнь научила нас другому: чем меньше предлагаемых вариантов, тем больше зависимости от одного-единственного просчета, тем вероятнее риск трагического отклонения от социалистического пути. И напротив, многообразие организационных и жизненных форм совместной деятельности людей, их мнений помогает избегать крайностей, поддерживать напряженность интеллектуальных поисков, обеспечивает в обществе широчайшую обратную связь, сокращает зону ошибок и увеличивает область проявления таланта, инициативы, социального новаторства, ведет в итоге к единству действий.

Разрушение единообразия — это выдвигание на первый план гласа народа, достоинства личности и одновременно ограничение, подавление любой узурпации власти, возможности ее присвоения лицом или группой лиц, вовсе не отражающих воли трудящихся. Это — исключение глубоко порочной антидемократической практики, когда право судить о дозволенном, об истинности духовных и нравственных ценностей, о социалистическом или антисоциалистическом характере идей и поступков принадлежало нередко людям неумным, некомпетентным, безнаказанно корезившим в прокрустовом ложе собственной ограниченности богатство жизни и мира, калечившим судьбы несогласных.

Плюрализм разрушает понимание единства как безусловного подчинения одних интересов другим, как подавление одних интересов другими. Он открывает путь принципиально иному подходу: согласованию интересов, максимальному их сближению. Задача эта, надо заметить, — труднейшая. Уж больно тяжелое наследство оставила здесь административная система.

От торжества многообразия к гармонии интересов

Одна из самых грозных аномалий, рожденных в конечном счете монопольным положением той или иной части общества, состоит в нарастании процесса разобщения целей и устремлений людей, раздробления общества на обособленные мирки, ставящие превыше всего свои частные, эгоистические интересы. За минувшие десятилетия в нашей стране вырыт глубокий ров между, например, интересами работника и трудового коллектива, между интересами трудового коллектива и общества в целом.

О конкретных проявлениях этого разлада уже много сказано журналистами, социологами, экономистами, а некоторые из приводимых примеров стали почти хрестоматийными.

Предприятие под флагом обновления продукции увеличивает выпуск дорогих изделий и сокращает производство дешевых, ибо ему накладно делать то, что пользуется наибольшим спросом у покупателей. Человек работает вполсилы, ориентируется на средний уровень, потому что повышать производительность труда ему ни к чему; его истинные возможности по рукам и

ногам вяжет пресловутая уравниловка. Изобретена машина, разработан технологический процесс, найдено принципиально новое решение, которые сулят огромный выигрыш для общества, но они-то как раз и невыгодны конкретному заводу, ведомству, отдельным людям.

В одном случае внедрение новинки отрицательно скажется на заработках. В другом — просто неохота возиться, брать на себя лишние хлопоты. В третьем случае страдает чье-то самолюбие, затрагиваются «мундирные» амбиции. А в результате «пробить» хорошую идею в серию становится настоящим подвигом, изнурительной, не для всех посильной работой, зачастую неравной битвой инициативы с косностью, гражданского беспокойства с равнодушием, таланта с бездарью.

Это положение возникло не вдруг. Рождение социалистического общества означало появление реальной основы для совпадения общественных и личных интересов. «Впервые после столетий труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров,— отмечал В. И. Ленин,— является возможность *работы на себя...*»¹ «На себя» здесь конечно же означает и на весь трудовой народ, и на каждого отдельного труженика.

Однако в позднейшей хозяйственной и управленческой практике, нашедшей отражение и в пропаганде, это двуединство общего и личного было искажено. По существу, игнорировалось ленинское положение о том, что коммунизм можно построить не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, на личном интересе, на личной заинтересованности. Все чаще «работе на себя» придавался смысл предосудительный, за этой формулой однозначно вырисовывалась фигура человека своекорыстного, с мелкими желаниями, антигражданственной позицией и вообще неспособного к жертвам и благородным поступкам.

Эрозии подверглось и глубоко диалектическое, лишнее какой бы то ни было прямолинейности положение марксизма-ленинизма, согласно которому удовлетворение интереса более общего порядка должно иметь предпочтение перед удовлетворением интереса частного. Нередко эта верная мысль трактовалась в духе

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 196.

безусловного подчинения личного интереса общественному, что якобы диктуется экономической целесообразностью да и нравственно возвышает.

Отсюда уже два шага было до абсолютизации производственной функции человека и низведения в «остаток» его социальных и духовных нужд, до оправдания справедливости любого ущемления личного ради «пользы общества». Во имя народного блага стало, например, вполне позволительным лишить отдельных индивидуумов чистой речки и заодно рыбы в ней. Во имя этой же высокой цели оказалось можно, не считаясь с желаниями жителей небольших деревень, сорвать их с насиженных и любимых мест, чтобы воплотить в жизнь чей-то придуманный в кабинете проект. И опять же в интересах всех вопреки интересам немногих иному чиновнику ничего не стоило распорядиться ради «экономии» народных денежек скovyрнуть бульдозером маленькие булочные и магазины, заставив толпиться граждан в единственном на всю округу универсаме.

И как-то ускользало от внимания, да и сегодня далеко не всегда помнится, что общий интерес является действительным лишь тогда, когда его воспринимают как свой собственный не абстрактные «все», а конкретные люди. Государственный интерес становится фикцией, когда из-под него вымыта его реальная база — интерес отдельного человека. Такая аномалия неизбежно оборачивается сначала недоверием к скомпрометировавшему себя общему интересу, вернее, к тому, что выдается за таковой, а потом и выдвиганием на первый план всевозможных частных интересов, противостоящих уже реальному общенародному интересу. Плоды этого мы пожинаем и в экономике, и в социальной сфере, и в духовно-нравственной жизни общества.

Причины разлада, рассогласования интересов известны. Главная из них — тянувшийся из 30-х годов шлейф управленческо-хозяйственной структуры, которая обусловила преобладание административных методов управления над экономическими, доминирование указаний сверху над проявлениями инициативы снизу. Это вело к утрате человеком общественной инициативы и чувства хозяина, а с ними и интереса к тому, чтобы «выкладываться» в труде, наилучшим образом следовать своему общественному назначению.

Закономерен вопрос: какие силы мешали своевре-

менно исправить положение, способствовали появлению и консервации антиобщественных интересов в прошлом, препятствуют гармонии интересов в нашем обществе сегодня? Видимо, ответы могут быть разными. Но ни в одном из них не обойти стороной такого феномена, как психология казенного человека. Наиболее концентрированно она проявляет себя в поведении бюрократии.

Власть бюрократии может иногда показаться чуть ли не мистической. Сплошь и рядом ей удается склонять множество людей действовать — причем нередко по доброй воле — во имя ее интереса и против своих собственных интересов. Недаром К. Маркс ставил знак равенства между духом бюрократии и духом теологии, употреблял применительно к бюрократической деятельности слова: спиритуализм, таинство, тайна. Но он же эту тайну и развеял. Наблюдения Маркса, произведенная им «рентгеноскопия» бюрократии помогают лучше постичь всю ее антинародную сущность, проникнуть в «секреты» ее живучести, увидеть многочисленные щупальца, которыми она опутывает общественный организм, мешая ему двигаться, дышать, жить.

Принципиальное значение имеет данная Марксом характеристика бюрократии как особого, замкнутого общества в государстве, как завершенной корпорации. Ведь групповой и корпоративный интерес — совсем не одно и то же. Групповой интерес естествен и необходим. Любое общество — это сложное переплетение и взаимодействие различных общественных групп, объединяющих людей по совместному труду, по профессии, по социальному положению, по национальности, возрасту и т. д. И у всех этих групп есть особые интересы, которые в нормально функционирующем социалистическом обществе не должны противостоять общенародному интересу.

Иное дело — корпоративный интерес, принимающий форму ведомственности, местничества, протекционизма, кумовства, кастовости, групповщины. Он крайне эгоистичен, стремится подмять под себя, подчинить себе любой другой интерес и всегда противостоит интересу общественному. Защищая себя круговой порукой, он побуждает травить и тормозить все, что ставит под сомнение его исключительность, то есть мало-мальски неординарное, поднимающееся над средним уровнем, выбивающееся из общей массы, нарушающее обы-

вательскую заповедь «не высовывайся». Эмоциональная закваска корпоративного интереса, его истинная страсть, его скрытая пружина — стремление к регламентации, к нивелировке, к унификации.

Крайне важно понять, почему и как удается бюрократии сталкивать интересы личности и общества, стимулировать всюду интересы не ради дела, а против дела. Такое понимание уже само по себе служит необходимым условием успешной борьбы с бюрократическим засильем, с идущими от него метастазами корпоративных интересов, которые разобщают людей, атомизируют общество, убивают коллективизм.

У бюрократии нет другой цели, кроме собственного существования и преуспевания. Для отдельного бюрократа — это прежде всего «делание карьеры», движение по служебной лестнице, добывание чинов и соответствующих каждой новой ступеньке материальных благ и возможности проявлять свою власть. Для бюрократии в целом — это всеобъемлющая профанация здравого смысла, наиболее общим выражением которой является превращение государственных задач в канцелярские, а канцелярских — в государственные. В этом аномальном, перевернутом мире «конторы» действительные цели государства предстают как противогосударственные. И именно с ними, а вернее, с носителями этих государственных, общенародных целей бюрократия ведет самую настоящую войну.

Вообще канцелярскому мышлению, казенной психологии претит всякое обращение к жизни, к ее невыдуманным проблемам. Не зная реальности, слепо веря в субординацию и авторитеты, в механизм твердо установленных формальных действий, готовых воззрений и схем, бюрократ догматичен по своей природе. Особое его раздражение и яростное противодействие вызывают требования перемен, приходящая на смену одномерности многомерность.

Но как при всем этом бюрократии удастся не просто держаться на плаву, но оказывать немалое влияние на курс и скорость государственного корабля? Как удастся столь долго испытывать терпение тех, чьими интересами она беззастенчиво пренебрегает?

Во-первых, бюрократия фальсифицирует, нередко весьма ловко, подлинное содержание своей деятельности, свою истинную роль. И недаром рожденная перестройкой гласность так ненавистна бюрократу. Ведь

только отсутствие гласности и позволило ему формировать представление о себе как незаменимом, непогрешимом и неусыпном страже высших интересов государства, беззаветном радетеле о народном благе. Если и есть реальная основа бюрократического авторитета, то в первую очередь и главным образом это — неведение масс. Гласность, открытое, демократическое обсуждение проблем, а шире — плюрализм взглядов и жизненных форм неизбежно лишают бюрократию ее тайны, ореола избранности, а вместе с ними в конечном счете и власти.

Во-вторых, известно, что не только отдельные люди, но и общественные группы могут действовать во вред собственным интересам, когда чуждому интересу удастся как бы соединиться с какой-то гранью их интереса и предстать, пусть на время, своим, кровным. Бюрократическое подавление всякой несанкционированной свыше инициативы, запретительство, насаждение интеллектуального консерватизма и приспособленчества, недоверие к опыту, разуму, государственному мышлению трудящихся масс — все это совращает немалую часть людей, приучает к безответственности (какой спрос с человека несамостоятельного, ограниченного в правах?). И это, на беду, не могло не показаться кому-то весьма удобным. «Начальству виднее» — вот еще не потерявшая опоры житейская философия равнодушных, бездумных, не желающих утруждать себя, привыкших получать готовенькое и ждать указаний.

Правда, с такой философией становится жить все труднее. Время властно зовет и формирует людей, олицетворяющих активное начало, ищущих, взрывающих застой, преодолевающих инерцию,двигающих вперед перестройку. Они внушают ужас бюрократу, видящему в них своего могильщика.

«Упразднение бюрократии, — писал Маркс, — возможно лишь при том условии, что всеобщий интерес становится особым интересом в действительности... это, в свою очередь, возможно лишь при том условии, что *особый* интерес становится в действительности *всеобщим*»¹. Иначе говоря, соединение в прочную взаимозависимость «моего» и «нашего» подрывает саму основу существования казенного человека, лишает его поля деятельности.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 273.

Благодаря устранению единообразия в экономике, снятию запретов с многообразия форм социалистического хозяйствования создается и будет, хочется надеяться, создан механизм, который сделает выгодное государству выгодным и для разных социальных групп, для каждого трудового коллектива, каждого человека. Звенья такого механизма мы видим в бригадном и семейном подряде, в развитии арендных отношений. Благодаря этому интересы личности, коллектива и общества все туже завязываются в один узел, появляется больше простора для реализации человеческого таланта. Инициатива становится выгодной. Сам хозяйственный механизм заставляет экономить: ведь часть добытой экономии остается коллективу. А поскольку прогресс техники и технологии, повышение качества продукции — это тоже экономия, то чем мощнее обеспечиваемый новшеством рынок, тем желаннее оно.

Если это со скрипом, трудно прививается сегодня, то главным образом потому, что мы пока так и не пришли к подлинному хозрасчету.

Вне хозрасчетного механизма остается до сих пор большая часть системы управления, прежде всего министерства и ведомства. Сегодня очевидна необходимость такой реорганизации управленческого аппарата, которая бы превратила ведомственный интерес в действительный интерес служения народу. Для этого «верх» должен быть зависим от «низа», подотчетен и подконтролен ему, сменяем им. Кроме того, управленческая зарплата не может быть надежным стимулом, когда она автономна, не связана с рублем производственным, с конечным результатом, коим является не «исходящая» бумага, а реальная, нужная людям продукция.

Эффект от такой реформы аппарата будет не только экономическим, но и, безусловно, социальным, политическим. Власть конторы — одна из важнейших опор административной системы. Однако упразднение или реконструкция отдельных общественных институтов еще не позволяют говорить о расчистке почвы для демократического многообразия и тем более о победе над агрессивной однозначностью. Ведь последняя имеет корни не только в тех или иных формах и методах управления. Эти корни и в реальных экономических отношениях, и в идеологических догмах, и в обладающей большой инерционной силой социальной психологии.

Серьезнейшим препятствием для восприятия многообразия как естественного, внутренне присущего социализму состояния является проросшая буквально во всех тканях нашего общества уравниловка. Она сохраняет поразительную живучесть, несмотря на многочисленные атаки, предпринятые на нее в последние годы. Ее гонишь в дверь, а она лезет в окно. В чем тут дело?

*Уйти от уравниловки —
уйти от нивелировки личности
в обществе*

Если отвлечься от деталей, стереотипное оправдание уравниловки сводится к следующему: нельзя, дескать, допустить большой разницы в доходах советских людей, ибо это будет означать не выравнивание уровней жизни по мере развития нового общества, а чуждое социализму углубление имущественной дифференциации.

Данное утверждение при всей его внешней заботе о «простых людях» на самом деле не служит интересам народа, обращено против него. Социальная защищенность превращается в собственную противоположность, становится порочной, если она приучает к лени, захребетничеству, лишает стимулов и инициативы. Ее закономерный результат — удовлетворенность минимумом, низводящим к низшим пределам стандарты труда и стандарты жизни. В этом случае просто отсутствует почва, на которой только и могут сформироваться разносторонние желания, богатые человеческие потребности.

Но, не отвечая коренным интересам трудящихся, противореча высшему принципу социализма, предусматривающему, как известно, оплату по труду, уразнительные установки оказались очень даже кстати для определенных общественных групп, в полной мере согласуются с их корыстными частными интересами. Если принять во внимание реальную власть этих групп, то становится очевидной и одна из важнейших причин устойчивости уравниловки.

Обратимся, например, к не столь далекому прошлому, к тем временам, когда на самой вершине административной системы пребывали Л. И. Брежнев и его ближайшие сподвижники. Неспособность этих людей

управлять государственным кораблем, их растерянность перед нарастанием в стране кризиса нашли отражение в крайностях проводимой ими политики, уродливо сочетававшей грубый окрик с практикой умиротворения, задабривания, подкупа населения.

Не умея найти выход из тупика, тогдашнее партийно-государственное руководство пыталось загасить зревшее общественное недовольство, завоевать расположение людей ослаблением дисциплины, гарантированной оплатой любого безделья, дождем всевозможных наград и премий. Собственное политическое долголетие покупалось баснословно дорогой ценой: увеличивающимся отставанием нашей страны от промышленно развитых государств, разрушением душевного здоровья народа, приучаемого к социальному иждивенчеству, развращаемого подачками за счет недолговечной нефтяной конъюнктуры и проедания невозобновимых национальных богатств.

Реакцией на игнорирование социалистически понятого личного интереса, на ограничение возможностей самореализации и самоутверждения человека в труде, на дискредитацию и ослабление роли важнейших ценностей социалистического образа жизни стало потребительство. Обозначилась прослойка лиц с отчетливо выраженными рваческими устремлениями, с мещанской мертвой хваткой «за свой кусок» и наплевательским отношением к общественным интересам. Перестройка помимо других задач призвана решить и такую: положить конец омещаниванию нашего общества. Болезнь эта, надо признать, зашла далеко. Ведь не секрет, что стремление к неправедным доходам стало нормой далеко не в единичных семьях, оно развращает, разлагает целые коллективы, охваченные нарастающей волной группового эгоизма.

Если на одном полюсе потребительства оказались социальные группы, ориентированные на максимальное потребление благ за счет других слоев населения, то на другом его полюсе спокойноенько обосновались люди числом, может быть, даже поболее, которых вполне устраивает средний достаток при минимуме собственных усилий. Равнодушные иждивенцы социализма, привыкшие работать без всякой инициативы «от сих до сих», рассматривающие наше общество в качестве благотворительной организации, которая в любом случае не даст попасть в беду, являются не меньшей

угрозой для перестройки, чем их нахрапистые двойники по другую сторону обывательского болота.

Поощрял (и продолжает поощрять!) уравниловку также ведомственный эгоизм. Скажем, широко разрекламированный в 70-е годы щекинский эксперимент главным образом по этой причине не реализовал своих многообещающих возможностей. Он пал жертвой нежелания одних людей допустить, чтобы другие люди получали много, и притом строго по труду. Ведь это могло вызвать глубокую цепную реакцию, ударить по множеству звеньев и на производстве, и в управлении. Поэтому немудрено, что в последовавших ведомственных «поправках» был с особым рвением изничтожен самый «крамольный» пункт щекинского метода — право переводить в фонд материального поощрения и оставлять за предприятием основную часть экономии зарплаты. После этого продолжение эксперимента не могло не стать его агонией.

Нечто похожее происходит, увы, и сейчас, в условиях перестройки. Многие экономисты отмечают, что ощутимых результатов от радикальной экономической реформы нет до сих пор не в последнюю очередь потому, что действует все тот же механизм уравнивания по-разному работающих коллективов. Делается это, в частности, с помощью введения индивидуальных нормативов, в основе которых лежат не общественно необходимые затраты, а сложившиеся к настоящему времени показатели того или иного предприятия. Чем эффективнее работа и значительнее прибыль, тем большая ее часть изымается в бюджет и для последующего распределения министерствами среди тех, кто работает хуже и меньше.

Образовался и действует единым фронтом странный на первый взгляд союз управителей и управляемых, бюрократической части аппарата и наименее квалифицированной части рабочих и специалистов, административной авторитарности и социального нахлебничества. Главное объединяющее начало для всех участников этого союза состоит в том, что их заработок никак не связан с конечным результатом.

Легко понять, сколь сильно должна претить им ситуация, когда свободное соревнование индивидуальностей в условиях плюрализма (а он и означает в основе своей соревновательность!) воздаст каждому по его уму, таланту, компетентности, трудолюбию, инициативе.

тивности, покажет, кто чего стоит в действительности. И наоборот, только обезличка способна покрывать и дальше бездарность, серость, захребетничество, только единообразие и застылость общественных форм могут гарантировать сохранение вскормленных уравниловкой упований на добренькое государство, которое ни в чем не откажет, стоит лишь как следует попросить или потребовать.

Историю живучести уравниловки нельзя понять, пренебрегая таким могучим фактором инерционных процессов, как историческое развитие конкретного общества.

Мы начинали с «военного коммунизма» как одной из форм уравнительного коммунизма. По характеристике К. Маркса, такой коммунизм еще находится в плену у частной собственности и заражен ею. «...На первых порах он выступает как *всеобщая* частная собственность... он стремится уничтожить *все* то, чем, на началах *частной собственности*, не могут обладать все; он хочет *насильственно* абстрагироваться от таланта и т. д.». И далее: «Всякая частная собственность как таковая ощущает — *по крайней мере* по отношению к *более богатой* частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из *представления* о некоем минимуме. У него — *определенная ограниченная мера*»¹.

Вряд ли мы могли миновать этот этап в нашей истории вовсе. В первые годы после победы Октябрьской революции нашему народу сознательно пришлось идти на жертвы, на самоограничения, на сведение потребностей к самому насущному. «Военный коммунизм», как подчеркивал В. И. Ленин, «был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой»². Он мог быть только порождением чрезвычайных обстоятельств, суровой необходимости.

Но слишком велик оказался соблазн для административной системы, начавшей утверждаться в стране после смерти Ленина, как можно дольше сохранять чрезвычайную обстановку, покрепче удерживать в об-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 114—115.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 220.

щественной практике и в общественном сознании рудименты грубоурavnительного, «казарменного» коммунизма. Отсюда утратившая всякие следы искренности проповедь аскетической морали, приписывание материальному благосостоянию всех мыслимых и немислимых пороков, наделение нравственной доблестью отказа от «эгоистических», личных интересов. Отсюда восхваление «равенства», не затуманенного никакими индивидуальными, отличными от общей массы желаниями.

Такое неуклонное стремление к стиранию всякой индивидуальности, к обезличиванию было прямым путем к формированию психологии отнюдь не трудовой и не социалистической. Это психология скорее мелкобуржуазная или присущая люмпену. Ее отличает зависть к более преуспевающему, к более обеспеченному материально, к более образованному, к любому имущему, независимо от его социального положения. Ревниво-завистливый взгляд поборников уравнительности на все, что им не принадлежит, — будь то вещи, зарплата, знания, интеллектуальное развитие — и питает уравнительные настроения. «У меня нет — так пусть ни у кого не будет; всем не хватает в достатке — пусть у всех будет одинаково понемногу» — вот формула мышления ревнителей заскорuzлого эгалитаризма и популизма.

В распространенности и стойкости подобного сознания — одна из основных причин искусственного сдерживания развития, например, аренды. Газеты время от времени сообщают факты, побуждающие вспомнить и английских луддитов, и помяловских бурсаков. Скажем, собравшему отменный урожай подрядному звену не хотят выплачивать заработанные «бешеные деньги»; в другом месте встающему на ноги кооперативу за ночь искорежили технику, сожгли хозяйственные постройки; а там, смотришь, заезжие арендаторы раз за разом обнаруживают в бидонах с надоенным накануне молоком навоз — «подарок» от аборигенов, не желающих терпеть рядом с собой преуспевающих и служащих им постоянным укором соседей.

Здесь как бы объединяются болезненная реакция на чужие высокие заработки со стороны тех, кто привык получать «поровну», с начетничеством и невежеством, видящими в отступающих от уравниловки формах труда уступку частной собственности. Здесь грубо и

зримо прорываются наружу бюрократические мечты об увековечении унификации, конформизма, единомыслия. Здесь находит отдушину активное неприятие обывателем многообразия, вариантности, желание не допустить их, помешать их утверждению в обществе.

Последовательное проведение в жизнь принципа оплаты по труду — неотъемлемая часть механизма гармонизации интересов в условиях социализма. Оно означает, с одной стороны, активную защиту интересов трудящихся, а с другой — обращено своим острием против нетрудовых доходов. Сегодня всем своим образом действий передовые, достигающие наилучших показателей коллективы отвергают многолетнюю порочную практику «экономии» фонда зарплаты на самой инициативной и умелой части рабочих, инженеров, научных работников.

Общенародный интерес быстрее соединяется с личным там, где смело убирают бюрократические и психологические препятствия в выполнении четкого ленинского положения, накрепко соединяющего предпочтение в ударности с предпочтением в потреблении благ, используют дополнительные доходы, получаемые в результате роста эффективности работы, для существенного повышения оплаты передовым труженикам. Что же касается страхов, связанных с тем, что строгое соответствие зарплаты реальным достижениям в труде увеличит «вилку» доходов, то сама жизнь развеивает их.

Например, в хозрасчетных бригадах совместный интерес и коллективный контроль побуждают не столько скрупулезно отмеривать вознаграждение, полагающееся отдельным работникам, сколько поднимать общий заработок за счет повышения и выравнивания на этой основе отдачи каждого. Особенно благоприятные возможности для соединения личного материального интереса с общественной пользой открывают арендные отношения, различные формы кооперации. Они разрушают догматическое единообразие в сфере экономики, что увеличивает возможность выбора не только для производителя, но и для потребителя.

Механизм, предназначенный устранить диссонанс интересов в нашем обществе, обретает зримые черты. Кое-кто уже готов поверить, что он будет «работать сам». А потому, дескать, излишними окажутся усилия тех, кто взывает к сознательности и морали. Да, идея

неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от интереса. Доказательств этому мы видели предостаточно в условиях, когда экономический интерес не брался в расчет или третировался. Но кто сказал, что человеческие интересы сводятся только к экономическим?

Уповать на автоматизм действия нового хозяйственного механизма неразумно не только потому, что не так скоро, как хотелось бы, исчезнет опасность для него со стороны групп, корпоративные интересы которых он ущемляет. Вопрос еще и в другом. Пока, и это понятно, главный упор в хозяйственных преобразованиях делается на укрепление экономического интереса. Но надо смотреть вперед и видеть, что дополнительный рубль — не самый действенный стимул для человека, материально обеспеченного.

Нерушимая связь личного и общественного невозможна вне и помимо таких категорий, как порядочность, чувство долга, самоотверженность ради высокой общественной цели. Идеиные, нравственные мотивы труда дают человеку возможность ощущать себя подлинным хозяином, а не хозяйчиком в нашей жизни. Именно они органично вплетают в интерес такое качество, как совесть. И только они делают вершиной интереса самовыражение, самореализацию личности, подчинение ее творческих возможностей благу других людей.

Как примирить желания меньшинства с волей большинства? Как погасить недовольство проигрывающих в соревновании способностей, если именно способности и начинают во все большей степени определять уровень благосостояния? Как уберечь общество от того, чтобы необходимый для раскрепощения инициативы людей плюрализм мнений, позиций, форм общественной самодеятельности не стал источником опасного подрыва политической стабильности?

Компромисс — да! Половинчатость — нет!

Перестройку не осуществить без единства воли, единства действий. В подтверждение этого очевидного положения вряд ли нужны какие-то доказательства. Вместе с тем мы впали бы в непростительный самообман, если бы вдруг поверили в возможность полной общественной гармонии и полного общественного согласия

в период революционной ломки. Такая ломка, и об этом партия говорит народу прямо, не только должна принести благо основной массе трудящихся, но и лишить прежнего комфортного существования некоторые общественные группы. А это значит, что по мере углубления реформ неизбежно появление очагов социальной напряженности, естественна поляризация позиций. То есть возникает реальная угроза общественному единству в то самое время, когда крайне необходимо общественное согласие.

В этой непростой ситуации бурлящих страстей и накала эмоций, глубокой переоценки ценностей, сшибки старого и нового огромное значение приобретают компромиссы как средство разрешения конфликтов, как незаменимый инструмент баланса интересов.

Сегодня нередко в печати слово «компромисс» употребляется в сугубо отрицательном значении. Оно служит для обозначения любых явлений и фактов, которые тот или иной автор готов истолковать как непоследовательность в реализации концепции перестройки, выполнении партийных решений и принятых законов, как недопустимую поблажку консерваторам и экстремистам, как отсутствие необходимой твердости. При этом, однако, забывается, что искусству компромисса принадлежит огромная роль в политике вообще, а на этапах революционных преобразований — особенно.

Вот почему в интересах дела, думается, провести возможности четкую грань между двумя рядами внешне сходных, но принципиально различающихся действий, не путать компромисс и половинчатость.

Если проанализировать причины неудач наших прежних попыток провести радикальные реформы в экономике (1965, 1979 гг.), поднять роль Советов народных депутатов, внести сколько-нибудь существенные изменения в командно-административную систему, то обнаружится, что благие намерения в огромной степени гробились половинчатостью при их реализации. Половинчатость остается и сегодня одним из сильнейших тормозов перестройки, реальной угрозой всему процессу обновления.

Ставим, например, задачу глубоких качественных преобразований в экономике, а в план закладываем, по существу, прежний количественный подход и никак не можем остановиться в производстве все большего количества стали, комбайнов, обуви. Хотя, будь здесь

иное качество, столько и не надо. В погоне за валом наращиваем разорительную «незавершенку» в строительстве, тратим ежегодно миллиарды рублей на покрытие убытков нерентабельных предприятий.

Много робкой непоследовательности в кадровой политике, где пока что, безусловно, преобладающим является номенклатурный принцип. В результате, если прибегнуть к карточному сравнению, тасуется чаще всего одна и та же колода, идет пересаживание «попавших в обойму» из одного руководящего кресла в другое. И все недостает решимости разорвать этот круг, ввести людей действительно новых, не бояться молодости и недостатка опыта руководящей работы у претендента, если у него есть в достатке и ум, и энергия, и свежие идеи.

Половинчатость, постепенщина пронизывают реформу управления. Малоутешительный опыт упраздненных ныне агропромов, других ведомств давно подталкивал к «крамольной» мысли: а нужны ли вообще отраслевые министерства? Мы стоим перед выбором, сделать который побуждает сама жизнь. Будут в экономике царить ведомства — будет неистребим и ведомственный, пекущийся лишь о своей узкой выгоде интерес, будет внутриведомственное уравнильное перераспределение средств, ресурсов, благ — будет постоянное посягательство на хозяйственную самостоятельность предприятий. Поскольку ни одна из названных проблем не может быть устранена простым сокращением числа министерств, любое подобное сокращение предстает лишь полумерой.

Что же ведет к половинчатости? Прежде всего неумение или нежелание отказать эгоистическому групповому, корпоративному интересу в его стремлении сохранить для себя «место под солнцем». Половинчатость и есть, в сущности, умиротворение частного интереса, уступка ему за счет интереса общего и в ущерб ему. Это, пожалуй, главный пробный камень, позволяющий отличить половинчатость от компромисса, ставящего во главу угла общий интерес, защищающего его.

Суть такого компромисса прямо противоположна половинчатости. Она — в способности четко представлять приоритет целей, жертвовать менее значительным, чтобы в итоге добиться более значительного, не бояться сегодняшних минусов, если завтра благодаря этому можно получить серьезные плюсы. В то вре-

мя как половинчатость лишь создает видимость решения проблем, на деле усугубляя, обостряя их, компромисс часто является необходимым звеном как раз в решении проблем.

Вспомним, что писал о компромиссах в политике В. И. Ленин. Нельзя, предупреждал он, быть против всякого компромисса, нельзя зарекаться от компромиссов. Требование «все или ничего!», непризнание любых результатов, кроме немедленных, попытка перескочить через промежуточные этапы, выставление собственного нетерпения в качестве теоретического аргумента — все это левацкое ребячество, неконструктивная позиция.

Разумеется, Ленин не ратовал за «компромиссы вообще». Непременным требованием для него было «уметь через все компромиссы, которые с необходимостью навязываются иногда в силу обстоятельств даже самой революционной партии даже самого революционного класса, через все компромиссы уметь сохранить, укрепить, закалить, развить революционную тактику и организацию, революционное сознание, решимость, подготовленность рабочего класса и его организационного авангарда, коммунистической партии» (Полн. собр. соч. Т. 40. С. 290).

Значит, в той революционной ломке, какой является перестройка, сам компромисс должен иметь строгие перестроечные критерии. Каковы же они?

Это — использование широкого спектра уступок всем союзникам перестройки и одновременно твердое пресечение любых попыток застопорить послеапрельское развитие или повернуть его вспять, завоевание сторонников реформ, а не поощрение противников преобразований.

Даже заключенный исключительно из тактических соображений, вроде бы временный мир между борником решительных перемен и закоренелым консерватором, между человеком, воспринимающим всерьез требование партии о недопустимости существования зон и лиц, закрытых для критики, и убежденным гонителем гласности, между честным тружеником и тем, кого вполне устраивала возможность получать незаработанное, — способен ослабить революционный тонус перестройки, раздробить ее силы, замедлить ее поступь.

Консолидация нужна не ради нее самой. Сегодня

ее главный смысл — довести до победы дело, начатое перестройкой. Поэтому не утратило значения знаменитое ленинское: прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. К объединению на принципиальных основах революционного обновления нельзя прийти иначе, как гласно развенчивая антиперестроечные платформы, давая бой попыткам игнорировать общественное мнение, действовать силовыми методами.

Здесь-то как раз и нужна интегрирующая роль партии, которую сегодня никакая другая политическая сила нашего общества взять на себя реально не может. Это роль общественного авангарда, освобождающегося от административных и хозяйственных функций, концентрирующего внимание на работе политической. Понятно, что такая работа немислима вне развивающихся демократических норм и процедур, вне плюрализма.

Плюрализм, вопреки ложным опасениям и преднамеренным попыткам ввести в заблуждение, не означает разгула анархии. Более того, преодолевая отчуждение народа от власти, развивая хозяйственную самостоятельность и экономические методы, он создает основу саморегулирования интересов, их действительного согласования, а не подавления одних другими. А это решающий фактор общественного сплочения.

С. А. Королев

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ

В последнее время ученые-обществоведы, пытаясь осмыслить проблемы, с которыми сталкивается в ходе перестройки советское общество, достаточно скрупулезно анализируют семидесятилетний опыт существования социализма в нашей стране, стремятся выявить причины и корни имеющихся негативных явлений и деформаций, проследить процесс формирования тех общественных структур, которые являются тормозом на пути движения нашего общества вперед, проанализировать их эволюцию, определить, что же мешает сегодня реализации всех потенциальных возможностей социализма как общественного строя.

Однако, несмотря на значительное внимание исследователей, снятие разного рода «табу» на действительно научную разработку истории и теории социализма, многие вопросы пока не получили в научной литературе достаточного анализа. К ним относятся в первую очередь создание и последующая трансформация административно-командной системы, формирование режима личной власти Сталина, причины возникновения бюрократических тенденций при социализме и воздействие бюрократии на различные стороны общественной жизни, пути и средства преодоления бюрократических извращений.

*От приоритета «политики»
к деформации политической системы*

Многие дилеммы и трудности, с которыми столкнулись руководители большевистской партии после победы Октября, явились отражением специфического для России взаимоотношения политики и экономики, экономического базиса и выросшей над ним политической надстройки. Как известно, начиная с весны 1917 года В. И. Ленин неоднократно отмечал несоответствие между политическим строем России (которая после Февральской революции, свергнувшей монархию и возродившей Советы как форму народовластия, стала самой свободной из всех воюющих стран¹) и уровнем ее экономического развития, что как бы «возвращало» ее в ряд отсталых стран Европы.

Противоречие между экономическим базисом и политическим строем, их «расхождение» («ножницы», если использовать популярное в 20-е годы слово), естественно, особенно остро дали себя знать после осуществления социалистического переворота, когда страна совершила еще один резкий рывок вперед в политическом отношении, не только не добившись прогресса, а даже оказавшись отброшенной назад (война, голод, разруха и т. п.) в плане экономическом.

Это фундаментальное противоречие нашло свое отражение как в практической деятельности партии, так и в теории.

Радикальной попыткой ликвидировать разрыв между «политическим» и «экономическим» был «военный коммунизм»: всеобщая трудовая повинность, строжайшая централизация управления экономикой, продразверстка, запрещение частной торговли, государственное распределение продовольствия, своеобразные формы неэквивалентного продуктообмена между городом и деревней и т. д.

В теоретическом плане политика «военного коммунизма» рассматривалась (по крайней мере, на рубеже 20-х годов) как закономерное и естественное следствие изменений в базисе общества, революции в сфере производственных отношений, ликвидации крупной капиталистической и помещичьей собственности.

В ряде работ и выступлений В. И. Ленина, особен-

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 114.

но периода так называемой профсоюзной дискуссии, вопрос о соотношении экономики и политики в переходный период был конкретизирован и поставлен, прежде всего, в том плане, как опасно забвение «первенства политики» над экономикой в условиях разворачивающейся в послереволюционный период классовой борьбы, сколь пагубным может оказаться непонимание того, что любые мыслимые методы решения хозяйственных задач могут иметь смысл лишь постольку, поскольку обеспечено сохранение политической власти рабочего класса¹.

Действительность вскоре показала, что структуры «военного коммунизма» отнюдь не были естественной «надстройкой» над обобществленными средствами производства, как, впрочем, не могли они обеспечить социалистическое преобразование экономического базиса в целом. Напротив, в той мере, в какой «военный коммунизм» был необходим и оправдан, он был оправдан императивами именно политической ситуации, жестокими условиями гражданской войны и разрухи. Иными словами, теоретизация 1919—1920 годов оказалась не вполне адекватным обобщением практики «военного коммунизма».

С окончанием гражданской войны и переходом к мирному строительству были предприняты попытки демократизации «военно-коммунистической» модели. Однако выработка нового курса давалась нелегко, приближение к истине было сложным, поэтапным и непрямолинейным процессом. В частности, ход профсоюзной дискуссии показывает, что первоначально была сделана попытка перестроить политическую сферу, политические механизмы, пресечь инерцию жесткого администрирования, бюрократические тенденции, сократить, насколько это представлялось возможным, сферу принуждения, активизировать «приводные ремни», связывающие партию с массами, не подвергая при этом коренным изменениям основы экономической политики. И лишь спустя несколько месяцев В. И. Лениным было найдено звено, позволившее увязать в единое целое решение назревших экономических и политических проблем: продналог и радикальная реформа всей хозяйственной системы.

Тем не менее осознание того, что «военный комму-

¹ См., например: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 279.

низм» не стал политикой, в которой нашли свое «концентрированное выражение» экономические императивы, что всепроникающее внеэкономическое принуждение несовместимо с пониманием социализма как строя, открывающего простор развитию производительных сил, и в том числе главной производительной силы любого общества — трудящегося, не ставило под сомнение сам фундаментальный вывод о необходимости реализации экономических императивов в политической сфере. Было отброшено лишь упрощенное, одностороннее представление о сущности этих императивов. Более того, положение о том, что «политика есть концентрированное выражение экономики», стало одной из важнейших теоретических предпосылок перехода к нэпу в 1921 году.

Разумеется, нельзя сказать, что нэп в полной мере означал концентрацию, «конденсацию» требований экономического развития в политической сфере. «Проекция» экономических императивов в политику — продналог, свобода торговли и т. п. — сочеталась (и в тот период не могла, видимо, не сочетаться) с «проецированием» политических императивов в экономику, например ограничением кулачества (что вряд ли могло быть признано целесообразным при чисто «экономическом» подходе). «Приоритетность» политики, необходимость постоянно рассматривать ход экономического развития через призму классовой борьбы так или иначе ограничивали «свободное» развитие многоукладной экономики. Лишь в конечном счете, в достаточно длительной перспективе нэп, ориентированный на создание основ социализма, экономического базиса, адекватного уже существовавшему в стране политическому строю, мог привести к реализации принципа «политика есть концентрированное выражение экономики». Что касается периода после 1921 года, то более или менее безболезненное разрешение противоречия между «экономическим» и «политическим» представляло собой весьма нелегкую задачу, требовало выработки достаточно изощренной компромиссной политической линии, своего рода «равнодействующей» главных политических и экономических императивов, ее постоянной коррекции с учетом изменяющихся реальностей. В этом отношении нэп был компромиссом не только между рабочим классом и крестьянством, но и между «политикой» и «экономикой».

Компромисс этот существовал, однако, в своеобразных условиях — фоном для него был все тот же неизбежный приоритет «политического», необходимость рассматривать все явления хозяйственной жизни через призму сохранения политических завоеваний Октябрьской революции. Но где начинается та грань, за которой осуществление компромиссной экономической стратегии может представлять угрозу устоям Советской власти? Где критерии, позволяющие отличить подлинную угрозу от потенциальной или иллюзорной? Однозначного, «простого» ответа на эти и многие другие вопросы не существовало, его невозможно было найти ни в одном марксистском учебнике. В каждом конкретном случае необходим был серьезный, всесторонний политический анализ, предполагающий не только исчерпывающее «анатомирование» каждой конкретной ситуации, но и масштабное, перспективное видение развития социализма в целом. Людей, способных на это, в руководстве партии становилось все меньше; партийные «средняки» (по выражению А. И. Микояна), выдвинувшиеся с низовой партийной работы в 20-е годы и пополнившие к концу десятилетия сталинское окружение, в социальном плане отражали настроения партийной массы, удельный вес которой, в противовес «старой партийной гвардии», возрос многократно. А для этой массы, не обладавшей ни высокой (а часто даже элементарной) культурой, ни знанием марксизма (за исключением нескольких популярных формул и лозунгов), труднопреодолимым было искушение решить все проблемы «просто», разом, однократным актом, вместо того чтобы заниматься их решением ежедневно и ежечасно.

Не случайно со второй половины 20-х ясно просматривается тенденция к смещению установившегося баланса «экономики» и «политики» «влево», в сторону абсолютной доминанции «политического» (вспомним хотя бы известную программу «сверхиндустриализации» Троцкого — Преображенского, которая представляла собой попытку нарушить сложившийся в условиях нэпа упомянутый компромиссный баланс; однако и эта программа не была все же «тотальной» абсолютизацией «политического», хотя бы потому, что была ориентирована на усиление нажима на крестьянство через рыночный, нэповский механизм).

Перечисленные выше факторы в какой-то мере об-

легчили тот резкий поворот, который Сталин совершил в конце 20-х, покончив с нэпом и сделав ставку на экономические формы, близкие к «военному коммунизму», и административные методы достижения политических целей. Однако они ни в коей мере не свидетельствуют о том, что поворот этот был неизбежным или необходимым, как не свидетельствуют они и о том, что он был результатом неразрешимого конфликта «политического» и «экономического». «Умерщвление» нэпа и форсированная коллективизация явились, по сути дела, не пирровой победой политики над экономикой, так или иначе обусловленной отсталостью России, а возобладанием волюнтаристской политики над компромиссной, реалистической политической и экономической стратегией, основанной на максимально возможном учете экономических факторов и их воздействия на сферу политики.

В 1929 году диалектическая связь политических и экономических приоритетов была разорвана, противоречие между экономикой и политикой, между признанием «первенства» политики и одновременно детерминированием политической сферы экономикой было «разрешено» фактическим уничтожением экономических механизмов и соответственно отказом от понимания политики как концентрированной экономики, как нормального, имманентного социализму соотношения этих двух «начал» общественной жизни. Короткий, но чрезвычайно трудный и болезненный опыт периода «военного коммунизма», опыт, приведший к пониманию истинной диалектики «политического» и «экономического» в условиях переходного периода, был отброшен, и общество было возвращено к той исторической «развилке», которую, как казалось, оно миновало еще в начале 20-х. Была избрана наиболее бесперспективная (бесперспективная, поскольку она уже была отторгнута историей, самим ходом революции) альтернатива: вместо разрешения стоявших перед страной проблем при помощи сложного экономического механизма (хозрасчет, рынок, система ценообразования, экономические стимулы и т. п.) был взят курс на решение их волевым путем, на ломку сложившихся экономических структур и подчинение развития упрощенно понятым политическим приоритетам.

Материальным воплощением понимания экономики как своего рода «концентрированной политики»,

орудием «перетряхивания» экономических структур сверху и стала административно-командная система.

Однако рассмотрение вопроса о предпосылках, причинах и следствиях резкой трансформации политического курса на рубеже 30-х годов не должно заслонять от нас другого аспекта проблемы. А именно того, что переход к форсированной и далеко не добровольной коллективизации ознаменовал собой не только утверждение качественно иной по сравнению с нэпом модели политики, системы представлений о будущем социализме, но и новую — новую не только по сравнению с нэпом, но и с практикой периода «военного коммунизма» — модель *формирования* политики. До этих пор все важнейшие политические решения принимались съездами партии (Брестский мир, нэп и т. д.), были партией санкционированы и одобрены.

Политика форсированной коллективизации партий, в лице ее высших форумов, одобрена и принята не была; лишь когда процесс ликвидации нэпа принял необратимый характер, она была санкционирована, что называется, постфактум. «Роль» съездовских решений выполняли «установочные» выступления Сталина (вроде речи на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 г., где был выдвинут лозунг ликвидации кулачества как класса) и постановления центральных органов, нередко дословно повторявшие выступления вождя.

Утверждение этой модели принятия политических решений, может быть, в не меньшей мере, нежели содержание осуществляемых политических программ, ознаменовало формирование административно-командной системы управления. Именно с этих пор (и вплоть до исторического XX съезда КПСС) неуклонно снижается роль съездов партии как органов, реально вырабатывающих ее политический курс, нарастают элементы парадности, ритуальности в их работе, а процесс принятия решений становится прерогативой узкого круга лиц, входящих в высшие *исполнительные* органы; вскоре и эти последние перестают быть субъектом политических решений, превратившись, по сути дела, в некое подобие консультативных комитетов при Сталине. Скажем, если до войны в Политбюро выделялся так называемый «узкий состав» («пятерка», «шестерка», затем «семерка» — ближайшее сталинское окружение), то в начале 50-х годов регулярных засе-

даний Политбюро уже не проводилось; те, кто приглашался к Сталину на дачу, на ужин, становились тем самым участниками заседаний.

Иными словами, если в области содержания политики «великий перелом» рубежа 20—30-х годов означал возврат к сверхцентралистской модели, характерной для «военного коммунизма», к внеэкономическим методам воздействия на крестьянство, то с точки зрения форм выработки политики этот период означал появление в политической жизни чего-то несравнимо худшего, нежели сверхцентрализм и жесткие командные методы управления обществом: именно с этого момента резко ускорился процесс свертывания внутрипартийной демократии, усилилась эрозия ленинских традиций и норм внутрипартийной жизни, неизбежно повлекшие за собой глубокие деформации всей политической системы социализма и открывшие путь к утверждению режима личной власти Сталина.

Таким образом, отказ от ленинских демократических принципов, от ленинского представления о социализме как строе, который по мере своего развития расширяет пределы демократии, был не результатом, не следствием, а предпосылкой развития административно-командной системы и реализации соответствующей ей примитивной версии социализма.

В свете этого очевидно, что сегодня, когда развернулась борьба за преодоление тяжелого груза прошлого, наследия той системы, которую многие ученые не без оснований именуют сталинизмом, эти задачи не могут быть решены без всесторонней демократизации, без восстановления форм политической организации и механизмов выработки политических решений, соответствующих подлинной природе социалистического строя.

Политическое сознание: потенциал возвратного движения

Очевидно, в период нэпа отнюдь не подвергся полной эрозии и тот тип сознания, тот тип политического мышления, который связывал представление об идеале социализма со структурами и методами управления обществом, возникшими в годы «военного коммунизма». Эта традиция оставалась живой и в сознании мно-

гих руководителей партии, и — в еще большей степени — в сознании и психологии партийных масс.

Этот тип восприятия действительности формировался под влиянием жестокой реальности гражданской войны, причем общая отсталость страны, отсутствие сколько-нибудь прочной демократической традиции, неизбежная живучесть как в мелкобуржуазной, так и в пролетарской среде уравнилельных, полуутопических представлений о социальной справедливости и социальном равенстве становились питательной почвой, на которой постоянно воспроизводился этот способ отношения к реальностям послеоктябрьской России. Такого рода мировоззренческие ориентации вели в конечном счете к однолинейному восприятию действительности, истолкованию ее в терминах «друг» и «враг», шла ли речь о действительных классовых противниках или о колеблющихся элементах, не являющихся неизбежно и необходимо противниками Советской власти. Платоновский Саша Дванов, мечтавший в годы гражданской войны о «свирепой ликвидации» старого «жлобского хозяйства», о беспощадном «страшном суде», «рабочей расправе» над оставшейся буржуазией, и шолоховский Макар Нагульнов, десятилетие спустя рассуждающий со столь же прямолинейной логикой («если ты контра, так становись к стенке, гад!»), — это один социальный тип, один и тот же образ мысли... Такой тип плоскостного, «черно-белого» или, что, может быть, уместнее в данном контексте, «красно-белого» восприятия политической действительности в процессе своего саморазвития естественным образом порождал представления о неизбежности «свирепой расправы» и с ошибающимися или просто иначе мыслящими, по-другому оценивающими те или иные события и явления товарищами по партии.

Нэп, как известно, несмотря на его достаточно единодушное одобрение на X съезде, вызвал отнюдь не однозначное отношение в партии, многие рядовые (и не только рядовые) члены которой рассматривали эту политику как измену революционным идеалам или по крайней мере нежелательную, сугубо вынужденную уступку мелкобуржуазной массе, «крестьянский Брест».

И далеко не все из тех, кто поддержал ленинскую идею перехода к продналогу в 1921 году, в полной мере понимали сущность нэпа как долгосрочной и не-

обходимой стратегии, обеспечивающей переход к социализму. Иными словами, ленинская концепция строительства социализма, сформировавшаяся в 1921—1922 годах, не была вполне осознана, до конца осмыслена, «пропущена через себя» значительной частью партии, как рядовыми ее членами, так и многими руководителями, особенно, как сейчас принято говорить, «руководителями среднего звена», низовым партийным аппаратом.

«Исторически изжитый» (если использовать известное выражение В. И. Ленина¹) «военный коммунизм» не был изжит политически не только классом и массами, но и партией. «Коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм»², о которой писал В. И. Ленин, не стала органической частью мировоззрения всей массы членов ВКП (б).

В то же время были, безусловно, в руководстве партии, в его самом верхнем эшелоне люди, вполне отчетливо понимавшие смысл ленинского положения о «перемене точки зрения на социализм» и несовместимость ленинских представлений о пути к социализму с намеченным ими «великим переломом», с ломкой нэповских структур. Речь идет о Сталине и его ближайшем окружении. Именно эта группа, контролирувавшая не только партийный аппарат, но и пропагандистский механизм, непосредственно вела идеологическое обеспечение «великого перелома», произвольно, в зависимости от политической конъюнктуры и потребностей внутрипартийной борьбы, тасуя ленинские положения и тезисы, скрывая от партии одни ленинские работы, делая «купюры» в изданиях других и искажая смысл третьих, передергивая аргументы своих политических оппонентов, оглупляя их и низводя полемику до примитивного «политпросветовского» уровня. Именно интересы и волю этой группы, и прежде всего, разумеется, самого Сталина, выражали и появившиеся в конце 20-х годов «теоретические» изыскания, в которых предпринимались попытки принизить значение последних ленинских работ, его «политического завещания», «растворить» их во всем ленинском наследии, отказаться, по сути дела, от принципа историзма в анализе ленинских взглядов.

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 39—40.

² Там же. Т. 45. С. 376.

Все это именовалось «синтетическим пониманием ленинизма» и сопровождалось высокопарными заявлениями о непреходящем значении для партии всего ленинского наследия, «ленинизма в целом». Неверно думать, что в последних ленинских работах, в частности в статье «О кооперации», утверждал, например, М. Б. Митин, «незримо присутствует весь предшествующий теоретический и практический опыт Ленина», что здесь «в концентрированном, сгущенном виде заключен-де весь опыт строительства социализма». Придерживаться подобной точки зрения, писал Митин,— значит страдать «своеобразным политическим дальтонизмом»¹. При этом ленинские тексты препарировались не без изобретательности и даже со своеобразным мастерством. Так, положение о «перемене всей точки зрения нашей на социализм», одна из ключевых идей работы «О кооперации», истолковывалось в том смысле, что точка зрения, существовавшая «раньше»,— это представления дооктябрьские, сложившиеся «в эпоху господства буржуазии», до завоевания власти пролетариатом. А обновленная точка зрения на социализм— это точка зрения пролетариата, завоевавшего власть, то есть послеоктябрьские взгляды «вообще». Изменение точки зрения на социализм и переход к нэпу, таким образом, сознательно разъединялись. Хотя обращение к тексту ленинских работ показывает, что изменение концепции социализма связывалось прежде всего с кооперацией, а последняя рассматривалась (и иначе не могла рассматриваться) в контексте нэпа, «через нэп», рынок, «культурную» (не азиатскую!) торговлю и т. п.

Попытки «вычесть» нэп из обновленной «точки зрения» на социализм были, таким образом, либо бессмыслицей, либо сознательно тенденциозным «прочтением» Ленина, граничащим с фальсификацией. С конца 20-х годов с «новой точкой зрения на социализм» связывалась постоянно обостряющаяся классовая борьба, сквозь которую уже проступали контуры далеко не добровольной, опирающейся на «чрезвычайные меры» коллективизации, массовых репрессий против кулаков и тех, кого сочли необходимым объявить кулаками, и чудовищного голода (ликвидацию самой

¹ См.: Митин М. Б. К вопросу о «перемене точки зрения на социализм» // Революция и культура. 1929. № 8. С. 20—21, 23.

возможности которого Ленин считал одной из основных задач «целой исторической эпохи», «целой полосы культурного развития всей народной массы», начатой эпохой¹).

Ленинская формула наполняется иным, не ленинским содержанием — метаморфоза, которая с начала 30-х становится вполне обычным, распространенным явлением, обычной идеологической практикой. Перед учеными, в частности перед философами, ставятся задачи «научного оформления» МТС, совхозного и колхозного строительства; появляются публикации, «философски обобщающие» деятельность политотделов МТС, этого воплощения «чрезвычайщины»².

Вскоре после осуществления «великого перелома» завершается и параллельный ему «перелом» в общественных науках, в идеологии: Сталин объявляется высшим и безусловным философским, историческим и т. п. авторитетом, устраняется даже тень разномыслия и, как закономерный итог, идеологи, вынесенные на гребень волны событиями рубежа 30-х годов, относят заслугу «синтетического, целостного» понимания ленинизма исключительно на счет вождя, «характерных черт работ т. Сталина о ленинизме»³.

При помощи пропагандистского аппарата, всей системы образования и воспитания «обновленные» представления о ленинизме, о сущности социализма и методах подхода к нему внедрялись в массовое сознание. Это сознание, в котором, как мы уже говорили, достаточно силен был примитивно-утопический компонент, при помощи идеологических средств реконструировалось в соответствии с целями стоявшей у власти сталинской группы, очищалось от всего того, что препятствовало «сакрализации» верховного вождя, от всех элементов социального творчества, самостоятельности, самодеятельности (что было присуще во многом стихийно формирующемуся массовому сознанию); в него извне привносились элементы, не вырабатываемые непосредственно самим этим сознанием; наконец,

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 372.

² См.: Разногласия на философском фронте. М.—Л., 1931. С. 213; Константинов Ф. Ленинское учение о социалистических формах труда и политотделы // Под знаменем марксизма. 1933. № 6.

³ См.: Митин М. Сталин и материалистическая диалектика // Под знаменем марксизма. 1933. № 6. С. 25.

создавался механизм «самовоспроизводства» этого «сталинизированного» сознания.

В определенном смысле коллективизация, обращение к чрезвычайным мерам, затем превращение их в систематическую практику, не оставлявшую, по сути дела, места для мер не чрезвычайных, стали, помимо всего прочего, и своеобразной идейной «контрреформацией», реакцией неперестроенного политического сознания, его своеобразным идейным реваншем за «отклонение» от «истинно коммунистической линии», происшедшее в 1921 году, за «отход» от «подлинно коммунистического» общественного идеала. Помимо всего прочего, это значит, что она стала одновременно и триумфом тех сил, которые сознательно проводили курс на создание чуждого ленинизму, основанного на социальном насилии и принуждении социализма,— проводили, в полной мере используя наивность и идеализм революционистского массового сознания.

Фактически (если говорить об объективном смысле событий, а не о субъективных намерениях и мотивах тех или иных политиков) на рубеже 30-х годов произошло то, против чего в свое время предостерегал В. И. Ленин, когда писал, что коммунисты должны руководить классом, воспитывать массы, но «не опускаться до уровня масс, до уровня отсталых слоев класса»¹. Причем, говоря об «отсталых слоях», В. И. Ленин имел в виду не уровень образованности, информированности, грамотности и т. п., а прежде всего неспособность преодолеть сложившиеся стереотипы политического мышления, осмыслить опыт революционной борьбы, понять, что в мозаике живой, постоянно меняющейся действительности принадлежит — если говорить об исторической перспективе — прошлому, а что — будущему. «Великий перелом» рубежа 30-х годов был именно попыткой осуществить, несколько видоизменив, исторически изжитую политику, опираясь при этом на преданные делу социализма, но отсталые (в ленинском понимании слова) слои трудящихся.

Складывается уникальная, во многом парадоксальная ситуация: социальный прогресс, развитие самого прогрессивного общественного строя осуществляется в исторически изжитых и, следовательно, регрессив-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 42.

ных формах, которые неизбежно накладывают на него свой отпечаток, деформируют это развитие.

Не случайно поэтому предпринятый Сталиным на рубеже 20—30-х годов поворот, «реставрация», по крайней мере частичная, «военно-коммунистических» по своей сути принципов и методов, означавшая, по выражению М. Я. Гефтера, «победу простого над сложным»¹, нашли определенную поддержку в партии и даже в деревне. В ситуации, когда обострились внутренние противоречия нэпа и нэповская модель нуждалась в коррекции, объективно была заложена альтернатива: трансформация нэпа на основе ленинской концепции движения к социализму, укрепление и совершенствование экономических механизмов, усложнение и упрочение нэповской модели, последовательное использование экономических механизмов и товарно-денежных отношений или стремительное возвратное движение, установление «простых», примитивно-социалистических форм. Возобладание последней из двух альтернатив не было, конечно, закономерностью, но не было оно, очевидно, и случайностью. Таким образом, сталинская система, с нашей точки зрения, ни в коем случае не может рассматриваться как неизбежное, естественное следствие Октябрьской революции или как некое «продолжение» ленинизма, его логическое развитие, или даже как развитие одной из тенденций «амбивалентного» по своей сути учения Ленина, как утверждают некоторые авторы — как наши, так и зарубежные.

Несомненно, взгляды В. И. Ленина на пути и перспективы движения к социализму в их наиболее цельном и систематическом виде, сформулированные в последних ленинских работах, аккумулировавшие анализ и осмысление опыта первого послеоктябрьского пятилетия, имели мало общего с той специфической версией социализма, которую стремился осуществить Сталин. В данном случае, видимо, речь должна идти о *принципиально различных системах представлений* о путях и способах решения стоящих перед страной проблем, разрешения политических и экономических противоречий, путях продвижения к социализму и сущности социализма. Однако и сталинскую версию

¹ См.: Гефтер М. Я. «Сталин умер вчера...» // Рабочий класс и современный мир. 1988. № 1. С. 116.

социализма, и административно-командную систему, избранную в качестве инструмента осуществления соответствующей этой версии практической программы, нельзя, очевидно, считать чем-то привнесенным на российскую почву извне, нельзя рассматривать лишь как порождение субъективизма и проявление личных политических амбиций, как исторический зигзаг, не имевший абсолютно никаких объективных корней в российской действительности, как явление, никак и ничем не связанное с постреволюционной традицией.

Все это — повторим это еще раз — говорится, разумеется, не к тому, чтобы оправдать форсированную коллективизацию, те методы, которыми она проводилась, драматические, если не трагические, для народа последствия, к которым она привела, и последовавшее за этим «завинчивание гаек» во всех сферах общественной жизни: есть вещи, которые не подлежат оправданию. И идентифицировать строгий научный взгляд на эти процессы с некой *этической* «нейтральностью» и «беспристрастностью» тоже, очевидно, не следует. Рассматривать выявление объективных предпосылок поворота конца 20—30-х годов, ликвидации нэпа, определенную историческую логику, приведшую к этим событиям, как некую «реабилитацию» сталинизма, последующей практики было бы столь же нелепо, как, например, утверждать, что констатация объективных предпосылок Октября может рассматриваться как некое «приращение» выдающейся роли Ленина в осуществлении первой в мире социалистической революции.

Объективный, в полной мере научный анализ причин «излома» нашей истории на рубеже 20—30-х годов необходим еще и потому, что это — как раз один из тех уроков истории, которые имеют самое непосредственное отношение к современности. Переход к нэпу, отказ от практики «военного коммунизма» были в известном смысле «перестройкой» социально-экономической жизни Советской республики, причем перестройкой весьма фундаментальной — об этом в последние годы достаточно писалось, и аналогия «нэп — перестройка», при всех оговорках о ее условности и ограниченности, стала тем не менее достаточно общепризнанной.

Нынешняя перестройка — глубокий революционный процесс, затрагивающий интересы многих социальных групп и слоев, и, как всякий подлинно революционный

процесс, он сопровождается борьбой, противостоянием различных политических «парадигм», вызывает явное и открытое сопротивление. И идентификация «составляющих» «потенциала антиперестройки», осознание самого факта наличия движущих сил «возвратного хода», понимание того, что сегодня, как и шесть десятилетий назад, «внизу» существует определенный мировоззренческий пласт, на который могут опереться консервативные элементы «вверху», если им удастся одержать победу, крайне важны для выработки правильной стратегии движения вперед.

И в современном нашем обществе есть люди (и не только в различных аппаратах), в сознании которых «простое» может взять верх над «сложным», люди, для которых «простой» социализм, «простые» пути понятнее, предпочтительнее, нежели пути «сложные». И если представить на минуту, что сегодня будет предложено (или, как это уже не раз бывало в прошлом, указано сверху) урезать гласность, ввести в жесткие рамки процесс демократизации, как порождающий проявления анархии, митинговщины и вседозволенности, распустить возникшие в последнее время кооперативы и семейные бригады, запретить те или иные пьесы, касающиеся больных вопросов нашей истории, и объявить, что книги, где идет речь об этих же проблемах, возможно издать «не ранее, чем через двести — триста лет», то среди тех, кто будет приветствовать это, окажутся отнюдь не только консервативные элементы в различных аппаратах, не только бюрократы, видящие в попытках повернуть вспять движение истории средство самосохранения, обеспечения своих корпоративных интересов и привилегий. Окажутся среди них и далекие от бюрократических структур, бескорыстные, по-своему преданные идеалам социализма люди, искренне верящие, что они защищают «принципы», «подлинный» социализм, и вследствие этого становящиеся опорой любых попыток вернуться от «сложного» социализма к «простому».

Административно-командная система: противоречия и дилеммы

Не претендуя на всестороннюю характеристику административно-командной системы как определенной формы организации общества (и соответствующего

типа управления), отметим, что это система, основанная на *огосударствлении* всех сторон общественной жизни, неукоснительном, безоговорочном осуществлении решений *сверху вниз*, по вертикали, система, отдающая абсолютный приоритет административным рычагам над политическими и тем более экономическими, идеологическим представлениям — над культурными, духовными ценностями, рассматривающая в качестве одной из высших своих ценностей абсолютную управляемость и *действующая* в соответствии с этой принятой в качестве норматива моделью. В рамках подобного рода систем субъект политических решений (политическая власть), механизм обеспечения этих решений (аппарат) и объект, на который направлены эти решения (общество, класс, социальная группа, индивид и т. п.), образуют четкую иерархию, внутри которой «среднее звено», то есть аппарат, исполнительский механизм, обеспечивающий выполнение политических решений, является послушным инструментом политического руководства, действующим сугубо в интересах системы или, что, видимо, точнее, ее доминирующего элемента, ее «демиурга», выстраивающего систему в соответствии со своими представлениями о стоящих перед ней целях и методах достижения этих целей.

Важно иметь в виду, что административно-командная система (как и любая система управления, любая форма организации общества), будучи надстроечным образованием, не является «синонимом» социально-экономического строя. Естественно, эта система, представляющая собой прежде всего деформированную надстройку, в свою очередь, оказывает деформирующее воздействие на экономический базис общества.

В последнее время немало писалось об ограниченности, порочности административно-командной системы, о ее неспособности обеспечить мобилизацию всех резервов роста эффективности производства, несовместимости с научно-техническим прогрессом, своеобразной закономерности «ухудшения» кадров руководителей, вопиющей неэффективности системы тогда, когда масштабы решаемых задач выходят за рамки возможностей «натурального» (по выражению Г. Х. Попова) управления. Стоит, однако, несколько более подробно остановиться и на другом аспекте проблемы: внутренней логике развития административно-командной си-

стемы, ее внутренних противоречиях, и прежде всего на проблеме ее бюрократизации.

В некоторых работах сложившаяся на рубеже 20—30-х годов система характеризуется как бюрократическая или административно-бюрократическая. Но была ли бюрократия ключевым элементом этой системы, доминирующей и определяющей социальной группой? Если была, то в какой степени? И насколько правомерно вообще говорить о бюрократии применительно к указанному периоду?

Разумеется, если связывать «бюрократичность» системы управления с такими ее чертами, как безличность, безразличие управляющих к нуждам управляемых, бумаготворчество, казенщина и т. п., то есть с теми особенностями, с которыми связывает бюрократизм массовое сознание, с «житейским» пониманием этого явления, то существенную разницу между сталинской системой и, например, реальностями «периода застоя» усмотреть нелегко.

Однако следует иметь в виду, что понятие бюрократизма в нашей литературе используется для обозначения совокупности явлений, имеющих самое различное происхождение.

Во-первых, под бюрократизмом понимаются разного рода дефекты, сбои в системе управления, являющиеся, в сущности, результатом низкого профессионального уровня людей, осуществляющих управленческие функции, некомпетентности, безразличия.

Во-вторых, различного рода индивидуальные «выплески», представляющие собой следствие личных недостатков и низкой культуры управленцев — грубость, чванство, черствость и т. п. — качеств, в полной мере проявляющихся при отсутствии действенного общественного контроля над сферой управления.

И наконец, в-третьих, то, что называют бюрократизмом, является «функцией» бюрократии как особого социального организма (слоя, группы — не в терминах суть). Здесь бюрократизм выступает в качестве одной из форм отстаивания бюрократией своего «частного» интереса, противопоставляемого либо интересу общества в целом, либо интересам и общества и системы (если сложившаяся система управления не выражает в полной мере объективных интересов общества).

Первые две «ипостаси» бюрократизма не являются, в строгом научном смысле, специфическими атрибута-

ми административно-бюрократической системы, специфически бюрократического управления, а скорее, представляют собой совокупность характеристик любой недемократической, не контролируемой обществом системы либо системы, в которой демократические институты подверглись по тем или иным причинам деформации.

Однако анализ способов существования бюрократии в социалистическом обществе, форм ее жизнедеятельности, способов ее социального самосохранения (в частности, в так называемый «период застоя») приводит к мысли, что бюрократия может функционировать (причем функционировать вполне «нормально») как заслоняясь от требований общественного развития, от контроля трудящихся стеной канцелярии, волокиты, бездушия, казенщины, так и без этих атрибутов ее деятельности, бросающихся в глаза, но, очевидно, не главных для ее самосохранения и самовоспроизводства.

Так, современная бюрократия легко заменяет или дополняет стихию бумаготворчества так называемым «телефонным правом», грубость и чванство — вполне «демократической» манерой поведения, стучание кулаком по столу — не лишенной обаяния улыбкой, использование не содержащихся в словарях русского языка выражений — если не культурой и терпимостью, то, по крайней мере, некоторой сдержанностью, демонстративный антиинтеллектуализм постепенно сменяется маской интеллигентности и т. д.

Очевидно, на каком-то этапе развития нашего общества определенная форма функционирования бюрократии, порожденная конкретно-историческими условиями, социально-экономической и политической отсталостью России, стала рассматриваться в общественном сознании (а затем и в общественных науках) как сущностная характеристика явления, через которое только и возможно его понять и объяснить; иными словами, произошло определенное «отчуждение» формы от содержания.

Эта форма приобрела черты некой самодовлеющей сущности, заслонившей (или все более заслонявшей) само явление. И далее уже само явление (бюрократия) стало определяться только через эту абсолютизированную конкретно-историческую форму его проявления, конкретно-историческую форму жизнедеятельно-

сти бюрократии, типичную для России XIX — начала XX века.

Такой подход, по-видимому, страдает определенной односторонностью. И не случайно, кстати, В. И. Ленин характеризовал бюрократов *прежде всего* не с точки зрения «стиля» их работы (хотя о бумаготворчестве, волоките и чванстве говорилось им немало), а с точки зрения *социальной*, когда должностные лица в наших политических и профессиональных организациях «развращаются (или имеют тенденцию быть развращаемыми, говоря точнее) обстановкой капитализма и проявляют тенденцию к превращению в бюрократов, т. е. в оторванных от масс, в стоящих *над* массами, привилегированных лиц.

В этом,— писал Ленин,— *суть* бюрократизма...»¹.

В отличие от административно-командной системы, в бюрократической (административно-бюрократической или бюрократизировавшейся административно-командной — не в дефинициях *суть*) системе один из ее «уровней» — аппарат, механизм исполнения решений, система «приводов» от субъекта политических решений к их объекту, по крайней мере на определенном этапе, начинает действовать не в интересах системы в целом и ее «демиурга», а в своих собственных групповых, корпоративных интересах. Это неизбежно ведет к снижению эффективности функционирования системы как механизма, олицетворяющего и осуществляющего интересы создавшего ее класса (слоя и, наконец, контролирующего систему политического лидера). На смену военизированной административно-командной модели приходит модель, органически неспособная осуществлять значительную часть принимаемых на высшем политическом уровне решений.

По-видимому, если учитывать существенное различие двух названных выше способов управления, то следует сделать вывод, что именно авторитарная административно-командная (а не бюрократическая) система пришла на смену нэпу и развивающейся советской демократии первых послеоктябрьских лет, что повлекло за собой замену экономических и политических методов управления чисто административными. В 30-е годы сформировалась весьма специфическая бюрократи-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 115.

ческая прослойка, существенно отличающаяся от вполне развившейся бюрократии 70—80-х: обладая определенными привилегиями, бюрократическая иерархия 30-х («комсостав» партии и государства, по известному выражению Сталина¹) еще не осознала в полной мере своего корпоративного интереса, да и в условиях того времени (отсутствие гарантий личной безопасности, неустойчивость положения каждого из участников механизма осуществления авторитарного господства) не имела реальных возможностей для его отстаивания и тем более для определения «генеральной линии».

Как показало время, логика саморазвития подобной системы неизбежно ведет к усилению антидемократических тенденций: к вырождению ее в репрессивную систему либо к прогрессирующей бюрократизации. Именно такова своеобразная «дилемма» административно-командной системы.

И здесь имеет смысл вернуться к высказываемому иногда в литературе мнению о том, что Сталин видел противовес бюрократизации, административно-бюрократическим образованиям в создании лишенных всякого контроля репрессивных органов. При таком подходе речь, по-видимому, должна идти не просто о политической концепции Сталина, с неумолимой последовательностью и крайней неразборчивостью в средствах проводимой в жизнь, но и о логическом развитии противоречий, заложенных в сверхцентрализованной административно-командной системе, с неизбежностью порождающей бюрократию с ее собственным «частным» интересом и в то же время принципиально отвергающей существование любых иных интересов, кроме интересов системы в целом, или, что в данном случае то же самое, интересов сил, ее создавших.

Говоря об «антибюрократическом» эффекте репрессивных органов, сформировавшихся как составная часть сталинской системы, очень важно четко и определенно расставить акценты: *основной* задачей этих репрессивных институтов было уничтожение любой, реальной или гипотетической, политической оппозиции режиму личной власти, то есть ликвидация, разрушение *демократического* потенциала общества.

¹ См.: XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 10—21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М., 1939. С. 29.

Иными словами, лишенный контроля репрессивный аппарат был в *первую очередь* инструментом разрешения противоречия между административно-командной системой и сущностью социализма, потребностями общественного развития (причем разрешается это противоречие за счет все большего разрастания деформаций социализма, приспособления базиса общества к деформированной надстройке), а уже затем, во вторую очередь, «попутно» — средством разрешения внутренних противоречий системы как таковой.

В этом смысле наличие «подсистемы страха», очевидно, является необходимой чертой административно-командной системы — здесь можно вполне согласиться с Г. Х. Поповым¹. Другое дело, что сегодня нелегко с достаточной степенью уверенности судить о том, *были ли режим личной власти* (так называемый «культ личности») *и массовые репрессии неизбежной формой разрешения внутренних противоречий административно-командной системы или же противоречия между системой и коренными потребностями развития социализма как общественного строя*. Теоретически, конечно, можно предположить, что указанные явления явились как бы «вторичной деформацией», извращением и вырождением административно-командной модели, которая уже сама по себе неадекватна потребностям социализма. Проблема эта достаточно сложна и, учитывая трагические результаты функционирования репрессивного механизма, болезненна. Помимо всего прочего, здесь очень трудно, практически невозможно отличить «меру» репрессий, «необходимых» для сохранения административно-командной системы, и то, что не укладывается в логику развития системы, то, что несет на себе отпечаток личности, а в последние годы жизни, возможно, и деформации личности Сталина.

Однако, как бы там ни было — и об этом тоже приходится сказать, — ни наш собственный исторический опыт, ни анализ развития других стран социализма в послевоенный период, стран, большинство из которых также испытали на себе негативное воздействие административно-командных методов управления обществом, не дают оснований для категорически отрицательного ответа на поставленный вопрос.

¹ См.: Попов Г. Х. С точки зрения экономиста // Наука и жизнь. 1987. № 4. С. 62.

Из 60-х в 80-е: бюрократизация административно-командной системы

На практике, как известно, предпринимались попытки, оставаясь в основном в рамках административно-командной системы, ликвидировать ее наиболее одиозные стороны, разрушить «подсистему страха», отказаться от принципа «разверстки» в сельском хозяйстве. Имеется в виду прежде всего опыт первого после-сталинского десятилетия, деятельность Н. С. Хрущева. Однако демократизация, начавшаяся в эти годы, не носила последовательного характера ни в сфере экономики, ни в сфере политической, ни в сфере духовной культуры. Осуждение культа личности, реабилитация жертв массовых репрессий, стремление ликвидировать наиболее кричащие проявления социальной несправедливости (осуществление широкой жилищной программы, повышение минимального и снижение максимального размера пенсий и т. п.), попытки преодолеть сверхцентрализм и ведомственность в организации народного хозяйства (создание совнархозов как альтернативы отраслевым министерствам) и другие подобные меры сочетались с возрождением в видоизмененной форме многих черт периода, наследие которого пытались преодолеть: неумеренным восхвалением личности Н. С. Хрущева, утверждением методов взаимоотношений Первого секретаря ЦК КПСС и выборных партийных органов, характерных для режима личной власти, многочисленными проработками деятелей литературы и искусства и т. п.

Были также предприняты и определенные усилия по ограничению процесса бюрократизации (Устав партии 1961 года, формализующий и строго регламентирующий сменяемость состава выборных партийных органов, попытки сократить численность занятых в аппарате управления и т. п.), которые, однако, не дали заметного эффекта.

Причина заключается в том, что принятые меры (или, скорее, полумеры) в значительной степени представляли собой материализацию того же самого типа мышления, того самого административного, аппаратного подхода к сложнейшим социально-политическим проблемам, который десятилетиями воспроизводился и воспитывался в условиях административно-командной системы. Естественно поэтому, что эти шаги про-

блем, стоявших перед советским обществом, решить не смогли, препятствий, существовавших на пути движения социализма вперед, разрушить не сумели. Более того, в каком-то смысле они привели к парадоксальным результатам: сломав присущий административно-командной системе 30 — начала 50-х годов репрессивный механизм, в чудовищных, неприемлемых формах, но так или иначе тормозивший процесс бюрократизации, и не обеспечив, не создав иного механизма предотвращения этого процесса, они так или иначе способствовали интенсивному «прорастанию» бюрократических элементов в государственном и партийном аппарате, в общественных организациях. Не сумев выработать подлинно демократической альтернативы сталинизму, решительно порвать с наследством административно-командного управления, практика второй половины 50 — начала 60-х годов стала определенного рода «прологом», «интерлюдией» интенсивного процесса бюрократизации управления в последующие два десятилетия.

Правда, «золотой век» бюрократии и созданной ею системы был еще впереди, и пришелся он на так называемый «период застоя», когда административно-командная система была «исправлена» бюрократией, что называется, «по образу и подобию своему».

Именно в эти годы функционирование общественной системы во многих отношениях было подчинено бюрократией ее собственным корпоративным интересам. Именно в эти годы сформировалась бюрократия, парадоксальным образом способная сочетать бездействие и псевдоактивность, «принятие действенных мер», но не в интересах дела, а ради отчета, рапорта, служащих залогом собственного социального выживания, клятвы в верности «генеральной линии» с открытым игнорированием партийных решений.

Именно в «период застоя» складываются, помимо бюрократии как определенного социального слоя, относительно автономные бюрократические структуры на ведомственном уровне, образуются связанные паутиной клановых, родственных, деловых связей субструктуры на городском («отцы города»), республиканском и других уровнях.

Формируются и шлифуются механизмы социального самосохранения бюрократии, охраны собственных интересов, причем механизмы не только грубо админи-

стративные, основанные на явном произволе, как это было типично для периода культа личности, но и псевдоправовые, псевдодемократические, представляющие собой форму «легитимации» антисоциалистических по своей сути действий бюрократических элементов.

В этот период существенно видоизменяется и централизм как принцип деятельности системы. У нас часто пишут о «бюрократическом централизме» как о такой форме управления обществом, которая отрицает демократическую «составляющую» принципа демократического централизма. Однако и сталинская система представляла собой отрицание диалектического единства централизма и демократии, гипертрофию первого и неприятие последней. В чем же специфика бюрократического централизма, если, конечно, относиться к этому понятию, как к научной категории? Видимо,— и об этом свидетельствует весь негативный опыт периода застоя — это специфическая разновидность централизма, при которой субъект принятия решений, бюрократ, определенный бюрократический «клан», бюрократическая «субструктура» приемлет лишь централизм, замыкающийся на них самих. Например, для министерской бюрократии «приемлемый», добровольно принимаемый централизм заканчивается на министерстве. Ибо интересы целого, интересы общества для бюрократии если не чужды, то, по крайней мере, второстепенны, а интересы ведомства — всегда первичны, всегда выше. Не случайно бюрократический централизм ведет к обострению не только противоречия между интересами ведомственными и интересами общественными, но и интересами ведомства и интересами государства, хотя министерство, ведомство и является частью, элементом государственной структуры.

Как уже говорилось, для бюрократии характерно наличие собственного, «частного», корпоративного интереса, отличного от интереса общего, специфического интереса, противостоящего потребностям общественного развития. Между этими интересами — «частным» и общим — существует достаточно сложная взаимосвязь, противостоя друг другу, они могут в то же время в какой-то степени и совпадать, поскольку богатство, благосостояние общества может рассматриваться бюрократией как предпосылка собственного благосостояния и благополучия.

В период застоя происходит все большее расхожде-

ние интереса бюрократии и интереса общества, своего рода их «взаимоизоляция», все больше сужается сфера «общности» этих интересов. Наконец, именно в этот период происходит вырождение бюрократической системы в систему коррумпированную — по-своему логический итог эволюции системы, где доминируют «частный» интерес и привилегии. В своем роде укоренившаяся на всех этажах бюрократической иерархии коррупция стала таким же признаком крайней деградации системы, как массовые репрессии — признаком кризиса и деградации административно-командной системы.

С той же неумолимой логикой, с которой административно-командная система продуцирует механизмы устрашения, воссоздает внеэкономические, надправовые механизмы выполнения требований, «законов» системы, бюрократизированная система воспроизводит коррупцию, ибо в коррупции в наиболее яркой, рельефной форме проявляется приоритет личного, группового, корпоративного корыстного интереса над интересом общественным. И в этом — одна из причин дефицита веры, «потери идеалов» — явлений, которые некоторые авторы и органы печати пытаются приписать разоблачению злоупотреблений и преступлений периода культа личности, уничтожению «белых пятен» нашей истории.

Конечно, административно-бюрократическая система, интенсивно формировавшаяся в 60-е годы, несла на себе отпечаток последнего предвоенного десятилетия, груз деформаций прошлого, «периода культа личности», в ней процветали волевые, командные методы руководства и т. д. — и все же это была уже иная социально-политическая реальность.

Сталинская система измышляла себе недругов, ставя на тысячах и тысячах честных людей клеймо «врагов народа», и бюрократически не замечает врагов общества, реально существующих (щелоковых, чурбановых, рашидовых, адыловых и т. п.). В административно-командной системе наркомы контролировали каждую тонну металла, каждый трактор, едва ли не каждый ящик гвоздей — в бюрократической системе все контролируют все и в конечном счете никто не контролирует ничего или, по крайней мере, никто ни за что реально не отвечает. Административно-командная система жесточайшим образом преследовала

за малейшие проступки, объявляя их «антигосударственными» преступлениями,— при бюрократическом управлении гниет под дождем и снегом купленное на валюту оборудование...

В 30—40-е годы руководящие партийные кадры многократно, слой за слоем, сметались волнами репрессий. В период застоя секретари партийных комитетов оставались на своих местах в течение 15—20 лет, «врастая» в кресла.

Какая система «хуже», какая является «меньшим злом»? Очевидно, сам вопрос неправомерен: обе представляют собой нетерпимые деформации социализма.

И сегодня, в период перестройки, наше общество должно преодолеть наследие двух различных, но равным образом несовместимых с социализмом начал: авторитарного, нашедшего воплощение в административно-командной системе, и бюрократического. Анализ исторического опыта приводит нас к мысли, что борьба с бюрократией административными методами, так или иначе предполагающая «реставрацию» традиций административно-командной системы, не подрывает основ существования бюрократии как специфического социального слоя и потому лишена перспективы. Равным образом следует, наверное, отдавать себе отчет и в том, что переход от административно-командных методов управления экономикой к методам экономическим, рассматриваемый как некое универсальное средство, как панацея от бюрократизации, может не дать сам по себе ожидаемых антибюрократических проекций, если не будет сопровождаться радикальной демократизацией сферы неэкономической (вспомним еще раз опыт нэпа, попытки осуществить переход к экономическим методам хозяйствования после 1964 года). Поэтому понимание взаимоотношений административно-командной и бюрократической систем, их своеобразной диалектики, осознание корней бюрократических тенденций, понимание того, что только полная демократизация всех сфер общественной жизни может рассматриваться как антитеза сталинизму 30—начала 50-х годов и бюрократическому постсталинизму 70—начала 80-х, небезразлично для выработки путей конструктивной, созидательной работы, результатом которой должно стать достижение советским обществом качественно нового состояния.

А. П. Бутенко

ПРИРОДА КУЛЬТА И ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ

Наличие в той или иной стране режима личной власти — свидетельство того, что политическое руководство осуществляется одним человеком, присваивающим, узурпирующим властные функции представляемых им социально-классовых сил. Но как же мог сформироваться культ личности Сталина в стране, совершившей в Октябре 1917 года социалистическую революцию и утвердившей диктатуру пролетариата, власть трудящихся в форме Советов?

Чтобы разобраться в интересующем нас вопросе, имеет смысл сосредоточить внимание на двух проблемах: личность Сталина и узурпация власти в советском обществе; социально-классовая природа деспотической власти Сталина.

Личность Сталина и узурпация власти в советском обществе

Можно доказать, что в Советском Союзе к середине 30-х годов И. Сталин и его окружение завершили узурпацию власти рабочего класса, утвердили безраздельное господство партийно-государственной бюрократии, в результате чего стало реальностью экономическое и политическое отчуждение трудящихся. Это произошло не в один день и не без борьбы. Но прежде чем перейти к историческим событиям, выясним, что такое узурпация классового господства, где она встречается.

К. Маркс считал узурпацию классового господства в известной мере естественным спутником разде-

ления труда в осуществлении общественных функций, порождением государственно-политических форм общественной жизни. Он утверждал, что только с уничтожением постоянной армии, ликвидацией органов насилия, дающих дополнительные средства в руки власти имущих, можно будет устранить «постоянную опасность правительственной узурпации классового господства — в форме обыкновенного классового господства или же в форме господства какого-нибудь авантюриста, выдающего себя за спасителя всех классов»¹.

Это положение, вполне применимое к советскому обществу, позволяет понять возникновение и характер деспотической власти И. Сталина. В немалой мере процесс узурпации и закладки основ системы личной власти усугублялся его личностными качествами. Недаром В. И. Ленин, основываясь на глубоком и оказавшемся пророческим анализе решающих личностных черт характера Сталина, уже 24 декабря 1922 года записал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»².

Смерть В. И. Ленина и XIII съезд партии, оставивший И. Сталина на посту генсека вопреки совету Ленина, создавали исключительные возможности для осуществления Сталиным своих узурпаторских целей. Главным препятствием на пути реализации его честолюбивых замыслов была ленинская партия, против которой он и направил свои усилия в первую очередь, ревизуя ленинизм и переделывая ленинскую партию в сталинскую. Под видом выполнения ленинского завета об укреплении единства партии, а на самом деле подрывая демократические основы внутривнутрипартийной жизни, И. Сталин перенес на ленинскую партию, на внутривнутрипартийные отношения, на идейно-теоретические споры о путях социалистического строительства принципы и нормы классовой борьбы; тем самым он превратил дискуссии вчерашних единомышленников в расхождения возглавляемой им партии с политической оппозицией со всеми последствиями такой квалификации, если учитывать запрещение в партии фракционной борьбы. Такой подход, весьма важный для И. Ста-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 17. С. 548—549.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 345.

лина, для его личных амбиций и политической расправы с несогласными с ним, не имел ничего общего с ленинским подходом: ведь В. И. Ленин не только спорил со своими теоретическими оппонентами, но и сотрудничал с ними в практическом строительстве нового общества, не только не подвергал их политическому ostrакизму, но и заботился об отражении всего многообразия подходов и мнений в руководящих органах партии. Более того, В. И. Ленин писал, что нельзя допускать каких-либо репрессий против товарищей за то, что они являются инакомыслящими¹. И. Сталин же, действуя антиленинскими методами, обеспечивал таким путем себе и лично преданному ему окружению господство в ядре политической системы общества — в правящей партии.

Харизма, исключительная одаренность В. И. Ленина как мыслителя и политического деятеля, несмотря на, казалось бы, совершенно уникальные благоприятные обстоятельства, тем не менее никогда не перерастала в культ его личности. Помимо глубокого убеждения, этому в немалой степени способствовали личные качества Ильича, его глубокая внутренняя культура.

Совсем иная ситуация была в случае с И. Сталиным. Разумеется, он не был, как его иногда характеризуют, «злым гением», ибо «гениальной посредственности» до гения весьма далеко. И. Сталин, с его невысоким уровнем общей культуры, мыслил своеобразно. Он не обладал диалектическим разумом, с его текучестью понятий, гибкостью и переливами категорий, неожиданными противоречиями и изящными умозаключениями, легко схватывающими живую жизнь, не разрушая ее природной красоты и целостности. Его достоянием был метафизический рассудок, прямолинейный в анализе, ограниченный в средствах, но весьма цепкий в своих бесхитростных построениях. Сталинский интеллект был способен обнаружить главное в самых запутанных ситуациях, но это достигалось дорогой ценой разрушения анализируемого процесса. Ригоризм сталинского рассудка проникал в живую ткань событий не как скальпель, а как кухонный нож, омертвляя разрезаемое, разрушая диалектические взаимо-

¹ См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций. М., 1983. Т. 2. С. 300.

связи и недоступные ему тонкие взаимодействия, расчленяя их на оторванные и обособленные друг от друга, переставшие пульсировать «элементы» или «стороны». Из подобного строительного материала Сталин создавал свои неуклюжие конструкции, поражавшие обыденное сознание или своей вульгарной простотой, или своей окончательностью и неподвижностью, часто принимаемые за основательность и фундаментальность.

Кажется преувеличенной ассоциация, возникшая у Л. Баткина при чтении симоновских воспоминаний о Сталине — об актерстве «пахана» в «малине», с угрожающе-блатным тоном, от которого замирали и холодели сидевшие за столом «шестерки»¹. Но с невежественностью приведенных в воспоминаниях суждений Сталина о литературе, кино и прочем спорить не приходится. В своих самоуверенных словоизлияниях он действительно выглядит провинциальным, недалеким и даже анекдотичным, без всяких признаков «художественной жилки», интеллигентного мышления и речи, с сугубо номенклатурным стилем мышления и словоупотребления. А на основании анализа текстов Сталина Л. Баткин достаточно убедительно показывает качество и масштабы его ума, и в частности логики, десятилетиями слышавшей «железной». Что же она такое? «Да, катехизисная форма, бесконечные повторы и переворачивания одного и того же, одна и та же фраза в виде вопроса и в виде утверждения, и снова она же посредством отрицательной частицы; да, ругательства и штампы партийного бюрократического наречия; неизменно многозначительная, важная мина, призванная скрыть, что автору мало есть что сказать; бедность синтаксиса и словаря, которые пошли Сталину на пользу, усилив те свойства его высказываний, которые позволили ему сшить из серой ткани узнаваемый стилистический наряд»². Иными словами, тайна логики Сталина в том, что никакой логики не было. Главное заключалось в силе узурпированной им власти.

Таким образом, обладая весьма скромными способностями, Сталин только благодаря достигнутой им власти, коварству и интригам сумел навязать партии и народу свое якобы харизматическое лидерство, су-

¹ Баткин Л. Сон разума // Знание — сила. 1989. № 3. С. 84.

² Там же. С. 93.

мел утвердить образ непогрешимого и святого пророка своего — сталинского социализма в глазах подавляющего большинства советских людей и мирового коммунистического движения.

Теперь мы уже хорошо знаем, что не какие-то исполнители, стрелочники, а именно сам И. Сталин, утверждая свою безраздельную деспотическую личную власть как раз для поддержания своего господства, устранения действительных и мнимых конкурентов, чинил все те беззакония и массовые репрессии, которыми так обильно уснащены трагические страницы советской истории. Лишенный не только чести, но и крайне жестокий, не знающий ни угрызений совести, ни чувства сопереживания, И. Сталин выступает не только как кровавый преступник, организовавший истребление цвета советского общества, но и как фальсификатор марксизма, стремящийся дать «теоретическое» обоснование организуемым им гнусностям и жестокостям.

Утверждая свою единоличную власть, он подверг антидемократической, а позже и антисоциалистической перестройке всю политическую систему страны.

Сначала вопреки ленинским идеям произошло не размежевание партии и государства в целях ограничения бюрократизации, а слияние их основных функций при постоянной подмене одних другими; сами партийно-государственные кадры подбирались уже не по деловым и политическим качествам, а по принципу личной преданности И. Сталину. Шаг за шагом формировалась основывающаяся на принципе номенклатуры административно-командная система управления экономикой и всем обществом.

Номенклатурный принцип (метод или система), то есть назначение и перемещение руководящих кадров по воле «верхов» партийно-государственной иерархии, а то и прямо по воле вождя — основное средство отчуждения власти, главный антидемократический, а значит, и антисоциалистический стержень административно-командной системы управления, ибо именно он обеспечивает личную зависимость назначаемых кадров от верхней части управленческой пирамиды и их полную неподотчетность трудящимся. Из самой сути такой модели управления с неизбежностью вытекает суеверное преклонение перед «гением» вождя или руководителя, занимающего высшую ступень или вер-

шину иерархии: ведь преклонение перед ним, культ его — закономерное следствие прямой личной зависимости нижестоящего не от результатов собственной работы, а от благосклонности вождя, по своей воле карающего или милующего своих назначенцев, самоуправно определяющего их судьбы, их служебные взлеты и падения. При существовании и функционировании такой системы все призывы «не культивировать» руководителя так же бесплодны, как и призывы не злоупотреблять властью при отсутствии контроля над «власть имущими». Реальная история мирового социализма давала и дает этому неопровержимые свидетельства. Не в доброй или злой воле самого руководителя корень зла, он объективно присущ самой природе рассматриваемой системы. Только сломав антидемократическую, антисоциалистическую административно-командную, номенклатурную систему, разрушив ее до основания, можно рассчитывать и на преодоление такого явления, как суеверное поклонение личности вождя, как культ личности.

Эта противоречащая принципам социализма и социалистической демократии система власти и управления, созданная И. Сталиным и его окружением, не только постепенно лишала граждан всякой правовой защиты, но и под прикрытием классового подхода и политической принципиальности воспитывала бесчеловечность и формализм в отношениях, неуважение к человеку и пренебрежение к его чувствам, аморализм в действиях по принципу «цель оправдывает средства».

Позже был сделан еще один весьма существенный шаг. Как известно, К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин многократно подчеркивали, что новая система государственной власти и управления будет направлена своими карающими органами только против эксплуататоров, будет «в борьбе против них применять общие средства принуждения»¹, что пролетарское государство «должно быть государством *по-новому* демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и *по-новому* диктаторским (против буржуазии)»². Порывая с их учением, И. Сталин чем дальше, тем больше превращал Советскую власть в собственное самоуправство, по-новому диктаторское, но не против эксплуатато-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 615.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 35.

ров, а против трудящихся, их лучших представителей. Это был полный разрыв не только с ленинизмом, но и с социализмом, означавший утрату социалистической природы политической власти.

Использование аппарата Советской власти в антинародных целях, для репрессий, требовало нехарактерного для социализма усиления государственной машины, расширения репрессивного аппарата. Знаменуя это перерождение, начался быстрый рост административно-командной системы управления общественными делами, и в первую очередь чиновничества, милиции, органов государственной безопасности, которые выводились из-под общественного контроля и все больше становились орудием самого И. Сталина, свидетельствуя о том, что политическая власть, все более утрачивая демократические и социалистические черты, превращается в узурпированную И. Сталиным личную деспотическую власть.

Социально-классовая природа деспотической власти И. Сталина

И сегодня есть еще много авторов и читателей, считающих, что с классовой природой Советской власти в условиях культа И. Сталина ничего не произошло, что утвердившаяся в СССР в Октябре 1917 года власть рабочего класса (диктатура пролетариата) так и сохранялась в 30-е годы и позже, но была лишь несколько извращена, искажена И. Сталиным, однако никак не поколеблена в своей исходной социально-классовой сущности. Маркс и Ленин неоднократно подчеркивали, что, определяя социальную природу власти, необходимо выяснить два вопроса: во-первых, *чьи интересы*, какого класса, группы, слоя осуществляет данная власть и, во-вторых, *по чьей воле* реализуются эти интересы. Суть социалистической власти рабочего класса в том и должна состоять, чтобы ею реализовались коренные классовые интересы рабочего класса и его союзников по созданию и развитию социализма, чтобы эти интересы осуществлялись по воле самих рабочих, трудящихся. По мнению В. И. Ленина, по мере продвижения к социализму, роста грамотности трудящихся Советы из «власти для трудящихся» должны превращаться во «власть через самих трудящихся», то есть такую власть, когда не только интересы трудящихся реали-

зуются, но и делается это не по воле их представителей или административного аппарата, а по воле самих трудящихся, через них самих, в чем и заключается суть самоуправления трудящихся.

Сознательно или бессознательно И. Сталин ловко воспользовался слабостью представительной демократии, все больше и больше отрывая представительные органы власти от самих трудящихся и все настойчивее передавая реальную власть из рук представителей трудового народа в руки исполнительного аппарата. И. Сталин и его окружение получили все расширяющуюся возможность для того, чтобы, оторвав власть от своей социальной базы, подчинить ее функционирование уже своим интересам, интересам представляемой их властью социально-классовой силы.

Представляется, что сталинская власть по своей социально-классовой сути была властью партийно-государственной бюрократии.

Когда речь идет о том, что И. Сталин и его окружение, опираясь на административно-управленческий аппарат, шаг за шагом, оттеснив рабочий класс, узурпировали власть в стране, то это, разумеется, означает, что с определенного рубежа (его еще следует определить) уже не коренные интересы рабочего класса, а прежде всего интересы партийно-государственной бюрократии, суть которых выражали И. Сталин и его окружение, оказались в центре внимания существовавшей в советском обществе политической власти. Этот регресс осуществлялся не в один присест, а по мере того, как усиливавшаяся отчужденность государственных функций от интересов рабочего класса, трудящихся придавала им характер относительно самостоятельных, чтобы затем наполнить их иным содержанием. Каким? Государственные органы во все большей мере поддавались давлению партийно-государственной бюрократии и ее сталинской верхушки, которые все настойчивее осуществляли с помощью Советской власти, ее государственных органов свои собственные интересы.

Поэтому утверждавшаяся в рамках Советов политическая власть Сталина и его ближайшего окружения представляла собой вовсе не режим личной власти как иногда встречающуюся форму реализации власти революционного класса, а выступала как чуть прикрытый демократическими декорациями реакционный ре-

жим личной власти И. Сталина, его деспотическую власть, выражавшую и осуществлявшую коренные интересы не рабочего класса, трудящихся, а прежде всего партийно-государственной бюрократии. Утвердившаяся сталинская общественно-политическая система была воплощением того самого «бездушия государства», о котором писал молодой К. Маркс. Вместе с тем сама она стала своего рода инкубатором — воспроизводителем советских бюрократов — чванливых и безграмотных, напыщенных и от поколения к поколению все более некомпетентных, не желающих считаться с народом, не имеющих за душой часто ничего, кроме холуйского угодничества перед авторитетом «вождя». В свою очередь, сам И. Сталин был идеальным лидером и выразителем интересов бюрократии: упрощая теорию социализма, приспособляя ее к своему уровню и уровню своих холуев и холопов, он «очищал» управление общественными делами от всяких форм вмешательства масс, создавал исключительные условия для своих верных подручных, для их «дирижирования» общественными делами и воскуривания фимиама ему¹.

Когда процесс узурпации классового господства достиг своего апогея, когда И. Сталин и его окружение окончательно оттеснили рабочий класс, трудящихся от политической власти, сталинисты продолжали выступать от имени народа, твердить о верности ленинизму, хотя на деле превратились в прямых выразителей и защитников интересов именно этой социально-классовой группировки. В чем ее суть?

¹ Поэтому никак нельзя согласиться с попыткой С. Андреева отделить И. Сталина и его правительственное окружение от бюрократии, объясняя сталинские репрессии как борьбу правительства с бюрократизмом управленческого аппарата (см.: Андреев С. Причины и следствия // Урал. 1988. № 1). Критикуя это «почти кощунственное» объяснение, один из участников дискуссии справедливо писал: «...разве бюрократы пострадали от репрессий? Эта трагедия, как и война, задела почти каждую советскую семью. Спросите любого, любой расскажет о ближнем или дальнем родственнике или хотя бы знакомом, пострадавшем от репрессий, спросите, кто первым попал под этот пресс. Да как раз те, кто «высовывался», смел мыслить и решать самостоятельно, смел высказывать вольно или невольно недовольство Административной Системой: то есть те, кто не вписывался в бюрократическую (административную) систему. Во вторую очередь под пресс попадали те, чьими руками совершалось беззаконие, и, наконец, просто свидетели этого беззакония» (Урал. 1988. № 10. С. 137).

Конечно же вся партийно-государственная бюрократия относится к аппарату. Однако в партийно-государственном аппарате отнюдь не все служащие — партийно-государственные бюрократы, ибо принадлежность к бюрократии, как не раз подчеркивал В. И. Ленин, определяется не столько выполняемыми функциями, сколько отношением к массам и реальным положением в обществе. Он видел опасность превращения должностных лиц «в бюрократов, т. е. в оторванных от масс, стоящих *над* массами, привилегированных лиц. В этом *суть* бюрократизма». Вчерашний добропорядочный служащий или партийный работник, оторвавшись от масс, перестав служить общему делу и поставив во главу угла привилегии, личные цели, интересы карьеры или просто обуреваемый ленью, превращается в бюрократа, подчас даже не осознав этой метаморфозы.

Как известно, в Советском Союзе, как и во всем социалистическом мире, активно обсуждается вопрос: не является ли бюрократия новым классом? Мне представляются наиболее интересными те суждения, которые были высказаны на страницах журнала «Урал». Еще в начале 1988 года в статье С. Андреева «Причины и следствия» выдвигалась гипотеза о возникновении при социализме нового эксплуататорского класса — бюрократии¹. Журнал на этом не остановился и в порядке обсуждения проблемы дал целую серию статей-откликов: Л. Бредневой «Так пойдем дальше!», Б. Урванцева «Как выйти из тупика?», Ю. Зыкова и А. Кашина «Шаг к социализму», В. Молчанова «Классовый подход — не навешивание ярлыков!», С. Гончарова «Есть за что бороться»².

Особенно убедительные аргументы в обоснование признания бюрократии в качестве класса социалистического общества приведены в умной, взвешенной статье Л. Бредневой, которая, опираясь на марксистско-ленинскую методологию, справедливо критикует С. Андреева за утверждение, будто отношение к средствам производства перестало быть классообразующим признаком. Отстаивая свою позицию, Л. Бреднева пишет, что в СССР, в социалистических странах «государственный аппарат управления превратился в

¹ Андреев С. Причины и следствия // Урал. 1988. № 1.

² См.: Обсуждаем статью Сергея Андреева «Причины и следствия» // Урал. 1988. № 1; Урал. 1988. № 10. С. 135—154.

единственного полномочного распорядителя, а следовательно, в фактического владельца государственной собственности. Аппарат даже юридически закрепил свое право собственности в своих инструкциях, приказах, правилах, то есть в «малом законодательстве», которое и является для предприятий единственным руководством к действию (а отнюдь не Конституция). И таким образом, бюрократия, то есть служащие государственного аппарата управления, превратилась в класс, реально владеющий средствами производства, а все непосредственные производители материальных и духовных благ в городе и деревне превратились в класс, реально отчужденный от собственности»¹.

Сегодня очевидна справедливость марксистского вывода о том, что общественный слой или группа, если они приобретают силу класса, обретают и классовые функции², причем даже в том случае, если данная группа не получает места и положения класса в системе общественного производства.

Возвращаясь к рассматриваемой проблематике, можно утверждать, что в советском обществе (но не только в нем) партийно-государственная бюрократия, господствовавшая и властвовавшая в стране, была не только социальной опорой, фундаментом деспотической сталинской власти, но и, разрастаясь и усиливаясь, обретая очертания класса, становилась также и носителем особых социально-классовых интересов и определенных классовых функций, реализовавшихся с помощью деспотической власти И. Сталина и его окружения. Именно И. Сталин формулировал ее социальный идеал и реализовал его вместе со своим окружением. В чем суть этого идеала?

Накопленный уже исторический опыт бюрократизации реального социализма в разных странах позволяет сделать следующий вывод: у «социалистической» бюрократии пока нет и, видимо, не может быть какого-то другого социального идеала, кроме «казарменного социализма» с командно-административной системой управления и политическим режимом личной власти, с культом высшего Администратора, Вождя. Разумеется, ни свой социально-экономический, ни политический идеалы бюрократия сама так не называет и не

¹ Бреднева Л. Так пойдем дальше! // Урал. 1988. № 10. С. 139.

² Подробнее см. мою статью: О социально-классовой природе сталинской власти // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 72.

афиширует, и это понятно: ведь бюрократия в социалистических странах всегда маскируется под попечительницу интересов рабочего класса, трудящихся, реализующую его, рабочего класса, социальный идеал — научный социализм.

Но все это вынужденная маскировка, необходимый камуфляж. Действительный идеал партийно-государственной бюрократии, полностью отвечающий ее интересам, иной, ибо только при жизни всех граждан общества в условиях «казарменного социализма» с его системой ценностей (с отчужденной от трудящихся государственной собственностью, а также административно-командной системой управления с ее номенклатурным принципом и при режиме личной власти, стягивающей и концентрирующей мысль и волю бюрократии в одном пункте — на вершине управленческой пирамиды, в одном человеке-вожде и т. д.) партийно-государственная бюрократия обеспечивает свое максимальное процветание, максимальное политическое и экономическое, а также идеологическое господство — свое реальное полновластие. Поэтому режим личной власти, сталинский деспотизм не случайное, а естественное порождение и условие функционирования «казарменного социализма». Господство партийно-государственной бюрократии и сталинский деспотизм не противоположности, а содержание и форма одного и того же политического строя, социально-классового господства бюрократии. «Сталину ли быть недовольным бюрократическим аппаратом! — замечает Л. Бреднева. — Он-то получил как раз то, что хотел: бюрократическая система управления — идеальная почва для режима личной власти, все нити управления всеми сторонами общественной жизни стягиваются в итоге в одну точку: к вершине бюрократической пирамиды, к Вождю. А то, что бюрократизм повлек за собой расцвет формализма, волокиты, бумаготворчества, канцелярской неразберихи, — это, конечно, неприятно, но закономерно: ведь это атрибутивные черты бюрократической системы. Невозможен режим личной власти без развитой бюрократической системы, а она, в свою очередь, немыслима без формализма, волокиты и тому подобных прелестей. Если Сталин понимал эту диалектику, думаю, он не очень серчал на бюрократов. Им, конечно, тоже время от времени трепка доставалась, даже самым послушным и преданным: чтобы

боялись и вернее служили. Но все же не они были главным объектом репрессивных мер. Итог сталинских реформ и репрессий — это как раз полная победа бюрократии над демократией, аппарата над народом»¹.

Именно в этой победе бюрократии над народом — истоки нашей казарменности. Именно потому так живуч сталинизм — эта важнейшая (наряду с маоизмом) теоретическая и практическая форма «казарменного социализма», выработанная в Советском Союзе и успешно для бюрократии апробированная во многих странах. Она вполне пережила своего творца — И. Сталина, ибо жива нуждающаяся в ее теории и практике социально-классовая сила — партийно-государственная бюрократия.

В свете сказанного двусмысленно выглядит попытка А. Ципко² искать истоки «нашей казарменности» у... Карла Маркса, в его доктрине. Двусмысленность заключается в том, что таким образом, во-первых, скрываются действительные первопричины нашей казарменности, состоящие в засилье партийно-государственной бюрократии, а во-вторых, бросаются недостаточно обоснованные обвинения К. Марксу, основоположнику той теории, которая, озлобляя бюрократию, дала наиболее глубокую и содержательную критику «казарменного социализма».

И все же, когда мы говорим о сталинской узурпации классового господства, об «отчуждении власти от трудящегося человека», то это вовсе не означает, что на разных этапах становления и развития сталинского деспотизма не было таких фракций трудящихся классов, которые в сталинском деспотизме не находили бы удовлетворения и своих интересов, а потому не становились бы социальной опорой этой власти (достаточно указать на самые низы командно-административной системы, куда необходимые кадры рекрутировались из самых различных социальных групп: не только из люмпенов, но также и из деклассированных крестьян и рабочих). Вспомним также то, что отсутствие паспортов у крестьян буквально приковывало их к своей деревне, к колхозу и т. д. Учитывая условия жизни в деревне тех лет, можно понять, каким

¹ Бреднева Л. Так пойдем дальше! С. 137.

² См.: Ципко А. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 11, 12; 1989. № 1, 2.

«благом» для многих оборачивался «набор рабочей силы» из деревни.

Нельзя, рассматривая те годы, не учитывать и того, что в начале 20-х годов фабрично-заводского рабочего класса в собственном смысле слова в Советской России почти не было, да и в начале 30-х годов в городах наряду с рабочими существовали пролетарии-люмпены — голодная рабочая сила, а такой рабочий, по мнению К. Маркса, работает лишь для своего потребления и поэтому по своему определению является паупером. Такие фракции рабочего класса, если они не организуются в борьбе за лучшее будущее, продаются любому, кто обеспечит минимум условий существования. Нельзя забывать и того, что бонапартизм, режим личной власти, как отмечали основоположники научного социализма, способен создавать себе социальную опору не только в чиновничестве, но и в рабочем классе, подкармливая и насаждая так называемый «искусственный пролетариат». Под этим Ф. Энгельс понимал пролетариат, зависимый от правительства по причине своей низкой квалификации и потому могущий быть использованным лишь по воле государства на назначаемых им работах.

Массовые городские слои, вчерашние крестьяне, маргиналы, или, попросту, лимитчики, были верной опорой сталинской системы. Как пишет И. Клямкин, это был «патриархальный и мелкотоварный производитель, не сумевший приспособиться к товарным отношениям при нэпе, выброшенный из деревни в город, вырванный из культуры... им легко отдавать все, что имели, так как они не имели почти ничего. Не было личного быта, его заменяли казенные койки в бараках, общежитиях, вагончиках, не было ни вещей, ни знаний, ни развитых индивидуальных потребностей, не было ни прошлого, которое они презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то временным, походным, подготовительным к чему-то, что и есть самое главное. Они могли жить только будущим...»¹. Причем такой работник, «дотоварного» типа, по его мнению, и сегодня доминирует в нашем народном хозяйстве. Вспомним, например, яркие образы людей «перекати-поле» в распутинском «Пожаре».

¹ Яковлев С., Клямкин И. Испытания и надежды // Литературное обозрение. 1989. № 4. С. 4.

Особенно отрицательные последствия имело то, что в сталинской концепции социализма не было места рабочему как реальному хозяину своего производства и своей страны: рабочий фактически был освобожден от действительных функций гражданина, был отчужден на деле от роли хозяина, хотя именно в этом качестве — хозяина своей страны — он официально прославлялся в песнях сталинского времени. А это имело весьма пагубные последствия для сознания рабочих, всего рабочего класса. Ибо, как считал К. Маркс, рабочие сами по себе не в состоянии — если они как класс не будут воздействовать на государство и через государство на капитал — вырвать из хищных когтей капитала даже то свободное время, которое необходимо им для их физического существования. Но именно эта способность рабочих разрушалась сталинской властью «от имени трудящихся», поскольку за государственные подачки полагался запрет на экономическую, а значит, и любую другую борьбу рабочего. Поскольку разного рода господачки все же давали возможность не умереть с голоду в самые голодные годы, то определенные фракции рабочего класса в этом тоже находили удовлетворение. Так шаг за шагом разлагался рабочий класс: сам он как социальная сила оказывался брошенным на произвол администрации, партийно-государственной бюрократии, что опять-таки задерживало его превращение в «класс для себя» уже в новом обществе. Таково противоречивое отношение сталинской деспотической власти к трудящимся, в том числе к рабочему классу.

Однако при этих противоречиях и попытках сталинского деспотизма и словесно и фактически опереться на рабочий класс, в сущности, рассматриваемая власть не только не являлась властью рабочего класса, трудящихся, но и была глубоко чужда их интересам и устремлениям. Поэтому не случайно И. Сталин и его окружение все больше должны были опираться на партийно-государственную бюрократию, придавая ей роль если не класса, то социальной группы, служащей социально-классовой опорой сталинского деспотизма, который все шире использовал для упрочения и сохранения своих позиций командно-административные методы управления, массовые репрессии, беззаконие и демагогию, позволявшие сохранять и поддерживать с помощью страха и обмана политическую стабильность в обществе.

Организованные беззакония и массовые репрессии имели для И. Сталина и его деспотической власти вполне определенный смысл. Во-первых, они представляли собой отнюдь не результат просчета или роковой ошибки, а следствие сознательной политики Сталина, направленной на истребление «ленинской гвардии», всех тех, кто по своим убеждениям никак не мог принять сталинский деспотизм. Во-вторых, массовые репрессии были не случайным, а существенным элементом не только сталинской политической системы, но и всего сталинского социализма: в обществе, где подорваны стимулы к труду, именно страх наказания, поддерживаемый массовыми репрессиями, наряду с еще не исчезнувшим энтузиазмом масс, веривших в жертвы во имя социализма, были важнейшими условиями успешного функционирования политической системы.

* * *

Таким образом, мы видим, что осмысление проблемы культа личности во многом помогает нам ответить на важнейшие актуальные вопросы: в чем источник наших сегодняшних экономических, политических и социальных бед? к чему мы стремимся? и — каким образом достичь желаемого?

В этой связи особенно важными выглядят ряд общих положений. Прежде всего, необходимо сказать о связи культа личности с догматизмом. Очень легко заявить, что мы — продолжатели ленинского дела, и подгонять под этот тезис любую политическую акцию. Так делалось не только при Сталине, но и при Хрущеве и Брежневе. Поэтому, пока мы не избавимся от догматизма, не перейдем от монологизма к диалогичности мышления, над нами все время будет витать опасность реставрации культа личности. И, как совершенно верно пишет И. Клямкин, мы никогда не сможем избавиться от этого, если «будем сохранять полурелигиозное отношение к Ленину, если не подойдем к его наследию исторически, не выстроим всех связей...»¹.

Другой вопрос касается того, что нельзя построить социализм любой ценой, любыми средствами, в том

¹ Яковлев С., Клямкин И. Испытания и надежды. С. 8.

числе и такими, при которых исчезают сами принципы социализма, его человеческий облик, имманентный ему гуманизм. Другими словами, очевидно, что такая цена ожидаемого результата, цена построения социализма совершенно неприемлема: в ней исчезает прежний процесс — строительство социализма с его противоположностями (кто — кого?) — и ему на смену приходит совсем другой процесс — модернизации, первоначального накопления, индустриализации и выживание советского общества в его тогдашнем виде. А это не одно и то же.

И наконец, вопрос о характере задач, решаемых в ходе исторического развития. Из сказанного выше следует, что было бы неверно считать, будто вопрос о характере протекающего процесса, зависящий в общем и целом от объективных условий его развития, не может измениться под влиянием избранных средств для решения этих задач.

Если с этих позиций оценить происшедшее в Советском Союзе в 30-е годы, то придется сказать следующее. И. Сталин, вопреки разъяснениям В. И. Ленина¹, смешал непосредственные задачи по экономическому развитию Советской России, созданию предпосылок для будущего «введения социализма» (на что и был нацелен нэп) с самим переходом к социализму. Оказавшись перед неразрешимым комплексом разнородных проблем, И. Сталин стал применять крайне жестокие, порой свирепые меры для достижения амбициозных целей, меры и способы, совершенно несовместимые с принципами социализма, а потому и неспособные привести к действительному социализму.

Результатом такого развития было то, что к концу 80-х годов в Советском Союзе в основном был построен сталинский государственно-административный социализм с господством партийно-государственной бюрократии, с отсутствием гласности, с массовыми репрессиями и человеческим страхом, социализм, соответствующий каноническим представлениям марксизма о «казарменном социализме».

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 378—382.

А. Ф. Зотов

О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПРИРОДЕ ВЛАСТИ «ХОЗЯИНА»

Тема культа личности Сталина, рожденная в нашей социально-политической литературе знаменитым «закрытым докладом» Н. С. Хрущева XX съезду партии, к настоящему времени в целом претерпела существенную эволюцию. Параллельно росту «разоблачительной» литературы, нацелившейся на то, чтобы сказать «всю правду», раскрыв чудовищные масштабы сталинских репрессий, появились и разнообразные попытки ответить на вопрос: «Что это было?» (Пожалуй, наиболее основательная из этих попыток — книга Л. А. Гордона и Э. А. Клопова, выпущенная Политиздатом именно под этим названием в 1989 г.)

Мемуарно-художественная «лагерная» литература внесла, вероятно, львиную долю в первый компонент этого процесса исторического самосознания, вызвав у многих (незнакомых с зарубежными публикациями на эту тему, а таких в «советском поколении» населения нашей страны — большинство) состояние, близкое к шоку. Однако опаснее то, что она привела к краху не только прежних наивных «школьно-пионерских», но и всяких иных идеалов. Это и естественно: воспитанное «в твердой вере», в условиях тщательного искоренения любых следов сомнения (этого необходимого условия уверенности, базированной на знании), поколение (или, скажем осторожнее, его большая часть) оказывается если не совершенно неспособным к свободному самоопределению, то уж во всяком случае не подготовленным к тому, чтобы быстро обрести его начальные навыки. Догматическая убежденность разваливается при столкновении с жуткой правдой, не оставляя после

себя ничего, вызывая ощущение выжженной пустыни.

Стремясь спастись от этой пустоты, немалое число наших интеллигентов (прежде всего из числа профессиональных философов и социологов) пробует — как это ни покажется странным, учитывая критический запал разоблачения «преступлений 30-х годов», — доказать, что по большому историческому счету ничего особенного не произошло, что фундаментальные принципы социализма как самого гуманного общественного строя культ личности не затронул и даже не мог затронуть, что просто в ходе победоносного социалистического строительства, в силу личных особенностей Сталина, так сказать, «летело многовато щепок». Правда, для нетеоретика эта позиция выглядит сегодня непривлекательно, учитывая размер репрессий и в целом скромные масштабы социальных достижений, купленных такой ценой. Конечно, такое неприятие концепции, «основным звеном» которой является тезис о коллективной ошибке делегатов партийного съезда, не внявших предсмертному предупреждению В. И. Ленина, является эмоциональной, а не рациональной реакцией: вряд ли можно отрицать гуманность медицины только потому, что какой-то сумасшедший хирург некогда отрезал пациенту голову...

Другая часть исследователей склонна делать более радикальные — в теоретическом отношении — выводы. Спектр их довольно широк: начиная от трактовки «культового периода» как проявления исторической закономерности в форме исторической случайности (здесь, в свою очередь, множество объяснений, обращаясь и к социальной психологии русского крестьянина или русского народа в целом, унаследованной от феодального прошлого, и к «контекстуальной» детерминированности военных методов защиты Республики Советов и строительства социализма в одной, отдельно взятой стране условиями враждебного капиталистического окружения) и кончая несколько экстравагантной, но на удивление влиятельной концепцией всемирного «жидо-масонского заговора».

Конечно, такая классификация теоретических объяснений не предполагает строгого разделения установок. Чаще встречаются объяснения, в которых интерферируют различные цвета этого спектра, что я отнюдь не склонен расценить как неоспоримое свидетельство ошибочности либо всех, либо какой-то одной из уста-

новок: Вполне возможно, что как раз в многозначном объяснении происшедшего заключается если не истина, то хотя бы приближение к ней.

Именно в силу такой надежды я и считаю весьма полезной дискуссию представителей различных точек зрения, которые не тратили бы весь свой пыл на ниспровержение точки зрения оппонента, а попытались бы — нет, не «примирить позиции», поскольку этого нам не позволит наша школьная философская вера в «раздвоение единого» непременно на взаимоисключающие противоположности, а хотя бы сохранить кое-что и для попыток самокритики.

На мой взгляд, позиция, выраженная А. П. Бутенко, не монолитна (боюсь сказать — «непоследовательна...»), но как раз этим она и хороша, поскольку оставляет простор для самокритического развития, а не только для «обороны до последнего патрона». Эта «немонолитность», видимо, осознается и самим автором, посвятившим первую часть текста теме личной ответственности Сталина за ситуацию 30—50-х годов, а вторую — теме социально-классовой природы его деспотической власти.

Во многом содержание первой части выглядит таким же бесспорным, как протокол свидетельских показаний: достаточно «серая», в плане интеллектуальном, личность, обладающая жестоким характером и сильной волей (добавим к этому хитрость и подозрительность — качества немаловажные для достижения и сохранения господствующего положения), узурпировала власть в нашем обществе. А затем вся гигантская сила государства была обращена на упрочение и сохранение режима личной власти Сталина любой ценой и всеми средствами. Поэтому нам остается, видимо, только сожалеть о случившемся, повторяя — за Марксом — знаменитую фразу, что-де нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный может совершить над ними насилие.

Однако не пустой вопрос: почему же «оплошали» наша страна и наш народ? Почему «оплошала» наша, воспитанная Лениным, партия? Был ли Сталин «единственным кандидатом в насильники»? И насколько велико было сопротивление со стороны людей порядочных и умных (используя расхожий термин «ленинская гвардия») этому поползновению на насилие? Первый момент А. П. Бутенко, по существу, оставил без

внимания (оговорюсь, он в полном праве это сделать, хотя риск односторонности дальнейших рассуждений, как мне кажется, идет отсюда).

Но, при всех оговорках, историки партии единогласно признают непререкаемый авторитет В. И. Ленина, который только укрепился после победоносного окончания гражданской войны. Это, пожалуй, совершенно бесспорный тезис в свете того факта, что Ленин смог организовать такой грандиозный (и такой непопулярный в правящей партии!) социальный поворот, как нэп, экономически, политически и психологически означавший вовсе не «коррекцию курса», а его радикальнейшую смену. И не свидетельствует ли сам факт ленинского «Завещания» о том, что после его кончины неминуемо образовался некий «вакуум»: достойных, под стать Ленину, людей в его окружении просто не было?

Этого не скажешь о претендентах на власть, которые — каждый! — вовсе не брезговали насильственными методами, отлично усвоив тезис классиков о насилии как «повивальной бабке истории». Назову в первую очередь Троцкого, хотя стоит заметить, что и гуманистичность Бухарина или Каменева, не говоря уж об Орджоникидзе, насколько можно судить по их публикациям и деятельности, весьма и весьма относительна.

Здесь возникает вопрос, насколько возможны в качестве преемников Ленина, в качестве реальных политических руководителей были в те времена «гуманисты»? Эта тема переводит нас к проблематике второго раздела статьи А. П. Бутенко. Однако в историческом плане более важен другой вопрос: если для дальнейших судеб страны таким важным оказался вопрос о персональном преемнике, то не следует ли отсюда, что ленинский принцип коллективного, коллегиального руководства при жизни Ленина во многом оставался еще идеалом, а отнюдь не действующей и жизнеспособной реальностью? Ведь будь ленинский ЦК (не говоря уж о партии в целом) такой работающей системой, в которой эффективность функционирования целого не определялась бы, чуть ли не полностью, работоспособностью единственного элемента, то смерть Ленина не стала бы воистину смертью вождя, чреватой если не гибелью, то мучительными потрясениями для страны и народа?

И очередной в цепочке вопрос: не был ли тот «аппарат власти» (или, если угодно, заряженный программой развития зародыш этого аппарата), который, так или иначе, сложился ко времени смерти Ленина, в очень большой степени не демократической системой самонастройки, саморегуляции общества, а орудием управления, и как раз «управления людьми», а не процессами, если перефразировать известный тезис Маркса об организации социалистического общества? Разве не об этом писал Ленин в «Завещании», говоря, что Сталин в должности «генсека» сосредоточил в своих руках «громадную власть», которой может «пользоваться недостаточно осмотрительно»? Не значит ли это, что в системе власти, которая к тому времени сложилась, не было, говоря техническими терминами, «устройства против дурака» (ну если не дурака, то диктатора)?!

Нэп, видимо, начинал формировать такое «устройство» в меру того, что основа общества, экономика, мало-помалу начинала освобождаться от диктата жесткого политического управления — точнее сказать, насилия (вспомним ленинское «Не смей командовать крестьянином!»). И это вовсе не означало, как иным казалось, становления экономического хаоса. Синхронно с этим разворачивалось сокращение управленческого аппарата, поскольку «не командовать» тот аппарат, который был «рожден командовать», был не в состоянии и потому оказался просто-напросто ненужным. Но... несмотря на очевидные успехи, несмотря на обещания, что нэп «всерьез и надолго», процесс был повернут вспять.

Это можно попытаться объяснить всецело злой волей Сталина, «добавившего» к той цели, ради достижения которой был создан политический, в большой степени военизированный, спаянный железной дисциплиной, подчиненный единой воле, осуществлявший четкую политическую программу «аппарат» профессиональных революционеров, еще одну — укрепление собственного единовластия. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет». Для этого поначалу понадобилось отождествить интересы собственной персоны с «интересами дела» — строительства нового общества «без угнетения и нищеты».

Ленина организационная деятельность тяготила: он был вынужден заниматься множеством разных дел,

понимая их необходимость, и с удовольствием уступал эти функции другим — в том числе и столь важные, как военное руководство, не говоря уж об организации внутривнутрипартийной работы. Эту последнюю он доверил Сталину, видимо не без облегчения. В перспективе (и не очень далекой) он надеялся, что командно-административные функции управления строительством и функционированием общества станут ненужными: общественные отношения настолько упростятся, что образование трудящихся масс и первоначальные навыки организаторской деятельности, освоенные через участие в работе профсоюзов (они, по Ленину, напомним, «школа хозяйствования, школа управления, школа коммунизма»), откроют путь к управлению государством «каждой кухарке».

Иначе говоря, на первом этапе социалистического строительства нужно было свести масштаб управления до минимума, одновременно максимально развертывая механизмы социальной самонастройки (или, что то же самое, демократического самоуправления). Подчеркну еще раз: для Ленина всеобщая воинская повинность, система командной организации с жесткой — до жестокости — дисциплиной и принцип единоначалия были такой же печальной необходимостью, как, скажем, продразверстка с продотрядами. И такой же временной. Собственное место в государстве, собственные функции в партии, собственные трудные решения — тоже.

Для Сталина все это было коренными условиями его бытия. Если Ленин исполнял обязанности вождя, то Сталин делал себя вождем, укреплял систему, в которой функция единовластного вождя была бы необходимой. Но есть довольно органичная связь между ситуацией, которую Маяковский выразил словами «Партия и Ленин — близнецы-братья», и последующей, сталинской, ситуацией, в которой партия стала только одним из орудий жестокой воли.

При этом неизбежно должна была совершенствоваться и «система» — прежде всего заменой профессиональных революционеров, исполнявших свою — и трудную, и жестокую, иногда грязную — работу ради священной цели — строительства светлого коммунистического будущего. Отсюда — голодные обмороки народного комиссара продовольствия, подвижничество председателя ВЧК, партмаксимум для каждого члена

партии на любой руководящей должности. Такие «функционеры», при всем их уважении к Ленину, были способны спорить с вождем, если их мнение было отличным от его мнения; их приходилось убеждать, прибегая к принуждению только в редких случаях и только апеллируя к партийной дисциплине, в основе которой лежал принцип демократического централизма. Они шли за Лениным не ради личной корысти или из-за страха — их вела вера прежде всего в идею, а только потом — в ее носителя.

Поэтому-то поначалу и Сталин вынужден был выступать как «верный ученик и продолжатель дела Ленина». Эта роль ему в большой мере удалась: грубость Сталина показалась большей части «ленинской гвардии» только частным человеческим недостатком, к тому же чистосердечно признаваемым самим «наследником дела Ленина» (Сталин повторял под оглушительные аплодисменты, переходящие в овацию: «Я человек грубый...»). Но «ученик» быстро превратился сначала в «ближайшего сподвижника», затем стал «Лениным сегодня» и завершил свои трансформации стадией «гения всех времен и народов». Те, которые замечали эти превращения, а тем более контраст или даже «неполное соответствие» подлинного Ленина с «Лениным сегодня», стали опасными: теперь требовалась не столько преданность идее, сколько преданность вождю, и недостаток этой последней — даже подозрение в недостатке преданности — был основанием смертного приговора. Это во-первых.

Во-вторых, понадобился некий «механизм», «инструмент», «винтиками» и «рычагами» которого стали бы другие люди. Даже сохраняя прежнюю структурную основу, он должен был начать служить другим целям! Он мог выполнять и общественно значимые задачи (такие, скажем, как индустриализация, создание военной промышленности и т. п.), но, так сказать, «по ходу дела» и не брезгуя никакими средствами. А главное, он также уже мог исполнять функцию «преторианской гвардии» Генерального секретаря... Мог, подчиняясь во всем «установкам», приказам, исходившим от «начальства», во главе которого находился всемогущий и всеведущий «Хозяин». Неисполнение приказа «партии» (вспомните: «Любой приказ партии будет выполнен!»), особенно вследствие критического отношения к его «источнику», стало воистину «грехом

смертным». Нельзя сказать, что с самого начала этого вырождения «величия нашего дела» в инструмент личной власти в «системе» искоренялась любая инициатива. Напротив, последняя — если она была нацелена на выполнение (плана, приказа, установки) «любой ценой» — поощрялась и повышением по службе, и орденом, и персональным окладом, и личной дачей, и «пакетом», и даже пропуском в продовольственный распределитель, а в заключение жизненного пути — похоронами на Новодевичьем кладбище... Но и этой инициативе (точнее, сопутствующим ей качествам: компетентности, уму, воле) трагическим образом противоречил базовый принцип организации системы — установка на непогрешимость «Хозяина», вытекающая из его собственной жажды власти!

Поэтому-то продвижение по служебной лестнице сплошь да рядом прерывалось трагически — здесь нельзя было быть — в глазах «Хозяина» — слишком «сильным» и даже казаться таковым в глазах масс. Это «системное свойство», естественно, воспроизводилось и на нижних ярусах пирамиды власти: «Я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак». То, что это качество приобрело форму массовой шпионо- и вредителемании, обернулось охотой за «заговорщиками» и «предателями», конечно, было связано с параноидальной подозрительностью Сталина и ситуацией «осажденного лагеря» в капиталистическом окружении, но это не более чем акцент.

Сталин — в этом можно согласиться с А. П. Бутенко — немало потрудился над совершенствованием этой системы. Но, во-первых, он строил ее не на пустом месте, а использовал в качестве базы тот «аппарат», который — для других целей — был сконструирован ранее. Во-вторых, реформированный аппарат обрел и собственную «логику»: не случайно он продолжал функционировать и при наследниках Сталина — по-мужицки хитром Хрущеве, плаксивом и бесхребетном Брежневе и даже «никаком» Черненко. Поэтому, когда ставится вопрос о «вине Сталина», было бы слишком наивно сводить ее к тому, следует ли «делить» ответственность за репрессии, расстрелы и лагеря между Сталиным и его «ближайшим окружением», а также многочисленными «рядовыми» доносчиками, членами «троек», начальниками лагерей и охранниками.

Это конечно же не означает попытки даже частич-

ной «реабилитации» Сталина, хотя не то что лично истребить миллионы людей, но даже и подписать (не оформить!) бесчисленные списки тех, кто подлежал уничтожению или высылке, он не мог бы чисто физически. Сталин — и в этом его главная вина — превратил инструмент революции в орудие уничтожения (и самоуничтожения!), в средство террора, и тем самым создал такую машину, внутренняя логика функционирования которой уже естественно порождала террор в качестве универсальной атмосферы, мало-помалу вытеснявшей атмосферу революционного энтузиазма и подвижничества ленинского периода.

Причем эта «новая» атмосфера, пожалуй, была тем ощутимее, чем ближе к центру власти оказывался человек. Но ведь для того чтобы такое «перерождение» произошло, для начала оказалось достаточным условием только изменение целей! Изменение целей прежнего (и наличного) инструмента революции... Профессиональных революционеров сменили профессиональные каратели, профессиональных конспираторов — профессиональные провокаторы, массы сочувствующих революционным идеям — массы своекорыстных доносчиков.

Но ведь было и так, что — на первых порах, например в годы массовой коллективизации, — первые совмещались со вторыми, кто из корысти, а большинство — по причинам более высоким. И потом, к примеру, на смертных приговорах «первого эшелона» жертв сталинского «большого террора» стояли подписи жертв эшелона последующего.

Так, на заседании комиссии Пленума ЦК ВКП(б) по «делу» Бухарина и Рыкова 27 февраля 1937 года Косарев и Якир, уничтоженные некоторое время спустя, потребовали расстрела обвиняемых — в противовес «мягкому» предложению Сталина «направить дело Бухарина и Рыкова в НКВД». Это, конечно, означало практически то же самое. И к этому мнению Сталина, вряд ли не понимая, чем все кончится, присоединили свои голоса и М. И. Ульянова, и Н. К. Крупская...

Было ли такое развитие событий фатально предопределено историей? На мой взгляд, нет, хотя вероятность именно такого развития была очень высока. А. П. Бутенко вполне уместно сослался на Маркса, указывавшего «на постоянную опасность правительственной узурпации классового господства». Опасность

такой «узурпации», конечно, велика, особенно в странах с неразвитыми демократическими традициями. Но и наличие таковых, видимо, не сводит подобную вероятность к пренебрежимо малой величине.

Конструирование революционной партией (не группой заговорщиков — ей подобное ни к чему) общественно-правовых механизмов, снижающих уровень этой опасности, способствующих движению общества в направлении демократического самоуправления, при котором, говоря словами Ленина, массы «на все идут сознательно», как показывает наш — и не только наш — исторический опыт, дело архиважное, особенно потому, что срок, на такие преобразования отпущенный, вряд ли больше срока жизни поколения революционеров, вдохновляемых высокими идеалами. Ленин это понимал, и начал соответствующие преобразования, и был крайне озабочен этой проблемой в последние годы жизни. Однако нэп как социально-экономическая база этих преобразований был «свернут», и тем самым сохранились и возросли условия, в которых «узурпация классового господства... авантюристом, выдающим себя за спасителя всех классов» (Маркс) стала реальностью.

На мой взгляд, отсюда можно попытаться ответить на вопрос о «природе» сталинской власти. Если Сталин был «конструктором» системы, которая существовала у нас до недавнего времени (и в большой степени как административно-командная система все еще продолжала существовать), то вопрос о «природе сталинизма» сам собою сводится к вопросу о среде — психологической и социальной, — которая сформировала характер «гения всех времен и народов» — или, в более общем плане, людей сталинского образца.

Утверждать, что власть Сталина была властью партийно-государственной бюрократии, как это делает А. П. Бутенко, значит либо склоняться к мнению, что Сталин сам создал собственную «природу», либо — что уже до Сталина имевшаяся в наличии «партийно-государственная бюрократия» с большой вероятностью «и в массовом масштабе» рождает сталиных. А. П. Бутенко придерживается скорее первого мнения. Но в этом случае тема, активно дискутируемая в печати (которой отдал дань и А. П. Бутенко), является ли партийно-государственная бюрократия классом, обретает сразу два странных аспекта. Первый: получает

ся, что «политический авантюрист» в нашей стране «узурпировал» уже не власть пролетариата, а власть партийно-государственной бюрократии, которая — и именно она — была итогом Октября. Второй — что социальный класс может быть сконструирован «политическим авантюристом»!

Человеку, привыкшему видеть в социальном развитии в конечном счете объективные законы социальной формы движения материи, это как-то трудно принять. Не легче, однако, согласиться и с первым. Хотя история знает случаи, когда завоеватели (относящиеся, правда, к другому народу, другой расе) могли стать новым господствующим классом общества — рабовладельцами или феодалами. При этом не более чем деталь, становится ли каждый из когорты завоевателей рабовладельцем или феодалом — или только их сообщество в целом выполняет такую функцию (вроде свободных спартиатов).

Но для того чтобы судить, не произошло ли в нашей стране что-то подобное — при всей чудовищности такого предположения, достойного теоретиков, придерживающихся концепции всемирного жидо-масонского заговора, — нужно выяснить, являются ли наши бюрократы действительными собственниками средств производства? Не странно ли выглядит класс собственников, который, видимо, совсем не заинтересован в развитии средств производства?

В том-то и дело, что наша бюрократия средствами производства не владеет — она ими кормится. Поэтому она столь безразлична и к нуждам производства, и к его структуре — «лишь были бы желуди...». В нашей стране средства производства, их большая часть, как и земля (хотя, согласно Конституции, она принадлежит народу), фактически не принадлежат никому. Они «ничьи», они в таком же отношении к людям, как, скажем, лес к мышам.

Собственности как реальной экономической связи не существует: если рабочий отлично сознает, что мебель в его квартире принадлежит ему и его жене, а колхозник знает, что дом и огород — его, то разве испытывает то же чувство человек в отношении колхозной скотины, трактора или земли? Если общественная собственность — реальное отношение, то почему же она настолько зависит от воспитания пресловутого «чувства хозяина страны»? Впрочем, отношение без-

различия — тоже экономическое отношение, отражающее специфическое, сложившееся в обществе, в производстве положение.

Иное дело, что если с одними формами экономических отношений административная бюрократия совместима (пусть даже в тенденции и разрушает условия своего бытия), то с другими — плохо состыкуется. Ее внутренняя, собственная тенденция, как и у всякой злокачественной опухоли, однозначна — к саморазрастанию. Если она — класс, то придется признать, что способны возникать экономические структуры, подобные «химерам» в исторической концепции Гумилева, заряженные фатальной тенденцией самоуничтожения. Мне такая идея несимпатична, хотя иногда кажется, что в правдоподобности ей не откажешь...

Однако более продуктивным представляется мне другое объяснение, в традициях марксовской концепции «отчужденных форм». Под этим углом зрения «власть» (то есть система организаций по управлению людьми), возникнув в ходе общественного развития, становится отчужденной от общества, самоподдерживающейся системой, со своими собственными законами функционирования и развития.

Такая система подобна любому феномену культуры; будучи, в общем, вторичной, из разряда «средств», она способна становиться самоцелью, главным делом жизни человека, зачастую дороже самой жизни. Но, утверждая этот тезис, мы вступаем в особую, весьма обширную и сложную область — область «метафизики свободы», этого специфического феномена человеческого бытия.

Здесь нет возможности ее обсуждать, замечу только, что, лишь представив исторический процесс не в качестве аналога природной закономерности, а как «дорогу свободы», мы будем в состоянии понять то многообразие культурных (в том числе и социально-политических) структур, которые открывает перед нашим взором прошлое и настоящее человеческой деятельности. Только вместе со свободой приходят в историю, в человеческую деятельность стыд и вина, совесть и ответственность, грех и искупление, и она перестает выглядеть лишь как переплетение жестких причинно-следственных связей, в котором можно было бы искать «природу» явления, его «причину», «движущие силы», но тем самым нельзя было бы ставить вопросов о вине или ответственности.

Э. Ю. Соловьев

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРАВА

В последнее время в обществе чувствуется усталость от обсуждения трагических событий сталинского времени. Порой она принимает агрессивные формы. Появилась даже наступательная, перестроечная по стилю формула: критика прошлого отвлекает нас от критики сегодняшних недостатков. Она получает поддержку у сторонников патриотически-мемориального отношения к истории, настаивающих на том, что прошлое (в особенности родное, отечественное) вообще надо прежде всего ценить и хранить.

На мой взгляд, согласиться с этими установками никак нельзя. Во-первых, потому, что по эпохальным масштабам сталинское время — это не просто прошлое, а ближайшее прошлое, которое как раз отрезает нас от достойной уважения традиции, как отечественной, так и всемирной. Во-вторых, потому, что сталинизм вовсе не канул в Лету. Он миновал как режим, как властно-политическое устройство, но продолжает жить в наших экономических привычках и умственных навыках, в нашем понимании того, что такое начальство, что такое гражданство, право, ответственность, народ, личность, честный труд и т. д.

«Сталинизм — это не система, это структура», — отчеканил как-то философ В. М. Межуев. Он не стал разъяснять, структура чего, — и правильно сделал. Ибо речь идет не об экономике в отличие от политики, не о правительстве в отличие от народа, даже не об общественном бытии в отличие от общественного сознания. Речь идет о бытии самого сознания, о таких массово распространенных способах понимания, которые глу-

боко проникли в повседневную практику, приобрели материальную, почти вещественную прочность, а потому упрямо отталкивают «все резоны», все рационально-критические доводы, все манифестации «нового мышления». Посмотришь на них с одной стороны — это представления, идеи, настроения, свойства ума. Посмотришь с другой — и оказывается, что это характеристики самого фактического положения людей, их деятельности и общения — нечто, почти телесно им свойственное.

Да, сталинизм — это структура, структура бытия какого-то массового сознания. Какого же именно?

Это вопрос вопросов. Это проблема сугубо современная, актуальнее которой нет, но решить которую можно только в исторической форме.

Вот почему я глубоко признателен А. Бутенко, который еще раз, с упрямой назойливостью овода, провоцирует тему классово-социальных корней сталинизма, его не просто верхушечной, клановой, но массовой опоры.

Над этой темой исследователи будут биться еще очень долго, преодолевая то ажиотажный интерес, то усталую апатию к публицистическому освещению советской истории 30—50-х годов. Легкому разрешению подобная задача не поддается, и не только из-за обилия нового материала, хлынувшего в последнее пятилетие из впервые открывшихся для нас государственных и частных архивов. Трудность заключается еще и в обстоятельствах концептуального порядка, в бедности нашего понятийного классово-социального словаря, корневой арсенал которого сложился где-то в середине прошлого столетия.

В настоящей публикации я хотел бы привлечь внимание прежде всего к этой проблеме.

Вопрос о массовой базе сталинизма будет рассматриваться мной под определенным, ограниченным (но не думаю, что маловажным) углом зрения — в аспекте права и преступного попрания права. Я хотел бы выяснить, чем было массовое признание и одобрение сталинских репрессий; можно ли считать его целиком вынужденным, навязанным верхушечной силой, или оно в значительной мере диктовалось положением и классово-социальным опытом самих вотирующих низов. Я хотел бы, далее, как бы взглянуть из прошлого на наше сегодняшнее правопонимание и в меру моих спо-

способностей рассудить, что же мы прежде всего должны ценить в праве и правопорядке, исходя из чудовищного опыта сталинщины, свидетельские описания которого уже изнурили нас и начали утомлять...

1. Социальные корни правового нигилизма

Важнейшим ферментом в процессе утверждения сталинизма как системы аппаратно-диктаторской личной власти был правовой нигилизм. В литературе и массовом сознании 20—30-х годов он был представлен следующими основными установками:

- 1) право считалось неполноценной и даже ущербной формой регулирования социальной жизни; в нем видели отживающий институт, лишь на время и лишь в силу печальной необходимости заимствованный у прежних эксплуататорских обществ;
- 2) отрицался гуманистический смысл правовой нормы; ее непрременная (если не прямая, то косвенная) отнесенность к задаче защиты личной независимости: гражданской, трудовой, имущественной, вероисповедной, творческой — объявлялась чем-то несущественным;
- 3) широкое распространение получал социальный и политический патернализм, то есть понимание государственной власти как «родной и отеческой», призванной осуществлять авторитарное, а если потребуется, то и принудительное (ни на какое право не оглядывающееся) попечение о трудящейся массе.

Правовой нигилизм выражал себя не только в теоретических рассуждениях. Он существенно деформировал язык. Выражение «буржуазное» сопрягалось со словом «право» в качестве своего рода постоянного эпитета (словосочетание «социалистическое право» казалось абсурдным). Неискоренно буржуазными выглядели и такие понятия, как «парламентаризм», «юридическое лицо», «формальное равенство».

Само слово «личность» (важнейшее в юридическом лексиконе) приобрело оттенок классово чуждого термина. В бытовой речи оно нередко использовалось в качестве осудительно-иронического ярлыка, а всерьез уместным считалось лишь в применении к выдающим-

ся историческим деятелям. И наоборот, слово «масса» приобрело аффирмативную значительность. Оно нерасторжимо срослось с выражениями «народная», «трудящаяся», «революционная» и совершенно утратило изначально заложенный в него социально-критический смысл.

К началу 30-х годов правовой нигилизм подчинил себе и сознание аппаратных верхов, и сознание трудящейся массы, на которую партия опиралась. Первое едва ли нуждается в пространных объяснениях: бюрократия на то и бюрократия, чтобы не испытывать восторга перед нормами, обеспечивающими личную независимость, деловую инициативу и гражданскую активность каждого члена общества. Иное дело — правовой нигилизм (и притом радикальный, порой прямотаки оголтелый) в среде самого рабочего класса, который еще совсем недавно убежденно боролся за социал-демократическую программу минимум и с воодушевлением принимал такое, например, суждение Ленина: «Буржуазная республика, парламент, всеобщее избирательное право — все это с точки зрения всемирного развития общества представляет громадный прогресс»¹.

Что же случилось с трудящейся массой за период, отделяющий рождение сталинской командно-административной системы от времени, когда были произнесены эти слова?

Правовой нигилизм конца 20 — начала 30-х годов, вероятно, вообще не появился бы на свет, если бы не деклассация трудящегося населения России, продолжавшаяся в течение предшествующих полутора десятилетий.

Первым актом этого цивилизационно-разрушительного процесса явилась мировая война 1914—1918 годов. В условиях экономической и политической милитаризации началось разложение институтов еще только формирующегося гражданского общества. Сотни тысяч рабочих и крестьян были изъяты из нормальной хозяйственной и социальной жизни и превращены в полуголодную, бесправную и помыкаемую солдатскую массу.

Ни один социальный персонаж из истории предшествующего XIX столетия не мог бы сравниться с «окоп-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 82.

ным солдатом» 1914—1918 годов по степени обездоленности и правовой незащищенности. Это были годы приучения к милитаристскому произволу и почти стабильному, подкомандному существованию. Опыт пребывания в условиях гротескной, блиндажно-казарменной бесклассовости, когда одна и та же вошь ела и зажиточного крестьянина, и бедняка, и рабочего, служащего, интеллигента, ремесленника, дополнился в 1916—1917 гг. опытом демобилизационной анархии, — противозаконного массового «расхода по домам». Те, кто уцелел и не был изувечен, возвращались домой «социальными калеками»: обездоленными и деквалифицированными. В городах они сплошь и рядом становились вожаками анархистской уличной толпы, которая сплывалась под лозунгами немедленных экспроприаций («Грабь награбленное!») и скорейшего уравнительного дележа¹. В деревнях — возглавляли варварские расправы над помещичьими усадьбами, сопровождавшиеся осушением прудов, ломкой ирригационных сооружений, разрушением церквей. Правовой нигилизм справлял свой первый триумф: осенью 1917 — весной 1918 г. в одном только Петрограде было совершено около десяти тысяч уличных самосудов².

¹ Образ действий этого городского охлоса, не поддающегося никаким более точным классово-социальным квалификациям, запечатлен в «Несвоевременных мыслях» М. Горького и в бунинских «Окаянных днях». «Издохла совесть, — восклицал Горький. — Чувство справедливости направлено на дело распределения материальных благ, — смысл этого «распределения» особенно понятен там, где нищий нищему продаст под видом хлеба еловое поле, запеченное в тонкий слой теста. Полуголодные нищие обманывают и грабят друг друга — этим наполнен текущий день. И за все это — за всю грязь, кровь, подлость, пошлость — притаившиеся враги рабочего класса возложат со временем вину именно на рабочий класс, на его интеллигенцию, бессильную одолеть моральный развал одичавшей массы». (Горький М. «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре». «Культура и свобода». Петроград, 1918. С. 71). По характеристике И. П. Бунина, уличная толпа тех лет — это как бы Чудь, поднявшаяся со дна российской жизни и одолеваящая самое Русь.

И повсюду, где свершаются акты революционного беззакония, а социалистическая идея низводится до замысла расправы и дележа, непременно маячит фигура в шинели или флотской робе. «Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей. Я не считаю это заявление хвастовством... И больше могут. Почему не убивать?» (Горький М. Указ. соч. С. 69),

² См. там же. С. 14.

Между тем процесс деклассации трудовой России еще только начинался. Вторым его актом стали гражданская война и разруха.

Достаточно заглянуть в бабелевскую «Конармию», чтобы увидеть, чем было в ту пору повседневное правовоспитание: партизанщина и драконовские меры пресечения партизанщины, таборный быт, обоюдные (белые и красные) незаконные репрессии, реквизиции, «сокращенные судебные процессы», обращение к очевидно противоправной практике заложничества. Все это входило в плоть: терялось сознание ценности отдельной человеческой жизни, выработывалась привычка к военно-террористическому способу решения любых насущных задач, сохранявшаяся долго после того, как уже были разбиты Юденич и Колчак, Деникин и Врангель.

Соглашаясь с беспощадностью карательных мероприятий, направленных на подавление вооруженной контрреволюции, такие видные деятели партии, как В. И. Ленин, Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержинский, М. В. Фрунзе, неоднократно подчеркивали их чрезвычайный, вынужденный, а потому и сугубо временный характер,— предостерегали против «возведения нужды в добродетель». Увы, в воюющих армиях стихийно формировались совсем иные установки и принципы. Отступления от законности, обусловленные крайними обстоятельствами военного времени, сплошь и рядом трактовались как высшая «революционная законность», чрезвычайные меры—как новая устойчивая норма, обеспечивающая «скорейшее утверждение бесклассового общества».

К деклассации фронтовой добавлялась деклассация тыловая, вызванная разрухой. В 1918—1922 гг. произошло глубокое изменение структуры рабочего класса. Одни его представители сложили головы на фронтах гражданской войны. Других голод выгнал в деревню. Из-за закрытия крупных заводов масса кадровых рабочих подалась в мелкие предприятия и мастерские, превращаясь, как тогда говорили, в «изготовителей зажигалок». Росла безработица. Налицо была общая дисквалификация промышленного пролетариата и выпадение значительной его части из культуры фабричной дисциплины и фабричной трудовой солидарности, которая была «естественной базой» для всей системы политического (и не в последнюю очередь политико-

правового) просвещения рабочих, отлаженного российской социал-демократией еще до революции. Создавались условия, при которых рабочие массы на некоторый период неизбежно становились, по выражению В. И. Ленина, «гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде»¹. Класс-гегемон, с которым привыкла иметь дело партийная «старая гвардия», превращался в конгломерат, разнородные ядра которого цементировались общим недовольством, вызванным экономическим хаосом. Пролетариат чувствовал себя «социально беспризорным» слоем и требовал от власти трудового приюта. Он ожидал не правовых гарантий для эффективного и рентабельного использования своей рабочей силы, а просто права на труд; не дифференцированной справедливой оплаты, а минимального (пусть грубо-уравнительного) жизнеобеспечения. Усталость и ожесточение, эти неизбежные психологические продукты разрухи, обостряли его групповой эгоизм и предрасполагали к идее «порядка любой ценой» (идее антиправовой по самой своей сути, всегда предвещавшей установление той или иной формы правительственного абсолютизма). В социально-политическом плане это «любой ценой» было равнозначно согласию на то, чтобы элементарные условия выживания пролетариата как класса обеспечивались за счет его естественного союзника по революции — крестьянства. Идея форсированной индустриализации, осуществляемой с помощью насильственного обирания деревни, соответствовала, как ни горько это признавать, наличным нуждам и отчаянным ожиданиям деклассированного пролетариата 20-х годов².

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 19.

² Следует разграничивать программу сбалансированной индустриализации, разработанную Н. И. Бухариным в соответствии с основными идеями НЭПа, одобрявшуюся партией вплоть до XV съезда и эпигонски поддерживавшуюся Сталиным (см.: «XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет». М., 1926, с. 254, 294), и собственно сталинскую программу форсированной индустриализации, декларированную в 1929—1930 гг., когда во главу угла была поставлена невыполнимая задача: «максимум в десять лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма» (Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 41). Следует далее различать авторитарно-бюрократические (1929—1933) и последующие авторитарно-деспотические методы осуществления форсированной индустриализации, введенные в результате отчаянных попыток справиться с социальным хаосом и кризисами, созданными самим сталинским руководством» (см.:

Курс на индустриализацию, к проведению которого страна приступила в 1927 г., несомненно, способствовал социальному возрождению рабочего класса, росту его численности, организованности и политического влияния. Вместе с тем он не только не положил конца процессу деклассации трудящегося населения России, но и привел его к последнему, самому безжалостному и трагическому акту. Говоря это, я, конечно же, имею в виду прежде всего «раскрестьянивание крестьянства», совершившееся в ходе сплошной коллективизации и «ликвидации кулачества как класса». Однако — не только это. Парадоксальные, по сей день всерьез не исследованные процессы происходили и в социалистическом промышленном секторе.

Индустриализация позволила десяткам тысяч рабочих, временно отброшенным на положение мастеровых, люмпенов, сельских поденщиков, возвратиться в их законное «социально-экономическое пространство». Но она же и утопила этот слой потомственных пролетариев в массе «индустриальных новобранцев». На переднем крае технической реконструкции, в районах новостроек шла ускоренная переплавка в пролетариат (а сначала — просто промышленное спрессовывание) самого разнородного социального материала. Здесь можно было встретить кого угодно, начиная с героев Сухаревки, кончая кулацким и даже дворянским сыном, «подчистившим документ».

Одна из репортерски стремительных зарисовок, появившихся в литературе начала тридцатых годов, выглядела так: «Здесь были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, калмыки, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, бородатые рязанские мостовщики, комсомольцы, раскулаченные, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики и даже сектанты-проповедники»¹. Далее автор предлагал ориентировочную раскладку по категориям: «Одни приезжали изголодавшись, другие уверовав. Третьих

Fritzpatrik S. (ed.) *The Russian Revolution*, N. Y., 1982. P. 41—77). Стадиальный анализ этого процесса с точки зрения возможных исторических альтернатив впервые в нашей литературе проделан Л. А. Гордоном и Э. В. Клоповым в книге «Что это было?» (М., 1989. С. 22—27, 40—61).

¹ *Эренбург И.* День второй. М., 1935. С. 9.

привозили — привозили раскулаченных и арестантов, подмосковных огородников, рассеянных счетоводов, басмачей и церковников»¹.

Оставим в стороне «третьих» — подконвойных, которые выполняли самые тяжелые работы, но в состав нового рабочего класса не входили. Вглядимся в две другие, вольнонаемные категории. Среди тех, кто «приезжал уверовав» (то есть по мотивам призвания, ради построения социализма и свершения истории на самом трудном и ответственном ее участке), большинство составляла рабочая молодежь. Сплошь и рядом она искала на новостройках «преданную при нэпе революцию» — чтобы жизнь «снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева, сибирских партизан и кон-армии»². Но основная масса «новобранцев индустриализации» конечно же складывалась из тех, кто «приезжал изголодавшись». Большинство этого большинства поставляла растерзанная, переустройстваемая деревня.

Стремительный рост численности рабочего класса в конце 20 — начале 30-х годов происходил главным образом за счет притока на новые промышленные объекты той части крестьянства, которая не приняла хозяйственных отношений, складывавшихся при нэпе, или имела счастливую возможность миграции в пору насильственного насаждения колхозов.

Факт этот неоднократно обсуждался в литературе последних лет³. Получила даже хождение концепция «окрестьянивания» рабочего класса, занесения в его среду «мелкобуржуазной психологии», «патриархально-общинных» и даже «царистских» настроений, звучных нарождающемуся культу личности. Соблазнительная на первый взгляд, концепция эта совершенно не соответствует тому, что происходило (или хотя бы могло происходить) в России конца 20 — начала 30-х годов.

Никакой «сельской мелкой буржуазии» в ту пору не существовало. Крестьян, обвинительно причислявшихся к категории «кулаков», чаще всего ссылали в

¹ Эренбург И. День второй. С. 14.

² Там же. С. 32.

³ См.: Васильев И. Бумеранг // Правда. 1988. 2 октября. Провхатилов А. Откуда берется серая литература? // Нева. 1988. № 9. С. 179—180; Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? С. 130—133.

глухие, необжитые районы, в тайгу и тундру. На стройках социализма они, как я уже отметил, появлялись лишь в качестве заключенных (каторжников-спецпереселенцев) и во вновь формирующийся здесь рабочий класс не вливались.

Крестьянский сегмент в составе «новобранцев индустриализации» был представлен прежде всего сельской беднотой, вовсе не страдавшей ни патриархальщиной, ни царистскими пристрастиями. Наиболее активная, наиболее быстро адаптирующаяся ее часть вербовалась из того слоя, которую А. Стреляный метко назвал «селькомовской молодежью». Это были антикулацки и антинэповски настроенные двадцатидвадцатипятилетние люди, которые несли с собой завистливую озлобленность, непримиримость, нетерпение, а иногда и грубоуравнительную эсхатологию аграрного люмпена, с саркастической симпатией обрисованную А. Платоновым в «Чевенгуре». Они представляли тот же самый слой, который выполнял роль ударной силы при проведении сплошной коллективизации на селе. Объединяясь с комсомольским активом, засылавшимся из центра, они быстро становились пролетарскими максималистами и начинали читать левачьи военно-коммунистические нотации кадровым рабочим, техникам и инженерам.

Чтобы лучше понять, почему это происходило, необходимо задержаться на ключевой для всех социальных мероприятий конца 20-х годов проблеме сельской бедноты.

Процесс дифференциации крестьянства, определявший облик крестьянской бедноты «в 20-е годы, имел ряд особенностей,— справедливо отмечают Л. А. Гордон и Э. В. Клопов.— Он протекал в условиях Советской власти и свободного крестьянского землепользования. Дифференциация в такой обстановке приводила к тому, что в составе бедноты оказывалась повышенная доля слабых, неумелых, а то и просто безответственных людей. За 10—15 лет, прошедших после революции, большинство мало-мальски старательных крестьян выбилось хотя бы в середняки, в бедняках остались по-преимуществу либо калеки, либо плохие работники»¹.

Вспомним одного из таких «обсевков» сельской

¹ Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? С. 134—135.

жизни, лодыря и бестолкового пьяницу Акулю из автобиографических рассказов В. Ф. Тендрякова. Еще недавно его в деревне «за назем считали», а вот с началом коллективизации поставили «во главу угла». Или, как он сам формулирует: «Кулака скovyрнули — меня выдвинули!» Крестьянского достоинства, патриархального чувства сраженности с землей в Акуле не отыщешь. С босяцким цинизмом он отчуждается от села и по праву крайней бедности относит себя к самому подлинному пролетариату. И возносится над умершей сельской общиной пьяный крик: «С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!»¹.

Но Акуля — еще цветочки! Ягодки — это озлобленные сельские неудачники, дошедшие до прямой ненависти к традиционному укладу деревенской жизни. Классический образ такого воинствующего «выкреста из крестьян» дал В. Белов в романе «Кануны». Его Игнаха Сопронов — воплощение крайнего, XIX века неведомого, бедняцкого нигилизма (правового нигилизма не в последнюю очередь, поскольку Игнаха питается и дышит идеей эффективного беззакония)².

Для объяснения этого социального персонажа надо внимательно присмотреться еще к одному фактору, наложившему печать на весь процесс дифференциации крестьянства в конце 20-х годов, — к систематическому развращающему покровительству бедноте со стороны государства. Фактор этот был с трагической силой обрисован в письме члена коллегии Народного комиссариата земледелия РСФСР К. Д. Савченко, направленном Сталину в мае 1927 г. и опубликованном в «Известиях ЦК КПСС» в минувшем году: «Все хотят опекать бедноту. Опекать бедноты является модным делом, особенно когда запахнет отпуском денег. Для этой помощи тут происходит буквально лихорадка заботливости и любви к бедноте... Кто громче умеет кричать, тому больше дадут, — даем не по плану, а по крику; помимо бедняцкого фонда даем на покупку лошадей, отпускаем лес, отпускаем семена, машины. А на местах, что часто с этими средствами делается — их делят по носам: по 12—15 проц. стоимости лошади... и деньги вместо укрепления производства идут на сарафан и на селедку, деньги проедаются, рождая

¹ Тендряков В. Рассказы // Новый мир. 1988. № 3. С. 6—14.

² См.: Белов В. Кануны // Новый мир. 1987. № 8. С. 6—81.

аппетиты к дальнейшему попрошайничеству... Говорить об этом горько, но необходимо. Средства эти часто попадают к пройдохам — люмпен-бедноте, которые останутся вечной беднотой, сколько бы мы им не помогали, вечно будут кланяться. А всякого, имеющего кусок хлеба, клеймят славной кличкой кулака»¹.

Пока возможности вспомоществования еще есть, простительно вращаться в подобном порочном кругу. Но дальше, что дальше? — спрашивает К. Д. Савченко в канун страшного 1928 г., когда из-за неурожая будут сорваны хлебозаготовки. Опека государства прекратится и масса бедняков-иждивенцев впадет в озверение, в сапроновскую мстительную мизантропию. Она станет искать козла отпущения в кулаке, копируя старую черную сотню, которая недовольство страны валила на жидов².

Сопроновщина — продукт сужения идеи союза пролетариата и крестьянства до лозунга преимущественного союза с бедняком («сельским пролетарием»), — продукт патерналистского искажения этой идеи. Еще в 1918 г. Горький предостерегал от представления о сельской бедноте как об «естественном и ближайшем союзнике пролетариата». Городского труженика, говорил он, пытаются сблизить «не с трудолюбивой частью крестьянства, какой является середняк, а с сельским тунеядцем... Товарищи строители социалистического рая на Руси, «воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, но собирают в житницы своя», воззрите и скажите по совести — это ли птицы райские. Не черное ли это воронье, и не заклюют ли они на смерть городской пролетариат?»³. Для условий 1918 г. это было еще суждение гротескное, очернительское, безусловно ошибочное в тактико-политическом смысле. Вместе с тем оно оказалось как бы пророческим, предвосхищая обстоятельства 1927—1929 гг. Да, возвращенный под деморализирующей опекой города «бедняк-тунеядец», нетерпеливый и агрессивный коммунистический утопист, оказался и основной массовой базой сплошной коллективизации, и основным резервом для форсированного пополнения самого рабочего

¹ См.: К. Д. Савченко — И. В. Сталину. 10 мая 1927 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С. 206.

² См. там же. С. 208.

³ Горький М. Несвоевременные мысли. С. 104—105.

класса. Именно этот слой был вознесен в верхи «новой деревни», но вознесен далеко не целиком. Значительная (как правило, более молодая) его часть оказалась вытесненной в ряды новоиндустриального пролетариата. В силу «анкетных преимуществ» она легче всего приживалась в социальном пространстве новостроек и как бы представляла собой «первый кристалл», на который нарастало затем все то, что содержалось в неоднородном «деклассантском растворе», поставлявшемся полуголодной, сырой, кочующей Россией. Это мог быть и избыточный пролетариат традиционных промышленных центров и молодые представители вчерашнего «среднячества» (особенно после 1929 г.). Важно отметить, что никакой привязанности к нэповской деревне (а тем более романтической тоски по общинному крестьянскому быту) эти последние также не испытывали. В них скорее жил ужас перед разрушаемой сельской жизнью, из которой они вырвались.

Словом, весь крестьянский сегмент вновь образующейся пролетарской массы был в достаточной степени «раскрестьянен» и отделен от старого русского села барьером «комбедовского чванства», ненависти или страха. Если общинно-патриархальное начало и присутствовало в сознании этих «аграрных деклассантов», то не психологически, не в форме актуальных настроений и пристрастий, а в виде сложных парадигмальных инверсий, напоминавших, как это ни странно на первый взгляд, некоторые понятия и модели русской философии (скажем, аксаковское патерналистское представление о государстве, или «соборность» в понимании В. С. Соловьева, или федоровское «общее дело»). «Раскрестьяненный крестьянин», оказавшийся в маргинальной социокультурной ситуации, был, с одной стороны, в наибольшей степени расположен к восприятию примитивных разновидностей пролетарско-коммунистической идеологии, с другой — наименее готов к совершению трудной рабочей карьеры, карьеры промышленной квалификации. Он прочно укоренялся в простейших (полукрестьянских — полурбочих) строительных занятиях: землекопа, тачечника, плотника, кузнеца, мостовщика, клепальщика, бандажника — и как бы «застревал» в этом состоянии, переходном к собственно промышленному труду. Поскольку же индустриализация (именно потому, что она была

ускоренной, форсированной) создавала устойчивый спрос на такие занятия, применяя их на новых и новых объектах, постольку эта переходность и «химичность», со всеми сопутствующими ей психологическими и идеологическими образованиями, получала застойный характер. В течение трех пятилеток «полурбочий» присутствовал в структуре нового рабочего класса как постоянная и весьма весомая величина. В итоге выходило, что класс этот в конце 20 — начале 30-х годов быстро рос и консолидировался, и в то же время оказывался «менее рабочим», чем пролетарская масса 1917-го и даже 1913 года. Осмыслить или хотя бы терминологически точно зафиксировать этот феномен совсем не просто.

В тексте, представленном А. Бутенко, меня более всего привлекло и заинтересовало следующее рассуждение: «...в начале 20-х годов фабрично-заводского рабочего класса в собственном смысле слова в Советской России почти не было, да и в начале 30-х годов наряду с рабочими существовали пролетарии-люмпены — голодная рабочая сила, а такой рабочий, по мнению К. Маркса, работает лишь для своего потребления (по-видимому, автор хотел сказать «прокормления». — Э. С.) и поэтому по своему определению является паупером. Такие фракции рабочего класса, если они не организуются в борьбе за лучшее будущее, продаются любому, кто обеспечит минимум условий существования. Нельзя забывать и того, что бонапартизм, режим личной власти, как отмечали основоположники научного социализма, способен создавать себе социальную опору не только в чиновничестве, но и в рабочем классе, подкармливая и насаждая так называемый «искусственный пролетариат».

Я согласен с основной смысловой тенденцией этого рассуждения — с тем, что режим авторитарной личной власти при известных исторических условиях, на известной стадии формирования пролетариата как класса мог находить в нем свою социальную опору. Но я не могу не признаться в том, что процитированный отрывок огорчает меня понятийно-терминологической небрежностью, а также некорректностью приведенных в нем исторических сопоставлений.

Почему рабочего, который «работает лишь для своего потребления», следует считать «паупером по ой-

ределению»? Каким образом организация трудящихся «в борьбе за лучшее будущее» может сделать иными наличные условия продажи рабочей силы? Можно ли считать всякий «режим личной власти» бонапартистским («бонапартистским по определению»? Можно ли указать примеры того, что Сталин, как создатель и глава такого режима, когда-нибудь пытался опереться на «пролетариев-люмпенов», существующих где-то «наряду с рабочими»? Можно ли уличить его в попытках вовлечения голодной, а потому продажной городской черни в своего рода бонапартистскую «мобильную армию»? И наконец (это уже не упрек в форме вопроса, а скорее просто «наводящий вопрос»): не состояла ли причуда российского развития как раз в том, что «искусственный пролетариат» (А. Бутенко, ссылаясь на Энгельса, характеризует его как «пролетариат, зависимый от правительства по причине своей низкой квалификации и потому могущий быть использованным лишь по воле государства на назначаемых им работах») был для 20 — начала 30-х годов самым что ни на есть «естественным»? Его не надо было ни создавать, ни насаждать, поскольку он в избытке поставлялся сперва войной и разрухой, а затем изнасилованной, нищающей деревней.

Впрочем, требуя от А. Бутенко возможно более точных понятий и компоративных моделей, я, скорее всего, ставлю его перед объективно неразрешимой задачей. Дело в том, что марксистский классово-социальный анализ (как классический, так и новейший) уделил явно недостаточное внимание стадияльным характеристикам различных общественных групп. Ни я, ни А. Бутенко, ни даже, скажем, весь исследовательский коллектив Института международного рабочего движения не располагаем словарем, который позволил бы строго, адекватно, лаконично описывать разные «исторические возрасты» рабочего класса и те необычные (порой крайне неприглядные) деформации, которым он подвергается, когда его естественное развитие задерживается, осложняется или становится искусственно ускоренным.

Как ни тасуй понятия «пролетариат», «паупер» и «люмпен», с их помощью нельзя адекватно обрисовать такое своеобразное социальное образование, как «индустриальные новобранцы» конца 20 — начала 30-х годов. Правда, в арсенале классического марксизма есть

еще одно выражение, которое проливает дополнительный свет на обсуждаемую нами проблему.

В работе «Крестьянская война в Германии» Ф. Энгельс уделяет достаточно много внимания процессам деклассации, поразившим Западную Европу в начале Нового времени. Первоначальное накопление уже налицо, но концентрированные денежные средства еще не превращаются в промышленный капитал, способный применить свободную рабочую силу. Значительные массы разоренных крестьян стекаются в города. Здесь они кормятся случайной поденной работой или нанимаются на военную службу, или существуют благодаря скудной церковной благотворительности. Для обозначения этой категории деклассантов (уже не крестьян, но еще не рабочих) Энгельс употребляет несколько условный, из римской гражданской истории заимствованный, термин «плебейство».

Выражение «плебейски-пролетарская масса» достаточно прочно укоренилось в марксистской исторической науке последнего десятилетия. Оно сделало возможным введение еще одного стадияльного термина, абстрактного, но выразительного и чрезвычайно важного для общей ориентации в истории классов и классовой борьбы. Термин этот — «предпролетариат».

В советской историографии 30—40-х годов говорилось в лучшем случае о раннепролетарских слоях, течениях, идеологических концепциях. Это словоупотребление директивно настраивало на поиски социальной и идейной генеалогической преемственности. Так, к историческим деятелям типа Томаса Мюнцера, Иоганна Лейденского, Джерарда Уинстенли, Морелли, Жака Эбера, Гракха Бабефа всегда применялась презумпция шадящей классовой благосклонности.

Сочинения, им посвященные, напоминали пространные социально-политические некрологи, в которых благодарные потомки выражали свое почтение к законным предкам. Они фиксировали прежде всего так называемые «предугадывания и провозвестия». Кричащие противоречия между плебейско-пролетарской идеологией и научным социализмом, убогие, фанатичные (а то и просто ретроградные) политические декларации идейных вождей голытьбы либо софистически замазывались, либо просто замалчивались, как десятилетиями замалчивалась вопиющая нелогичность, эклектика и на поверхности лежавший утили-

тарный цинизм в политических теориях безмерно за-
ласканного французского материализма.

Понятие «предпролетариат» иначе ориентирует ис-
следователя. Будучи стадиальным, оно одновременно
требует взглянуть на развитие рабочего класса не те-
леологически, а ситуационно, конкретно, отвлекаясь
от вопросов социальной и идейной генеалогии. Только
такой «немемориальный» подход позволяет схватить
историческую самодостаточность плебейски-пролетар-
ского сознания, его способность к устойчивому догма-
тическому оформлению, а потому, если потребуется, и
к агрессивному противостоянию более зрелым и раз-
витым формам пролетарской идеологии¹.

В истории Западной Европы догматическая фикса-
ция предпролетарского сознания и его столкновение с
собственно пролетарскими настроениями и учения-
ми — явление довольно редкое. Иное дело — Россия
после мировой войны и пролетарской социалистиче-
ской революции. Я думаю, что не совершу ошибки,
если скажу, что экстремистская, военно-мобилизаци-
онная доктрина Троцкого, отвергнутая партией в на-
чале 20-х годов, была первым масштабным идейно-по-
литическим вызовом, который предпролетарская и
пролетарски-люмпенская масса бросила фабрично-за-
водскому рабочему классу. Следующим, еще более
жестоким обнаружением этого конфликта стала поле-
мика между сталинистами и так называемым «правым
уклоном» в конце 20 — начале 30-х годов.

Прежде чем двигаться дальше, я попытаюсь вы-
полнить то, чего требовал от А. Бутенко, то есть в
меру возможности уточнить употребляемые понятия.

Если под пролетариатом понимать фабрично-завод-
ской рабочий класс, с устойчивым ядром квалифици-
рованных потомственных рабочих, с известным опытом
борьбы за свои права и политическую самостоятель-
ность, то «новобранцев индустриализации» можно и
нужно определить как предпролетариат. Подчеркну:
как предпролетариат, который существует не просто

¹ Добавлю к этому, что «немемориальный» подход позволяет
исследователю совершенно по-новому (куда более конкретно и
полно) осветить и саму проблему преемственности. Так, лишь от-
казавшись от тенденциозно-целенаправленных поисков «промарк-
систских» мотивов в учении Гракха Бабефа, можно увидеть объ-
ективные созвучие бабуизма таким идейным движением XX века,
как троцкизм, сталинизм и маонизм.

рядом с рабочим классом, не просто на рынке труда, а внутри срочно расширяемого и обновляемого социального промышленного сектора.

По своей профессиональной подготовленности, по уровню образования, наконец, по степени нужды, которая заставляла соглашаться с любыми условиями труда и оплаты, люди, прибывавшие на стройки первых пятилеток, в принципе ничем не отличались от деклассированной «плебейской» массы, которую полтора-два века назад начали поглощать западноевропейские централизованные мануфактуры и рабочие дома. Но парадокс заключался в том, что это был еще и новоиндустриальный предпролетариат. Он появился на российской хозяйственной арене уже после того, как на ней утвердился фабрично-заводской рабочий класс, после того, как этот класс совершил социалистическую революцию.

По всемирному социально-историческому счету «новобранцы индустриализации» были как бы отцами, родившимися позже детей. Социально-архаичный рабочий слой поднимался на волне начинающейся технической реконструкции. Он не просто трудился — он «созидал будущее». Вчерашний аграрный люмпен, который в силу своей крайне низкой квалификации и культуры «мог быть использован лишь по воле государства на назначаемых им работах» (Ф. Энгельс), ощущал за собой распорядительную мощь этого государства, поручившего ему рыть котлованы на переднем крае индустриального прогресса.

Поэтому с сознанием своей миссии, с беззастенчивостью государственного фаворита он предъявлял себя остальному рабочему классу в качестве его самого передового, социально-эталонного отряда. Трудармейский коллективизм, уравнильное понимание справедливости, ощущение обновительного вселенского переворота, казарменно-коммунистические представления — все это скреплялось теперь политическим авторитетом строящейся Магнитки и превращалось в умственный стандарт, который новое рабочее большинство задает старому, коснеющему меньшинству.

Выдвижение новоиндустриального предпролетариата на позиции пролетарского гегемона вело к серьезной деформации рабочего класса. Значительная часть этого деформированного пролетариата искренне поддерживала деформированную модель социализма, от-

стаиваемую Сталиным. Что касается «новобранцев индустриализации», то здесь он имел за собой безусловное большинство.

Массовой социальной опорой сталинизма в конце 20 — начале 30-х годов оказалась, таким образом, наиболее неквалифицированная и нецивилизованная, наиболее бедная и зависимая от государства-работодателя, наиболее униженная экономически и наиболее амбициозная в политическом отношении категория промышленных рабочих. Из условий труда и быта этой категории выростали стихийные представления, максимально близкие по содержанию тем идеям, которые Сталин и его ближайшее окружение обдумывали расчетливо: в качестве политического инструментария, необходимого для борьбы за неограниченную власть.

2. Попытка идеально-типической характеристики «индустриального новобранца»

Чтобы понять, как это было возможно, я прибегну к приему, который называется конструированием идеального типа (таково, например, описание капиталиста как персонифицированного капитала в третьем томе Марксова «Капитала»). Оставляя в стороне любые известные мне сложные, как правило локальные и ситуационно привязанные, характеристики рабочего сознания начала 30-х годов, я попытаюсь вывести понимание новоиндустриального предпролетария из трех основных факторов, определяющих его положение в производстве. Эти факторы:

- а) низкая квалификация его труда;
- б) его отношение к государству-работодателю, которое монополизировало возможности промышленного использования всякой, в том числе и неквалифицированной рабочей силы;
- в) давление этого же государства на деревню, являющуюся постоянным поставщиком неквалифицированной рабочей силы.

Литературный материал я буду привлекать лишь в той мере, в какой он позволяет иллюстрировать независимо от него полученные утверждения.

1. Уже классики буржуазной политической экономии хорошо понимали, что неквалифицированная рабочая сила («самый простой труд») не обладает никаким правом по отношению к применяющему ее капита-

лу. Владелец этой силы может рассчитывать только на обеспечение прожиточного минимума, да и то лишь тогда, когда спрос и предложение являются приблизительно равными. Если предложение необученных рабочих рук избыточно, то и само их применение, и минимальная оплата, обеспечивающая простое прокормление работника, тут же превращаются в акт пощепительной милости со стороны работодателя.

Предпролетарий начала 30-х годов находился именно в такой ситуации. Форсированная индустриализация создала повышенный спрос на дешевую рабочую силу. Однако ее предложение оказывалось еще большим и даже несравненно большим. Это вовсе не означает, будто на рынке труда существовала масса вынужденно праздных босяков, то есть классическая «резервная армия», о которой мы знаем из истории капиталистического первоначального накопления в странах Западной Европы. Нет, города и поселки Советской России (подчеркну это еще раз в противовес А. Бутенко и другим приверженцам понятия «люмпен-пролетариат») не были наводнены толпами деклассированных: безработицу удалось резко снизить уже к концу нэпа. И все-таки «резервная армия» (притом практически неисчерпаемая) в стране имелась: она существовала латентно, в виде избыточного сельского населения.

Избыток крестьян в России конца 20 — начала 30-х годов был трагически искусственным. Он не был результатом постепенного, так сказать, «естественного» социального расслоения деревни и возникновения эффективных фермерских хозяйств, довольствующихся небольшим числом работников. Он возник как следствие насильственного насаждения колхозов.

Подавляющая масса крестьян не принимала этой новой организации аграрного производства, участвовала в ней как бы вполсилы и всеми правдами и неправдами старалась устроиться где-то «рядом» с колхозом. Аграрного перенаселения не было, но если бы не беспаспортность (новая государственно-административная форма прикрепления к земле), крестьянство в кратчайший срок могло бы наводнить города и районы промышленного строительства.

Миллионы сельских тружеников, погубленных во время голода 1932—1933 годов,—свидетельство не только чудовищной жестокости сталинского режима,

но еще и варварской расточительности в отношении людских ресурсов, которую он мог себе позволить. О ней же говорит и масса раскулаченных, ссылавшихся в гибельные места с издевательской экономической бессмысленностью.

И конечно же государство через систему вербовки могло заполучить любое количество дешевой рабочей силы для строительства новых индустриальных объектов. Цинически репрессивное давление на деревню было постоянной предпосылкой экономического давления на неквалифицированного промышленного производителя. Оно снижало цену его труда и усугубляло его изначальное бесправие перед лицом государства-работодателя.

Каким образом это должно было влиять на способ существования новоиндустриального предпролетария и на формирующиеся у него социально-правовые установки?

Обладатель неквалифицированной рабочей силы включался в производство на началах полной неправомочности. Или, если выразить это с ясностью парадокса, в качестве производителя он просто не имел права на право. Он не мог ни торговаться об условиях применения своего труда, ни тем более требовать их изменения. На его долю оставались лишь просьбы, легитимируемые крайней бедственностью материального положения.

Изначальная, объективно заданная неправомочность и явилась первоисточком многопланового правового нигилизма, к которому должны были склоняться (и которым на деле страдали) «новобранцы индустриализации». Чтобы понять действовавшие при этом мотивационные механизмы, необходимо прежде всего проследить, в какой последовательности могло развертываться *просительное, петиционное сознание* новоиндустриального предпролетария.

Первое петиционное притязание, которое он должен был предъявлять государству-работодателю, — это прошение о гарантиях труда и прокормления, о сохранении за ним самой возможности находиться на промышленной стройке (а не в толпе безработных или голодающей деревне). Можно сказать, что, полагая это притязание в качестве приоритетного, новоиндустриальный предпролетарий выступал в качестве наследника «социально беспризорного», временно люм-

пенского рабочего класса периода разрухи. Но одновременно он заявлял о себе и как о наиболее удачливом (и в этом смысле привилегированном) слое бедствующего «раскрестьяненного крестьянства».

Простая гарантия труда (то есть любой и всякой, пусть самой невыгодной, промышленной занятости) образует базис, над которым надстраиваются все другие петиционные притязания дисквалифицированной рабочей силы. Ее обладатель готов отказаться от любой из этих вторичных просьб, если она придет в противоречие с самой возможностью промышленных занятий. Слова «лишь бы была работа» звучат в его устах с той же горькой непреложностью, с какой слова «лишь бы войны не было» звучали в устах женщины-матери в послевоенные 50-е годы.

Исходная неправомочность дисквалифицированной рабочей силы сказывается, далее, на том, как ее обладатель мыслит справедливость оплаты. Формула «От каждого — по способностям, каждому — по труду», выношенная фабрично-заводским рабочим классом еще в условиях капитализма и сделавшаяся затем основным императивом социалистической распределительной справедливости, новоиндустриального предпролетария устроить не может.

Ведь неквалифицированность — это крайне низкий уровень самой индивидуальной способности, реализуемой посредством труда, ее, если угодно, «нулевая величина». Поэтому неквалифицированный работник заинтересован в том, чтобы средства существования доставались ему совершенно независимо от конечных результатов деятельности, в порядке благотворительного возмещения затраченных физических сил. Не количество и качество труда, а степень производительного износа самого работника становится при этом реальной мерой оплаты.

Императиву социалистической распределительной справедливости предпролетарий предпочитает коммунистическое требование: «От каждого — по способности, каждому — по потребности», но только взятое в его крайней, убого-примитивной форме: «От каждого — по его силе, каждому — по его нужде». При этом предполагается, что общее возмещение затраченной физической силы должно носить уравнительный характер (таково, например, продовольственное обеспечение по карточкам, господствовавшее на новострой-

ках первых пятилеток), а специфическое удовлетворение крайней нужды — осуществляться в форме сострадательных предпочтений (дополнительное питание, первоочередность бесплатного медицинского обслуживания, лучшие условия отдыха, денежные вспомоществования и т. д.).

Что касается более высоких рабочих прав, то они, по строгому счету, вообще лежат за пределами петиционных притязаний, возможных для новоиндустриального предпролетария. Уже законодательное нормирование рабочего дня должно представляться ему избыточно-щедрой милостью государства. О правах граждански-публицистических, таких, как возможность использовать печать для выражения рабочих требований, организовывать демонстрации, митинги, забастовки, и говорить не приходится. Непременно предполагаемая в них активная правомочность противоречит исходному, объективно заданному бесправию дисквалифицированной рабочей силы и превращает их в недосыгаемую политико-юридическую роскошь.

Крайне затруднено и включение в круг предпролетарского петиционного сознания неотчуждаемо личных прав-свобод (совести, слова, собственности и т. д.). Этому препятствуют не какие-либо привходящие обстоятельства, а изначальная деперсонализированность неквалифицированного работника. Ведь по способу включения в производство он, как отдельный индивид, является абсолютно замещаемым существом, человеком без личности.

«Нет людей незаменимых» — эта формула часто звучала в 30-е годы и являлась аксиомой сталинской кадровой политики. В применении к любому высококвалифицированному, тем более инициативно-творческому, работнику она была максимой волюнтаризма. Но новоиндустриальный предпролетарий не имел никаких оснований сетовать на ее произвольность: он действительно был абсолютно заменимым производителем, на место которого можно во всякий момент и без всякого ущерба для дела поставить любого другого человека, если только это не калека и не умалишенный. Естественно поэтому, что предпролетарские притязания должны были иметь анонимный смысл и исключать мотив личной обеспеченности и личной независимости.

Поскольку же, как неповторимая индивидуаль-

ность, со своей, подчас редкостной, жизненной историей, со своей совестью, своим мнением и опытом, «новобранец индустриализации» все-таки не мог не признавать значимости неотчуждаемых личных прав, постольку тут должно было срабатывать психологическое правило, подмеченное и уличенное еще древнеримским баснописцем: виноград недосыгаем, а потому лис объявляет, что он зелен (то бишь незрел, плох, негоден). И требовалось совсем небольшое усилие сталинских юристов, чтобы следующим образом аранжировать это стихийное и защитное отторжение права: неотчуждаемо-личные права-свободы суть исторически ограниченные («незрелые») и буржуазные по своему происхождению («плохие», «негодные») права, которые крайне опасно принимать за неотменимые завоевания человеческой цивилизации.

Казуистические выкладки, к которым прибегала юриспруденция сталинского времени, вообще до удивления точно совмещаются с вынужденной логикой предпролетарского петиционного сознания. Все буржуазно-демократические правовые приобретения заносятся ею в разряд сомнительных и второсортных. «Подлинно пролетарским» объявляется право на труд с дополняющими его гарантиями социального обеспечения (отдыха, начального образования, медицинского обслуживания и т. д.).

Личные права-свободы и граждански-публицистические права признаются социалистическими лишь постольку, поскольку они надстраиваются над государственной гарантией труда. Предполагается, что при необходимости (наличие и острота которой определяются государством) они должны вообще уступаться в пользу базисной возможности зарабатывать на жизнь трудом.

При этом совершенно утрачивается понимание того, что и исторически, и логически право на труд увеличивает систему демократических свобод, что оно является правом (а не просто формулой правительственного милосердия) лишь в том случае, если уже прежде законодательно обеспечена, с одной стороны, возможность действительно свободного распоряжения рабочей силой как одним из видов частной собственности, а с другой — возможность увольнения тех, кто пренебрегает требованиями, предъявляемыми к технологической квалификации. Превращение права на труд в своего рода социально-юридический абсолют сковыва-

ет современное производство предпролетарским ужасом перед бедствиями внеиндустриального прозябания (существования за пределами государственного промышленного сектора).

Печать предпролетарского петиционного сознания несут на себе и рассуждения юристов сталинского времени, относящиеся к распределительной справедливости. Формула «От каждого — по способности, каждому — по труду» — никогда не признается ими безоговорочно. К ней относятся как к своего рода сезонному платью распределительных отношений, срок носки которого вот-вот кончится.

И наоборот, формула «От каждого — по способности, каждому — по потребности» приобретает парадоксальный статус «налично-будущего». Час торжества этого принципа еще не настал, но уже повсюду видны его провозвестия, ростки и эмбрионы. При этом их, как правило, прозревают именно в тех явлениях, которые в наибольшей степени несовместимы со сколько-нибудь зрелыми социалистическими отношениями, скажем в артельном уравнительном дележе, премиальных лотереях или кампаниях демонстративной благотворительности в отношении крайне нуждающихся.

В целом можно сказать, что официальная юриспруденция 30-х годов возводит предпролетарскую нужду в социалистическую и коммунистическую добродетель. Приоритеты и предпочтения изначально неправомочного социального слоя, обреченного на петиционное выражение своих притязаний, превращаются в отличительные критерии «нового», «исторически высшего» права, бросающего вызов предшествующей демократической традиции. Убогие нормативные представления, обусловленные убогим положением в производстве самой низшей и зависимой категории рабочих, становятся постулатом социалистической законодательной практики. Тем самым они не только литературно, не только теоретико-идеологически, но и институционально задаются всему рабочему классу, всем трудящимся.

2. Нельзя отрицать, что техническая реконструкция 30-х годов требовала повсеместного обучения рабочих и повышения их квалификации. Предвоенное промышленное производство разительно отличалось от промышленного производства «отсчетного», 1913 года многообразием новых, зачастую сложных и редких

рабочих специальностей. Вместе с тем в течение всего реконструктивного периода, поскольку это был период непрекращающейся строительной гонки, сохранялся массовый спрос на самую простую, «черную» работу. Дисквалифицированность приобретала поэтому устойчивый, так сказать, «хронический» характер.

Немалая часть «новобранцев индустриализации» вела жизнь строительных кочевников. Их производственная деятельность организовывалась по нормам трудовой армии, которая перебрасывается с объекта на объект, как с рубежа на рубеж; их быт был, в сущности, бивуачным бытом. Это не могло не сказываться на характере социальных ожиданий и на способе переживания социального времени. Возникло *сознание принципиальной условности настоящего*: новоиндустриальный предпролетарий как бы постоянно ощущал себя на вокзале, в ожидании поезда, отбывающего в будущее — к новому, а затем к последнему, победному рубежу.

Вот что писал о «новобранцах индустриализации» И. Клямкин, которому, кстати, принадлежит и само это выражение, и удивительные по точности и яркости характеристики рабочей психологии конца 20 — начала 30-х годов: «Это было время всеобщего, тотального временщичества, ощущающего себя посланцем вечности. Все — как на войне... Все временно. Все временщики. Никто не живет, но почти все верят, что жизнь впереди. И потому всем кажется, что живут»¹. И двумя страницами ранее: «Не было личного быта, его заменяли казенные койки в бараках, общежитиях, вагончиках; не было ни вещей, ни знаний, ни развитых индивидуальных потребностей; не было ни прошлого, которое они презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то временным, походным, подготовительным к чему-то, что и есть самое главное. Они могли жить только будущим, только мечтой о том счастливом состоянии, которое выражалось словом «социализм»; и потому торопили, подстегивали своих лидеров: быстрее, дальше, вперед! И недоброжелательно косились на тех, у кого было что-то свое, кто чем-то дорожил, будь то недостаток или собственное мнение, кто выделялся из ряда, кто пробовал жить и работать для себя,

¹ Клямкин И. Почему трудно говорить правду // Новый мир. 1989, № 2. С. 230.

а не только для «всеобщего счастья» и «освобождения человечества». Они называли это мещанством, несознательностью, но готовы были к тому, чтобы несознательных занести в список врагов»¹.

Задумаемся над тем, как это переживание времени могло выражать себя в сфере правопонимания.

Правовая норма по самой сути своей соотносена с настоящим. Право никуда не устремляет, предоставляя эту возможность нравственности, вернее высшим ее этапам, где определяются не запреты, а ценности, идеалы, смысло-жизненные ориентиры и где этика приходит в прямое соприкосновение с философией истории. Право лишь оберегает то, к чему человек уже устремлен (как к реальной, при жизни осуществляемой возможности) или просто привязан (как к своему личному достоянию).

Правовые гарантии скорее *страхуют* от будущего с его превратностями, чем *кредитуют* некоторое более совершенное грядущее состояние. Они становятся излишними, если люди не дорожат настоящим, и раздражают, даже озлобляют, когда людям нечем (или почти нечем) в нем дорожить. Право на жизнь не имеет никакого смысла для того, кто решил наложить на себя руки; право собственности может стать унижающим укором для тех, кто почти ничего не имеет.

Утрата привязанности к настоящему, «тотальная временщина», о которой пишет И. Клямкин, должна была иметь своим следствием тотальное внутреннее отчуждение от права как института регулирования этих сегодняшних общественных отношений. Для «новобранца индустриализации» оно принимало вид фиксатора и хранителя того лишь подготовительного общественного состояния, из которого он ежечасно эмигрировал вперед, к счастливому будущему. И нужна была лишь минимальная идеологическая подчистка, чтобы превратить эту видимость в важнейший постулат правового нигилизма: право есть «пережиточное» нормативное образование, пригодное только для периода перехода от капитализма к социализму; чем ближе социализм, тем архаичнее право, тем чаще оно превращается в препятствие для утверждения принципиально новых человеческих отношений.

¹ Клямкин И. Почему трудно говорить правду// Новый мир. 1989. № 2. С. 228.

Эти выводы, все решительнее формулировавшиеся сталинской юриспруденцией, подготавливали время, когда антиправовая, лишь социально и идеологически мотивированная репрессия, уже обрушившаяся сперва на эксплуататорские классы, а затем на крестьянство, должна была принять завершённый, тотальный характер.

3. Еще раз напомним в этой связи, что зависимость и неправомочность неквалифицированного промышленного работника существовала на базисном фоне еще худших бедствий, которые претерпевала непролетарская трудящаяся масса. Пария в царстве промышленного труда, он одновременно был (и должен был сознавать себя) счастливым избранником. Лишь по милости государства он трудился и прокармливал себя, а не пух с голоду где-нибудь на полях Полтавщины.

Каторжные партии спецпереселенцев, регулярно появлявшиеся на социалистических стройках, служили живым повседневным напоминанием о его привилегированном экономическом положении. «Новобранец индустриализации» оказывался, таким образом, деспотически облагодетельствованным тружеником, причем в мышлении должен был относить деспотизм власти исключительно к иным, непролетарским слоям, а в себе самом видеть объект неустанного правительственного попечения. И это не было просто иллюзией (или «самообманом», если вспомнить одну из ключевых категорий И. Клямкина).

Как ни скромны были государственные расходы на социальные нужды, районы социалистических новостроек уже к началу третьей пятилетки представляли собой как бы острова умеренного благосостояния в море полуголодного и бедственного народного существования. Неквалифицированный работник получал здесь больше, чем прожиточный минимум, больше, чем он мог бы требовать с работодателя в условиях простого обмена между трудом и капиталом.

Все это, вместе взятое, формировало *патерналистское восприятие государственной власти*. Укреплявшаяся командно-административная система приобретала вид *работодателя-благодетеля*, с которым не просто непосильно, нет — стыдно, безнравственно торговаться, обмениваться и говорить на языке взаимных обязательств.

Но тогда какие же формы должны были принимать отношения между работодателем и опекаемым им неквалифицированным работником?

Проще всего здесь было бы прибегнуть к разъясняющей модели большой патриархальной семьи, где сыновья не рядятся с отцом, а добросовестно делают все, что он велит, поскольку по родственной доброте своей отец должен рано или поздно воздать за нестроптивость, да еще, быть может, и сторицею. Эта модель подсказывается самим газетным языком 30-х годов, где совсем не случайно утвердились такие немислимые для политически цивилизованного общества пролетарски-патриархальные выражения, как «родное Советское правительство», «отеческая забота партии», «всесоюзный староста», «наш вождь и учитель» и т. д.

И все-таки еще более адекватными мне кажутся некоторые модели, известные из истории религии.

В начале XVI века нравственно-взыскательные раннепротестантские теологи немало поработали над очищением представления о боге как небесном отце. Критика индульгенций, начатая Лютером, привела к категорическому отвержению каких бы то ни было торгов и контрактов между человеком и всевышним. Мысль о том, что здесь может иметь место какое-либо *do ut des* («Даю, чтобы ты дал». Или просто: «Ты мне — я тебе»), считалась абсолютно греховной, более кощунственной, чем намерение не подчиняться божьим заповедям. Все, чего бог требует по Завету, по Десятиловию, должно исполняться совершенно беззаветно, то есть «более чем по букве», и без всякого расчета на вознаграждение. Только тот, кто не домогается оплаты по эквиваленту, вправе уповать на безмерную божественную милость, распространяющуюся и на нынешний день, и на все будущие времена; и на меня, и на потомков моих.

Утверждение этого законченно патерналистского образа небесного господина имело удивительные мирские последствия. Дело в том, что, доводя сыновнее бескорыстие верующего до уровня добровольной рабской преданности, ранний протестантизм одновременно со всею решительностью утверждал, что подобной преданности, «без оплат и залогов», достоин только бог. Христианин не уважал бы творца, если бы допускал ее в отношениях с мирским начальством (например,

с князем или с помещиком-работодателем). Тем самым патернализм как бы изымался из мирских отношений, освобождая место для контактов взаимообязательных, меновых, договорно-правовых.

В атеистической России начала 30-х годов совершался, если угодно, обратный процесс. Все выглядело так, словно энергия непристроенного, безадресного религиозного патернализма обратилась на политические институты, и прежде всего на государство как на единовластного заведователя экономической жизнью. Изначально неправомочный, новоиндустриальный предпролетарий был более всего предрасположен к такому секулярно-фетишистскому восприятию. Государство-работодатель рисовалось ему не просто в образе отца, но именно в образе бога-отца в его радикальном, раннепротестантском истолковании.

Именно в среде «новобранцев индустриализации» рождается идея «беззаветного труда на благо государства», который, по строгому счету, вообще не оплачивается, а лишь почитается властью. Ее милостивое воздаяние (как и воздаяние божье) по самой сути своей не эквивалентно, а безмерно и может доставаться уже не самому работнику, а его детям и внукам.

Государство-работодатель имеет полную власть над будущим, оно с каждым днем крепнет и богатеет, и его отсроченные награды наверняка окажутся щедрее, чем наличные выплаты. Государство не подрядчик, которого интересуют лишь результаты труда. Государство, как и судью небесного, взвешивающего поступок, волнует сам мотив трудовой деятельности, или общий идейно-нравственный настрой производителя. Не то, что он однажды дал, а может ли он давать и давать!

Здесь уместно сказать несколько слов насчет трудового энтузиазма 30-х годов. Идиллические представления об этом явлении развеяны публикациями последних лет, и я хотел бы добавить лишь пару штрихов в новое, графически суровое его изображение.

Трудовой энтузиазм задан «индустриальному новобранцу» его объективным положением, никакого энтузиазма не вызывающим, задан совершенно независимо от представлений, которые способны были питать энтузиазм. Счастлив был тот, кто мог вдохновляться идеями уже близкого социализма и коммунизма, исторической значимостью своей стройки, стратегической

важностью очередного бригадного броска, штурма или аврала.

И все-таки, по строгому счету, идеи эти порождали трудовой энтузиазм лишь вместе со страхом не оказаться достаточно энтузиастичным. О них можно сказать то же, что Вольтер сказал о боге: «Если бы их не было, их следовало бы выдумать». Энтузиазм (по крайней мере, для рассматриваемого нами экономического персонажа) был лишь наиболее подходящим, наиболее психологически эффективным способом реализации гораздо глубже лежащей всеобщей установки на максимальную трудовую мобилизованность. И если энтузиазма не доставало, немедленно возникала нужда в подстегивании и насилии.

Мобилизованность неквалифицированного работника — это прежде всего физическая мобилизованность; это крайнее напряжение всех сил, выражающее себя либо «схваточно» — в аврале, либо в сверхурочной работе (до 14, 16, 18 часов в сутки). Энтузиасты вырывались вперед, побивая, в сущности, все время один и тот же рекорд — рекорд физической выносливости. Для других он получал значение заданной нормы, принудительного дисциплинарного предписания. Поскольку же неквалифицированный труд организовывался по принципам простой кооперации, отстающих обязательно надо было подтягивать, прибегая к угрозам коллективного (бригадного) остракизма.

Работник, выпадавший из своей бригады и не принимаемый в другую, оказывался перед опасностью увольнения со стройки. Что оно означало для новоиндустриального предпролетария — об этом я достаточно много (и, надеюсь, достаточно выразительно) говорил выше. За возможность пребывания в своей бригаде отстающий работник готов был заплатить серьезную цену, признавая справедливыми любые виды товарищеской кары и острастки. Это относилось, разумеется, и к дисциплинарным взысканиям, регулирующим работу всей стройки, всего индустриального царства.

Чтобы понять драматизм ситуации, необходимо принять во внимание еще и следующее обстоятельство. Как ни проста была «черная» строительная работа, она никому не давалась сразу. Необходимо было, например, отвыкнуть от щадящей размеренности сельскохозяйственного труда и приучить себя к жесткой регулярности промышленного. Необходимо было

по крайней мере не портить и не ломать механизмов, не злиться на них, как на строптивную лошадь. Необходимо было приноровиться к труду монотонно-чрезмерному, разносменному, ночному.

В технологически-дисциплинарном смысле «новобранец индустриализации» мог поэтому долгое время чувствовать себя «взрослым недорослем» и должен был приписывать попечительно-педагогическое значение таким принудительным мерам, которые по объективной сути своей были направлены просто на повышение напряженности его труда. Это давало множество поводов для возрождения патриархально-казарменной концепции *учения как муштры*. Человек укреплялся во мнении, что его надо беспощадно наказывать ради его же собственного блага. При этом делались дозволительными (или по крайней мере прощительными) и домостроевская «порка впрок» — то есть упреждающая острастка, и карательное запугивание.

Деспотическое благодетельствование, лежавшее в самом основании системы государственного промышленного применения неквалифицированной рабочей силы, увенчивалось дисциплинарным деспотизмом в практике принорования этой силы к индустриальному порядку. В контекст этого деспотизма могло в дальнейшем включаться все, что угодно, начиная с трудармейского насилия на данном предприятии или промышленной стройке и кончая массовыми политическими репрессиями в масштабах государства.

Не так давно мне довелось беседовать с пенсионером, который в 1933 году, семнадцатилетним юношей приехал из южноуральского села на строительство Уралмашзавода. Разговор — уж как иначе! — зашел о репрессиях 30-х годов, в частности об арестах среди рабочих Уралмаша и Нижне-Тагильского вагоностроительного завода. «Да нельзя было не сажать нашего брата! — воскликнул постаревший «индустриальный новобранец». — Ведь кто такие мы были? — деревенские тихоходы: поутру ударники, к вечеру шалопаи. А работать надо было с полной отдачей — по часам и на износ... Мы, конечно, догадывались, что сажали и безвинных. Но как иначе отладишь дисциплину? Чтобы покончить с разгильдяйством, надо было судить разгильдяя и объявить его вредителем. И неважно которого — хоть по жребию: разгильдяйство мы все за собой знали. Нужен был общий страх — грозный, по-

литический. Без этого мы бы не перевоспитались в рабочих, не одолели свою расхлябанность и инертность». — «Ну, а если бы... — не выдержал я, — если бы вас самого осудили вот так — по жребию и без вины?» — «Что ж, я б жалоб правительству не писал, — ответил мой собеседник холодно, как бы сообщая давно отточенную мысль. — Вчера товарища взяли мне в поучение, сегодня мой черед — пусть другие сделаются людьми...»

Этот разговор говорит мне больше, чем любой документальный очерк о психологии советского рабочего 30-х годов. Он стоит спекулятивных конструкций Кестлера: он доносит не просто настроения того или иного слоя «индустриальных новобранцев», а общую парадигму их правопонимания, выраженную с той энергичной отрешенностью от всего частного и особенного, которая необходима именно для затеянного мною идеально-типического описания¹.

Прежде всего обращает на себя внимание оголтело-коллективистское «мы» (на мой взгляд, именно предпролетарское, а не рабочее); оно же — патриархально-ироничное «наш брат». Это «мы» просто замещает нормальное человеческое «я», хотя не может устранить его как субъект речи: патерналистское мышление подымается до последнего, невыносимого и тем не менее абсолютно логичного парадокса: меня арестовывают, растаптывают, возможно, уничтожают, чтобы меня же охранить и воспитать.

В рассуждениях старого уралмашевца звучит мотив самоотречения и жертвенности — мотив нравственный. И в то же время он абсолютно аморален, поскольку на алтарь классового воспитания возлагается не личное благополучие, даже не жизнь, а само достоинство человека. Это не просто русская крестьянская готовность «пострадать», а ее подлая («плебейская») инверсия — готовность быть оклеветанным. Это согласие на жертвенное участие в фабрикации и распространении лжи. Такое «вывертывание в подлость» вообще на каждом шагу подстерегает патриархальную добропорядочность, то есть нравственность без правосознания и без моральной автономии².

¹ Замечу, что близкие по типу рассуждения (хотя и не столь чеканные) я встречал в письмах пожилых рабочих, приходивших в адрес телевизионной передачи «Философские беседы».

² См. об этом понятии в статье «Индивид, индивидуальность, личность» (Коммунист. 1988. № 17).

Потребность в пастыре, заведомая убежденность в том, что кто-то другой должен оберегать меня от моего безволия, инерции, лени, распушенности, вообще морально сомнительна. Она прощительна разве что в общении с близкими. Она крайне опасна, когда становится нравственной базой, на которой строятся отношения личности и государства, ибо ведет к признанию, а затем и одобрению любого этактистского насилия, коль скоро ему удастся сообщить смысл (или хотя бы вид) дисциплинарно-воспитательной меры.

Свидетели сталинских репрессий обычно говорят, что верили органам НКВД, не знали о чинимых ими беззакониях и даже не догадывались о них. Рассуждения старого уралмашевца доносят до нас иной, мне думается, не менее влиятельный и распространенный в то время образ мысли. Нет, случалось, что догадывались и даже знали! Но полагали, что «все позволено» ради социалистического воспитания народа — все, вплоть до измышления преступлений. Ибо нет мобилизованности без кнута и нет порядка без «грозного, политического страха»!

Для новоиндустриального предпролетария такая установка была наиболее естественна. Она задавалась его застойно-переходным экономическим положением, его низкой оценкой права и правовой защищенности человека, наконец, его патерналистским восприятием государственной власти. «Новобранцы индустриализации» не могли не считать необходимым и оправданным формирующийся в стране террористический режим, а в той мере, в какой они (вспомним текст И. Клямкина) «торопили, подстегивали своих лидеров: быстрее, дальше, вперед!», — не могли не подталкивать власть к его учреждению¹.

Разумеется, установка (сознание необходимости и оправданности чего-либо) — это еще не акция, не по-

¹ В романе И. Эренбурга «День второй» мы встречаем следующую зарисовку сознания новостроечного передовика: «Из деревень приходили новички... Они уныло работали — клали кирпич или копали землю. Они подолгу скручивали сигарки. Они препирались друг с другом. Они старались выиграть на этом пять или десять минут. Они жаловались: «Щи в столовке жидкие», «сил нет — клопы заели», «нельзя ходить по этакой грязище без сапог», «ударники — истинная чума, из-за них и мучаемся». Иногда эти люди казались Кольке преступниками. Он думал, что их надо судить, отобрать у них хлебные карточки, послать на принудительные работы» (С. 38).

ступок, даже не желание. Нет ничего опрометчивее, чем выводить поведение конкретных людей из установок и тенденций, которые идеально-типическое конструирование позволяют обнаружить в социальном слое, коему эти люди принадлежат. И все-таки установки и тенденции — не шутка: они выражают себя в групповых ожиданиях и пристрастиях, одобрениях или неодобрениях. Они чрезвычайно существенны для политического деятеля, который ищет опоры в известном массовом слое. Установки поддерживают его основательнее, чем настроения, гласно изъявленные мнения и решения общественной группы, ибо они (установки) и есть как раз бытие самого сознания, о котором я говорил в начале настоящего очерка.

3. Сталин и «новый рабочий класс»

Понятие установки, тенденции, устойчивой объективной видимости, во власти которой находится известный социальный слой, — все это имеет первостепенное значение для понимания отношения Сталина к «новому рабочему классу», формировавшемуся на новостройках первых пятилеток.

Можно ли утверждать, что Сталин был выразителем интересов этого класса? Нет, и я надеюсь, что не дал никакого повода для подобного утверждения. Объективный интерес «новобранцев индустриализации» заключался прежде всего в том, чтобы как можно скорее избавиться от своей застойной переходности и стать наиболее цивилизованным отрядом русского рабочего класса, квалификационно и социально отвечающим понятию технической реконструкции. Это было возможно лишь в том случае, если бы экономическое развитие страны приобрело более сбалансированный характер, если бы индустриализация утратила черты «большого скачка» и прекратилось диктаторски-террористическое давление на деревню. Поэтому можно сказать, что выразителем действительных коренных интересов вновь формирующегося сегмента русского рабочего класса был в начале 30-х годов Бухарин, а не Сталин.

Можно ли сказать, что Сталин в борьбе за неограниченную личную власть спекулировал на социальной неразвитости «новобранцев индустриализации», на их

иллюзиях, самообманах и политических амбициях? Межко, и это уже продемонстрировал И. Клямкин.

Но самое главное и трудновыразимое все-таки не в этом. Суть дела в том, что Сталин и новоиндустриальный предпролетарий (подчеркну: не весь «новый рабочий класс», а именно эта, наиболее неразвитая и утесненная, его часть) жили в мире одних и тех же видимостей, одних и тех же социальных предрешений. Только предпролетарию они были заданы его исходно неправомочным экономическим положением, а Сталину — его государственно-политическим опытом.

Истолкование политической биографии Сталина не входит в мою задачу: это увело бы очень далеко от обсуждаемой темы.

По праву человека, высказывающего свою, и только свою точку зрения, я отважусь лишь на следующие, неизбежно декларативные утверждения.

Сталин не был политическим циником, хотя не брезгал никакими средствами в борьбе с политическими противниками и ни в грош не ставил человеческую жизнь. Цинизм не определял его отношения к народу. Подобно многим патриархально-нравственным правителям прошлого, Сталин искренне хотел *осчастливить народ*. И, подобно им, был твердо уверен, что сам народ *не может и не должен решать, в чем его счастье*. Сталин отрицал за человеком из низов всякое *правомочие* на самостоятельный выбор образа жизни. Патриархальная нравственность, вовсе не чуждая идеям сострадания, заботы и любви, сочеталась в нем с радикальным правовым нигилизмом.

Для условий XX столетия, пробудившего в самых широких массах идею самостоятельного устройства своей судьбы, этот образ мысли был более опасен, чем, скажем, цинизм, считающийся с правом. Он с самого начала заключал в себе цивилизационно-разрушительную и тоталитарную тенденцию.

Но возможно ли, чтобы подобные установки сложились в голове давнего и опытного деятеля революционного рабочего движения? Да, возможно, потому что допролетарская революционная идеология в России издавна содержала в себе компоненту *политического патернализма*. Со всей определенностью она была представлена в программах таких представителей революционного народничества, как М. А. Бакунин, С. Г. Нечаев и П. Н. Ткачев.

Жестокие провалы с опытами «хождения в народ» породили принципиальное недоверие к способности крестьянства добровольно выбирать более совершенные (или хотя бы более нормальные) формы жизнеустройства. Радикальное крыло русского народничества все более склонялось к идее политического действия «именем народа, для народа, но без народа». В умах его лидеров зрел не только замысел террористического давления на правительство и верхушечного переворота, но и мечта о последующем принудительном облагодетельствовании невежественной массы, заблуждающейся в вопросе о собственной пользе.

Важно понять, что мечта эта питалась мотивами благороднейшими: революционные народники были убеждены, что, решившись на акт насильственного цивилизаторства по отношению к крестьянству, они выплатят «долг народу», о котором издавна говорила передовая русская интеллигенция. Тут не было ни грана корысти или циничного властолюбия. Революционные народники не чувствовали себя и самонадеянными российскими самоучками: они всегда могли сослаться на европейскую традицию политического патернализма, восходящую к «Общественному договору» Ж. Ж. Руссо и представленную такими плебейско-пролетарскими идеологами, как Г. Бабёф и О. Бланки.

Сталин был революционным социал-демократом, не получившим надежной «противонароднической прививки». Его активная деятельность в рядах РСДРП началась уже после того, как Плеханов и Ленин провели ее через многоплановый критический расчет с «друзьями народа», отчаявшимися в возможностях народа¹. Народник был для Сталина скорее легендарным, нежели актуальным — и способным к политическому преобразению — противником марксизма. Поэтому будущий вождь партии не был защищен ни от внезапного подспудного воздействия народнической литературы, ни от того, чтобы самостийно и заново открывать политико-патерналистские идеи. Последнее — то есть «доморощенный» политический патернализм — особенно вероятно. Но тогда вероятно и то, что образ облагодетельствующих революционных верхов мог принять совершенно причудливые, примитивно-романтические формы, подсказываемые столь

¹ Интересно, что вся социал-демократическая критика личности принадлежит именно этому, еще «досталинскому», периоду в истории партии.

любимой Сталиным литературой о великих деятелях прошлого, — мог воспарить до фантазии о неограниченном революционном монархе. Не надо думать, что Сталин с самого начала видел себя самого в этой роли. Важно, что он мог считать ее необходимой. Ведь считать что-либо необходимым — это, как мы уже знаем, куда более серьезно, нежели желать и даже страстно стремиться...

Когда именно произошло обращение Сталина в политический патернализм, установить трудно. Но есть основания предполагать, что особенно благоприятным для этого оказался период последней ссылки. Как подметил Р. А. Медведев, Сталин, неожиданно выпавший из руководящего партийного слоя, переживал тогда серьезный духовный кризис и потерял веру в возможность демократического (народно-добровольного) осуществления социалистической революции в России¹. Отчужденный и замкнутый, как Родион Раскольников в своей камерке-шкафу («в этом-то ужасном шкафу и созревало все это»²), Сталин был поглощен какой-то полумечтательной и, скорее всего, в пику партии выстраивавшейся «личной идеей»³. Февральская революция вновь вовлекла его в водоворот борьбы, но нечто секретно-заветное, совершенно несообразное с гласно отстаивавшимися марксистскими воззрениями, успело лечь на дно души...

Патернализм образует тайный, эзотерический слой сталинского мышления (эзотерическое у Сталина вообще грубее, проще, примитивнее того, что выражается явно). Но на мой взгляд, он есть одновременно и парадигмальное основание этого мышления (бытие самого сознания). Неограниченный революционный монарх — это для Сталина глубоко затаенная, теоретически не оформленная, но когда-то властно привидевшаяся сверхзадача. Думается, именно она, с одной стороны, «подпитывала» его подвижническую энергию, его недюжинную волю, а с другой — обеспечивала возможность холодно-отстраненного прагма-

¹ См.: Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме // Знамя. 1989. № 1. С. 162—163.

² См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 6. С. 45.

³ Ее предварением можно считать настроения, мелькнувшие в статье Сталина об А. Бебеле, где он с явными элементами самоотжествления превозносит партийного вождя, поднявшего-ся из низов рабочего движения.

тического упрощения таких социальных проблем, которые при более заинтересованном, более вдумчивом отношении просто не имели решения (или, по крайней мере, оптимального решения). Сталин как бы всегда где-то над реальной теоретической трудностью вопроса, которая гложет и доводит до отчаяния Преображенского, Каменева или Бухарина, где-то в образе и обители будущего верховного подателя народного блага.

Но как, собственно, Сталин представлял себе идеал счастья для народа? Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку об устройстве земного рая вождь высказывался неохотно и скупно. И все-таки есть в его наследии работа, которая позволяет составить известное представление о том, какое будущее Сталину виделось.

Ж.-П. Сартр заметил однажды, что человек никогда так много о себе не выбалтывает, как в мечтательном состоянии. В качестве идеолога и партийного литератора Сталин позволил себе это состояние, пожалуй, всего один раз — в последний год жизни, когда он, державно отставив в сторону насущные государственные дела, заточил себя в шкаф-камерку кунцевской дачи и готовил к предстоящему XIX съезду партии свою полуфантастическую брошюру «Экономические проблемы социализма в СССР». Вчитываясь в ее текст, мы можем понять, как Сталин представлял себе картину народного счастья (подчеркну: представлял себе уже издавна, уже с момента борьбы за государственную власть, а не только на краю могилы).

Сталин хотел ввести народы России в царство наивысшей стабильности, где не будет никакой «рыночной стихии», товаров и денег, а будет «прямой продуктообмен»; где отомрут охранительно ненадежные государство и право, а руководимый партией народ сам примет на себя функции полиции и юстиции; где восторжествует принцип «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям», но по потребностям «разумным», то есть таким, которые могут рецептироваться и назначаться сверху.

Не только сегодня, но и в момент его оглашения (то есть в 1952 году) идеал этот мало кого мог вдохновить и увлечь. Он был из другого времени, когда умами прочно владела мораль дореволюционной бед-

нячки-босаяцкой сказки: «Не будет людям счастья, покуда они копеечку не закопают». О своей прочной приверженности этой морали и напоминал стареющий вождь.

Важно понять, что основной, скрытый пафос сталинского идеала вовсе не в «качестве жизни», а просто в надежности будущего общества, где не остается никаких пагубных соблазнов. Этот идеал рассчитан на человека, который страшно боится соращения, исходящего от денег, от товаров, вообще от предметного богатства, а также анархических искушений, заключенных во всяком неподнадзорном существовании. Скажем больше: это идеал для народа, который просто сам с собой не справляется и поэтому требует, чтобы ему определили все: нравственные правила, вкусы, полезные привычки, нормы труда и нормы потребления¹. Но это и есть народ, наиболее желанный для отчаявшихся народников, народ, образом которого Сталин тайно вдохновлялся, уже вступая в борьбу за политическую власть. Только такой, неуверенный в себе, скромный и долготерпеливый народ он считал достойным сострадания, любви и заботы. На долю же народа «самонадеянного», не ведающего страха ни перед независимым хозяйствованием, ни перед товарами, ни перед деньгами, ни даже перед демократическим самоуправлением, — на долю такого народа выпадали гнев и мстительность.

В этом исходном патерналистском различении Сталин-правитель утвердился сразу и навсегда. Его политика в отношении различных групп российского населения удивительно напоминала правило, которым руководствуется глава многодетной патриархальной семьи: чтобы твердо поставить одних сыновей (а через них и весь будущий род) на стезю праведности и благополучия, надо отсечь, как мертвую ветвь, сыновей строптивых.

В последнее время в нашей литературе появилось по меньшей мере три равно убедительных социальных истолкования отношения Сталина к крестьянству. Но образ отца, который сперва склоняет своевольного сына к назначенному ему уделу, затем принуждает его

¹ Особенно показательно в этом отношении понятие «разумных потребностей», которое после появления «Экономических проблем социализма в СССР» ввергло общественно-политическую литературу в безумие мелочного регламентаторства.

и, наконец, проклинает и обрекает на голод, право же, обладает не меньшей объясняющей силой.

Ну уж бросьте, скажете вы, где в истории найдется такой отец: он противоречил бы самому понятию отцовства, как оно признано человеческой культурой!

Ну уж бросьте, отвечу я: вспомните высочайший образ патриархального правления — ветхозаветного бога-отца, который лелеет народ избранный (если разобратся, просто рабски преданный), но одновременно и страшает его судьбой народов невнемлющих, беспощадно караемых голодом, эпидемиями, землетрясениями, пожарами.

Образ бога-отца вторично — и, право же, как бы принудительно для меня самого — появляется и претендует на роль разъясняющей метафоры. Да, любимый Сталиным народ — это им избранный, покорный, скорее литературный и воображаемый, чем реальный народ. Уделом основной массы исторически действительного народа должна была стать «перековка», выборочное корчевание, а если потребуется, то и геноцид. В будущее Сталин-правитель согласен был впустить только внявших и покорившихся, и это очень напоминает евгеническую селекцию. Численные соотношения его мало беспокоили: сегодняшнее меньшинство, отобранное по критерию удоборуководимости, завтра расплодится¹.

Сталин, возможно, не пролил бы столь великой крови, если бы застал на российской исторической сцене массу патриархального крестьянства, привычного к общинной отгороженности от мира, к барскому понуканию и барской опеке. В этом случае он, скорее всего, оказался бы главой классически бонапартистского режима, осуществляющего господство одного класса при опоре на полную социальную пассивность другого. Но в России 20-х годов такого крестьянства практически не было. Оно, как обнаружил нэп, достаточно активно стремилось к экономической самостоятельности на своей земле, а значит, и к неподопечности. Никакой склонности к опеке не обнаруживал в конце нэпа и «старый», до революции сложившийся рабочий класс. Как политический патерналист, Сталин оказывался перед парадоксальной задачей ис-

¹ Подобный же образ мысли мы встречаем в печально знаменитых рассуждениях Мао Цзэдуна о допустимости атомной войны.

кусственного выведения «избранного народа», «народа-сына». Выбор ускоренной индустриализации диктовался многими мотивами, но не последнее место среди них занимала, я думаю, надежда на формирование «своего собственного» рабочего слоя, обязанного вождю и его аппарату уже самим своим пролетарским существованием.

Сталин, разумеется, не был столь прозорлив, чтобы заранее вычислить весь строй сознания «индустриального новобранца». Но его социокультурную неприкаянность, растерянность перед новой для него атмосферой крупной промышленной стройки, его производственно-технологическую зависимость и повышенную политическую внушаемость Сталин предвидеть мог. Остальное история преподнесла ему в качестве подарка.

Патернализм Сталина был глубоко созвучен ожиданиям и установкам, которые порождались процессом деклассации трудящегося населения России, то есть нелокализованной, массово-анонимной потребности в твердом порядке, опеке и трудовом приюте. И с предельной, так сказать, контурной точностью он накладывался на правопонимание новоиндустриального предпролетариата, который представлял собой как бы внутрипромышленную аккумуляцию всего деклассационного процесса.

Появление этого слоя в составе рабочего класса было для Сталина социальным подтверждением правильности его эзотерической ориентации. Оно вдохновляло на практическое осуществление до крайности простого и уже давно зревшего замысла — замысла террористического и тотального принуждения к идеалу. Мифологема «соблазненной массы», проработанная литературой XIX века, как бы менялась на обратную: масса соблазняла правителя на крайние насильственные действия — соблазняла своим внутренним отречением от права, своим петиционным сознанием, своей готовностью претерпеть любую степень воспитательного принуждения.

Не являясь выразителем подлинных интересов «нового рабочего класса», Сталин вместе с тем был его благожелательным патроном. «Новобранцы индустриализации» активно вербовались в партийный и государственный аппарат, во вновь и вновь вычищаемые органы государственной безопасности. Районы ново-

строек находились под постоянной государственной опекой: здесь быстрее, чем где бы то ни было в стране, росло благосостояние. Репрессии 1937—1938 годов «нового рабочего класса» не миновали, но дело ограничилось, что называется, «менее тяжкими повреждениями». Ущерб был несравним с тем, который понесла рабочая «старая гвардия» в Ленинграде, Москве или Киеве.

Неудивительно, что и сегодня критика сталинизма встречает наиболее упорное, а порой и отчаянное сопротивление именно у людей, которые пришли в промышленность в начале — середине 30-х годов. Надеяться, что их сознание в корне переменится, было бы наивностью. Но наивно и печалиться по этому поводу.

Иное дело — сами установки, когда-то стихийно сложившиеся в сознании новоиндустриального предпролетария. Они не уйдут в могилу вместе с симпатией к Сталину; они слишком долго насаждались всеми средствами воспитания и пропаганды, теоретически оформлялись официальной наукой, передавались из поколения в поколение. Это предпролетарий-сталинец адресуется к нам через энциклопедическую статью, автор которой форсирует диктаторский смысл в формуле «право есть возведенная в закон воля господствующего класса» или доказывает, что в социалистической юриспруденции гарантия труда должна мыслиться как «право всех прав». Это он же в лице совсем еще молодого рабочего старчески журит власть: «Распустили народ!», «Не будет страха — не будет и хорошей работы», «Вы начальство, мы на вас налоги платим, вот и решайте, как нам правильно жить». Это 30-е годы говорят устами пионервожатой 1970 года рождения: «Партия и правительство требуют, чтобы советский школьник был честным, добросовестным и неустанно умножал свои знания» (как будто моральные требования честности и добросовестности не существуют в обществе независимо от партии и правительства, как будто они назначаются Советским государством и неизвестны за его пределами, как будто умножение знаний не входит в само понятие учебы).

Повторю еще раз свой исходный тезис: сталинизм не просто социально-политический режим (командно-административная система), это еще и сознание, которое признает и одобряет данный режим во всю силу

ствийно и объективно сложившегося убеждения в его необходимости. С юридически-правовой точки зрения это означает, что мы не только должны быть бдительны к возможным рецидивам сталинщины в государственных законодательных актах, в деятельности правоохранительных органов и в судебной практике; мы должны еще систематически преодолевать (в себе и в других) тот тип правопонимания и тот юридический или околоюридический язык, который утвердился в 30—40-х годах и по сей день сохраняет свою власть над умами. Необходимая для этого публицистическая, теоретическая, просветительская и воспитательная работа едва ли может быть меньше той, что была затрачена на официальное утверждение правового нигилизма. И разумеется, она вообще была бы обречена на провал, если бы не уже совершившиеся изменения в структуре производства, в характере труда и быта советских людей.

Предпролетарские идейные установки (правовые — прежде всего) непреодолимы, покуда в социалистическом обществе существует огромная масса неквалифицированного и чрезмерного труда, не подчиненного нормальному экономическому стимулированию, а потому как бы запрашивающего шпору массовых репрессий. Где-то к середине 50-х годов этот труд перестал быть в СССР основным массивом промышленной деятельности. Прекратилось и безжалостное поборное давление государства на деревню. Повсюду (но прежде всего, конечно, в крупных городах) стало ощущаться экономическое правомочие средне- и высококвалифицированной индивидуальной рабочей силы¹. На мой взгляд, данное обстоятельство (неважно, сознавалось оно или нет) подготовляло сами «условия возможности» первых критических расчетов со сталинизмом и с такой существенной его компонентой, как правовой нигилизм. В наши дни экономическая почва предпролетарства стала еще более узкой.

И все-таки было бы наивностью ожидать, что в ближайшие годы правовой нигилизм вообще сойдет на нет — тихо и без боя. Поскольку доля неквалифици-

¹ На связь между уровнем квалифицированности и степенью развития правосознания рабочих впервые обратил пристальное внимание К. Каутский, соответствующие рассуждения которого приводит И. Клямкин в статье «Почему трудно говорить правду» (Новый мир. 1989. № 2. С. 222—224).

рованного труда еще велика, поскольку правомочия рабочей силы по отношению к государству-работодателю, государству-монополисту всегда достаточно сомнительны, поскольку из-за товарной необеспеченности рубля возникает немало затруднений с чисто экономическим стимулированием производителя, постольку сохраняется массовая база для рецидивов предпролетарского правопонимания, да и для рецидивов самой сталинщины.

Но это означает лишь, что задача критики правового нигилизма делается особо настоятельной и неотложной и что критику эту надо разворачивать бескомпромиссно, не робея перед трудностями нравственно-исторического характера.

Массовый правовой нигилизм вырос на почве таких условий труда и жизни, что его носитель не может не вызывать чувства острейшего сострадания. Он родился на свет как вполне простительный образ мысли. Но простительное еще не есть правильное. В сфере истины не существует права крайней нужды: мысли бедного не обладают здесь привилегией над мыслями богатого, мысли угнетенного — над мыслями угнетателя. Ведь сколько раз в истории случалось, что эксплуатируемые сходились с эксплуататорами на одной и той же иллюзии, а то и превосходили их в способности выгодно обманываться.

Критический анализ предпролетарского правового нигилизма требует социального такта, но он не должен из-за этого терять в последовательности и даже в беспощадности. Важно просто с самого начала понять, что никакая, даже самая суровая критика объективно-принудительных форм массового сознания не может иметь значения приговора, выносимого над жизнью конкретного человека, который это сознание разделял.

Замечу, наконец, что критический анализ иллюзий и объективных видимостей вообще не есть критика в расхожем ее понимании. Понятие критики приближается здесь к его первоначальному, философскому смыслу. Философская же критика (например, кантовская «Критика чистого разума») — это прежде всего *очищение затемненной истины*. Именно так надо понимать и конечную задачу критического расчета с правовым нигилизмом. Главное тут не в обличении, а просто в *восстановлении нормальных представлений о*

праве, законности, правовой справедливости, которые в сталинское время были стушеваны, выполоты или вывернуты наизнанку.

«Сегодня нам предстоит нелегкое возвращение к цивилизации», — писал И. Клямкин, завершая обзор иллюзий и самообманов «индустриального новобранца»¹. Эти слова, может быть, нигде так не уместны, как применительно к нынешнему состоянию правовых понятий. В этой сфере не может быть никакого движения вперед без самого скромного, ученического, покаянного обращения к погрязшим и, как правило, достаточно давним достижениям мировой политико-юридической мысли.

Опыт такого покаянного обращения я и намерен проделать во второй части настоящего очерка. При этом, как и прежде, я буду иметь в виду задачу преодоления правового нигилизма и лишь постепенно сменю полемический стиль на учебно-дидактический, единственно уместный при изложении хорошо позабытой азбуки правовой цивилизованности.

4. Признание индивидуальной автономии как первоначало права

Простейшая истина права и правосознания представляет собой, в сущности, непосредственную антитезу по отношению к основной идее политического патернализма.

Патерналистское государство уподобляет членов общества несовершеннолетним, которые без содействия власти не могут ни решить, что для них хорошо нравственно, ценно, выгодно, ни самостоятельно добиваться того, что они признали бы хорошим. Эта юрисдикция недоверия к возможностям человека может доводиться до следующего казуистического парадокса: попечительно принуждая членов общества, государственная власть лишь удовлетворяет их «естественное право» на защиту от их же собственного безволия, непредусмотрительности и порочности. Парадоксы такого рода можно найти в церковном (каноническом) праве средневековья, прежде всего в тех его разделах, которые обосновывают деятельность *инквизиции*.

¹ Клямкин И. Почему трудно говорить правду // Новый мир. 1989. № 2. С. 230.

Мы ничего не поймем в логике действий этого института, если с самого начала не примем во внимание, что он был учрежден во имя *права* каждого христианина *быть спасаемым от себя самого* — от патологической совращаемости, которая свойственна ему как существу, поврежденному грехом. Инквизиция — институт репрессивно-терапевтический, изобретение взбесившейся любви и взбесившегося сострадания, которые подводят каждого человека под меру жалости, уместной лишь в отношении душевнобольных. Политический патернализм не заходит так далеко: он не спасает, а лишь защищает человека от него самого, а потому останавливается на идее полной *гетерономии*.

Понятие «гетерономия» буквально означает «чужезаконие». Оно предполагает, что человек как член общества может жить лишь по чужим, извне заданным ему правилам и инструкциям, подкрепляемым чувствительными наказаниями или наградами¹. Мерой опеки здесь является уже не душевнобольной, а скорее ребенок или подросток, которых надо постоянно наставлять и поправлять в видах их же выгоды.

Вот эту-то унижительную для человека меру (не говоря уже о самой низкой, психотерапевтической) и оспаривает право. На место гетерономии оно решительно ставит *автономию*, то есть самозаконность человеческого поведения.

О наличии в обществе права можно говорить лишь в том случае, если член этого общества признан государством в качестве разумного существа, способного самостоятельно решать, что для него нравственно, ценно и выгодно. Нравственно-безусловные запреты, а также цели и интересы людей не подлежат властно-законодательному определению, они являются предпосылками самодисциплины, или, как говорил Кант, «способности быть господином себе самому».

Эту простую истину, заслонявшуюся в сталинское время бесчисленными дефинициями исторически раз-

¹ Распространенное в этике понимание гетерономии является неточным: оно имеет в виду не чужезаконность, а чужемотивность человеческого поведения, его подверженность привходящим мотивам приманки или угрозы. Гетерономным в этом смысле будет, например, поведение мужчины, который помогает женщине нести тяжелую сумку не потому, что так должно, а потому, что женщина ему понравилась; или поведение ученого, который отстаивает известный тезис не потому, что считает его истинным, а потому, что это выгодно для его карьеры.

личающихся форм правозаконности (то есть социалистического права в отличие от буржуазного, буржуазного — в отличие от феодального и т. д.), и необходимо восстановить, чтобы вернуться в русло нормального правопонимания. Конечно, это интересно и важно — установить, чем право отличается от морали или, скажем, от первобытного общинного обычая, но все-таки прежде необходимо составить хоть какое-то представление о том, *чем право отличается от бесправия*. Если его нет, весь юридический профессионализм скособочивается в сторону сервильности и угодливости. И уже не приходится удивляться, что в определениях права, которые фигурируют в энциклопедиях, словарях, популярных юридических изданиях, начисто исчезают понятия свободы, независимости, неподотчетности — самые важные для определения общего смысла правовой нормы.

Переход общества к собственно правовому регулированию человеческих отношений (когда он совершился, я рассмотрю несколько позже) был крупной вехой в истории гуманизма. На смену патриархальной сострадательной человечности, которая выворачивалась в фаворитизм или самый беспощадный деспотический произвол всякий раз, как субъект сострадания становился обладателем социальной и политической власти, пришла человечность исходного доверия.

Разумеется, в сфере межличностных отношений не отменялись ни сочувствие, ни жалость, ни даже их эгоистически-капризные превращения. Но государству с его безмерными возможностями «казнить и миловать» категорически запрещалась неустойчивость всякого, в том числе и доброго, «отеческого» чувства. Рушилась презумпция попечения о распущенном, инертном, невежественном народе, которая веками использовалась для оправдания самых циничных форм внеэкономического принуждения и самых безответственных проявлений господского волюнтаризма.

Правовые нормы по самой сути своей антиавторитарны: они запрещают обращаться с людьми как с «винтиками» социально-политического механизма, как с безвольными объектами командования и администрирования. Запрет этот пресекает диктаторское покушение на личность, и притом любое — не только корыстное (продиктованное эгонистическими интересами

известной общественной группы), но и благонравное, осуществляемое, скажем, по мотивам заботы об «общем благе». Последнее особенно важно подчеркнуть на исходе нынешнего, XX столетия, в ходе которого понятия «общего блага», «интересов народа», «общественно-исторической потребности» и т. д. неоднократно наполнялись совершенно произвольным, а то и откровенно демагогическим содержанием.

Право внутренне связано с моралью (достаточно очевидно, что среди правовых запретов не должно быть таких, которые толкали бы человека к безнравственным действиям). Вместе с тем правовые нормы не могут рассматриваться ни как «подвид», ни как модификация нравственных норм. Это совершенно особый тип регулирования общественного поведения, непременно оставляющий простор («пространство ненаказуемости») для известных неморальных решений и поступков.

Пресекая наиболее опасные формы зла, право одновременно (и это далеко не всегда понимается) стоит на страже *добровольно выбираемого добра*. Оно выставляет нормативный заслон не только против общепризнанных преступлений (убийства, воровства, шантажа, вымогательства и т. д.), но и против попыток принудительного осчастливливания и принудительного совершенствования людей.

(1) Принудительное совершенствование (или насильственное приведение к идеалу) исключается благодаря признанию *моральной автономии* индивида.

Этическое понятие моральной автономии весьма сложно: будучи последовательно продуманным, оно приводит к противоречиям (антиномиям) в определении самой человеческой воли. Это не мешает, однако, признанию моральной автономии в праве. Ведь речь здесь идет не о том, способен ли вообще человек как разумное, но вместе с тем и спонтанно-чувственное существо давать себе безусловные законы, а лишь о том, что в качестве существа общественного он всегда уже находится под законом (нравственным требованием) и может осознать его значимость и ценность без всякого государственного насилия.

Нравственный поступок, совершенный под давлением принуждающей власти, теряет всякое моральное достоинство. (Много ли стоило бы, например, сыновье внимание к родителям, если бы оно вынужда-

лось угрозой уголовного наказания?) Поэтому издание каких-либо «законов о нравственности» (чего с патриархальной наивностью потребовал на первом Съезде народных депутатов писатель В. Распутин) несовместимо не только с понятиями права и правового государства, но и с развитым моральным сознанием.

Признание *моральной автономии* за каждым членом общества есть, в сущности, просто признание того, что общество уже независимо от государства располагает средствами борьбы с идеологией вседозволенности, а также санкциями, необходимыми для того, чтобы привести индивида к признанию и соблюдению общекультурных по своему происхождению нравственных норм. Поддержание морали — дело институтов гражданского общества (семьи, школы, религиозных общин, добровольных организаций и союзов), а не полицейских или цензорских государственных служб. Если из-за неразвитости или слабости этих институтов государство все-таки оказывается вынужденным взять на себя «заботу о нравах», оно должно делать это с ясным сознанием того, что выполняет чужую, несвойственную ему функцию и переходит к применению чрезвычайных мер, не подлежащих возведению в закон.

(2) Тенденция к принудительному осчастливливанию людей блокируется благодаря признанию *утилитарной автономии* индивида, то есть его способности самостоятельно судить, что является для него выгодным или невыгодным, полезным или пагубным. Человеку, далее, должна быть предоставлена возможность действовать на свой страх и риск, для проб и опытных выводов, для ошибок и перерешений. Общество как бы «дает фору» индивиду, не применяя к нему государственного принуждения до того момента, пока он не нарушает закона. Каждый гражданин волен послать подалее сколь угодно высокого самозваного наставника, если тот сует нос в такие его дела, которые не наносят ущерба другим согражданам.

Важно понять, что признание утилитарной автономии не только не связано с утилитаризмом в этике, но и прекрасно уживается с его бескомпромиссной критикой. Принципиальный интерес в этом отношении представляет кантовское морально-правовое учение.

Кант был непримиримым противником всякой ути-

литарной редукции морали, то есть попыток свести нравственные требования к соображениям пользы и выгоды. Вся его этика представляла собой систематически продуманный протест против утилитарно-эвдемонистической расчетливости, которая поразила позднефеодалное общество в пору развития товарно-денежных отношений, а под именем «разумного эгоизма» проникла и в раннебуржуазную просветительскую идеологию. Это не помешало тому, что, как философ права, Кант выступил с решительной защитой принципа утилитарной автономии (чего, кстати, совершенно не умели делать такие приверженцы «разумного эгоизма», как Гельвеций или Гольбах). «Принцип свободы в отношении устройства общества,— писал Кант,— я выражаю в следующей формуле: ни один не может принудить меня быть счастливым так, как он хочет (так, как он представляет себе благополучие других людей); каждый вправе искать своего счастья на том пути, который ему самому представляется хорошим, если только он этим не наносит ущерба свободе других стремиться к подобной же цели»¹.

Существенно, что строгое, демократически развитое право санкционирует вовсе не интересы (скажем, «интерес большинства» в противовес «интересу меньшинства»), а, как выражался А. Смит, «свободу самостоятельного преследования личного интереса». «Интерес большинства», «интерес всего общества» — это понятия, поддающиеся самому произвольному толкованию, которое с охотой берет на себя государственная власть. Что касается интереса личного, то он успешно отталкивает любые произвольные интерпретации, поскольку достаточно очевиден для его носителя до всяких толкований.

Признание за членом общества его моральной и утилитарной автономии обеспечивает ему как гражданину *статус неподопечности*. Закреплению этого статуса служит большая часть записанных в конституциях личных прав-свобод (свободы совести, слова, собственности, неприкосновенности жилища, перемещения и т. д.). Любые конкретные законодательные акты государства, продиктованные соображениями экономической, социальной или политической целесообразности, являются правомерными лишь постоль-

¹ Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 2. С. 79.

ку, поскольку они не противоречат конституции и не посягают на зафиксированный в ней статус неподопечности. Последнее особенно важно подчеркнуть применительно к карательному (уголовному) закону.

«Уложение о наказаниях» — подчиненный элемент правовой системы. Какими бы ни были воздействующие на него социальные запросы, свое юридическое оправдание оно имеет только в том, что прямо или косвенно служит защите жизни, независимости и достоинства людей. Именно соотносительность уголовного кодекса с конституцией вводит карательную репрессию в границы соразмерного возмездия за уличенные и доказанные преступления и не позволяет ей быть орудием тотальной терроризации общества.

Известное положение В. И. Ленина: «Право есть ничто без аппарата, способного *принуждать* к соблюдению норм права»¹ — было бы совершенно неправильно толковать в том смысле, что право существует всюду, где есть принуждение, исходящее от государства. Диалектика права заключается в том, что оно, с одной стороны, бессильно (декларативно) без государственного вмешательства, а с другой — лимитирует и направляет это вмешательство, превращая его в средство защиты конституционных свобод.

Правовое достоинство уголовного закона заключается далее в том, что ему, по строгому счету, вообще нет дела до моего «внутреннего «я»: до моих сокровенных желаний, помыслов, настроений, хотя бы с нравственной точки зрения они и могли быть квалифицированы как «предпреступные». «Помимо *своих действий*, — писал К. Маркс, — я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектом. Мои действия — это единственная область, где я сталкиваюсь с законом»². Строгое право не позволяет умозаключать от образа мысли людей к возможным для них поступкам; подобный превентивный надзор оно опять-таки предоставляет ближайшему окружению индивида: «малым группам», которые строятся на началах профессионального признания, единоверия, единомыслия, дружбы, соседства, родства и могут применять к своим членам лишь моральные (а не карательные, не полицейские) санкции.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 99.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 14.

Безразличие уголовного закона к еще не воплощенным субъективным предрасположениям человека вовсе не является плодом «юридического бездушия», о котором так много рассуждают романтические критики права. Как раз напротив, в этом безразличии выражает себя *юридический гуманизм, а именно безусловное предварительное доверие к каждому члену общества*. Последнее обеспечивается целой совокупностью требований, закрепляемых в процессуальных кодексах и препятствующих тому, чтобы с людьми обращались как с «потенциальными преступниками». Таковы презумпция невиновности, строго оговоренные правила полицейского вмешательства, задержания и обыска, сохранение тайны следствия, гласность судебного разбирательства, право подсудимого на защиту и т. д.

Разработанность и строгость процессуальных гарантий можно назвать мерой цивилизованности всей правовой системы. Ее антидемократические деформации, как правило, выражают себя прежде всего в грубых упрощениях процессуального кодекса. Упрощения эти позволяют стирать различие между действительным и всего лишь вероятным преступлением, осуждать намерение как действие, склонность как намерение, а случайно оброненное слово как симптом преступной склонности.

Нравственный гуманизм часто выражает себя как вера в изначально добрую *природу людей*. Гуманизм юридический — это доверие не к природе, а к основному личностному измерению человека — к его *воле*, понимаемой как способность самоконтроля и самодисциплины. Правовая оценка поступка позволяет допустить, что по природе своей люди несовершенны, что у них есть масса дурных склонностей. Вместе с тем она категорически запрещает заведомо предполагать, будто тот или иной индивид настолько личностно неразвит, что не может противостоять своим склонностям.

Никакая, даже самая худшая «природа» не предопределяет преступного деяния. Поэтому никто не вправе прорицать преступления и на этом основании подвергать людей наказанию. Юридический гуманизм выражает себя, таким образом, прежде всего как антифатализм, как признание за каждой личностью неустраняемой свободы воли.

Социологический анализ тяготеет к тому, чтобы исключить свободу воли из объяснений человеческого поведения (и действительно, при рассмотрении массовых событий свободные волевые решения индивидов сплошь и рядом могут быть просто оставлены в стороне, поскольку взаимно погашают друг друга). Нравственный анализ предполагает понятие свободной воли, но может быть достаточно успешным и в том случае, если заменяет его понятием внутренней детерминации поступка, его более высокой, духовной необходимости.

Что же касается правовой оценки поведения, то здесь представление о свободной воле индивида неустранимо: оно имеет значение своего рода *аксиомы*, которую нельзя ни элиминировать, ни вывести из каких-либо иных, более простых допущений. Преступление в строго юридическом смысле — это такое событие, которое при любых обстоятельствах могло бы все-таки и не произойти, иначе это не преступление, а либо бедствие (когда, скажем, мать уронила собственного ребенка и зашибла его до смерти), либо действие безумного, невменяемого человека.

Особую трудность для правовой оценки поведения представляет феномен убежденно злой свободной воли, когда преступление совершается не по слабости характера, не под давлением спонтанной склонности, а как бы из принципа человеконенавистничества.

Не отрицая возможности подобного явления, строгое право вместе с тем считает его редким и исключительным. Это, как говорил Кант, «скорее сатанинский, чем человеческий образ действий». Вменить его человеку можно лишь там, где налицо рецидивы правонарушений. Согласно классической теории наказания, преступник-рецидивист может быть поставлен *вне закона*, и это самая страшная кара, которую знает право.

«Поставить вне закона» — значит отказаться от охраны человеческой личности, позволить обращаться с человеком как со зверем или вещью. Именно на фоне этой формулы делается видимым, осязаемо ощутимым, что всякий, в том числе и уголовный, закон является законом *защищающим*. Наказание по суду, даже весьма суровое, — это благо в сравнении с расправой и линчем.

Разъясняя смысловое строение уголовно-правовой нормы, немецкий философ Г. Фихте предлагал читателю вообразить следующую судебную процедуру. Уличенный правонарушитель сперва просто «оставляется как бы по ту сторону закона». Он, по выражению Фихте, делается «свободным, как птица», то есть получает возможность творить все, что ему в голову взбредет. Но зато и все другие свободны в отношении его: каждый может безнаказанно «употребить» преступника по своему желанию, то есть подвергнуть его надругательству, обратить в раба или просто убить. Не очевидно ли, говорит Фихте, что, оказавшись в подобном положении, преступник сам попросит для себя наказания, предусмотренного уголовным кодексом.

«Наказание есть право преступника» — эту формулу Гегеля высоко ценил Маркс. Наказание имеет свою меру в виновности преступника, а потому может рассматриваться как карательное воздаяние, примиряющее его с обществом и с самим собой. Наказание должно неотвратимо следовать за преступлением и вместе с тем быть независимым от любых привходящих соображений (прежде всего от соображений пользы, которую общество могло бы извлечь из эксплуатации или заклятия осужденного правонарушителя).

Здесь, однако, я должен прервать изложение и приостановить развертывание возможностей, заключенных (как в клеточке-эмбрионе) в антипатерналистской идее признанной индивидуальной автономии. Я давно уже слышу коварный, но вполне оправданный вопрос читателя. Можно ли вводить признанную автономию в определение права, если многие и многие поколения людей называли (и искренне считали) правом такие государственные постановления, которые никаких санкций на личную независимость не содержали? Разве законы Хаммурапи не право? Разве крепостное право — не право? Разве Маркс не говорил, что и кулачное право — это тоже право?

Все дело в том, что определение права, по строгому счету, является не теоретическим (типа «А есть В»), а нормативно-теоретическим (типа «А должно мыслиться как В»). Это прекрасно понимали представители классической философии, а мы где-то полвека назад понимать перестали. Мы давно уже не

спрашиваем себя, что следует утверждать и отстаивать в качестве права, а пользуемся термином «право» совершенно в духе юридического позитивизма, то есть как нейтрально-классификационным, исторически описательным выражением. В одну эпоху право одно, в другую — другое: «Во всяком приходе свой устав», — саркастически заметил Маркс по адресу основоположника «исторической школы права» Г. Гуго.

Конечно, нейтрально-классификационного употребления термина «право» отменить нельзя, и я не собираюсь ратовать за то, чтобы мы не выпускали историко-юридических работ под названием, ну, скажем, «Право в средневековом Китае». Уж такова, как говорится, условность, принятая в «научном консенсусе». И все-таки, если вам скажут, что «телефонное право» — это тоже право, вы испытаете нравственную — а точнее говоря, нормативно-ценностную — неловкость, ибо грубое попрание права правом именовать нельзя.

Это относится не только к настоящему, но и к прошлому. Что оно именовало правом, для нас не указ, ибо в области нормативно-теоретических определений нет права давности. Если этого не понимать, можно дойти до последних столпов бессмыслицы и, скажем, признать вместе с Жозефом де-Местром, что монархия является самой разумной и естественной формой политического правления, поскольку большая часть человечества провела свою жизнь в условиях монархии и неестественной ее отнюдь не считала.

И уж совсем очевидно, что, оставаясь на почве нейтрально-классификационного понятия права, никак нельзя вести критику правового нигилизма. Если право, как его понимал Вышинский, — это тоже право, то о чем вообще говорить и какой смысл может иметь само выражение «правовой нигилизм»? Нет, уж если критический расчет со сталинщиной ведется всерьез, то надо отказаться от дефинитивного понимания таких формул, как «кулачное право тоже право».

Надо перестать приписывать сакральный смысл понятиям исторически обусловленного и исторически необходимого и сознаться в том, что никакая степень социальной детерминированности не делает господствующее воззрение правомерным. И наконец, надо перестать быть позитивистски снисходительным по отношению к правовой неразвитости, глухоте и нечувствительности, которые веками тяготели над челове-

ством (в том числе над его законодателями, судьями, юристами) и отголоски которых еще так ясно слышны в современных расхожих представлениях о порядке.

Ценность права — пустое слово, если не признается, что строгое право («право, отвечающее своему понятию», как сказал бы Гегель) — весьма позднее, совсем не традиционное и не такое уж неизбежное порождение истории. Но как раз поэтому оно нуждается в нашем активном преемствовании, а также в том, чтобы мы отделяли его от нормативных образований, традиционно именовавшихся правом, но на деле заслуживающих такого названия в лучшем случае потому, что они не были (или не вполне были) моралью, религией или сводом правил благоразумия.

5. Проблемно-историческое разъяснение понятий

В общественном сознании по сей день сталкиваются два понимания права: традиционное (обыденное, донаучное) и строго юридическое. Можно сказать, что, слышав слово «право», приверженец первого понимания вспоминает о существовании уголовного кодекса. У приверженца второго слово это ассоциируется скорее с Декларацией прав человека и гражданина, провозглашенной в революционной Франции в 1789 году. Приверженец первого понимания не разделяет крайностей правового нигилизма, но и не видит его бесчеловечности. Для приверженца второго правовой нигилизм категорически неприемлем.

1) Традиционное понимание права складывается в докапиталистических обществах, а полное (доктринально-теоретическое) выражение получает в эпоху формирования национальных государств (централизованных сословных и абсолютных монархий, если говорить о европейской истории).

В политических трактатах XVII — первой половины XVIII столетия право определяется обычно просто как совокупность устанавливаемых или санкционированных государством общеобязательных правил. Никакого различия между правом и законом еще не проводится, а сам закон отождествляется с государственным указом.

Нужно живо представить себе бесчисленные бедствия, которые несла с собой феодальная междоусо-

бица XV, религиозные распри XVI и коалиционные войны XVII столетия, чтобы понять, почему подобное, этак статистское истолкование права могло пользоваться одобрением и признанием. В гражданском мире и порядке — в пресечении местнического самочинства, а также мятежей, разбоя и грабежа — пострадавшее население Западной Европы видело столь большое благо, что готово было простить нарождающемуся абсолютизму его собственные авторитарно-деспотические устремления. О государственном признании прав личности (ее «естественных», «прирожденных» свобод) еще не было и речи. Апологеты неограниченной монархии (Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж. Б. Боссюэ) считали, что каждый разумный человек просто уступает эти права-свободы неограниченному монарху («переносит их на верховного правителя»), чтобы получить взамен элементарную защиту жизни и благосостояния.

Полноценное воплощение права видели в едином «Уложении о наказаниях». Считалось, что оно тем полнее отвечает понятию справедливости, чем больше проникнуто духом «суровости, неизменности и благочестия». Никого не смущало, что в составе этого «Уложения...» уголовно-правовые статьи в собственном смысле слова соседствовали с поистине драконовскими законами против «неприличия», «лжеверия», непочтительности, чревоугодия, пьянства, нерадивости, неблагоразумия.

Свод права оказывался одновременно и руководством для моральной полиции. Он жестко регламентировал поступки подданных и как бы устанавливал предварительную цензуру над их поведением. Предполагалось, что государственные постановления и предписания в принципе охватывают всю гражданскую жизнь, а потому любая новая инициатива, любая частная или корпоративная свобода должна специально санкционироваться в качестве привилегии. Указно-инструктивное ограничение произвола именовалось правом вообще, а гарантии свободы — «особыми правами», или «пожалованными вольностями» (дворянскими, купеческими, муниципальными и т. д.). В практике управления и надзора господствовал принцип: «Запрещено все то, что не разрешено».

Все это, вместе взятое, вело к *запретительному* пониманию правовой нормы и *обвинительному* истолкованию задач правосудия.

2) Во второй половине XVIII века совершился своего рода «коперниканский переворот» в понимании сущности права. Прологом к нему была борьба за веротерпимость (за государственные гарантии свободы религиозной совести), которая началась еще в эпоху Реформации. Однако обобщенное, теоретически отчетливое выражение новые правовые представления получили лишь в век Просвещения, в русле антидеспотического политико-юридического мышления.

Просветительские учения выросли и развились на почве кризиса феодально-абсолютистской государственности. Кризис этот обнаружил, что запретительная, указная и моралистическая законность, от которой так много ждали в начале Нового времени, не только не способствует оздоровлению общества, но и оказывает разрушительное воздействие на экономическую жизнь, психологию и нравы. Этот факт подвергся самому пристальному критическому анализу в работах Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, В. Р. Мирабо, Т. Пейна, Ч. Беккариа, Д. Юма и других представителей просветительской философии. С помощью наглядных примеров и убедительных «мысленных экспериментов» они показали, что в государстве, где право является просто возведенной в закон волей правителя, жизнь, собственность и свобода подданных гарантированы немногим лучше, чем в условиях полного беззакония.

(а) Количество преступлений, которые одни индивиды как частные лица совершают против других, значительно меньше количества преступлений, организуемых самой абсолютистской властью. Причем главным проводником этой организованной криминальной практики оказывается именно тот институт, который по идее должен бы был пресекать преступления, — судебнo-карательная система неограниченной монархии. Коронные суды *измышляют* преступления (например, путем изобретения антимонархических заговоров), выносят обвинительные приговоры *в соответствии с государственным спросом и заказом на осужденных преступников* (например, на колодников, галерных гребцов, в которых нуждался растущий королевский флот). Они, наконец, просто засуживают невинных людей, чтобы, увеличивая число публичных расправ, усилить *страх перед нарушением порядка*.

(б) Общая масса низких страстей, пресекаемых

карательными органами государства в форме частных уголовных деяний, значительно меньше той массы низких страстей, которые это же государство поощряет и поддерживает, прибегая к услугам шпионов, доносчиков, тайных осведомителей и оставаясь во всех своих звеньях доступным для пронырливости и подкупа. При дворе и в правительстве, в непосредственной близости от грозного монарха, «чья вечно подъятая длань все определяет и сдерживает»¹, свивают гнездо мошенники и спекулянты. Административный и судебный аппарат подвергается коррупции.

(в) Наконец, делается все более очевидным, что неограниченная уголовная репрессия феодально-абсолютистского государства вообще подавляет не столько преступную волю, сколько *свободную волю как таковую*. В страхе перед судебными расправами люди начинают остерегаться всякого решительного волеизъявления, всякой инициативы и риска, всякой неординарности. Они делаются скрытными, замкнутыми, анемичными; высшая мудрость подданного состоит теперь, по словам Монтескье, в понимании того, «что для него лучше, если должностные лица вовсе не будут знать о его существовании, и что безопасность его личности зависит от ее ничтожества»².

По наблюдениям Ч. Беккариа, это состояние всеобщей затравленности, во-первых, является благоприятной средой для массового зарождения наиболее опасного (трусливо-осмотрительного) преступника, а во-вторых, создает неодолимые препятствия для появления ярких, решительных, энергичных натур. «У большинства людей,— пишет он,— отсутствует мужество, одинаково необходимое как для великих преступлений, так и для великих подвигов»³. Общество как бы окостеневаает; все, что в нем еще делается, делается нехотя, из-под палки, и только в щелях и тайниках сохраняется какая-то неподневольная жизнь. Слава этого общества постепенно меркнет, а богатство оскудевает.

Беспощадный анализ кризисных и застойных процессов, сопровождавших рост абсолютистского насилия, позволил преодолеть традиционное (этатистское)

¹ Монтескье Ш. О духе законов. М., 1951. С. 179.

² Там же. С. 233.

³ Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.—Л., 1939. С. 347.

понимание права и развить принципиально новое (собственно юридическое) его истолкование.

Мыслители XVIII века камня на камне не оставляют от векового предрассудка, согласно которому безнравственные деяния тем быстрее искореняются, чем беспощаднее наказуются. Предельно широкая карательная репрессия по общеморальным мотивам неизбежно приводит к тому, что преступление (как нравственное понятие) становится просто *поводом, предлогом* для систематической, расчетливо-корыстной терроризации населения, которая развращает общество снизу доверху. Задача его оздоровления может быть решена поэтому лишь с помощью *разумного ограничения карательного насилия*.

Прежде всего, необходимо, чтобы преступление было отлечено от проступка (сколь угодно предсудительного) и заранее объявлено в законе в качестве наказуемого деяния. *Все, что не запрещено,— дозволено и не может подвергаться судебнополицейскому преследованию*. Наказанию подлежит лишь уличенное и доказанное преступное действие, а не опасный образ мысли, который делает преступление «в высокой степени вероятным». Превентивные наказания должны быть категорически запрещены.

Далекие от какой-либо снисходительности к преступнику, представители просветительской философии права вместе с тем единодушно отстаивают принцип: «Лучше десятки неотмщенных злодеяний, чем осуждение хотя бы одного невиновного».

Важное место в антидеспотической правовой литературе XVIII столетия занимает, далее, доказательство того, что судебно-карательная практика должна быть независима от соображений государственной прагматики. Как бы велика ни была потребность в «наведении порядка», в упрочении дисциплины или национальной сплоченности, в увеличении числа каторжников, занятых на тех или иных государственных работах, судебная власть не должна нарушать принципа карательной справедливости и трактовать наказание иначе, чем соразмерное возмездие за доказанное противоправное деяние.

Никакая, даже самая бедственная ситуация, в которой оказалось государство, не может служить оправданием для *вынесения ложных обвинительных приговоров*. Прогрессивные мыслители XVIII века

возрождают девиз римских юристов: «Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость», причем видят в нем не просто норму профессиональной судебной этики, но принцип, на котором должна основываться вся организация судопроизводства.

Стремление к разумному ограничению карательной репрессии находит свое интегральное выражение в понятии «неотъемлемых прав человека»¹.

Просветительская философия права от Локка до Канта упорно настаивает на том, что в разумно устроенном обществе любым государственным запретам, требованиям и советам должно предшествовать первоначальное *признание-дозволение*. Людям как автономным субъектам должно быть *категорически разрешено* думать так, как они думают, открыто выражать все, что они думают, свободно распоряжаться своими силами, способностями и имуществом.

Парадоксальное понятие «категорически разрешенного» (то есть дозволенного безусловным образом, независимо от любых требований общественной целесообразности) передает общий парадоксальный смысл нового, собственно юридического толкования права. Перечень же категорически разрешенных человеческих возможностей оказывается одновременно и перечнем знаменитых «естественных прав» (совести, слова, печати, собраний, собственности, перемещения, свободного распоряжения своей рабочей силой), под флагом которых развивается все антифеодальное движение последней трети XVIII века.

Но главное, в чем выражает себя «коперниканский переворот» в правопонимании,— это идея о необходимости *принудительного ограничения самой принуждающей государственной власти*.

Строгое право в трактовке Просвещения — это прежде всего такая нормативная система, которая позволяет лимитировать административно-бюрократический произвол и препятствует тому, чтобы мощная централизованная власть выродилась в деспотическую и диктаторскую. Стремление возвести заслон на пути превышения власти, утвердить *примат правового закона по отношению к воле государя, возведенной в закон*, образует основную тенденцию новаторских политико-юридических теорий.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 17.

Именно в данном направлении движется мысль француза Монтескье, настаивающего на «разделении властей» (законодательной, исполнительной и судебной). Именно над этой проблемой бьется в Англии Д. Юм. Важнейшая задача века, говорит он, состоит в том, чтобы «ради собственного сохранения проявлять бдительность по отношению к правителям, устранять всякую неограниченную власть и охранять жизнь и состояние каждого при помощи всеобщих и обязательных законов»¹. Наконец, немецкий философ-гуманист В. Гумбольдт пишет сочинение со знаменательным названием «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства». В качестве эпиграфа он берет рассуждение француза В. Р. Мирабо, демонстрирующее, что высшая мудрость власти заключается вовсе не в ее политико-административном искусстве, а прежде всего в том, чтобы «всячески подавлять в себе необузданное желание править — самую пагубную болезнь современных государств»². Право, согласно Гумбольдту, есть законодательное самоограничение государства, родственное самоограничению личности в акте моральной автономии и направленное на то, чтобы дать простор естественному многообразию неповторимых человеческих индивидуальностей.

Право еще не право, покуда само государство не стало правовым государством, то есть политической властью, которая признает безусловное *верховенство закона*. Закон принимается только выборными представителями народа на основе свободного и всестороннего обсуждения, а деятельность правительственных органов *ограничивается рамками закона*. Соблюдение принципа верховенства закона обязательно и усиленно при разных формах правления, не исключая и монархическую. Но высшим, идеальным воплощением этого принципа следует признать *конституционную республикански-демократическую государственность*.

Таковы наиболее общие постулаты, «парадигмы», отстаивавшиеся прогрессивными теориями права в эпоху кризиса и крушения феодального абсолютизма.

Термин «правовое государство» появляется доволь-

¹ Юм Д. Сочинения. М., 1966. Т. 2. С. 573.

² Цит. по: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 25.

но поздно — в немецкой политико-юридической литературе первой трети XIX века. Но что касается подразумеваемых им *понятия и идеала*, то они вынашиваются в течение по крайней мере двух столетий и, несомненно, представляют собой важное завоевание международной политической и правовой культуры¹.

Понятие правового государства рождается на свет в облачении иллюзий и умозрительных конструкций, на которых лежит печать вполне конкретного времени.

Идеологи подымающегося капитализма — политические утописты: они верят во всеислие политико-юридических норм и институтов. Справедливое законодательство кажется им не только необходимым, но и достаточным условием для воцарения социальной справедливости. Неотъемлемым личным свободам приписывается, как мы уже упомянули, статус «естественных прав», отвечающих интересам человека как повсюду одинакового природного существа. Необходимость конституционного ограничения власти обосновывается ссылками на так называемый «первоначальный общественный договор», заключенный будто бы еще в легендарной древности, в момент первоучреждения государства.

Как обнаружил позднейший критический анализ, именно эти иллюзии и умозрительные построения воплощали классово-ограниченные пристрастия зачинателей концепции правового государства.

Отсюда, однако, вовсе не следует, будто сами принципы конституционализма, равенства перед законом, верховенства закона, разделения властей, защиты прав человека и т. д. суть классово узкие умозрительные представления, которые по мере развития общества должны потерять позитивное социальное значение. То, что понятие правового государства сформировалось внутри раннебуржуазной идеологии, не мешает ему быть *непреходящим общедемократическим завоеванием*. Это такое же устойчивое приобретение человеческой цивилизации, как, скажем, линейная перспектива, которую открыли художники Возрождения, или утвердившееся в XVII—XVIII веках экспериментально-математическое естествознание, или (та-

¹ См. об этом: *Нерсесянц В. С.* Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 3—18.

кое сравнение будет, пожалуй, наиболее точным) трудовая теория стоимости, развитая классиками буржуазной политической экономии.

К. Маркс, как известно, был очень далек от того, чтобы брать эту теорию под подозрение по мотивам ее «эксплуаторского социального происхождения»: он развил великие теоретические догадки А. Смита и Д. Рикардо и довел их до логического конца. Аналогичного отношения требует и понятие правового государства: оно подлежит не «преодолению и отбрасыванию», а углубленной разработке внутри новой, социалистической концепции государственности.

Строго юридическое (разрешительное и гарантийное) понимание права, замыкающееся на идеал правового государства, добыто в анализе реального бедственного опыта деспотической государственности. Осуществляя этот анализ, представители раннебуржуазной философии и юриспруденции обнаружили достаточно высокий уровень объективности. Это объяснялось самим положением буржуазии как класса, который мог достигнуть экономического, социального и политического господства лишь на волне общенационального освободительного движения. Он проявлял поэтому готовность к трезвому учету потребностей других общественных групп, к удовлетворению своих особых интересов не в традиционной форме пожалованных привилегий, а в системе всеобщих государственных дозволений.

Вот эта-то способность обуздывать собственное сословно-групповое своекорыстие и явилась конечной причиной того, что именно идеологи подымающейся буржуазии сумели возвыситься над временем и выдвинуть такие политико-правовые идеи, которые вплоть до сегодняшнего дня сохраняют значение важнейших критериев цивилизованности государственной власти. Пока вопрос об отмирании государства не встал в повестку дня (а это, как мы отчетливо понимаем сегодня, произойдет еще очень не скоро), не может быть и речи об отказе от великой идеи конституционного законодательно-правового ограничения государственной власти, выдвинутой раннебуржуазной философией и юриспруденцией.

6. Идеал социалистического правового государства и судебно-правовая реформа

Периоды глубокого общественного обновления — это, как правило, и периоды глубокого уважения к предшествующим завоеваниям мировой политической культуры. Таково и время перестройки: оно не может не породить многопланового интереса к цивилизованному, демократическому пониманию права, впервые утвердившемуся в общественном сознании Западной Европы в конце XVIII — начале XIX столетия.

Последнее не удивительно: сама ситуация, в которой наше общество оказалось к началу 80-х годов, во многом похожа на ту, что анализировали зачинатели новоевропейского правового мышления. Мы ведь, если угодно, тоже сделали свидетелями кризиса и стагнации своей собственной абсолютистской государственности.

Деформация социализма, совершившаяся в 30-е годы, нашла самое мрачное воплощение в системе централизованного произвола и беззакония. Карательное насилие стало играть ту же роль, что и в прошлых деспотических режимах, а по масштабу и беспощадности превзошло все, чего этим режимам когда-либо удавалось достигнуть.

Репрессивные органы феодально-абсолютистских государств жестоко преследовали реальных и предполагаемых противников монархии, карали за умыслы, еще не превратившиеся в противозаконные деяния, карали «с упреждением и запасом», прибегая в некоторых случаях к прямому измышлению политических преступлений. И все-таки феодальный абсолютизм не знал еще систематической и регулярной, циничной и планомерной *массовой фабрикации мнимых преступлений*, которая осуществлялась при Сталине.

В 1927—1939 годах по ложному обвинению во «вредительстве», «подкулачничестве», «шпионаже», «террористической деятельности», «контрреволюционной пропаганде» и т. д. были репрессированы миллионы людей, не нарушивших ни одного из советских законов. В деятельности судебно-карательных органов как бы были сведены воедино все *процессуальные беззакония*, известные прошлой истории (юрисдикция подозрительности, торжествовавшая в средневековой

церковной инквизиции; пыточное следствие, применявшееся в пору печально знаменитой «охоты за ведьмами»; безапелляционность приговоров, которой славились коронные суды XVII—XVIII вв.). В стране возникло настоящее *лагерное рабство*, в системе которого эксплуатировалось неизмеримо больше «говорящих орудий», чем на строительстве египетских пирамид или на плантациях Древнего Рима. Кампанни арестов следовали одна за другой и обеспечивали режим *тотальной терроризации*.

Нельзя не согласиться с немецким философ-экзистенциалистом К. Ясперсом, утверждавшим, что XX столетие преподнесло миру не только атомную бомбу и бактериологическое оружие, но еще и чудовище *преступной государственности* — никогда прежде невиданное политико-юридическое воплощение абсолютного зла. Ясперс говорил об этом в связи с Нюрнбергским процессом и имел в виду прежде всего фашистский «новый порядок». Но с горечью и болью приходится признать, что через фазу преступной государственности пришлось пройти и диктатуре пролетариата в России 30-х годов. Это была, возможно, самая страшная, самая обескураживающая трагедия в мировой истории.

Репрессии сталинского времени затронули все национальности, классы и слои формирующегося социалистического общества, оказали пагубное воздействие на все сферы общественной жизни. За фасадом регулярных демонстраций политического одушевления совершался неумолимый процесс снижения гражданской, социальной и хозяйственной активности народа. Слежка и пристальный политико-идеологический надзор делали опасным именно то, что входит в понятие развитой личности, то есть самостоятельность суждения, критичность, оригинальность, решительность, инициативность. Людям выгодно было оставаться ординарными «средними индивидами», которые ищут удовлетворения своих частных запросов в русле заранее предусмотренных и предписанных форм коллективного поведения.

Но дело не только в этом. Не менее существенно, что атмосфера подозрительности и страха способствовала рождению таких установок, как замкнутость, скрытность, стремление отъединиться от общества и подпольно отстаивать свои особые интересы. В итоге,

как это ни парадоксально, утверждалась новая (во-все не «пережиточная», не от капитализма унаследованная) разновидность беззастенчивого эгоизма.

В социалистической стране происходил процесс, во многом подобный тому, который наблюдали критики и диагносты застойных феодально-абсолютистских порядков. На смену излишним при деспотизме гражданским добродетелям (откровенности, прямоты, мужества) пришли верноподданничество и покорность, прекрасно уживающиеся с завистью, коварством, корыстью.

Осложнения сплошь и рядом разительно отличаются от ранее перенесенной болезни. И все-таки их можно понять только как следствие болезни. Мелкотравчатый, подпольный эгоизм застойных годов, эгоизм несуна, взяточника и спекулянта, — циническая фаза в развитии давнего недуга, имя которого — недоверчивое отчуждение от общества, затравленность и гражданская усталость. Это рваческие судороги материального интереса, на котором лежит печать долгого бесправия и пришибленности¹.

«Теневая экономика» с ее кланами и мафиями взрела как подземное царство командно-административной социальной и хозяйственной практики. Здание организованной преступности, выросшее в годы застоя, строилось из человеческого шлама, который начал выработываться еще при сталинизме, в пору разгула государственной, юридической преступности. И рецепт пресечения этих самых неприемлемых, самых пагубных форм криминальной практики должен быть единым в своей основе.

На XIX Всесоюзной партийной конференции во всю силу прозвучало понятие *социалистического правового государства*. Неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона и его равнообязательности для всех инстанций, ведомств, лиц, для всех этажей и звеньев нашей политической организации было признано важнейшей предпосылкой для выработки и осу-

¹ Вот что с горькой тревогой замечал писатель В. Распутин в повести «Пожар» (1984 г.): «Обозначился в последние годы особый сорт людей, которые даже не за деньгами гонятся, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу... Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла; теперь можно сказать, что он всебятился».

ществления гуманистической модели социализма. Верховенство закона — это и гарантия против повторения государственных преступлений сталинского времени, и реальная основа для изживания правового нигилизма, и предварительное условие возрождения политической, социальной и экономической активности народа.

Возврат к принципу верховенства закона начался в нашей стране после XX съезда КПСС (1956 г.), принявшего по докладу Н. С. Хрущева историческое решение «О преодолении культа личности и его последствий». Понятие социалистического правового государства в ту пору не употреблялось, но конкретные установки, которые отстаивала партия, соответствовали его основному смыслу. Был проведен первый акт реабилитации жертв сталинского террора.

В центр критических расчетов с прошлым было поставлено понятие злоупотребления властью, то есть неподзаконных правительственных или судебных действий. Партия потребовала неукоснительного соблюдения конституционных норм от всех органов, решающих задачу охраны общественного порядка. Вторая половина 50-х годов стала временем крутого перелома в судебно-правовой практике, в деятельности МГБ — КГБ, основательность которого мы вплоть до сегодняшнего дня не могли по достоинству оценить из-за сокрытия подлинных масштабов и методов осуществления юридических преступлений предшествующего, сталинского периода. В науке начался отход от запретительного понимания правовой нормы; упрощенное, вульгарно-социологическое определение права как «воли господствующего класса, возведенной в закон» потеряло теоретический кредит.

Вместе с тем возврат к принципу верховенства закона еще не был полным и окончательным. Скажем больше: в судебно-правовой практике 60—70-х годов наметились новые опасные тенденции, нехарактерные для периода культа личности, но связанные с одним из основных постулатов правового нигилизма. Утопическое представление о непосредственной близости коммунизма, проникшее во многие программные документы тех лет, позволяло предполагать, что социалистическое общество вплотную подошло к периоду «отмирания права» и что процесс этот можно форсировать, заменяя наказание по суду морально-воспита-

тельными санкциями партийных и общественных организаций.

Широкое распространение получила практика передачи обвиняемого «на поруки трудового коллектива». Было установлено правило, согласно которому так называемые «малозначительные дела», не представляющие «серьезной общественной опасности», вообще не передаются в суд. Критерий «общественной опасности» оставался при этом моралистически неопределенным, а вопрос о целесообразности судебного разбирательства, по сути дела, просто предоставлялся субъективному усмотрению следователей.

Следственные органы превращались тем самым в неподзаконную инстанцию, но как раз поэтому подвергались самому беззащитному внешнему воздействию. Преступники, успевшие обзавестись высокими связями, попадали под защиту «телефонного права». Чем решительнее отстаивался лозунг о передаче общественности функций охраны правопорядка, тем шире становилось пространство юридической безнаказанности для наиболее крупных, наиболее изощренных и цепких нарушителей правопорядка.

Во времена Брежнева в органах милиции получила распространение практика необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел и прямого сокрытия преступлений. С другой стороны, сохранение ряда установок и правил, сложившихся еще в пору сталинского беззакония (условность прокурорского надзора, слабая процессуальная защищенность подсудимого, полное отлучение адвокатуры от следственного процесса и т. д.), позволяло фабриковать клеветнические вердикты и использовать это оружие против тех, кто отваживался вступать в борьбу с организованной преступностью.

Процесс политического и социального обновления, начавшийся после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, быстро завоевал и область юридического мышления. Принцип верховенства закона получил безоговорочное признание: с него были сняты подозрения в абстрактности и неисторичности. Вместе с тем стало ясно, что социалистическое правовое государство все еще остается для нас идеалом.

Период между двумя важнейшими вехами демократизации: XIX Всесоюзной партийной конференцией и первым Съездом народных депутатов — был време-

нем бескомпромиссного критического анализа действующей судебной системы. Он показал, что существующие кодексы законов покоятся на усеченном понимании права как средства предупреждения преступности и что помимо строго правовых установлений они включают в себя массу юридической отсебятины, которая служит прикрытием административно-нажимных методов управления.

В большинстве юридических документов по сей день подчеркивается карательная, а не охранительная функция правосудия. Задерживается разработка норм, которые препятствовали бы превращению судов в придаток следственных органов и обвинительному характеру судебного процесса. Прокуратура уделяет явно недостаточное внимание осуществлению своей важнейшей функции — надзора над соблюдением Конституции. Трудно найти пример, когда бы она выступила в качестве механизма, отбраковывающего начальственные инструкции, которые ущемляют гражданские права. Адвокатская служба пребывает в жалком состоянии: на сто тысяч населения приходится семь-восемь адвокатов (меньше, чем в 1913 г.); адвокатура не имеет статуса самоуправляющейся организации. В ходе судебного разбирательства все еще нередки случаи нарушения презумпции невиновности, смешения моральных и юридических критериев преступления, необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел.

Но это значит, что на сегодняшний день мы еще не располагаем безотказными юридическими гарантиями ни против рецидивов сталинской уголовной политики, ни против преступной снисходительности к правонарушениям, отличавшей брежневское время. Далеки мы пока и от эффективного правового обеспечения вновь утверждающейся хозрасчетной экономики, кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.

Все это делает понятным, почему XIX партконференция сочла необходимым принять особую резолюцию, посвященную судебно-правовой реформе.

Задача совершенствования кодексов советских законов и серьезного преобразования правосудия связывается в резолюции с более широким замыслом перестройки политической организации, с возрождением полномочия Советов депутатов трудящихся.

Серьезное внимание уделяется демократизации законодательной практики. Решительно акцентируется момент взаимоограничения, договора, который непременно должен присутствовать во всяком подлинном законе: «...не только граждане несут ответственность перед государством, но и государство несет ответственность перед гражданами». Система личных прав и свобод признается важнейшей ценностью, охране которой должна быть подчинена деятельность судов, следственных органов, защиты, прокуратуры.

Осуществление судебно-правовой реформы — не просто одно из условий, но существенное *предусловие* намеченных партией общественных преобразований. В щели, которые оставляет необоснованный свод законов или не подчиненное закону правосудие, может утечь все, что добывается трудной работой по совершенствованию социально-экономического механизма.

Судебно-правовая реформа — это и памятник жертвам сталинских репрессий, и решительное отвержение юридического попустительства 70-х годов, и забота о будущих поколениях — об их нестесненном *личностном развитии*.

Разумеется, эти высокие ожидания оправдаются лишь в том случае, если судебно-правовая реформа не остановится на полпути и если перестройка правоохранительных институтов будет поддержана изменениями в самом нашем образе мыслей. Какими же именно? Это можно определить коротко, всего двумя словами: *развитие правосознания*.

Правосознание — непростое понятие, и я не могу отослать к работе, где содержалась бы удачная его дефиниция. Совершенно ясно, однако, что правосознание — это не просто отражение в индивидуальном сознании смысла и характера уже действующих в обществе законов. У правосознания активный темперамент, и всего адекватнее оно обнаруживает себя именно тогда, когда критикует и корректирует действующие законы в духе идеальной справедливости. Эта нацеленность на идеал роднит правосознание с моральным сознанием, которое ведь тоже никогда не мирится с бытующими в обществе нравами, а снова и снова сверяет их с идеальным, возможно никогда полностью не осуществимым, эталоном нравственного поведения.

Понятие правового государства, наконец-то получившее неурезанное «право гражданства» в нашей юридической литературе, позволяет по-новому осветить проблему правосознания. Едва ли мне удалось найти адекватное определение этого понятия, но я думаю, что совершу наименьшую возможную ошибку, если охарактеризую его следующим образом.

Правосознание — это ориентация на идеал правового государства, которая имеет этически безусловный характер и уже в данный момент определяет практическое поведение человека как гражданина. Это значит, что, хотя правового государства еще нет, человек начинает жить так, как если бы оно уже утвердилось. Он вменяет себе в обязанность следовать таким установлениям (или хотя бы декларациям), которые соответствуют понятиям строгого права и правового государства, и отказывается подчиняться тем, которые несут на себе явную печать неправового (патерналистского и авторитарно-бюрократического) ведения государственных дел.

Строгое право, вообще говоря, вовсе не предполагает морального участия в предписываемых им нормах. Гражданин прибегает к ним лишь постольку, поскольку это диктует его непосредственный интерес. Но это справедливо лишь для условий, когда строгое право уже утвердилось и прочно подчинило себе деятельность судебных и правоохранительных органов.

Иное дело, если господство строгого права еще только устанавливается. В этой ситуации перед нравственно ответственным человеком встают совершенно особые, правовые обязанности. Прежде всего, он должен научиться уважать чужое право, особенно если оно декларировано, но недостаточно обеспечено действующим законом. Он должен, далее, непременно отстаивать и свое собственное право, отстаивать даже тогда, когда у него нет в этом серьезного интереса (как говорится, «из принципа»). Он должен не соглашаться с уравниловкой, даже если оказывается, что она ему выгодна. Он должен отстаивать примат справедливости над состраданием, правопорядка над простым порядком и гражданской честности над другими, весьма достойными добродетелями (профессиональными, семейными, дружескими и т. д.). Все это вместе и есть активное по своему темпераменту правосознание.

То, что оно сегодня пробудилось, несомненно: его обнаруживают самые различные социальные слои и группы. Это и интеллигенция, и служащие, и сельские труженики, и рабочие. О последних в контексте данного очерка необходимо сказать особо.

Современный рабочий конечно же очень далеко ушел от новоиндустриального предпролетария 30-х годов и по характеру своего включения в общественное производство, и по сознанию. Он больше не человек без правомочий: он их имеет и понимает. Основная масса рабочего класса, безусловно, поддерживает перестройку, и может быть в первую очередь именно в политико-юридических ее инициативах. Это убедительно показало участие рабочих в избирательной кампании 1989 года. Даже такие нежелательные в экономическом смысле акции, как забастовки горняков и трудящихся ряда промышленных предприятий Эстонии, — даже они несут на себе печать достаточно развитого правосознания, владения культурой обоснованных притязаний, признания мотивированных отказов и компромисса.

Вместе с тем такие события, как сумгайтская трагедия 1987 года или националистическое движение в Фергане летом 1989 года, обнаруживают, что низкоквалифицированные, малообеспеченные и «социально заброшенные» группы молодых рабочих все еще живут на нищенском рациионе политической и правовой культуры. Они легко становятся жертвой демагогии, рассчитанной на люмпен-пролетарскую завистливость и мстительность, и в принципе могут быть втянуты в любую неблагоприятную политическую акцию, вплоть до попыток восстановления репрессивно-террористического режима.

Формирование правосознания — процесс трудный и мучительный, особенно в нынешней экономической ситуации, которая предрасполагает людей к раздраженности, мелочному озлоблению, мнительности и, наконец, к иллюзиям примитивно-принудительного упорядочения социальной жизни. Чтобы не сделаться жертвой этих иллюзий, надо постоянно иметь в виду, каким трагическим процессам они содействовали в прошлом. Наша беспощадность к сталинщине — это заслон от рецидивов, к которым может толкать затянувшаяся кризисная ситуация, требующая и трезвости, выдержки, и преданности впервые обозначившимся нормальным и зрелым политико-правовым идеалам.

Е. Я. Виттенберг

СТРАШНОЕ И ЧУДОВИЩНОЕ

*(О культе личности
и режиме личной власти)*

Обожествляемые римские императоры, египетские фараоны, восточные деспоты, абсолютные монархи времен феодализма... Сколько их было в истории человечества? Десятки, сотни, тысячи... И XX век дал нам немало примеров режимов личной власти: Гитлер, Муссолини, Франко, Пиночет... Увы, феномен авторитарного режима не обошел и новый общественный строй. Эта страшная болезнь поразила в той или иной степени почти все страны, строящие социализм, а некоторые не переболели ею и по сей день.

Для нас режим личной власти Сталина обернулся страшной трагедией, продолжавшейся почти четверть века! Затем фарс брежневского культа, впрочем тоже далеко не безобидный и не лишенный трагизма. И здесь возникает масса вопросов: откуда берутся уродливые явления культа личности и режима личной власти, где их корни, какова их социальная опора и что нужно сделать для того, чтобы оградить наконец одну из величайших стран мира от произвола маньяков и самодовольных посредственностей, от культов и культиков?

Конечно, здесь больше вопросов, чем ответов, но в последнее время уже появился ряд художественных, публицистических и научных работ, в которых осуществляется попытка с разных сторон осмыслить такие сложные общественные явления, как культ личности и режим личной власти.

При этом сразу необходимо отметить, что появилось некое упрощенное представление по ряду проблем, и в частности в вопросе о тождественности культа личности и режима личной власти. Однако если культ личности — это феномен общественного

сознания, имеющий место по отношению либо к ныне здравствующему, либо к историческому лицу, то режим личной власти — это атрибут политической системы, обязательно предполагающий присутствие реального носителя — диктатора. Культ личности и режим личной власти могут как совпадать, так и существовать один без другого. В истории можно найти примеры, когда культ личности существовал без режима личной власти, а личная власть не сопровождалась культом личности.

Думается, что упрощенный взгляд на эти явления будет в ближайшее время окончательно преодолен, ибо постепенно на смену эмоциональному подходу к этим социальным феноменам все больше приходит серьезный научный анализ, чуждый элементов сенсационности. Всестороннее изучение объективных и субъективных предпосылок культа личности и режима личной власти, механизмов их возникновения и функционирования, их негативного влияния на все сферы общественной жизни, и прежде всего на социалистическую демократию, имеет сегодня, к сожалению, не только чисто научное значение. Опыт нашей страны, да и ряда других стран со всей очевидностью свидетельствует о необходимости создания в них демократического механизма, который бы возводил в каждом государстве надежный заслон против возможности появления культа той или иной личности и режима личной власти.

В противном случае, хотим мы этого или не хотим, будет и впредь сохраняться опасность перерастания авторитета политического лидера в культ личности, а коллективного руководства — в режим личной власти. Отсюда становится все более очевидным, что необходимо свести к минимуму зависимость судеб народов от субъективной воли одного или нескольких руководителей. Ведь трудно даже себе представить, что было бы с нами, окажись Сталин долгожителем!

Говоря о явлениях культа личности и режима личной власти, мы должны безоговорочно отдавать себе отчет в том, что их любые проявления находятся в непримиримом противоречии с ленинской концепцией построения социалистического общества на принципах социалистической демократии. И здесь, видимо, следует прежде всего вернуться к истокам становления Советской власти...

...Октябрь 1917 года. Пролетариат России свершил революцию. Власть от Временного правительства перешла в руки рабочих и крестьян. Советская власть шествует по гигантской России, достигая самых отдаленных уголков... Вековые чаяния народа о мире и земле начинают воплощаться в практике. В этих условиях уже при жизни В. И. Ленина родилась тенденция к возвеличиванию его личности, к созданию его культа. И проявлялась она прежде всего в народных массах, которые с полным основанием связывали победу Октябрьской революции, отстаивание ее завоеваний в годы гражданской войны, а также первые успехи социалистического строительства с именем вождя. Она находила отражение и в средствах массовой информации, которые печатали многочисленные материалы, посвященные Ленину, обращения к нему, приветствия, в которых любовь народа иногда принимала формы, близкие к обожествлению его образа. В определенной степени стремление возвеличить Ленина наблюдалось и в рядах руководства партии, Советского государства...

Будучи человеком высочайшей культуры, лишенным любой амбициозности, обладая такими личными качествами, как скромность, уважение к людям, Владимир Ильич был категорически против попыток создать культ его личности. «Это что такое? Как же вы могли допустить? Смотрите,— возмущался он, обращаясь к В. Д. Бонч-Бруевичу,— что пишут в газетах?.. Читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика... Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы я был здоров... Так, чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здоровье... Ведь это ужасно!.. Откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличиваете личности! Это никуда не годится! Я такой же, как и все...»¹

Или еще один пример. Вот как свидетельствует беспристрастная биографическая хроника В. И. Ле-

¹ *Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч. В 3 т. Воспоминания о В. И. Ленине. 1917—1924 гг. М., 1963. Т. 3. С. 296—297.*

нина об одном факте празднования 50-летия В. И. Ленина. После того, как была исчерпана повестка дня IX съезда ВКП(б), делегаты съезда предлагают организовать чествование Ленина в связи с приближающимся его пятидесятилетием; выступающему по этому поводу Е. А. Преображенскому Ленин подает реплику: «Лучше споем «Интернационал».

Ленин категорически возражает против празднования его юбилея; во время выступления делегатов с приветственными речами пишет в президиум две записки с требованием прекратить хвалебные речи в его адрес... После выступления двух ораторов Ленин покидает зал и уходит в свой рабочий кабинет, откуда настойчиво просит президиум побыстрее закончить речи; звонит по телефону председательствующему Г. И. Петровскому, решительно настаивает на прекращении «хвалебного словесного потока»...

По окончании чествования Ленин возвращается в зал заседаний и выступает с краткой речью по поводу списка кандидатов в члены ЦК РКП(б) ¹.

Историки располагают и другими многочисленными фактами, когда Ленин резко выступал против возвеличивания его личности, посылки ему приветственных телеграмм, персональных подарков.

Не было у Ленина и единовластия. В возглавляемом им правительстве в полной мере осуществлялись принципы коллективного руководства. Любой вопрос подвергался тщательному обсуждению, разгорались горячие споры, критиковались позиции и предложения всех, включая Ленина. Одним словом, в руководстве партией и страной можно было наблюдать то, что сегодня принято называть плюрализмом мнений. Соответственно и при голосованиях одни голосовали «за», другие «против» того или иного предложения. И, несмотря на огромный авторитет Ленина, его позиции нередко оспаривались, а в ряде случаев, как, скажем, в начале обсуждения условий Брестского мира, ленинские предложения были не приняты большинством ЦК партии. Поэтому Владимир Ильич категорически возражал против попытки приписывать ему единовластие и отождествлять его с ЦК. В траурные дни 1924 года Н. К. Крупская произнесла сле-

¹ Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 1987. Т. 8. С. 444.

дующие знаменательные слова: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почтение к его личности, не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д.— всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране, хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т. д., а самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы».

Немного теории

Считая вопрос о несовместимости режима личной власти и социалистической демократии в марксизме практически решенным и, более того, относящимся к аксиоматическим, В. И. Ленин в теоретическом плане мало занимался разработкой этой проблемы. Его научные интересы были больше связаны с общеполитической постановкой вопроса о роли масс и личности в истории.

Подобный факт, как нам представляется, свидетельствует о том, что Ленин рассматривал до последнего периода жизни режим личной власти в условиях социализма как явление аномальное, могущее возникнуть лишь при крайне неблагоприятном стечении обстоятельств.

Вместе с тем утверждение о том, что в ленинском теоретическом наследии нет ничего по поводу ограничения власти отдельных личностей, контроля за их деятельностью, было бы не совсем верно. Так, в работе «Что делать?» мы находим высказывание Владимира Ильича, которое имеет общеметодологическое значение для борьбы с возможностью сосредоточения в руках одного или нескольких партийных лидеров чрезвычайной власти. Прежде всего для правильного решения вопроса о выборе того или иного деятеля на тот или иной руководящий пост Ленин считал необходимым, чтобы все знали, «что такой-то политический деятель начал с того-то, пережил такую-то эволюцию, проявил себя в минуту жизни трудную так-то, отличается вообще такими-то качествами,— и потому, естественно, такого деятеля могут с знанием дела

выбирать или не выбирать на известную партийную должность *все* члены партии. Всеобщий (в буквальном смысле слова) контроль за каждым шагом человека партии на его политическом поприще создает автоматически действующий механизм, дающий то, что называется в биологии «выживанием наиболее приспособленных». «Естественный отбор» полной гласности, выборности и всеобщего контроля обеспечивает то, что каждый деятель оказывается в конце концов «на своей полочке», берется за наиболее подходящее его силам и способностям дело, испытывает на себе самом все последствия своих ошибок и доказывает перед глазами всех свою способность сознавать ошибки и избегать их»¹.

Не менее интересным представляется и другое высказывание Ленина из работы «Письмо в редакцию «Искры»: «Ни один политический деятель,— писал он,— не проходил своей карьеры без тех или иных поражений, и если мы серьезно говорим о влиянии на массы, о завоевании нами «доброй воли» масс, то мы должны всеми силами стремиться к тому, чтобы эти поражения не скрывались в затхлой атмосфере кружков и группок, чтобы они выносились на суд всех. Это кажется неловким с первого взгляда, это должно иногда представиться «обидным» для того или другого отдельного руководителя,— но это ложное чувство неловкости мы обязаны преодолеть, это наш долг перед партией, перед рабочим классом. Этим, и только этим, мы дадим возможность всей массе... партийных работников узнать своих вождей и *поставить каждого из них на надлежащую полочку*»².

Вопрос о необходимости демократического контроля масс за своими вождями Ленин ставил и после Октябрьской революции. «Масса должна иметь право сменять их, масса должна иметь право знать и проверять каждый... шаг их деятельности»³, — отмечал он.

В качестве инструментов контроля масс за своими вождями и борьбы со злоупотреблениями властью Ленин называл прежде всего прессу. Уже в приведенных выше ленинских высказываниях содержится ряд основополагающих идей, осуществление которых на практике должно создать механизм, гарантирующий

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 139.

² Там же. Т. 8. С. 96.

³ Там же. Т. 36. С. 157.

общество от возможности возникновения диктатуры отдельных личностей. Это идеи периодической выборности и сменяемости руководителей всех уровней, а также положение о необходимости постоянного демократического контроля за их деятельностью снизу. Весьма плодотворными в плане предотвращения возникновения режима личной власти являются и ленинские идеи о необходимости полной гласности и открытости политики руководства партией и страной, а также его мысль об использовании критики снизу как действенного оружия предотвращения и исправления ошибок руководителей.

Осознание реальной опасности

Особое внимание вопросам борьбы с диктаторскими поползновениями вождей Ленин уделил в последние месяцы своей жизни, когда он отчетливо осознал опасность для развития демократии, для всего дела социализма сосредоточения чрезмерной власти в одних руках, которая в условиях, когда партия была правящей и не имела оппозиции, могла превратиться в режим личной власти. Ленин отдавал себе отчет в том, что в стране существовали серьезные предпосылки для подобного рода извращений социалистической демократии.

Прежде всего, установлению режима личной власти могла способствовать экономическая ситуация в стране, при которой собственность на основные средства производства была уже экспроприирована у капиталистов и помещиков, но трудящиеся еще не стали субъектом собственности, то есть процесс «обобществления на деле» не был доведен до конца. Механизм соединения собственности с непосредственным производителем — хозяйственный расчет, за введение которого ратовал Ленин в последние годы жизни, был осуществлен лишь в ограниченном масштабе и не был полным. В условиях крайней ограниченности ресурсов и необходимости централизации право распоряжения собственностью могло перейти к лицам, обладавшим государственной властью. В свою очередь экономическая власть могла создать условия для еще большей концентрации политической власти в руках вождей.

В стране в этот период имелись не только экономические, но и социально-политические условия, мо-

гущие способствовать возникновению авторитарной формы правления. Так, в ходе гражданской войны и разрухи и без того немногочисленный революционный рабочий класс и его партия были в значительной мере ослаблены и обескровлены и при неблагоприятном стечении обстоятельств могли не оказать должного сопротивления устремлениям какого-либо из популярных вождей установить режим личной власти. Достаточно сказать, что, согласно данным, приведенным Сталиным на XIII съезде РКП(б), тот тончайший слой, который Ленин называл «старой партийной гвардией» и который определял политику партии, составлял в 1924 году лишь 2,6 процента коммунистов, или приблизительно 12,3 тысячи членов партии, вступивших в нее до 1917 года¹. В результате так называемого «ленинского призыва» в партию этот слой стал еще тоньше и составил всего приблизительно 1,8 процента². Далее, в стране преобладало мелкобуржуазное население, имеющее тенденцию шархаться из крайности в крайность — от анархизма до поддержки жесткой диктатуры сильной личности. Что же касается социальных носителей патриархального уклада, то экономические условия их жизни, их психология, система ценностей делали эту категорию трудящихся потенциальной социальной опорой авторитарной системы правления.

Общая культурная отсталость страны, отсутствие демократических традиций также создавали питательную среду для диктаторских поползновений.

В немалой степени могли оказать содействие возникновению режима личной власти и дефекты общественного сознания. Так, насаждавшийся в России веками культ неограниченной монаршей власти, традиции преклонения перед ней и бездумного подчинения ей глубоко укоренились в психологии народа, и прежде всего крестьянства. Кроме того, как отмечал Ленин, в России было много людей, забитых нравственно, просто мещан, для которых власть сильной личности отождествлялась с порядком, стабильностью, избавляла их от необходимости принятия самостоятельных решений.

И наконец, худшая разновидность европейско-ази-

¹ См.: *Сталин И. В. Соч. Т. 6. С. 201—202.*

² См там же.

атской бюрократии, оставшаяся нам в наследство от царизма, а также новая, советская бюрократия создавали организационные предпосылки для концентрации практически неограниченной власти в одних руках, ибо «авторитет есть поэтому принцип ее знания, и обоготворение авторитета есть ее образ мыслей»¹. Эта бюрократия мешала полному соединению рабочего класса с политической властью. И не случайно В. И. Ленин называл Советскую Россию рабочим государством с бюрократическими извращениями.

Прочитав обо всех этих объективных и субъективных предпосылках авторитаризма, читатель может задать резонный вопрос: так, значит, культ личности и режим личной власти были неизбежны в нашей стране? Несмотря на сложность этого вопроса, ответ на него как нам представляется, должен быть однозначным: нет, фатальной неизбежности возникновения этих антиподов социалистической демократии у нас не было. При политике, направленной на действительное соединение средств производства с непосредственными производителями, на постепенное преодоление отчуждения трудящихся от политической власти, на развитие социалистической демократии, повышение общей и политической культуры масс, формирование новых, демократических традиций в обществе, развитие гласности, при политике, осуществляющей бескомпромиссную борьбу с бюрократизмом, консерватизмом и догматизмом, неминуемо происходил бы процесс уменьшения опасности культа личности и режима личной власти, разрушения их объективных и субъективных предпосылок.

И как нам сегодня представляется, осознавая громадную серьезность социально-экономических, политических и идеологических предпосылок режима личной власти, Ленин в последние месяцы своей жизни пытался хоть каким-то образом помешать развитию негативных тенденций в этом плане и направить страну в русло демократического процесса. Это было особенно важно, поскольку в руководстве партии в этот период было два человека, страдавших непомерными амбициями,— Сталин и Троцкий, между которыми могла начаться борьба за власть.

И не случайно в известном «Письме к съезду» Ле-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 272.

нин уделил характеристике Сталина особое внимание. Понимая, какие издержки может иметь для партии и всей страны пребывание на посту Генерального секретаря Сталина, сосредоточившего «в своих руках необъятную власть», В. И. Ленин, как известно, советовал сменить генсека. По его мнению, Сталин обладал такими негативными чертами характера, как грубость, нетерпимость, невнимание к товарищам, капризность, торопливость, администраторское увлечение, озлобленность¹.

В своих последних работах Ленин уделил особое внимание вопросам качественного улучшения деятельности контрольных органов партии и государства. И это не было случайностью. Он рассматривал эффективную работу контрольных органов как важный фактор, призванный оказать противодействие как бюрократическим тенденциям в партии и государстве, так и попыткам тех или иных руководителей выйти из-под контроля рабочего класса и его партии. «...Члены ЦКК,— писал он,— обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая «не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел»². Однако, к сожалению, Владимир Ильич не успел разработать систему юридических и уставных гарантий против возможности возникновения в нашей стране культа личности и режима личной власти, то есть, говоря словами Маркса, в этом плане не были приняты законы, которые должны служить гарантиями против личностей. Не было выполнено и настоятельное пожелание Лени-

¹ Интересно отметить, что из всех вышеуказанных недостатков Сталин признал у себя лишь один — «грубость». Выступая на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 27 октября 1927 года, Сталин в разделе своей речи под характерным заголовком «Некоторые мелкие вопросы» говорил по поводу ленинского «Письма к съезду» следующее: «Говорят, что в этом «завещании» тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю» (Сталин И. В. Соч. Т. 10. С. 175).

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 387.

на о смещении Сталина с поста Генерального секретаря партии. Известно, к каким тяжелым последствиям это привело.

Цена невыполненного завета

Культ личности Сталина и режим его личной власти формировались постепенно, путем целенаправленной политики, имевшей своей целью активизацию объективных и субъективных предпосылок этих чуждых социализму явлений. Сталин быстро свернул политику нэпа и хозяйственного расчета, дававшие производителям определенную самостоятельность и независимость от политической власти, и тем самым резко затормозил процесс преодоления отчуждения трудящихся от средств производства.

Создание государственной монособственности, огосударствление, по сути дела, кооперативной собственности, породило благоприятные возможности для узурпации права распоряжения общественными средствами производства политико-экономической бюрократией, во главе которой стоял Сталин. Экономические рычаги управления, за которые ратовал Ленин, были заменены административно-командными, которые весьма быстро переросли в репрессивные методы руководства. В нашей литературе широкое распространение получила точка зрения, согласно которой в период правления Сталина в стране существовала административно-командная система. Как нам представляется, это не совсем верно. Уже к концу 20-х годов, когда «чрезвычайщина» из чрезвычайных мер превратилась в постоянную систему управления и стала широко применяться не только по отношению к партии, к крестьянству, но и ко всему обществу, в нашей стране начала безраздельно господствовать репрессивная система, которая с приливами и отливами просуществовала до XX съезда КПСС. Разумеется, ее господство не означало, что в стране совсем не применялась административно-командная или экономическая система. Однако последняя занимала подчиненное положение по отношению к первой. Вообще следует отметить, что в разные периоды истории, в разных странах одновременно сосуществовали и переплетались различные типы управления: экономический, административно-командный, бюрократический и репрессивный. И в за-

висимости от исторической ситуации то один, то другой из них использовался наиболее широко.

Так, например, в период «военного коммунизма» в нашей стране преобладала административно-командная система. В период нэпа наряду с экономическими механизмами продолжали существовать административно-командные. С конца 20-х до начала 50-х годов, как уже отмечалось, приоритет был за репрессивными методами. После смерти Сталина в стране сосуществовали бюрократические методы руководства (занимавшие главенствующее положение) с экономическими и административно-командными. В период перестройки на первый план выдвигается управление с помощью экономических рычагов, а административно-командная и бюрократическая системы управления постепенно сокращают свои сферы влияния.

В 20-е годы широкие перспективы для установления авторитарной формы правления открывала социальная политика Сталина. Выдвинув лозунг обострения классовой борьбы по мере продвижения по пути социализма, он осуществил в стране принцип Римской империи — «разделяй и властвуй», а именно: расколото общество на доносчиков и их жертв, внес в него атмосферу вражды и недоверия. Одновременно он стал методично уничтожать потенциальных лидеров общества, все светлое и талантливое в нем, пытался внедрить в народные массы чувство страха и слепого повиновения.

Особенно жестокими были репрессии по отношению к «ленинской гвардии», от которой, по мысли Сталина, должна была исходить главная опасность его неограниченной власти. «Расписав» «ленинскую гвардию» по реальным и мнимым оппозициям, стравливая ее представителей между собой, заключая союзы с одними против других, а с третьими против первых, Сталин добился того, что к концу 30-х годов «ленинская гвардия» была уничтожена. И здесь, видимо, следует сказать о том, что многие соратники Ленина оказались не на высоте: служили слепым орудием в руках Сталина, вносили немалый вклад в создание его культа и формирование его единоличной власти. Стремясь спасти себя, они отправляли на эшафот своих товарищей, но тем самым подписывали приговор и себе.

Главной социальной опорой становящегося тоталитаризма стала созданная Сталиным партийно-хозяйственная бюрократия. Это не была бюрократия в полном

смысле этого слова. Она была эмансипированной от общества, но находилась в полном подчинении Сталина, который с помощью перетряхивания и чисток аппарата мешал консолидации ее рядов и осознанию ею своих собственных интересов. Во многом это было связано с боязнью лишиться власти. Боязнь партии у Сталина присутствовала постоянно, хотя он считал себя ее хозяином.

Заслуживает внимания одно из первых откровений Сталина, которое было им обнародовано еще на XIII съезде партии в 1924 году. Люди чувствуют, заявил он, «что есть хозяин, есть партия, которая может потребовать отчета за грехи против партии. Я думаю, что иногда, время от времени, пройтись хозяину по рядам партии с метлой в руках обязательно следовало бы»¹. Известно, что кровавая сталинская метла «чистила» партию на протяжении четверти века, пытаясь полностью истребить в ней ленинские демократические традиции.

Чрезвычайные, репрессивные методы в период коллективизации, обрушившиеся на деревню, а затем распространившиеся на все общество, начали активно апробироваться на партии уже с середины 20-х годов.

Способствовала установлению культа личности Сталина и культурная революция — в том виде, в котором она была им осуществлена. Образование, знания, политическая культура распространялись в массах лишь в той мере, в которой они были нужны для усвоения примитивных догм и лозунгов, изрекавшихся Сталиным. Процесс формирования социалистических демократических традиций был практически сорван.

Сталин игнорировал большинство ленинских заветов, пытался создать культ Ленина, а его теорию фетишизировать и превратить в набор догм в собственной интерпретации. Ленинская концепция социализма была предельно обеднена, упрощена, лишена диалектической глубины и способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Ленинские идеи гуманизма, демократии, социальной справедливости перестали быть руководством к действию, а использовались лишь в качестве лозунгов.

В результате существования в нашей стране культа личности Сталина и режима его личной власти делу социализма в СССР, а также нашему престижу во

¹ Сталин И. В. Соч. Т. 6. С. 229.

всем мире был нанесен тяжелый ущерб, последствия которого сказываются по сей день и еще будут сказываться весьма долгое время.

Трудная дорога очищения

Как известно, XX съезд КПСС положил начало борьбе в нашей стране с такими явлениями, как культ личности и режим личной власти. И конечно, большая заслуга в этом принадлежит Н. С. Хрущеву. Культ личности был публично осужден, часть жертв его реабилитирована. В стране начался процесс демократизации, возрождения ленинской концепции социализма. Однако позитивные перемены в этом плане осуществлялись непоследовательно. Так, не были до конца вырваны экономические корни культа личности и режима личной власти, не был «разрешен» плюрализм мнений, бюрократия была лишь потеснена, но в основном сохранила свои позиции. Что же касается открытости политики, то она была осуществлена лишь в весьма ограниченной форме, а гласность хотя и расширилась, но продолжала носить строго дозированный характер. Реабилитация также была неполной, не понесли должного наказания и виновники страданий народа. Но самое главное — опять-таки не был выработан надежный механизм, предохраняющий общество от всевластия, произвола руководителей.

К сожалению, и эти паллиативные, непоследовательные шаги уже во второй половине 60-х годов были фактически сведены на нет. Вновь в средствах массовой информации замелькало одно имя, а обыватель вновь стал аплодировать ему в кинотеатрах.

В годы застоя, как нам представляется, тенденция к искоренению предпосылок авторитарной формы правления не только не усилилась, но, наоборот, была повернута вспять. Прежде всего, в этот период сложилась и консолидировала свои позиции бюрократия в своем классическом варианте. Массы, начавшие было пробуждаться, вновь были ввергнуты в состояние апатии. Профанирование деятельности демократических институтов вновь стало приближаться к апогею, а разрыв между словом и делом достиг небывалых размеров. Коррупция, правовой нигилизм, организованная преступность достигли таких масштабов, что в ряде аспектов преступной деятельности отечествен-

ные «крестные отцы» могли затмить сицилийскую мафию. Духовный мир общества был предельно обеднен: в теории годами повторялись навязшие в зубах догмы, процветали словоблудие и маниловщина, целью которых было доказать наличие общественного прогресса и процветания при отсутствии и того и другого. Все это оживило культовые тенденции в нашем обществе. Отсутствие демократического механизма смены руководства привело к тому, что одна из великих стран мира очередной раз была вынуждена жить ряд лет в тягостном ожидании смерти «выдающегося руководителя современной эпохи».

Не заставили себя ждать и спутники культа — репрессии. Правда, масштабы их были гораздо более скромными, чем в сталинское время, а формы более гуманными: жертвы уже не ставились к стенке и высылались не только на Восток, но и на Запад.

Таким образом, наше общество подошло к перестройке, по сути дела, с реально существовавшими структурами авторитарного режима.

После апрельского (1985 г.) Пленума ЦК партия продолжила курс XX съезда КПСС, направленный на окончательное искоренение в нашей стране предпосылок режима личной власти. Первостепенное значение в этом плане имеют усилия партии, направленные на развитие социалистического народовластия, на пробуждение социально-политической активности масс и их вовлечение в демократические процессы. А как известно, демократия должна существенно сузить сферу влияния в обществе политического бескультурья, апатии, конформизма, являющихся благоприятной почвой для произрастания режима личной власти.

В настоящее время много сделано для разрушения сталинских представлений о социализме, которые создавали идеологическое обеспечение его неограниченной власти.

Очищение ленинской концепции социализма от сталинских наслоений, восстановление ее полного объема и диалектической сущности одновременно создают предпосылки для постепенного разрушения существующих в общественном сознании остатков культовой психологии.

В условиях перестройки неизмеримо возрос объем информации о деятельности высших эшелонов власти, однако до «полной гласности», открытости политики, о

которой говорил Ленин, пока еще далеко, что, безусловно, затрудняет контроль масс за деятельностью руководителей. Много сделано и в плане осуществления ленинской идеи критики руководства, но, как свидетельствует практика, критика снизу руководителей определенного уровня пока еще, как правило, осуществляется лишь после того, как они сняты с поста.

Серьезные задачи ставятся у нас и в решении такого многосложного вопроса, как превращение нашего государства в правовое. Одной из центральных задач правовой реформы, как нам представляется, является создание юридического механизма, препятствующего возникновению любой формы авторитарной власти как в центре, так и на местах. В этом должно сыграть важную роль придание нашим законам всеобщности. Ведь не секрет, что по сей день наши законы имеют силу лишь для чиновников до уровня министра. Ряд руководителей республик, крупных городов в силу существования этого «потолочного права» не понесли юридической ответственности за развал хозяйства в вверенных им регионах, беззаконие, попустительство коррупции и организованной преступности в период застоя. В худшем случае они были отправлены на большую государственную пенсию.

«Главная проблема развития нашей политической системы,— отмечал М. С. Горбачев на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС,— создание такого механизма власти и управления, где был бы четко налажен действенный демократический контроль, выработаны соответствующие правовые процедуры, которые бы серьезно уменьшили, а то и свели на нет элементы случайности в решении важнейших политических, государственных вопросов, исключили возможность субъективизма на всех «этажах» нашей политической системы»¹. Он также подчеркивал, что в современных условиях «мы не можем терпеть в рядах КПСС даже элементов вождизма»².

Весомый вклад в предотвращение возможности возникновения режима личной власти внесла XIX Всесоюзная партийная конференция. В ее резолюциях содержится решение об ограничении срока пребывания на всех постах 10 годами. Оно прямо направлено про-

¹ Коммунист. 1988. № 4. С. 24.

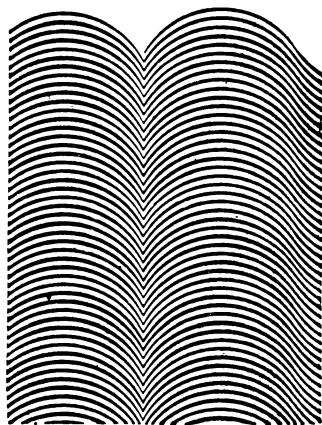
² Правда. 1988. 10 апреля.

тив попыток узурпации власти, ибо, как свидетельствует наш исторический опыт и опыт других стран, длительное пребывание на посту вождей нередко приводит к сосредоточению в их руках «необъятной власти» и перерастанию их авторитета в культ личности.

Трудно также переоценить антидиктаторский потенциал резолюции конференции «О борьбе с бюрократизмом». Реализация в практической политике содержащихся в ней положений о сокращении управленческого аппарата, передаче его функций сверху вниз, об усилении подотчетности управленческих структур выборным органам, о четком разграничении функций всех институтов власти, о реальном полномочии народа, широком вовлечении трудящихся в управление делами государства и общества должна постепенно уничтожить главную социальную и организационную опору режима личной власти в лице бюрократии.

Развитие демократических процессов в нашем обществе, конструктивная позиция руководства партии и Советского государства вселяют надежду на то, что в ближайшее время в нашей стране будут наконец окончательно разработаны правовой и уставной механизмы, создающие эффективный заслон и системы надежных гарантий против возможности возникновения режима личной власти, находящегося в антагонистическом противоречии с ленинской концепцией социализма.

ДИАЛОГ



СОЦИАЛИЗМ: АГОНИЯ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ?

В США в издательстве «Liberty Publishing House» вышла очередная книга известного противника коммунизма ведущего сотрудника Центра стратегических и международных исследований, профессора Джорджтаунского университета в Вашингтоне, бывшего помощника президента по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. Книга называется «Большой провал. Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке». Определяя замысел своего сочинения, автор отмечает, что он предсказывает в исторически обозримом будущем кончину коммунизма.

Мы публикуем с некоторыми сокращениями первую и заключительную части книги, носящие концептуальный характер, а также комментарии к ним доктора философских наук профессора Ю. А. Красина. Не соглашаясь с выводом З. Бжезинского, мы вместе с тем считаем, что дискуссия вокруг поднятых им вопросов полезна для понимания процессов, происходящих в социалистическом мире.

3. Бжезинский

БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ.

Агония коммунизма

Причина, ускорившая агонию коммунизма, — это провал советской практики. И в самом деле, сегодня, в конце XX века, кажется невероятным, что советскую модель когда-то считали привлекательной и достойной подражания. Это недоумение — мера того, как низко пало значение советского опыта в глазах общественности всего мира. И однако же были времена, не столь уж давние, когда советская модель вызывала восторг, восхищение и даже желание подражать ей. Следовательно, уместно задаться вопросом: как это случилось и почему?

Размышляя над причинами советского провала, поучительно вкратце остановиться на истории реализации марксистского эксперимента в России. В сущности своей это была западная доктрина, разработанная в читальном зале Британского музея одним интеллектуалом, немецким евреем. Затем это чужеземное растение было пересажено в далекую евразийскую империю с традициями полувосточного деспотизма — пересажено одним автором брошюрок, русским революционером, выступавшим в роли хирурга истории.

Случившееся в России после большевистской революции не должно было бы удивить того, кто внимательно читал Владимира Ильича Ленина. Большевистский вождь самой радикальной фракции русских марксистов бесцеремонно заявлял о своих намерениях. В бесчисленных статьях и выступлениях он с презрением обрушивался на тех марксистов, которые стояли за демократический процесс. Он заявлял вполне четко, что, с его точки зрения, Россия не созрела для социалистической демократии и что социализм будет по-

строен в ней «сверху», то есть, так сказать, посредством диктатуры пролетариата.

Диктатура, в свою очередь, должна была осуществляться лишь номинально пролетариатом. По мнению Ленина, новый правящий класс был политически в той же мере не готов к действительному управлению страной, в какой сама Россия исторически не созрела для социализма. Таким образом, новая диктатура требовала целеустремленного, исполненного понимания истории представителя пролетариата, который действовал бы от его имени. Именно из-за отсталости России ни общество в целом, ни относительно малочисленный класс промышленных рабочих не считались готовыми к социализму. Следовательно, историю надо было подстегнуть при помощи военизированного «авангарда» преданных революционеров, точно знающих, в чем суть наказа истории, и готовых полностью посвятить себя служению ей. Ленинское учение о партии как авангарде рабочего класса было его творческим решением дилеммы о неготовности России и ее пролетариата к марксистской революции.

Это ленинское учение, а также проявленная им непреклонность и последовательность в создании дисциплинированной организации профессиональных революционеров оказались решающим фактором в формировании политического характера государства, у руля которого впервые в истории оказалось движение, приверженное принципам социализма. Хотя и далекая от демократии, хотя и прибегавшая почти с самого начала к жестоким репрессиям против любой оппозиции, ленинская эпоха (продолжавшаяся еще несколько лет и после смерти Ленина) свидетельствовала о широко-масштабных социальных и культурных экспериментах. В искусстве, в архитектуре, в литературе — вообще в сфере интеллектуальной жизни царило настроение, что наступила новая эпоха, открывавшая новые горизонты искусства и науки. Интеллектуальный динамизм шел рука об руку с ленинским желанием считаться — в социально-экономическом плане — с диктатом реальности, обусловленным как общей, так и экономической отсталостью России. Знаменитый нэп, который, стремясь стимулировать исцеление экономики, полагался, по существу, на рыночные механизмы и частную инициативу, был тактическим шагом, отказом от незамедлительного построения социализма при помощи дикта-

туры пролетариата, переносом этой задачи в некое будущее.

Не идеализируя этот антракт, вероятно, все же будет верным охарактеризовать этот период как самую открытую и интеллектуально новаторскую фазу русской истории XX столетия. И в самом деле, нэп стал лаконичным термином для обозначения периода экспериментирования, гибкости и умеренности. Для многих русских, даже и более 60 лет спустя, это были лучшие годы той эры, начало которой возвестила революция 1917 года.

Но на самом деле в этом восприятии 20-х годов наличествует большая доля идеализации прошлого, в значительной мере обусловленная сравнением со сталинскими временами. Более важным, нежели жизнь Москвы, Ленинграда и нескольких других больших городов, были общегосударственная консолидация новой системы однопартийной власти, институционализация крупномасштабного социального насилия, навязывание ортодоксальной доктрины и укоренение практики оправдания любых политических методов, включая и самые тиранические, идеологическими нуждами.

Самыми каталитическими чертами катастрофического наследия Ленина были концентрация политической власти в руках всего лишь нескольких человек и опора на террор. Первое привело к сосредоточению всей политической власти в руках все более бюрократизировавшегося авангарда партии, контролировавшего всю структуру общества посредством разветвленной сети номенклатуры, то есть системы жесткого контроля над всеми — сверху донизу — назначениями. Готовность использовать террор против реальных или воображаемых оппонентов, включая и сознательное использование Лениным понятия коллективной вины в качестве оправдания широкомасштабных преследований целых социальных слоев населения, сделала организованное насилие главным способом решения сперва политических, а потом экономических и, наконец, социальных и культурных проблем.

Как до захвата власти, так и после этого Ленин открыто выступал за использование насилия и массового террора для достижения своих целей. Еще в 1901 году он сказал: «В принципе, мы никогда не отказывались от террора и не можем отказываться от него». В канун большевистской революции он писал в

«Государстве и революции», что когда он призывает к демократии, то подразумевает под этим термином «организацию для систематического использования насилия одним классом против другого, одним слоем населения против другого». Он не отступал от этой позиции и в ряде других работ, повторял ее и в своих речах. Ленин открыто провозглашал, что демократия для него означает диктатуру пролетариата: «Когда нас упрекают в диктатуре одной партии... мы говорим: Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем». Ленину принадлежат и такие слова: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

Едва захватив власть, Ленин, не тратя времени попусту, тут же начал осуществлять свои взгляды на практике. Вскоре он начал прибегать к насилию не только для терроризации общества в целом, но даже и для устранения мелких бюрократических помех. В выпущенном в январе 1918 года декрете, пытавшемся определить политику по отношению к тем, кто в любом случае был против большевистской власти, ленинский режим призывал государственные учреждения «очистить русскую землю от всех видов вредных насекомых». Ленин сам призывал партийных руководителей одного из районов страны «провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Что касается политической оппозиции, Ленин не терпел ее ни в каком виде, говоря, что было «намного лучше «дискутировать с ружьями», чем с тезисами оппозиции».

Таким образом, вскоре массовый террор стал административным средством решения всех проблем. Для лентяев рабочих Ленин требовал «расстрела на месте каждого десятого из уличенных в нерадивости». Для непокорных рабочих, для этих «нарушителей дисциплины», он тоже требовал расстрела. Возмущившись плохой работой телефонной связи, он дал Сталину недвусмысленные инструкции: «Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведая связью, не умеет добиться полной исправности телефонной связи со мной». Чтобы покончить с любой, самой незначительной формой неповиновения крестьян, ленинский режим при-

нял резолюцию, настаивавшую, что «из крестьян должны быть взяты заложники, с тем чтобы, если снег не будет расчищен, расстрелять их».

Новые правители могли оправдать себя, лишь ссылаясь на историческую необходимость насильем преобразовать общество, пересоздав его по образу и подобию советской политической системы. Политическая система ленинского типа не могла безгранично долго сосуществовать с обществом, функционирующим в основном на базе динамической спонтанности. Такое сосуществование или привело бы к коррупции политической системы, или вызвало бы коллизию между системой и обществом.

Ленин нашел уникальное решение — через главенство партии, наделенной властью, добиваться отмирания не государства, а общества как автономного организма. По Ленину, логика власти диктовала вывод, что для доведения до конца разрыва всех традиционных общественных связей должна быть усилена главенствующая роль государства, которому надлежало стать предопределенным историей инструментом.

Это Ленин создал систему, которая создала Сталина, и это Сталин потом создал систему, которая сделала возможными сталинские преступления. Но Ленин не только обеспечил возможность сталинизма, он сделал большее — ленинский идеологический догматизм и политическая нетерпимость в значительной степени исключили возможность появления любых других альтернатив. В сущности, непреходящим наследием ленинизма является сталинизм, и это самое суровое осуждение роли Ленина в построении социализма в России.

Гениальность Сталина состояла в том, что он отлично понимал внутренний смысл ленинского наследия.

«Социализм в одной стране» — таков был броский лозунг Сталина, под прикрытием которого осуществлялось беспрецедентное завоевание общества государственным аппаратом. Группа заговорщицки настроенных вождей, трудившихся по ночам в кремлевских кабинетах, взяла на себя задачу перестройки общества, уничтожения значительной части крестьянства и среднего класса, насильственного переселения миллионов людей, одновременно расширяя объем государственной власти до пределов, в истории неслыханных. Так «социализм в одной стране» превратил

эту страну в полностью подвластную главенству государства.

При Сталине возвышение роли государства и использование государственного насилия как орудия реконструкции общества достигли своего апогея. Все было подчинено личности диктатора и государству, которое он возглавлял. Превозносимый поэтами, воспетый композиторами, обожествленный посредством тысяч монументов, Сталин был единовластным хозяином страны. Тиран, равных которому было немного в истории человечества, он, однако, свое правление осуществлял посредством сложной структуры государственной власти, чрезвычайно бюрократизированной и институционализированной. Пока во имя сталинской цели построения социализма в одной стране общество перепахивали сверху донизу, укреплялся статус государственного аппарата, росли его мощь и привилегии.

Пирамиду власти поддерживала система террора, от которого никто, даже ближайшие соратники Сталина, не был застрахован.

Хотя общее число жертв сталинских репрессий никогда не станет известным, можно смело утверждать, что оно не менее 20 миллионов, а вероятнее, что достигает 40 миллионов. В книге «Большой террор» английский историк Роберт Конквест собрал воедино самые надежные и обоснованные оценки численности жертв, и его расчеты, очень взвешенные, скорее приближаются к верхней цифре, нежели к нижней. В общем, Сталин был, вероятно, самым крупным палачом за всю историю человечества. По числу своих жертв он затмевает даже Гитлера.

Эти массовые убийства были неотъемлемой частью создания советской системы. Эта система возникла, оформилась институционно, затвердела бюрократически и обрела собственный статус в ходе этих массовых убийств. Но отличительной чертой этого процесса является то, что, несмотря на все зверства, Сталин преуспел в создании у советской элиты и значительной части городского населения чувства, что страна добилась больших успехов. Он преуспел в этом благодаря отождествлению своей политики и себя лично с перестройкой советского общества, которая включала в себя интенсивную индустриализацию и урбанизацию страны, на которые был повешен ярлык построения социализ-

ма. Поэтому для многих советских граждан сталинская эпоха была эпохой общественного прогресса, эпохой великого исторического скачка вперед, эпохой великих свершений, возбуждающих искреннюю патристическую гордость за свою страну.

В умении оправдывать свои деяния и добиваться их одобрения Сталин равным образом преуспел и за пределами страны. В течение долгого времени многие западные комментаторы были более склонны — лишь отчасти отличаясь друг от друга в терминологии — хвалить его за индустриализацию России, нежели осуждать за террор. Таким образом, сталинская эпоха в значительной степени интерпретировалась как эпоха великих социальных перемен, стремительной динамики, перехода от сельскохозяйственной экономики к индустриальной. И в некотором смысле это верно. При Сталине Советский Союз действительно стал великой индустриальной державой. Действительно, произошел отток его населения из деревень. Была в полном объеме отстроена централизованная социалистическая система.

Несмотря на первоначальный темп советской индустриализации, цену, заплаченную обществом в сталинскую эпоху, невозможно оправдать утверждением, что советская модель социально-экономических перемен и модернизации обеспечила более высокие, чем где бы то ни было, темпы развития хозяйства страны. Оставив в стороне моральную несостоятельность такого рода калькуляций, следует отметить, что само это утверждение не выдерживает проверки фактами.

Очевидно, что не будет преувеличением сказать, что никогда прежде не приносились столь огромные человеческие жертвы ради столь относительно небольших достижений в социальной сфере. Сирил Блэк, историк из Принстонского университета, в работе, озаглавленной «Советское общество. Сравнительная оценка», всесторонне проанализировав процесс модернизации в СССР, пришел к следующему выводу: «В перспективе пятидесяти лет сравнительное расположение СССР в таблице комбинированных экономических и социальных индексов на душу населения, вероятно, не изменилось значительным образом. Насколько позволяют судить немногие доступные свидетельства, СССР с 1917 года не только не перегнал, но и не догнал какую-либо из стран — в пересчете на душу населения...

И те девятнадцать или двадцать стран, которые сегодня стоят в этой таблице выше России, опережали ее в этом смысле и в 1900-м, и в 1919 годах».

Однако суть катастрофического наследия Сталина коренится в Ленине — в оставленном им двойном наследстве: догматической партии и террористической тайной полиции. Бюрократическое чудовище Сталина было построено на фундаменте партийного авангарда, которому все должно было подчиняться. Как только партия предприняла реконструкцию общества, власть государства неизбежно должна была расти и расширяться. Собственное наследие Сталина состояло в усилении поощряемого государством насилия против общества, в создании полицейского государства, душившего общественное творческое начало, уничтожавшего в зародыше любое проявление интеллектуального новаторства, создании иерархической системы привилегий, подчинении всех централизованному политическому контролю.

Двойственное отношение многих средних советских граждан к попыткам десталинизации объясняет, почему брежневская эпоха длилась так долго и почему она приняла такие формы. Хотя она началась как устремленный к модернизации режим, пытавшийся привнести рациональность в шквал реформ, обрушенных на страну Хрущевым, брежневский режим вскоре стал равносителен квазисталинистской реставрации. Были увековечены основные черты сталинской системы, и в первую очередь ее централизованный и удушающий контроль, ее привилегированная номенклатура. Все это происходило на фоне усиливавшегося социального, экономического и даже политического упадка.

Все общество было политизировано сверху донизу, но реальная политическая жизнь шла лишь на самом верху. Таким образом, система была защищена от опасности перемен, но за принудительное увековечение самой себя неминуемой расплатой была стагнация.

После смерти Брежнева в 1982 году понимание необходимости перемен, реформ и серьезного обновления достигло наконец политически значимого размаха. Но уже было потеряно впустую более двух десятилетий. В результате эффект наследия, который необходимо было преодолеть, стал кумулятивным и массивным.

Единодушие во мнении о необходимости реформ, являясь на сегодняшний день компромиссом, маскиру-

ет существенные разногласия относительно многого в прошлом. Этот компромисс имел двойной эффект. С одной стороны, он позволил открыто и широко критиковать сталинскую эпоху. Благодаря этому советский опыт и советская модель были еще более дискредитированы во всем мире. С другой стороны, увековечение тоталитарной в основе своей системы за счет сохранения не только партии ленинского образца с ее притязанием на единственно верное постижение законов истории, но и сохранение основных институтов государства сталинского типа крайне уменьшало масштаб потенциальных реформ.

У Горбачева не было иного выбора, кроме как утверждать, что перестройка зиждется на ленинизме, коренится в нем и являет собой подлинное его возрождение. Вольно или невольно, но Горбачев вливал новую кровь в тяготение правящей элиты к марксизму с заложенными в нем притязаниями коммунистов на обладание абсолютной истиной и стремлением к тотальной власти. В этом и состоит суть ленинизма, которая сделала сталинизм неизбежным.

Все это говорит о том, что политические препятствия на пути подлинной перестройки не только чрезвычайно велики, но, вероятно, и непреодолимы. Разрыв с ленинским наследием потребует коренной переоценки природы правящей партии, ее исторической роли и вопроса о ее легитимности. Иными словами, подлинный разрыв потребует отказа от основной посылки коммунистической доктрины, а именно от утверждения, что может быть создана совершенная общественная система посредством политического принуждения, которая подчиняет общество государству, действующему как всезнающий представитель истории.

В сущности, перед советским руководством стоит неразрешимый исторический парадокс: чтобы восстановить международный престиж коммунизма, СССР должен отречься от большей части своего коммунистического прошлого — как в теоретическом, так и в практическом смысле.

Ключевой вопрос в том, может ли советская система успешно развиваться в более плюралистический организм, такой, который способен дать начало большему социальному и экономическому творчеству и этим обеспечить СССР действительную конкурентоспособность на мировой сцене. От ответа на этот вопрос

зависит не только судьба Советского Союза как великой державы, но также и перспективы коммунизма в более широком смысле. Теперешнюю кутерьму можно, вероятно, считать признаком такого изменения, но она также может быть и первой стадией прогрессирующего распада самой советской системы.

На протяжении многих лет эту систему называют тоталитарной не только потому, что общество принудительно ей подчинено, но и потому, что общество было насильственно переделано в соответствии с идеологической схемой. Так были созданы условия для деполитизированной ортодоксии, настоящая политическая жизнь прекратилась, и молчаливое согласие, казалось, отражало тотальное общественное единодушие. Политика стала заповедным правом и прерогативой только верховного руководства.

Эволюционный отказ от тоталитарных характеристик системы, таким образом, потребует постепенного узаконивания более плюралистических форм политической жизни, таких, которые позволят обществу играть более активную роль и в результате приведут к тому, что некая разновидность действительной политической жизни станет нормой общественного существования. Окончательный ответ на вопрос о вероятности такой эволюции зависит от того, можно ли разрешить две явно несовместимые между собой дилеммы, присущие текущей советской реальности. Первая: можно ли достичь оживления экономики без действительно фундаментального пересмотра роли партии в управлении обществом? Вторая: можно ли достичь децентрализации экономики, так же как и сопутствующего ей необходимого сужения роли партии как главной правящей силы, без существенного увеличения силы народов СССР, дабы децентрализация в конечном счете не стала эквивалентом поэтапного демонтажа Советского Союза?

Феномен коммунизма — это историческая трагедия. Порожденный нетерпеливым идеализмом, отвергавшим несправедливость существующего порядка вещей, он стремился к лучшему и более гуманному обществу, но привел к массовому угнетению. Он оптимистически отражал веру в мощь разума, способного создать совершенное общество. Во имя морально мотивированной социальной инженерии он мобилизовал самые

мощные чувства — любовь к человечеству и ненависть к угнетению. Таким образом, ему удалось увлечь ярчайшие умы и самые идеалистические души, но он привел к самым ужасным преступлениям нашего, да и не только нашего, столетия.

Более того, коммунизм представлял собой ложно направленное усилие навязать общественным явлениям тотальную рациональность. Он исходил из представления, что грамотное, политически сознательное общество может осуществлять контроль над общественной эволюцией, направляя социэкономические перемены к заранее намеченным целям. Так что история уже более не была бы просто спонтанным, преимущественно случайным процессом, но стала бы орудием коллективного разума человечества и служила бы моральным целям. Таким образом, коммунизм домогался слияния, посредством организованных действий, политической рациональности с общественной моралью.

Но на практике чрезмерная вера в человеческий разум, склонность очень острой борьбы за власть к переводу предварительных исторических суждений в разряд догматических утверждений, тяготение морализирования к вырождению в самодовольную политическую ненависть и особенно ленинское слияние марксизма с отсталыми автократическими традициями России превратили коммунизм в инструмент политического угнетения, что решительно не совпадало с его собственными моральными побуждениями.

Коммунизм сегодня в состоянии общего кризиса — как идеологического, так и системного.

Глубинные корни общего кризиса коммунизма — в малости его исторических достижений. Первоначальная его привлекательность в значительной мере была следствием того факта, что в начале XX века многие из существовавших тогда систем, даже и демократических, были невосприимчивы к страданиям и несправедливостям ранней капиталистической фазы промышленного развития. Но фактом является также и то, что ни один коммунистический режим не пришел к власти в результате свободно выраженной воли народа. Ни одна из правящих коммунистических элит — даже после десятилетий пребывания у власти — не желает обрести политическую легитимность, позволив своему народу сделать свободный выбор относительно продолжения существования коммунистической системы.

Это нежелание подвергнуть коммунизм испытанию на демократию является частично следствием манихейства и самозваного присвоения себе исторической миссии, свойственных марксистско-ленинской доктрине, а частично — следствием знания, что коммунизм у власти не преуспел в удовлетворении стремления общества к материальному благосостоянию и стремления людей к личному счастью.

Более того, историческая практика коммунизма как системы организации общества приводит к болезненной диспропорции между огромными жертвами, к которым насильно понуждают людей, и некими несомненными социально-экономическими благами, таким образом достигнутыми. Сравнение коммунистических и некоммунистических стран, находящихся на сходной стадии социально-экономического развития, таких, как ГДР и ЧССР — с ФРГ, Польши — с Испанией, Венгрии и Югославии — с Австрией и Италией, Китая — с Индией, свидетельствует о том, что фактически ни один коммунистический режим не добился улучшения своего положения по сравнению с соответствующими странами — будь то в терминах валового дохода, конкурентоспособности на мировом рынке или в терминах уровня жизни. Только Китай перегнал Индию, которая и сама является жертвой чрезмерно бюрократизированной квазисоциалистической экономической системы, да и то лишь после того, как Пекин начал отступление от марксистско-ленинской идеологии. СССР еще более отстал не только от США, но и от Японии. Валовой национальный доход Японии с ее населением, не достигающим и половины советского, за период с 1960 по 1988 год существенно вырос, будучи вначале втрое меньше советского.

Мизерность исторических достижений коммунизма отражена и в уровне жизни населения коммунистических стран. Сорок лет спустя после второй мировой войны Советское правительство все еще распределяет мясо по карточкам, а недавно ввело карточки и на сахар.

Ничто из вышесказанного не означает отрицания того факта, что коммунистические государства многого добились, особенно в развитии тяжелой промышленности и (преимущественно в начальных фазах своего правления) в сферах социального обеспечения и образования. Однако этот прогресс куплен ценой оше-

ломительного числа человеческих жертв. За всю историю человечества ни один из экспериментов по перестройке общества не обошелся так дорого, если говорить о человеческих жизнях, или не был столь расточителен, как тогда, когда человечество в XX веке столкнулось с коммунизмом.

Эта заплаченная обществом цена — включающая, как минимум, около 50 миллионов погибших¹ — представляет суть этой попытки социальной инженерии, самой, без сомнения, необычной и опустошительной из когда-либо предпринимавшихся.

Таким образом, великий провал коммунизма включает в себя, говоря суммарно, бессмысленное уничтожение значительной части талантов и подавление творческой политической жизни общества; чрезвычайно дорогую — потому что она выражалась в человеческих жизнях — цену за действительно достигнутые экономические цели и, в конце концов, упадок продуктивности экономики в результате государственной сверхцентрализации; прогрессирующее ухудшение чрезмерно бюрократизированной системы социального обеспечения, которая вначале представляла собой важнейшую заслугу коммунистического правления; и прекращение развития из-за догматического контроля жизнедеятельности общества в области науки и культуры.

Этот исторический провал, теперь откровенно признаваемый выступающими за реформы коммунистическими лидерами, имеет более глубокие корни, нежели «ошибки и эксцессы», о которых стали наконец сожалеть. Он берет начало в тактических, институциональных и философских изъянах коммунистического эксперимента. Он, в сущности, глубоко коренится в самой природе марксистско-ленинской практики.

Наиболее фундаментальными причинами этого провала все же являются причины философские. Окончательное заключение состоит в том, что марксистско-ленинская политика исходит из в сущности своей ложного понимания истории и фатально ошибочной концепции человеческой природы. Таким образом, провал коммунизма — это интеллектуальный провал. Он не сумел принять в расчет составляющее основу человеческого бытия стремление к индивидуальной свободе,

¹ Во всех социалистических странах. *Ред.*

художественному и духовному самовыражению, а в век всеобщей грамотности и массовых средств коммуникаций — ко все большей возможности политического выбора. Он также упустил из виду органическую связь между экономической продуктивностью и творчеством, с одной стороны, и стремлением индивидуума к личному благосостоянию — с другой. Так что коммунизм, выставляя себя в качестве новаторской системы, на самом деле душил творческое начало общества.

Этот интеллектуальный провал нанес удар по коммунизму и на международном уровне. Марксизм-ленинизм не предвидел и не учел тех фундаментальных сил, которые формируют международную ситуацию XX века. Он недооценил роль этноса и национализма, в результате чего межкоммунистические национальные конфликты стали для него шоком. Эти конфликты, в свой черед, усиливались склонностью считать другую сторону впавшей в ересь. Так было в ходе деструктивных советско-югославских и китайско-советских столкновений. Равным образом коммунизм не понял привлекательности религии и оказался не подготовленным к сопротивлению, базировавшемуся на католической вере в Польше, и к возрождению ислама в самом Советском Союзе. И последнее, но тоже важное: технотронная революция, так трансформировавшая в развитых капиталистических странах природу распределения власти и социальную структуру, застала марксизм-ленинизм врасплох — он все еще цепляется за устаревшие концепции, возникшие на ранних стадиях индустриальной революции.

Развязанные Горбачевым силы превращают разрыв исторической преемственности в более вероятное явление, нежели сохранение ее. Следовательно, любой анализ будущего коммунизма в СССР зависит от ответа на вопрос: является ли политика Горбачева сигналом обновления коммунизма, или она свидетельство его эрозии? Несмотря на риторику Горбачева относительно жизненной силы коммунизма, ответ на этот вопрос указывает в сторону эрозии, а не обновления. В тех пределах, в каких его перестройка привела к каким-то ощутимым переменам, таковые перемены являются отходом от догматов марксизма-ленинизма как в теории, так и на практике. В Восточной Европе и Китае, где реформы более ощутимы, а также смелее и прагматичнее, эта тенденция еще более очевидна.

Основное направление современных коммунистических систем, включая и советскую, — отказ от того, что когда-то считалось сущностью коммунизма. В области экономики: принцип государственной и общественной собственности в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания и даже в промышленности выбрасывается за борт, или ищутся различного рода компромиссные решения. Идет также наступление и на центральное планирование и ценообразование, наблюдается, пусть и неохотное, продвижение в сторону каких-то форм рыночного механизма. В сфере политики: разваливается система тотального коммунистического контроля над средствами информации. Идеологическая обработка уступает место сворачиванию идеологических усилий перед лицом «чужих» влияний. В ряде коммунистических стран идет наступление на господство одной-единственной партии в сфере политической жизни общества. В существенной степени незатронутой осталась лишь коммунистическая монополия на рычаги политической власти.

Таким образом, коммунизм в историческом смысле отстывает. Приведет ли это отступление к экономически более продуктивным и политически более плюралистическим системам? Ответ на этот вопрос различен в применении к разным странам. Относительно СССР тут уместно скептическое отношение. Антидемократическое ленинское наследие, многонациональный характер государства и глубоко укоренившиеся централистские традиции — все это в совокупности работает на подрыв восприимчивости общества к реальной передаче ему политической и административной власти и препятствует позитивному развитию.

Из четырех альтернативных исходов успех плюрализма в СССР наименее вероятен. Первый — затяжной, но не принимающий решительных форм системный кризис, длящийся без какого-либо четкого разрешения более десятка лет и периодически отмечаемый взрывами общественного негодования со стороны все более недовольных экономическим положением городских масс и особенно со стороны политически более беспокойных народов СССР. Вторая возможность — это возобновление стагнации, после того как волнения в конце концов пойдут на спад и централистские традиции, коренящиеся в русском прошлом, вновь утвердят себя. В какой-то момент это может привести к

третьей возможности — перевороту, организованному военными и КГБ (может, даже в сочетании с преждевременной кончиной Горбачева) и оправданному в глазах общественности эмоциональным призывом к великорусскому национализму. Четвертый потенциальный исход, вероятность которого на данной стадии является наименьшей, — это конечная трансформация затяжного кризиса в несомненную и явную гибель режима. Последний исход может привести также к распаду СССР на части, неизбежно вызвав широкомасштабные национальные и этнические междоусобицы.

Наиболее вероятный исход — затяжной, но не принимающий решительных форм кризис, который в конце концов может привести к возврату состояния стагнации, — еще более углубит общий кризис коммунизма, будет способствовать увеличению различий между коммунистическими государствами и ускорит процесс идеологического распада. Он также неизбежно увеличит межнациональные трения в СССР, одновременно усиливая сепаратистские устремления.

Единственным конструктивным решением все усиливающегося национального распада СССР (решения, совместимого с провозглашенными целями перестройки — то есть экономической децентрализацией и политическим плюрализмом) является не насильственный возврат к имперскому Советскому «союзу», а движение в сторону подлинной Советской конфедерации. Однако действительно добровольная конфедерация, вероятно, более уже не является практической возможностью, учитывая подъем национальных чувств народов СССР.

Военно-полицейский переворот, нацеленный на прекращение затяжного кризиса и восстановление централизованного господства, будет тоже способствовать — а может, даже и ускорит — отмиранию коммунизма в международном масштабе. При данных обстоятельствах, когда идеология стала по преимуществу ритуалом, а национализм становится все более напористым, переворот ради восстановления более эффективного централизованного контроля, даже если он и будет формально оправдан ссылками на доктрину, должен будет — ради политической его легитимации — активизировать националистические сентименты русских. Это может дать Москве необходимую народную поддержку для подавления националистических дви-

жений других народов. Но сомнительно, чтобы без возврата к сталинским методам можно было полностью искоренить эти национальные движения. Националистические страсти уже вырвались из «ящика Пандоры». В век национализма крышку этого «ящика» уже невозможно держать на глухом запоре.

Все варианты будущего предвещают, что СССР будет отступать от коммунизма. Успех перестройки повлечет за собой существенный подрыв коммунистической практики. Затяжные волнения станут сигналом того, что политическая система не способна реализовать стабилизирующую ситуацию передачи власти более динамичному и самоуправляющемуся обществу. Возвращение к стагнации будет значить, что коммунизм творчески расти не может. Репрессивный переворот, базирующийся на национализме и идеологии, дискредитирует СССР на международной арене, тогда как распад империи будет означать историческое поражение. Таким образом, в неопределенности будущего СССР заложена социальная и политическая динамика, угрожающая престижу коммунизма и его глобальным перспективам.

За пределами коммунистических стран возможности для распространения коммунизма как посредством революции, так и при помощи голосования представляются довольно ограниченными. С распадением марксистско-ленинской идеологии на части все более вероятно, что революционная деятельность, особенно в странах «третьего мира», будет движима в основном местными стимулами и мотивирована гибридом доктрин, сочетающих в себе элементы марксизма с более локализованными источниками эмоционального и интеллектуального призыва.

Некоторые элементы марксизма неизбежно будут частью любых остатков доктрин о насильственной революции и принудительной и быстрой перестройке общества. Марксистское понимание истории — часть мирового интеллектуального наследия, и любой радикальный лидер будет сознательно или подсознательно включать марксистские понятия в свой революционный манифест. Но эти элементы более уже не будут представляться как интегрированное целое, которое должно быть принято полностью. Марксизм-ленинизм утратил историческую легитимность как всеохватывающее учение.

Более того, даже в коммунистических рядах усиливается и ширится тенденция к философскому экumenизму, отчасти напоминая то, что проявилось в недавние годы в церковной жизни. Отличным примером такого «релятивизма» мышления является растущая склонность советских комментаторов признавать, что построение коммунизма в СССР было связано с искажениями учения, а это лишает советский опыт какой-либо универсальной значимости. Интеллектуальный прагматизм и синкретизм могут быть благими знаками растущей терпимости, но они также и свидетельство растущей доктринальной — или религиозной — индифферентности. Такая индифферентность — первая фаза прогрессирующего разложения самой сердцевины веры. Она влечет за собой переход от абсолютизма к релятивизму, от догмы к простому мнению. Этот переход — агония коммунизма.

Теперь обнаруживается новый феномен — посткоммунизм. Хотя XX век не стал веком триумфа коммунизма, над этим веком тяготел коммунистический вызов. С увяданием самого коммунизма этот вызов начал быстро терять свою силу. Парадокс состоит в том, что будущий успех коммунизма будет все сильнее измеряться его способностью двигаться в направлении большей свободы предпринимательства и способностью демонтировать институции прямого партийного контроля над политической жизнью общества.

Соответственно посткоммунистическая система будет системой, в которой отмирание коммунизма дойдет до такой черты, когда ни марксистская теория, ни бывшая коммунистическая практика уже не будут в значимой мере определять — если будут определять вообще — текущую общественную политику. Посткоммунизм просто станет системой, в которой люди, провозглашающие себя «коммунистами», уже не будут всерьез трактовать коммунистическую доктрину как руководство для социальной политики — ни те, кто будет объявлять ее источником легитимности их власти, при которой система пребывает в состоянии стагнации, ни те, кто будет призывать к следованию ей, одновременно на деле успешно подрывая ее суть, ни те, кто станет отвергать ее, уже более не опасаясь делать это публично. Пусть и в различной степени, но о СССР, Китае и Восточной Европе можно сказать, что все они приближаются к такой посткоммунистической фазе.

Вслед за великим провалом коммунизма для коммунистических режимов существуют, говоря обобщенно, две долговременные возможности. Первая — эволюция в сторону все более плюралистических обществ. Это первоначально будет означать введение различных степеней смешанности государственных и частных секторов экономики, узаконенных все более частым употреблением социал-демократической фразеологии, которая затем в некоторых случаях создаст отправной пункт для широкой народной поддержки решительного поворота к системе с преобладанием свободного предпринимательства. Вторая — пребывать в состоянии стагнации, в значительной мере сохранив существующие институты с властями предрержащими, латающими изношенную доктрину, но сохраняющими диктаторскую власть посредством военно-полицейской коалиции, которая все в большей степени полагается на национализм, а не на ритуализованную доктрину как на главный источник политической легитимности. В обоих случаях возникает вопрос: возможно ли, чтобы движение в том или ином направлении было эволюционным, или же оно приведет к переворотам?

Пока что исторические данные дают мало свидетельств в пользу первой возможности. Даже в относительно нетоталитарной Югославии монополистическая коммунистическая традиция, коренящаяся преимущественно в ленинизме, препятствует возникновению альтернативных источников политического руководства и пока что загоняет в тупик прогрессирующую трансформацию страны в нечто, приближающееся к социал-демократии.

Более того, как уже отмечалось, с увяданием идеологии коммунистические элиты повсюду испытывают соблазн усилить и узаконить свою власть за счет все более частого обращения к крикливому национализму. Хотя он может действовать против пока еще не исчерпавшей до конца своей жизненной силы коммунистической доктрины, обращение к нему работает на усиление авторитарных импульсов. Национализм усиливает те институты власти, которые могут эффективно воспользоваться его символами для усиления диктатуры и тем воспрепятствовать демократической эволюции.

Однако было бы ошибкой полностью исключать возможность посткоммунистического движения в более

демократическом направлении. В некоторых коммунистических государствах общественное высвобождение и возникшее в результате этого гражданское общество, сосуществующее с политической системой, но уже неподвластное ей, предвещают возможность прогрессирующего перехода к более истинным плюралистическим формам. Особенно важно влияние новых средств массовой информации, поскольку они не только разрушают коммунистическую монополию на контроль над политической жизнью общества, но и делают возможным доведение до всеобщего сведения альтернативных политических точек зрения.

В ускорении процесса увядания коммунизма особенно значительна роль мощного влияния вопроса о правах человека. Права человека — это единственная и наиболее привлекательная политическая идея современного мира. То, что Запад вызвал ее к жизни, уже вынудило все коммунистические режимы занять оборонительную позицию. Привлекательность этой идеи в том, что она отвечает интересам грамотных и политически сознательных масс, которые уже невозможно с прежней легкостью изолировать и подвергать идеологической обработке. Посткоммунистические авторитарные режимы будут, вероятно, особенно уязвимы для воздействия идеи прав человека из-за отсутствия всесторонней, заслуживающей доверия и неуязвимой идеологии. Таким образом, они станут доктринально рыхлыми и политически хрупкими.

Появление идеи прав человека не только заставило существующие коммунистические режимы занять оборонительную позицию, но и — с глобальной точки зрения — послужило отделению коммунизма от демократии. Благодаря концентрации внимания всего мира на отрицании свободы выбора при коммунизме, на попрании прав индивидуума, на отсутствии правового механизма и на политической монополии как на средства массовой информации, так и на экономическую жизнедеятельность была более четко выявлена связь между многопартийной системой, рыночной экономикой и подлинной демократией. Плюрализм теперь многими рассматривается как противоядие против тоталитаризма. В результате широко распространенным стало приятие — теперь даже и внутри коммунистических стран — утверждения, что демократический коммунизм — это оксюморон.

Активная пропаганда идеи прав человека также обеспечивает философскую легитимацию более прямых демократических обязательств, нацеленных на то, чтобы в рамках существующих коммунистических режимов выпестовать все более независимые и политически уверенные в себе гражданские общества. Появление автономного гражданского общества — это отправная точка для окончательного высвобождения общества от коммунистического контроля. Независимые группы уже вполне спонтанно возникают в некоторых коммунистических государствах — даже и в СССР, — используя возможности, даруемые новыми техническими средствами распространения информации. Возникающий, таким образом, независимый политический диалог может способствовать появлению демократического консенсуса относительно нужных социоэкономических перемен и посредством этого трансформации иначе мысля в реальную политическую оппозицию, способную или вести переговоры о мирной передаче власти, или политически использовать вырождение напористого коммунистического тоталитаризма в находящийся в состоянии обороны посткоммунистический авторитаризм.

В самом деле, некоторые из ныне существующих восточноевропейских коммунистических режимов, пройдя — возможно, с некими периодическими отступлениями — через посткоммунистическую фазу, в конце концов, вероятно, полностью интегрируются в мировое сообщество. Растущие научные обмены, интеллектуальные контакты и даже экономические отношения с коммунистическими государствами могут, таким образом, также способствовать процессу демократических перемен, особенно если они совпадут с усилиями ускорить возникновение подлинно автономных гражданских обществ в рамках существующих коммунистических режимов. Горькая, но и обнадеживающая ирония истории может, следовательно, состоять в том, что в конце концов коммунизм будет рассматриваться как необязательная и дорогостоящая переходная стадия от доиндустриального общества к социально развитой плюралистической демократии.

Такому конечному слиянию некоторых коммунистических государств с более обширным мировым сообществом может способствовать тот факт, что в этом веке плюралистические демократии сделают частью

своих систем некоторые наиболее плодотворные и даже конструктивные аспекты марксистского стремления к совершенному обществу. Социал-демократия на Западе дала серьезный толчок к введению социальных программ, нацеленных на улучшение общественного благосостояния. В результате в последние десятилетия даже в те демократические системы, которые в наибольшей степени склонны к тому, чтобы лелеять свободное предпринимательство, произошло включение различных инициатив в сферах социального обеспечения: равных возможностей для личного продвижения, прогрессивного налогообложения для снижения социального неравенства, доступа к образованию для менее привилегированных и обеспечения минимального медицинского обслуживания масс. Так что демократия свободного предпринимательства усвоила также и более развитое социальное сознание.

Вливание социальной сознательности в процессы политической демократии способствовало еще более четкому выявлению справедливости утверждения, что у коммунизма уже нет исторической миссии. Повышенное чувство социальной ответственности, демократии в совокупности с подлинной политической свободой выбора — формула, при которой государство не возведено на высочайший уровень, а сведено до роли инструмента для усиления общественного и индивидуального самовыражения, — создало высшего качества механизм удовлетворения человеческих потребностей, так же как и защиты прав человека. Растущий во всем мире упор на индивидуальную инициативу и на политически независимую социальную солидарность отражает все более широкое понимание того, что самые возвышенные мечты человечества могут обернуться кошмаром, если догматическое и всемогущее государство почитается как главное орудие истории.

Таким образом, обернувшаяся катастрофой встреча человечества в XX веке с коммунизмом дала болезненный, но крайне важный урок: утопическая социальная инженерия находится в фундаментальной противоречии со сложностью человеческого бытия, а социальное творчество лучше всего расцветает, когда политическая власть ограничена. Этот фундаментальный урок делает тем более вероятной возможность, что XXI век будет веком демократии, а не коммунизма.

Ю. А. Красин

ОТ КРИЗИСА К ВОЗРОЖДЕНИЮ

(Социализм на переломном рубеже)

В экстракте из книги З. Бжезинского в концентрированной форме рассматриваются реальные проблемы современного социализма. Автор хорошо известен как противник социалистической системы ценностей, и поэтому нет ничего неожиданного в тех жестких выводах, которые он делает из трудностей, переживаемых социалистическими обществами. Обосновывая эти выводы, он оперирует фактами и аргументами, несомненно заслуживающими серьезного разговора. Из всей суммы вопросов, поднятых американским профессором, я, с позиции человека, придерживающегося марксистского мировоззрения, хотел бы выделить три группы, показавшиеся мне особенно важными для осмысления развития теории и практики современного социализма:

- об истоках и причинах кризисного состояния советского общества;
- о концепции социализма и противоречиях его развития;
- о месте социализма в прогрессе мировой цивилизации.

I

Истоки кризиса авторитарно-бюрократического социализма, отождествляемого им с кризисом социализма вообще, З. Бжезинский однозначно усматривает в ленинизме. Модель социализма, сложившаяся в советском обществе в 30-е годы со всеми сталинскими де-

формациями, изображается как точное воспроизведение ленинских замыслов, базировавшихся, в свою очередь, на марксистской идеологии. Понятно, что кризис названной модели с этих позиций воспринимается как очевидный крах ленинизма и всего марксистского мировоззрения, а перестройка — как явный отход от марксизма-ленинизма.

Вывод автора кажется весьма убедительным, если рассматривать ленинизм через призму сталинистской интерпретации, а точнее, вульгарно-догматической дезинтерпретации. Я вовсе не хочу приписать американскому профессору намеренный выбор столь тенденциозной позиции. Дело в том, что примитивные стереотипы восприятия ленинизма весьма прочно утвердились в политическом сознании и политической науке. Прежде всего это результат многолетней, методичной работы официальной идеологии, вскормленной административно-бюрократической системой, но в немалой степени этому способствовали и западные советологи, которые охотно восприняли эти штампы, сильно облегчавшие их полемику с идеологией и практикой коммунизма.

В догматическом толковании Ленин изображается как сторонник безграничной диктатуры меньшинства, пролетарской партии, или, в западной терминологии, как идеолог тоталитарного типа власти. Не будем модернизировать Ленина и подгонять его под мерки происходящей перестройки. У него были и резкие выражения в адрес политической оппозиции Советской власти, и жесткие высказывания, подобные приведенным в книге З. Бжезинского. Но надо помнить, в какой тяжелой для революции обстановке это говорилось. Свои взгляды Ленин излагал не в кабинете ученого и не с кафедры университета. Он находился в гуще революционных событий в один из переломных моментов истории XX века. Поэтому как политический философ и стратег Ленин очень многогранен. Фундаментальные принципы его концепции как бы слиты с той конкретной реальностью, в которой он действовал и которая отличалась исключительным динамизмом, кипением человеческих страстей, остротой решаемых конкретных задач. У него практически не было времени для академической работы, которая позволила бы отделить основные посылы политической теории от ее конкретного применения в политической практике, вынуждав-

шей порой прибегать к крайним мерам, идти на компромиссы, проявлять гибкость.

Позднее именно Сталин кодифицировал ленинизм в угоду собственных амбиций и интересов олицетворяемой им нарождавшейся авторитарной системы. Живая ткань ленинской мысли была омертвлена и разорвана, из нее было взято и возведено в ранг официальной идеологии то, что могло быть представлено как легитимация складывавшейся системы и способов ее функционирования. Вот почему так актуальна задача нового прочтения Ленина и формирования под этим углом зрения нового видения марксизма XX века.

При этом нельзя канонизировать Ленина. Он, как и основоположники марксизма, действовал в исторических рамках своего времени. А оно было исключительно бурным, неустоявшимся, переломным. Поэтому в ленинских работах были и заблуждения, и иллюзии первых лет великой революции. Взгляды Ленина развивались вместе с общественной практикой, с ее крутыми поворотами. Общая тенденция этого развития просматривается довольно ясно: углубление и усложнение самого понимания механизмов общественных преобразований, освобождение от облегченных, порой утопических представлений о социализме и путях перехода к нему.

Под социализмом Ленин понимал планомерную организацию общественного производительного процесса для удовлетворения нужд общества и его членов за счет всего общества, для обеспечения полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества¹. В соответствии с марксистскими представлениями своего времени Ленин думал, что социализм означает отмену товарного производства и денег, огосударствление собственности на средства производства.

Эти ленинские взгляды после победы Великой Октябрьской социалистической революции и были положены в основу плана создания модели социализма, которую можно было бы назвать «государственным социализмом». Думается, эта модель отвечала условиям раннего социализма, когда планомерная организация производства, да еще в условиях сравнительно невысокого уровня социально-экономического развития,

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 232.

требовала максимальной мобилизации всех ресурсов общества.

Важно подчеркнуть, что Ленин ориентировался не на тоталитарное государство, вступающее в конфронтацию с обществом и стремящееся подчинить его себе, а на государство демократическое, вовлекающее в строительство социализма широчайшие массы народа. Ленин отмечал, что социалистическая революция «может быть успешно осуществлена только при самостоятельном историческом творчестве большинства населения...»¹ Государство должно было аккумулировать энергию масс, постепенно сливаясь с рождающимся социалистическим обществом. Именно поэтому в канун Октября Ленин называл социалистическое государство в противовес прежним типам государственного устройства «полугосударством»². Советы, в его представлении, отличались высоким демократизмом, воплощая в себе единство общественных и государственных органов.

Такова была теоретическая схема. Жизнь внесла в нее существенные коррективы. Обстановка гражданской войны помешала нормальному развитию, ужесточила рамки так называемого государственного социализма. Это нашло выражение в политике «военного коммунизма», которая стала необходимостью, так как нарождающийся строй оказался в положении осажденной крепости. К этому времени и относится большинство приводимых З. Бжезинским ленинских высказываний о насильственных способах защиты завоеваний революции. Тогда же получили широкое распространение иллюзии о возможности осуществления социализма «красногвардейской атакой».

Вскоре на практике обнаружили существенные дефекты военно-административного варианта государственного социализма. Оправданный в чрезвычайных обстоятельствах, этот вариант все более расходился с экономическими потребностями общества. Свертывание товарно-денежных отношений создало в стране кризисную ситуацию. Обстоятельства потребовали введения новой экономической политики, направленной на восстановление и развитие товарно-денежных отношений при сохранении за государством командных высот в экономике.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 171.

² Там же. Т. 33. С. 18.

Вначале действительно эта политика рассматривалась как временная, предназначенная для подготовки перехода через прямой товарообмен к социалистическому продуктообмену. Однако ленинская мысль двигалась к уяснению более фундаментальных причин сохранения при социализме товарно-денежных отношений. Нэп все отчетливее трактовался в качестве долгосрочной стратегии партии, «подлежащей проведению всерьез и надолго»¹. Работу по укреплению организованности, дисциплины, повышению производительности труда, что относилось главным образом к государственным предприятиям, Ленин предлагал проводить «на почве рынка, торговли», а не «против этой почвы», как ранее думали марксисты². Среди стимулов социалистической экономики на первый план выдвигались экономическая заинтересованность и хозяйственный расчет. Переход к коммунизму предполагалось осуществлять «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете...»³ Эти шаги вплотную подвели к признанию базисной значимости товарно-стоимостных отношений не только для капитализма, но и для социализма.

Ленин явно продвигался к такой модели социализма, экономика которой строилась на сочетании товарно-денежных отношений с государственным регулированием со стороны Советской власти. Реализуясь она, и широкое развитие товарно-денежных отношений создало бы основу для противодействия гипертрофированной централизации. Ассоциированные производители выступали бы не в качестве пассивных носителей единой государственной воли, а в качестве самостоятельных субъектов социалистических производственных отношений, активных совладельцев и сораспорядителей общественной собственности. Непотъемлемой характеристикой экономики стало бы социалистическое самоуправление трудящихся. Получила бы реализацию глубокая ленинская идея создания строя цивилизованных кооператоров.

Ленинские размышления об экономике социализма органически увязывались с обоснованием необходимо-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 340.

² См. там же. Т. 44. С. 470—471.

³ Там же. С. 151.

сти всесторонней демократизации общества, государства, партии, проведения политических реформ, гарантирующих социалистическую демократию, народовластие, вовлечение самих трудящихся масс в строительство новой жизни, их участие в решении всех общественных и государственных дел. Эти идеи определяют пафос последних ленинских работ, известных под общим названием — политическое завещание. В них нашли отражение гуманистическая природа марксизма, присущий ей демократизм.

Сталинизм грубо прервал наметившееся в ленинских работах развитие марксистских представлений о социализме как строе демократическом, государственно-самоуправленческом. Произошел возврат к примитивизированному варианту государственного социализма, отягощенному произволом культа личности, нарушениями законности, бюрократическими извращениями. Авторитарно-бюрократическая модель не имела перспектив. Она выхолащивала из социализма его гуманистическую сущность, все более расходилась с потребностями социалистического развития, ввергла советское общество в состояние застоя.

Утверждение авторитарно-бюрократической системы не было единственной возможностью развития социализма. Были альтернативы. В 20-е годы вокруг них шла острая борьба. Почему же победил вариант, закрывший дорогу становлению цивилизованных форм социалистических отношений?

Этому способствовали объективные условия первого прорыва к социализму. Становление нового строя шло непроторенными путями. Не было никакого опыта. А решались беспрецедентные задачи коренного переустройства всего уклада общественного бытия, стереотипов общественного сознания, формировавшихся веками и тысячелетиями в обстановке эксплуатации, угнетения, классового противоборства, межнациональной вражды.

Трудности становления социализма усугублялись тем, что первоначально он одержал победу в регионе, который не отличался высокой степенью зрелости материальных и социальных предпосылок нового общества. Как предвидели основоположники марксизма, в той или иной форме могла «воскреснуть вся старая мерзость»¹. Миазмы, источаемые этой мерзостью, пи-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 33.

тали разного рода извращения теории и практики социализма: бюрократизм, черствость, уравниловку, иждивенчество, беспринципность и коррупцию.

Стране потребовались неимоверные усилия для преодоления экономической и культурной отсталости, подъема бывших национальных окраин, для создания материально-технической базы нового общества. Приходилось идти на жертвы, экономить на всем, даже на школах, даже на жизненном уровне населения.

Еще не окрепнув, социализм прошел сквозь огонь кровопролитной гражданской войны, сопряженной с иностранной интервенцией. На него легла и главная тяжесть военного противоборства с фашизмом в годы второй мировой войны, безмерная тяжесть потерь, разрушения материальных ценностей, гибели миллионов людей, гигантской восстановительной работы. Все это происходило в обстановке непрерывного экономического, военного, политического, психологического давления со стороны капиталистического окружения. И конечно, огромное отрицательное значение сыграли личные качества и позиция Сталина и его окружения, вызванные их деятельностью отступления от принципов социалистической теории и практики.

Перечисленные факторы не могли не сказаться на становлении первого социалистического общества, на его облике и содержании.

Октябрьская революция потрясла Россию до основания, пробудила к политической деятельности многомиллионные крестьянские массы. В этом заключался невиданный прогресс, но таилась и большая опасность, которую прозорливо заметил Ленин. Волна мелкобуржуазной революционности, поднятая происшедшими социально-политическими сдвигами, могла захлестнуть революцию, исказить ее завоевания, деформировать их.

Понимая степень экономической и культурной отсталости России, Ленин рассчитывал на инверсию исторического развития. Политическая власть должна была стать рычагом для осуществления экономической и культурной революции, включая и политическую культуру масс. В последние годы жизни Ленин осознал всю гигантскую трудность этой задачи. Для ее решения он апеллировал к интеллекту партии, к узкому слою сознательных рабочих и партийной интеллигенции, к ответственности руководящей элиты. Решающим

фактором их гегемонии становилось их единство. К сожалению, мыслящий слой, на который рассчитывал Ленин, не смог выполнить своей миссии и был поглощен стихией, рождавшей примитивные представления о социализме, о путях его становления. На них спекулировал сталинизм, культивируя их и опираясь на них.

Сталинизм означал разрыв с философской концепцией марксистского социализма. Нельзя согласиться с тем, будто сталинские представления о социализме базировались на ленинских взглядах, на идеях марксизма. Думается, надо сказать по-иному: сталинизм спекулировал на марксистских идеях о роли социалистического государства в строительстве нового общества. По сути дела, он возрождал мелкобуржуазную волюнтаристскую концепцию казарменного социализма, насаждаемого административно-командными методами. Представляется, что этап государственного социализма был необходим в условиях России. Но были возможны разные его варианты. Под знаменем сталинизма восторжествовал деспотический вариант государственного социализма, который отнюдь не был исторически неизбежным. Был вполне возможен иной, демократический вариант, который мог бы подготовить условия для перехода к модели социализма более высокого типа, теоретические параметры которой обозначены в последних ленинских работах.

Сталинская политика направила развитие по другой линии: государство уподобилось гигантскому Левиафану, взявшему на себя регулирование всеми звеньями народного хозяйства, всей социально-политической и духовной жизнью общества. Управляемая из центра государственная собственность превратилась в своего рода гигантский насос, извне подстегивающий развитие экономики. Собственность была обезличена и лишена источников самодвижения. Путь демократизации общества и его эволюции к более высокому типу социалистических отношений оказался перекрытым. Централизованная регламентация деятельности всех низовых звеньев сложной экономики становилась тормозом развития. Абсолютизация административно-командных методов и бюрократизация управления экономикой оборачивались пассивностью, иждивенчеством и безынициативностью производителей, а в годы застоя — коррупцией и моральным разложением. Модель «раннего социализма», которая в годы сталинизма,

вопреки ленинским намерениям, была законсервирована в своей наиболее примитивной, административно-бюрократической форме, переживает глубокий кризис.

В этом — глубинная причина тех трудностей, с которыми столкнулся социализм. Из этого вытекает потребность в перестройке советского общества.

Естественно, в процессе поиска модели социализма более высокого типа неизбежен возврат к истокам, к ленинизму, очищенному от догматических наслоений, осмысленному с позиций историзма. Но такой возврат — лишь момент в поиске истины. Взлет ленинской мысли в последние годы жизни относился к началу процесса революционного обновления мира, который виделся тогда в иных измерениях, нежели сегодня, спустя семь десятилетий. Все казалось проще и быстротечней. Развитие пошло более сложным и противоречивым путем. Временные масштабы начавшихся на том рубеже перемен также изменились. Теперь легко судить о наивных прогнозах, упрощениях и неизбежных просчетах тех, кто в 1917 году бесстрашно встал на неизведанную дорогу к социализму, мечтая о близком, как им представлялось, торжестве справедливого общества. Иронизировать по этому поводу и безнравственно и антиисторично. Но понимать разницу конкретно-исторических условий в начале века и на его исходе абсолютно необходимо. Поэтому, возвращаясь к истокам ленинизма, надо смотреть не назад, а вперед.

Нынешняя действительность, свидетельствующая о том, что становление социализма — это длительный, многоэтапный процесс, требует переосмысления накопленного исторического опыта под углом зрения многочисленных современных проблем. Удовлетворительным ответом на этот вызов может быть только настоящий прорыв в социалистической теории. Принципы, сформулированные у истоков, должны быть подняты на качественно новый уровень, с учетом современных реальностей и уроков первого приступа к реализации социалистических целей. Кризис ранней модели социализма открывает перспективу в будущее.

Социализму свойственны свои стадии роста. Он только еще выходит из поры юности. В ней были и героизм самоотверженности, и романтические порывы, и увлечения; были заблуждения и склонность судить о

многим прямолинейно, недостаток мудрости, приходящей с годами. Социализм только еще вступает в пору зрелости, в пору серьезной переоценки ценностей, овладения сложной наукой познания противоречивого мира, поиска путей к его обновлению. Через своеобразный кризис развития социализм идет к новой модели, отвечающей нынешнему уровню цивилизации.

II

Перестройка повлекла за собой переоценку самой концепции социализма. В трактовке З. Бжезинского суть такой переоценки сводится к отказу от догматов марксизма-ленинизма, а значит, и от самой теории социализма. В моем понимании смысл переоценки в другом: в отказе от устаревших теоретических догм периода «раннего социализма», в творческом развитии теории применительно к реальностям конца XX столетия.

Не вызывает сомнений — и это доказано предшествующим опытом, — что всеобщее огосударствление не обеспечивает создание современной социалистической системы. Но это означает только то, что тезис о всеобщем огосударствлении имеет ограниченное значение и не относится к числу основных посылок коммунистической доктрины. Социалистическая мысль и практика сегодня вырабатывают иную модель социализма, сочетающую государственные и самоуправленческие начала.

Ведь марксистская теория — не застывший свод вечных формул, как она представлялась сталинским догматизмом. Эта теория — в оригинальном толковании ее основателей — представляет собой руководство к действию, методологический инструментарий для конкретного анализа действительности. Она развивается вместе с этой действительностью.

Практика перестройки заново ставит, казалось бы, давно ясные вопросы: что такое социализм, каковы его критерии? Она вынуждает по-новому взглянуть на некоторые черты реального социалистического общества, которые, как думалось, прежде характеризовали сущность социализма, а теперь обнаружили свою ограниченность и даже ущербность. В этом далеко не простом, а иногда и мучительном процессе переоценки ценностей проявляется кризис упрощенных и догматизированных представлений о социализме.

В этой связи уместно напомнить о возникновении социалистической традиции в истории общественной мысли, об изначальных представлениях великих социалистов-утопистов. Что имели в виду мыслители прошлого, говоря о социализме? Они имели в виду строй социального равенства и социальной справедливости, обеспечивающий всем людям полнокровную, счастливую жизнь. От этих идей отталкивался и марксизм, но он поставил их на почву материалистического понимания истории. Согласно представлениям, господствовавшим до марксизма и поныне исповедуемым некоторыми теоретиками, социалистический проект рассматривался как монополярный продукт ума и воли сознательного меньшинства, навязывающего результаты своей деятельности массам, «осчастливливающего» народ. Из такой концепции вытекают волюнтаризм и администрирование, произвольное манипулирование массами как пассивным объектом политической воли меньшинства, владеющего истиной.

Марксистская философия социализма выводит проект справедливого общества из анализа действительного исторического движения. В отличие от социалистов-утопистов, стремившихся умозрительно сконструировать совершенную систему общества, марксизм стал формировать представления о социализме на основе практики общественного развития. Как писали Маркс и Энгельс, коммунизм для них не состояние, которое должно быть навязано действительности, и не идеал, с которым она должна соотнобразовываться, а реальное историческое движение¹.

Социалистический проект при таком подходе перестает быть продуктом чистого разума и обретает жизненную силу в качестве выражения объективных потребностей социального прогресса.

Роль сознательного меньшинства состоит в том, чтобы, опираясь на действительное историческое движение, глубже понять его смысл, цели и тенденции, помочь ему раскрыть свои потенции. Сознательное меньшинство идет в авангарде масс, но вместе с ними, не опережая, а стимулируя развитие их инициативы и активности. Народ выступает не в качестве объекта, а в качестве субъекта исторического творчества, создателя социалистического общества. Социализм, со-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 34.

гласно этой марксистской концепции, предстает как творчество масс, освобождающих себя от эксплуатации и угнетения.

Однако, преодолев концепцию утопистов, марксизм на практике не смог полностью освободиться от утопических представлений о способности разума конструировать идеальные схемы будущего. И в этом была опасность догматизации теории, ее отрыва от реальности, недооценки значимости творческого импульса, исходившего снизу и не укладывающегося в прокрустово ложе идеологических схем. Конечно, любое творчество вдохновляется определенной системой ценностей. Но она может быть представлена лишь как совокупность самых общих принципов. Применительно к социалистическим ценностям это принцип свободы человека в сообществе свободных людей. Но как выглядит план реализации этих ценностей — это зависит от конкретно-исторических условий.

В разных условиях соотношение ценностей с реальными интересами и стремлениями массовых общественных движений приводит к разным представлениям о том, что такое социализм и каковы пути к нему. Революционеры 1917 года, совершавшие октябрьский прорыв, думали о социализме иначе, чем мы, а поколение XXI века будет иметь иное его видение, чем то, которое сформировалось сегодня в нашем воображении, исходя из сегодняшних реальностей. Конкретные представления о социализме всякий раз возникают на базе определенного исторического материала.

Тем более важно избежать абсолютизации конкретных форм и этапов развития социализма, выделить действительно существенные его признаки. С одной стороны, это требует учета теоретических представлений о социалистическом идеале, то есть мыслительного проекта общественной системы, способной обеспечить максимально благоприятные условия для всестороннего развития каждого члена общества, гарантирующего необходимую полноту его жизнедеятельности и самовыражения. С другой стороны, это требует учета объективных законов общественного развития, создающих условия для осуществления идеала. Если признаки справедливого общества не будут выведены из самого хода и перспектив объективного исторического процесса, то дело сведется к утопическому социалистическому проекту.

К числу важнейших материальных предпосылок социализма, создаваемых развитием общественного производства, несомненно, относится сравнительно высокий уровень развития производительных сил общества. Без него немыслимо обеспечить необходимый минимум удовлетворения материальных и духовных потребностей населения, создать условия для упразднения социальных антагонизмов, а затем и социального неравенства. Другая предпосылка социализма — обобществление производства, то есть развитие системы экономических взаимосвязей, при которых отдельные звенья производства функционируют как части целого, порождая как возможность, так и потребность в общественном регулировании производственного процесса.

На базе этих предпосылок становится возможным установление контроля общества над производственным процессом в интересах всего общества и каждого его члена. Таков в самом общем виде один из основных признаков социализма, конкретные формы воплощения которого могут сильно различаться в зависимости от условий места и времени. Так, ныне вполне очевидно, что социалистическое обобществление производства отнюдь не равнозначно огосударствлению. Последнее в какой-то мере «работает» как начальная форма социалистического обобществления при низком и среднем уровне индустриального развития. В этом смысле его можно рассматривать как индикатор движения в направлении к социализму. Да и то мера социалистичности такого огосударствления во многом определяется тем, насколько оно способно давать простор развитию самоуправленческих и кооперативных начал. В развитой же системе экономических связей государственные рычаги регулирования обязательно должны сочетаться с самоуправленческой инфраструктурой. К этому подталкивают и потребности технологической революции. Новые технологии гибки, подвижны. Они требуют многовариантного поиска, оперативности решений, риска, свободы рук у первичных производственных коллективов. Жесткая государственная регламентация «убивает» прогресс новых технологий. В нее не умещаются и творческие виды труда, научные знания, умения, приобретающие все большее значение в современном общественном производстве.

Наряду с государственной собственностью социалистическое обобществление производства предполагает

совокупность других типов собственности — кооперативной, групповой, индивидуальной. Вся эта целостная система отношений собственности, включая и государственно-самоуправленческие отношения, может считаться действительно социалистической, когда она охватывает всех ассоциированных производителей, каждого из них в качестве активного субъекта отношений собственности, ее совладельца и сораспорядителя. Иными словами, базисные отношения, а значит и вся организация общественных отношений, строятся по принципу общественной самодеятельности. Благодаря этому при социализме постоянно происходит такой обмен деятельностью между ассоциированными производителями, в котором притираются и согласовываются общие, частные (групповые) и личные интересы ассоциированных производителей. Понятно, что отношения собственности при социализме исключают любые формы отчуждения от собственности, эксплуатации и присвоения чужого труда.

В систему социалистических производственных отношений должен быть встроен механизм обеспечения социального равенства и социальной справедливости. Через социалистические рыночные отношения и государственные рычаги распределения и перераспределения общественного богатства происходит соизмерение затраченного членами общества труда с потреблением в соответствии с принципом «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Этот механизм включает и мощные социальные амортизаторы, гарантирующие надежную защищенность общественных групп и индивидов с низким уровнем дохода или по разным причинам оказавшихся вне трудового процесса.

Можно ли считать отличительным признаком социализма планомерность экономического развития? Разумеется, социализм предполагает планомерность и, следовательно, применение планирования народного хозяйства. Однако мировая практика убеждает, что планомерность и планирование — свойство всякой общественной системы, достигшей высокой степени развития. В развитых капиталистических странах планирование не только широко применяется (хотя и в специфических формах), но и достигает большой эффективности как в национальных масштабах, так и в международных интеграционных процессах. Поэтому, вероятно, правильней в качестве отличительного при-

знака социализма выделять не просто планирование, а сознательное управление экономикой и всем развитием общества в соответствии с социалистическими ценностями. Если в долгосрочном плане капитализм развивается стихийно, не имея ясной перспективы, то социалистическое общество сознательно ориентируется на социалистические цели.

В сфере социально-политических отношений атрибутивное свойство социализма — социалистическая демократия. Социализм без органического усвоения общечеловеческих демократических ценностей постепенно вырождается. Более того, демократия при социализме обретает новое качество, так как социалистические производственные отношения создают необходимость в развитии системы самоуправления, в ее распространении на социальные и экономические отношения.

По-видимому, одним из признаков социалистической демократии является широкий плюрализм мнений и взглядов. Гетерогенность системы социалистических отношений собственности создает почву для многообразия точек зрения, оценок, подходов, их конструктивного сопоставления. Все это повышает жизнеспособность и динамизм социалистического общества, способствует поиску оптимальных вариантов его развития.

В своей основе суть социализма сводится к известной формуле «Коммунистического манифеста»: свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Известно, что впервые термин «социализм» употребил в 1834 году французский публицист Пьер Леру, вкладывая в него содержание, полярно противоположное индивидуализму. Социализм в государственной форме, отдавая приоритет коллективистским принципам организации общества, стал отрицанием буржуазного индивидуализма. Но одновременно он обнаружил свою ограниченность, не обеспечив условий для раскрытия потенций каждого человека. Будущее за такой формой социализма, которая как бы вернется к индивиду, но на более высоком витке исторической спирали в рамках сложного общества, организованного на коллективистских началах.

Поток исторических перемен меняет и представления о социализме. Непреходяща только сама система социалистических ценностей, отражающих общую тенденцию движения общества к социализму как строю

справедливости, свободы, равенства и коллективистской солидарности.

После долгих лет застоя социализм пришел в движение. Одни воспринимают этот факт с опасениями, другие с надеждой, третьи рассуждают о безысходном кризисе. Между тем речь идет о естественном процессе перехода общества от одного качественного состояния к другому. Социализм органически усваивает критическую диалектику революции, из которой он вышел. Он развивается, постоянно критикуя себя, вскрывая и разрешая внутренние противоречия, преодолевая издержки собственного прогресса, трезво оценивая свое состояние и перспективы, демонстрируя революционно-критический подход к действительности. Борьба с косностью и закостенением, с консервативными силами, которые стоят за ними,— неотъемлемая черта социализма, олицетворение его преемственной связи с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Социализм — высокодинамичное общество, развитие которого не может сводиться к одним только эволюционным изменениям, а предполагает качественные сдвиги и революционные перестройки. Ленин писал в свое время о несостоятельности представлений, «будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на самом деле *только* с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии *большинства* населения, а затем всего населения происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни»¹.

Социалистическому обществу присущи свои имманентные противоречия. Они служат источником его прогрессивного развития. Назревание и разрешение этих противоречий периодически создают потребность в таких революционных скачках, которые по глубине и масштабности, эффективности и силе исходящего от них импульса к прогрессивным переменам могут не уступать и даже превосходить социальные революции прошлого, всякий раз поднимая социалистическое общество на качественно более высокую ступень. Именно такой скачок и являет собой происходящая в нашей стране перестройка. Столь существенные перемены не могут ограничиться одной только экономикой, а затрагивают все стороны как базисных, так и надстроечных

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 99—100.

отношений, иными словами, представляют собой настоящую революцию.

Перестройка — это революция, но революция в социализме, а не его отрицание. Она ведет к раскрытию возможностей социализма и назрела объективно из внутренних потребностей его развития, из потребностей дать убедительный социалистический ответ на вызов технологической революции. Вместе с тем это реакция на деформации социализма, на длительный период застоя. Мы сильно опоздали. Поэтому перестройка наталкивается на окостеневшие рамки авторитарно-бюрократической системы, в недрах которой сформировался механизм торможения, мешающий реализации возможностей социалистического общества. Образно говоря, пружина сильно сжалась и должна распрямиться.

С этим связаны трудности и противоречия перестройки, ее дилеммы, о которых пишет З. Бжезинский. Эти дилеммы не надуманы. Они существуют реально и несут в себе реальную опасность для перестройки. Альтернативы перестройке нет, возврат к старому тоже представляется невероятным. Но возможны откаты и зигзаги, способные надолго задержать общественный прогресс. Вот почему решение противоречий переходного периода приобретает первостепенное значение.

Перестройка породила целую группу противоречий. В экономике — между государственным регулированием и рыночными отношениями. В сфере властных отношений восстановление полномочия Советов повсеместно наталкивается на тормозные механизмы сложившегося за долгие годы командно-административного аппарата управления. В сфере идеологии устаревшие идеологические стереотипы довлеют над общественным сознанием, мешают открыто взглянуть на новые реальности. Очевидно, перестройка будет развиваться в противоречиях и через противоречия. Многие из них относятся к числу неустранимых антиномий всякого сложного общества: план и рынок, центр и периферия, управление и самоуправление, союз и национальный суверенитет, единство и плюрализм и т. д. Снятие этих противоречий и их постоянное воспроизводство в каждом новом цикле общественного развития — неотъемлемая черта современных сложных обществ.

Противоречия перестройки еще долго будут пронизывать нашу действительность. Для того чтобы вывести еврейский народ в земли обетованные, Моисею потребовалось 40 лет, на протяжении которых произошла смена поколений. Сбросить груз прошлого не так-то легко, должно поработать время. Однако существуют и такие противоречия переходного периода, которые требуют решительного демонтажа отживших структур в экономике, политике, в сфере мышления. К ним относятся и две дилеммы, упомянутые З. Бжезинским: оживление экономики — пересмотр роли партии, децентрализация — центробежные силы. Эти и другие дилеммы могут казаться неразрешимыми, если исходить из посылки о статичном состоянии партии и советской федерации. Они вполне разрешимы на путях демократической перестройки самой партии, последовательной демократизации федеративного устройства СССР.

Важнейшее условие прогресса перестройки — сохранение стабильности общества в ходе осуществления революционных перемен. Последние создают узлы напряжений в ткани общественных отношений. Удерживать степень напряжения в допустимых пределах, избежать разрушительной конфронтации и разрывов — таков смысл культуры согласия, формирующейся в процессе перестройки и требующей тщательного просчитывания социально-политических последствий предпринимаемых шагов. Политика консолидации общественных сил на основе консенсуса открывает перспективу продвижения вперед, минуя как Сциллу консерватизма, угрожающего интеграцией новых подходов в старые структуры, так и Харибду радикального нетерпения, способного расколоть общество и ввергнуть его в состояние анархического хаоса.

III

Вряд ли кто будет оспаривать, что социализм как идея и реальность сформировался в контексте исторического развития всей цивилизации. Участники октябрьского переворота 1917 года видели в нем начало мировой революции, призванной освободить человечество от всех форм социального и национального угнетения. Им казалось, что близок час всемирного торжества социализма. Теперь, когда улеглись революционное напря-

жение и накал страстей критических периодов первой половины XX века, мы ясно видим, что социальные преобразования таких масштабов не могли произойти в те сравнительно короткие исторические сроки, на которые рассчитывали марксисты.

Но главное даже не в сроках, а в самом понимании смысла революционных перемен. Акцент был сделан на «разрыв» со всем строем сложившихся отношений. В муках рождавшийся социализм представлялся как своего рода «мир», во всем противостоящий «антимиру» капиталистического общества. Это приводило к нигилистическому восприятию всего, что было связано с капитализмом. Если последний базируется на товарно-денежных отношениях, значит, при социализме их не должно быть; если буржуазная демократия формальна, то для социализма неприемлемы демократические нормы и процедуры политической жизни, достаточно одной революционной целесообразности. Этот подход позднее был использован для оправдания репрессий 30—40-х годов, стоивших обществу миллионов человеческих жизней. Нигилизм распространялся и на культурные ценности. Кибернетика, поскольку она возникла в капиталистических странах, была объявлена лженаукой. До сих пор дают себя знать пагубные последствия разгрома «буржуазной» генетики. Тезис о загнивании буржуазного искусства, попытки создать некий особый «социалистический реализм» отгородили духовную жизнь советского общества от общения с мировой культурой.

Рассматривая социализм в качестве продолжения и воплощения завоеваний мировой культуры, Ленин и окружавшая его интеллектуальная элита большевиков предпринимали огромные усилия, стремясь к тому, чтобы плуг революции, вспахивавший социально-экономическую почву страны, не разрушал бы глубинные пласты общечеловеческих ценностей. Авторитарно-бюрократическая система сталинизма, напротив, стала проводить курс на систематическое разрушение социальных и человеческих связей, духовных ценностей, представлявших собой фундамент человеческой цивилизации.

Перестройка направлена на возрождение гуманного социализма, способного абсорбировать лучшие достижения человеческой культуры, органически влиться в русло мировой цивилизации.

При всей гетерогенности и противоречивости мирового сообщества, несомненно, существует мощный пласт материальных и духовных завоеваний человечества, который составляет базу современной цивилизации, в какой бы форме она ни выступала — капиталистической или социалистической.

В сфере отношений общества с природой это достигнутый уровень материальных и интеллектуальных производительных сил, характеризующий способность человека воспроизводить условия своего существования и прогресса.

В сфере экономики цивилизационная база современного общества включает в себя систему товарно-денежных отношений, наличие рынка. Благодаря этому обеспечивается обратная связь общественного производства, его целевой заданности с потребностями общества. Человечество пока не выработало никакого иного механизма, который позволял бы соизмерять производство с потреблением. Огромный ущерб, нанесенный экономике авторитарно-бюрократическим вариантом государственного социализма, утвердившимся в сталинские времена, состоит в том, что он закрыл каналы развития рыночных отношений, породив экономику дефицита. Перестройка открывает эти каналы, создавая условия для действительного хозрасчета и упразднения обезличенности социалистической собственности.

В политической сфере в общецивилизационную базу входят ценности демократии, измеряемые степенью свободы человека, его участия в политическом процессе, правовое государство, которое действует на основе демократических норм. Все это представляет собой продукт политической истории человечества, результат борьбы передовых классов общества.

В духовной сфере общецивилизационные ценности — это великие достижения науки, искусства, культуры, плоды мысли и творчества многих поколений. Социализм наследует эти духовные ценности. Попытки отгородиться от них и противопоставить им «классовую науку» и «классовое искусство», как показывает опыт, могут лишь обеднить культуру социалистического общества.

Наконец, в сфере нравственных отношений к общечеловеческим ценностям относятся веками выработанные нормы поведения, законы порядочности во

взаимоотношениях людей. Социально-классовая детерминированность этих норм не упраздняет их общечеловеческого содержания.

Пласт общечеловеческих ценностей в экономике, политике, науке, культуре, морали намного толще тех антагонистических отношений, которые устраняются при переходе от капитализма к социализму. Да и сама эффективность этого перехода и его конечный результат зависят от способности сохранить и преумножить общечеловеческие ценности. Нигилистическое к ним отношение, как мы убедились на собственном опыте, деформирует социализм и дискредитирует социалистический идеал.

В свете сказанного очевидно, что продвижение к социализму не есть прямолинейное восхождение от низшего к высшему. Социальный прогресс осуществляется широким фронтом, неоднозначно и неравномерно. Он далеко не исчерпывается линией развития социалистических обществ, капиталистический мир, в свою очередь, не является средоточием регресса, упадка и застоя. Социальный прогресс измеряется интернациональным масштабом.

Показательно, что в начале 20-х годов ленинская мысль, освобождаясь от иллюзий о близкой победе мировой революции, уловила долговременную тенденцию к формированию всемирных связей в рамках сосуществования и взаимодействия социально разнородных общественных систем. Исходя из новых подходов, Ленин разработал теорию новой экономической политики, высказался за использование иностранных концессий, говорил об объективной необходимости развития экономических взаимоотношений Советской России с капиталистическими странами, подчеркивал, что эта необходимость сильнее воли и желаний каких-либо классов или партий. Ленин шел в направлении все более полного раскрытия глубины и сложности мировых взаимоотношений, которые складывались после победы Октября.

Позднее возобладали иные представления, грубо упрощавшие мировую действительность. Мир расчленился механически на две части. Взаимоотношения общественных систем стали трактоваться как полярное противостояние самостоятельных и автономных лагерей и рынков. Представления эти противоречили всемирному характеру мирохозяйственных связей, эко-

номической взаимозависимости стран, мировому процессу развития человеческой культуры. Утверждающееся ныне новое политическое мышление позволяет осознать узость и ограниченность этих еще бытующих кое-где воззрений. Раскрывая целостность противоречивого мира, новое мышление нацеливает на понимание общих цивилизационных основ взаимодействующих социально-экономических систем, наличие у них общих проблем, требующих кооперации усилий в интересах каждой из них, а главное — в интересах всего человечества.

Социальный прогресс предстает сегодня перед нашим взором как постоянный процесс накопления и обогащения ценностей цивилизации, а не как простая смена общественных устройств и «разрывы», характеризующие, скорее, диалектику форм общественного развития. Конечно, историческое соревнование общественных систем в выборе экономических, социальных и политических форм организации общества продолжается. Однако качественные различия между системами и обусловленное этим противоборство вовсе не обрекают их на конфронтацию, угрожающую стабильности мирового порядка, а, напротив, стимулируют взаимно полезное сотрудничество, соразвитие, в котором происходит взаимообогащение и выявляются наиболее перспективные направления общественного прогресса.

Социализм рождался в острой конфронтации с капитализмом, который весьма агрессивно реагировал на становление нового строя. Долгое время конфронтация доминировала во взаимоотношениях общественных систем. На этой почве сложилась конфронтационная политическая культура, которая и по сей день дает себя знать.

Целостность современного мира, общность глобальных проблем для всех стран и народов, поиск выхода из кризисного состояния сложившегося типа индустриальной цивилизации рождает иную культуру взаимоотношений общественных систем, иную культуру противоборства между ними. Это культура состязательности — консенсуса. На международной арене формируется новая модель взаимоотношений общественных систем, которую можно было бы определить противоречивым понятием «кооперация — состязательность» или «сотрудничество — соперничество». Проти-

воречивые компоненты этих понятий отражают противоречия нынешней мировой реальности.

В процессе общего поиска решения проблем нынешней цивилизации происходит сопоставление разных способов их решения. Такие взаимоотношения строятся не по принципу взаимоисключения, исходя из «образа врага», а по принципу взаимообогащения опытом друг друга. Представляется, что понятие мирного сосуществования не вполне адекватно складывающейся модели взаимоотношений общественных систем. Оно недостаточно полно отражает элементы органического взаимопроникновения общественных систем как компонентов целостной, хотя и противоречивой цивилизации. Различия общественных систем в этом аспекте их взаимодействия выступают не как фактор противостояния, а как фактор конструктивности, стимулирующей мировой общественный прогресс.

Под этим углом зрения все отчетливее открывается новое видение самого становления социализма. В широком историческом плане социализм предстает не в качестве чисто внешнего антипода капитализма, а в качестве мирового процесса, развертывающегося далеко не только в социалистических странах.

Вдумываясь в реальности современного капитализма, до неузнаваемости модифицированного под влиянием социалистических обществ и деятельности внутренних социалистических сил, нельзя не заметить, что в развитых капиталистических странах происходит движение к качественно иному типу общества.

Когда-то Ленин говорил об элементах социализма в недрах современного ему капиталистического общества. Он подчеркивал, что социализм смотрит на нас через все окна государственно-монополистического капитализма. Нынешнее капиталистическое общество варится в котле беспрецедентной по глубине технологической революции, требующей иных, чем прежде, форм общественного устройства. Это стимулирует социалистические тенденции в его недрах, формирует там уже не отдельные элементы социализма, а целые блоки социалистических структур — в экономике, в системе социального обеспечения, в политической сфере. По ряду показателей развитые капиталистические страны ближе к модели зрелого социализма, чем реально существующие социалистические общества, только еще ставящие перед собой задачу в начале бу-

дущего тысячелетия выйти на тот виток спирали технологического прогресса, на котором уже находится современный капитализм. Конечно, о развитых капиталистических обществах нельзя сказать, что там утвердился социализм. Но в этих обществах все больше таких черт и характеристик, которые не отвечают признакам классического капитализма. Помимо воли и желания правящих классов эти общества втягиваются в иную систему общественных отношений, эволюционирующую в социалистическом направлении.

Не являемся ли мы свидетелями рождения новой модели перехода к социализму не путем резкого прорыва, а путем продолжительного и постепенного преодоления капитализма на той самой основе, которая создается им в ходе технологического переворота и на которой он сам функционирует, порождая все более сильные тенденции и стремления к выходу в иную систему производственных и общественно-политических отношений? Такой переход представляется возможным через глубокие демократические преобразования, изменяющие всю систему контроля за производством и распределением общественного богатства. Для характеристики такой модели социальной революции вполне подходит гегелевский термин «снятие» (*Aufhebung*), сочетающий в себе три значения: упразднить, сохранять и поднимать. Эти представления соответствуют идее Маркса, высказанной в «Экономических рукописях»: «Подобно тому как система буржуазной экономики разворачивается перед нами лишь шаг за шагом, так же обстоит дело и с ее самоотрицанием, которое является ее конечным результатом»¹.

Современная действительность остро ставит перед мировым сообществом проблему демократического ответа на требования технологического прогресса в противовес порожденным этим прогрессом сильным тенденциям к технократизму и экономическому рационализму, готовому поступиться человеческим измерением общественного развития. Конечно, при социализме и при капитализме поиск такого ответа ведется в различных системах общественных координат. Но в целом человечество накапливает опыт такой организации экономики, которая открывала бы простор техно-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. С. 222.

логическому прогрессу, интернационализации общественного производства, экономическому росту и вместе с тем гарантировала социальную справедливость, демократизацию, высокое качество жизни, охрану окружающей среды. Социализм вносит в этот поиск такие завоеванные им ценности, как демократия в социальной сфере, социальная защищенность личности, коллективистская солидарность.

На исходе XX столетия перед человечеством все более четко вырисовывается историческая задача создания модели сложной общественной системы, сочетающей в себе максимум экономической эффективности и максимум условий для обеспечения свободы личности, ее всестороннего развития и самовыражения. Такая перспектива будущего соответствует социалистическому идеалу, целям происходящей в Советском Союзе перестройки. Для решения этой задачи перехода цивилизации на более высокий уровень необходима капитальная реконструкция всего мирового порядка, радикальная трансформация всего человеческого общества. Таким представляется мне содержание социальной революции современности, многоплановой и противоречивой, требующей взаимодействия широких и многообразных общественных сил.

Соответствует ли столь широкое видение перспектив цивилизации принципам марксистского мировоззрения?

Марксизм, подчеркивал Ленин, возник не в стороне от столбовой дороги цивилизации, а явился результатом обобщения опыта всемирной истории, критической переработки высших достижений общественной мысли человечества. Эта синтетическая, творческая работа продолжалась и позднее. Господство сталинистского догматизма омертвило марксизм, мифологизировало его, отгородило умозрительными конструкциями от общественной практики. Обновление социализма освобождает марксистскую теорию от догматических шор, возвращает ему способность впитывать в себя никогда не утрачивающий новизну исторический опыт многоликой мировой цивилизации. Теоретическая мысль пробуждается от долголетней спячки. «Сон разума порождает чудовищ», — говорил Ф. Гойя. Пробуждение снимает с общественного сознания иррациональную пелену мистифицированных идеологических сновидений. Теоретический разум возвращается к сво-

ей субстанциальной первооснове, к общественному бытию, к исторической практике.

Марксизм стремится сегодня к восприятию окружающей действительности — такой, какова она есть на самом деле. В его лоне концентрируется и осваивается многообразный социальный опыт всех стран и народов, всех общественных сил, составляющих современное человечество, происходит критическое осмысление разнообразных теоретических воззрений, высвечивающих сквозь призму интересов разных классов и социальных групп те или иные грани нынешнего взаимозависимого и противоречивого мира. Марксистская теория социального прогресса, оказавшая огромное влияние на общественную мысль человечества и вошедшая в неделимый фонд мировой культуры, нуждается в новом наполнении и модификации. Только через широкий диалог различных течений общественной мысли возможна в наше время выработка целостной концепции социального прогресса во всей его необъятной сложности и многовариантности с учетом новых реальностей мирового развития. На основе нового мышления марксизм, как мне кажется, вступает ныне в стадию творческого подъема. Он переживает в своем развитии качественный скачок, сравнимый с тем, который произошел в начале столетия, но, вероятно, гораздо более глубокий и масштабный. И это дает марксизму новое дыхание, сулит ему в XXI веке не меньшее влияние на сознание человечества, чем в XIX и XX веках.

* * *

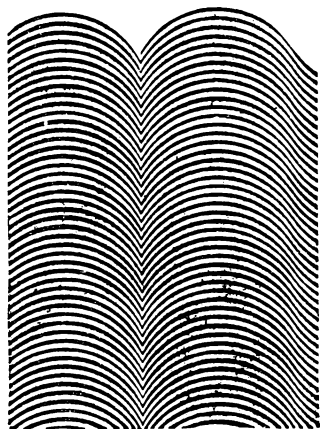
3. Бжезинский выступает против социализма и марксизма. И его аргументация убедительна применительно к авторитарно-бюрократическому социализму и догматическому марксизму. Стремительные перемены в странах Восточной Европы наглядно показывают, что искусственное копирование там деформированной модели раннего социализма, несмотря на все усилия, не выдержало проверки исторической практикой и нанесло ущерб социалистическому движению. Но правомерно ли ограниченный опыт авторитарно-бюрократического социализма отождествлять с теорией и практикой социализма вообще? Для этого нет сколько-нибудь веских оснований. По меркам всемирной истории становление социализма еще проходит начальные стадии.

Завершается только первый акт великой исторической драмы, завершается в кризисной ситуации. Но, несмотря на горькие уроки, социализм наложил неизгладимую печать на развитие цивилизации, вошел в экономическую и социально-политическую практику человечества. Поэтому за этапом критической переоценки ценностей последует возрождение на расширенной основе. Я убежден в этом, потому что социализм не сводится к какой-либо конкретной модели, а представляет собой мощную объективную тенденцию современной истории.

Социалистическая идея и социалистическое движение имеют глубокие корни в самом фундаменте общественного бытия человечества. Пока в обществе сохраняются угнетение и социальное неравенство, они будут питать массовое стремление к разумному общественному устройству, способному обеспечить свободу и справедливость каждому человеку в сообществе свободных и равных людей. В осмыслении и воплощении этого стремления и заключается суть социализма, продолжающего и развивающего демократические идеалы эпохи Просвещения и великих буржуазных революций.

Крах авторитарно-бюрократического социализма как раз и объясняется разрывом с принципами демократии и гуманизма. Социализм и демократия нераздельны. Как отмечал Ленин, последовательное развитие демократии непременно ведет к социализму. Поэтому есть все основания считать, что XXI век будет веком демократии и социализма.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ



Л. Н. Митрохин

РЕЛИГИЯ И МЫ

Одной из тем, которая стремительно ворвалась в публикации о перестройке, стало положение религии в нашем обществе. Нельзя сказать, чтобы раньше о церкви и верующих не вспоминали. Функционировала разветвленная сеть «атеистического воспитания», включающая в себя дома атеистов, особые секции, кружки, лектории, не говоря уже о целой индустрии антирелигиозных изданий. Все эти материалы были однозначно нацелены на «изживание» религии, которое мыслилось весьма близким. СССР давно был объявлен «страной массового атеизма», а религия — досадным пережитком, тающим на глазах.

В последние годы, однако, «все переменялось вдруг».

Недавно я сказал православному епископу: «Вам, владыко, определено повезло: юбилей крещения Руси отмечается сейчас, а не, скажем, лет пять назад». Он кивнул с явным одобрением. А вскоре мне довелось выслушать взволнованный монолог штатного атеиста: «Насколько я понимаю, скоро все мы будем не у дел. Даже партийная печать флиртует с церковью, а деятели культуры напоказ выставляют крестики и бубнят: «Соловьев, Федоров, Флоренский, христианская духовность». В этих невыдуманных эпизодах проявились противоположные, но одинаково симптоматические реакции на нынешнюю религиозную ситуацию, на новый образ религии в общественном мнении. Поэтому полезно поразмышлять, почему и как он получил столь широкое влияние.

Следует признать, что многие из нас давно знали о тяжких преступлениях против духовенства, о вандализме по отношению к культовым зданиям и оскорбительном отношении к верующим. Однако в периодику тема религии пробиравалась достаточно робко, постоянно оглядываясь на воинственных богоборцев, всегда готовых обличать идейные шатания. Еще недавно возникали трагикомические, отдающие абсурдом ситуации, послушные перу разве лишь Д. Хармса.

30 июля 1986 года «Комсомольская правда» напечатала статью доктора философии И. А. Кривелева «Кокетничая с боженькой», в которой В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Быков резко обвинялись в богоискательских грехах. Тем самым читателю навязывался, в сущности, нелепый выбор: доверие к атеизму предполагало осуждение именно тех писателей, которые заслужили широкое признание своей социальной чуткостью и нравственной бескомпромиссностью. Попытка Е. Евтушенко защитить коллег привела к появлению в той же газете (10.XII.86) статьи «Не вера, а знания» доктора философских наук С. Калтахчяна, который без особых колебаний отнес поэта к числу тех, кто «не в ладу с известными истинами марксизма-ленинизма и допускает мировоззренческую путаницу». Эти публикации вызвали категорическое несогласие целого ряда серьезных авторов. Однако 21 октября 1987 года «Комсомольская правда» публикует боевитую статью журналистки Е. Лосото, в которой И. Кривелев и С. Калтахчян рисуются в облике бестрепетных комиссаров подлинного богоборчества. Не будем пытаться проникнуть в творческий замысел редакции, но с тем, что лучшего способа дискредитировать атеизм придумать трудно, спорить не приходится.

Материалы о религии между тем появлялись все чаще, и вскоре она, по выражению известной журналистки, стала «желанной темой», чему во многом способствовал юбилей 1000-летия крещения Руси. Обнаружилась неожиданная ситуация: в стране «массового атеизма», где еще недавно о боге говорили преимущественно в обличительных тонах, никто внятно не решался напомнить об «азбуке марксизма». Представители научного атеизма как-то сникли, тон стали задавать напористые журналисты, писавшие без оглядки не только на застарелые догмы, но порой и на достоверные знания. В печати подчеркивалась патриотичес-

кая роль церкви, восхвалялись духовные ценности христианских подвижников, на экране мелькали картины монастырской жизни, свидетельствующие о завидном трудолюбии и разумной, почти хозрасчетной организации труда.

Общественное мнение отчетливо клонилось к благолепному облику церкви, к признанию евангельской морали едва ли не панацеей от бездуховности и морального цинизма. Не встречала особых возражений и чисто богословская концепция прошлого, которая рассматривала православие в качестве демиургического начала отечественной государственности и культуры. Запомнился торжественный голос теледикторши: «1000-летие крещения Руси мы отмечаем как тысячелетие русской культуры».

Тогда началось смятение умов. Стали говорить, что атеизм себя изжил и высшие политические интересы требуют умолчания о нем. Многие активные безбожники почувствовали себя преданными, другие же стали ждать указаний сверху, без которых они с богом никогда не ссорились; кое-где стали урезать курсы научного атеизма, а смышленные администраторы дали указание: «на время юбилея» убрать с полок книжных магазинов антирелигиозную литературу — а там будет видно.

За всеми этими фактами — характерными и бестолковыми, неожиданными и вполне предсказуемыми — стоят едва ли не тектонические сдвиги в глубинах общественного сознания, сдвиги столь мощные, что падают «минареты духа» (Р. Нибур), которые недавно воспринимались как символы социалистического мироощущения. Так что нужно постараться как-то вырваться из этого клубка и сенсационных поветрий и духовной моды, посмотреть на журналистские баталии со стороны, выявить причины, сам механизм их формирования, зафиксировать «вертикальное» измерение и теневые стороны данной проблемы. Дело, впрочем, не исчерпывается чисто академическими амбициями. В конце концов, перед каждым человеком, так или иначе интересующимся идейной жизнью общества, сегодня стоит нелегкая задача как-то определить свою собственную позицию в этой мировоззренческой разноголосице.

1. Изменение образа церкви в общественном мнении

Широко распространено мнение, будто возросшие симпатии к религии вызваны активизацией церковной проповеди, наконец-то освобожденной от прежних ограничений и запретов. На наш взгляд, причины серьезнее: изменение образа церкви в общественном мнении — закономерное и естественное следствие политики демократизации и гласности. Говоря конкретнее, это процесс своеобразного отталкивания от все более обнаруживающего свою аморальность и порочность прошлого, в том числе проявившегося в отношении к церкви и верующим. Четкий образ предложен А. Вознесенским:

Стал весь народ — как Христос коллективный.
Мы, некрещенные дети империи,
Веру нащупываем от противного.

Иными словами, тема религии утверждалась как способ обсуждения широкого круга социально неотложных проблем: варварского отношения к памятникам прошлого, игнорирования религиозных мотивов в творчестве Рублева и Дионисия, Гоголя и Достоевского, пренебрежительного отношения к духовному наследию В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева, Л. Шестова, П. Флоренского. Сказалась и оправданная тревога за бездуховность, двоемыслие, распад нравственной ткани общества, противоядие которым виделось в реанимации евангельской нравственности и морального наследия старцев.

Имеется еще одна — по-видимому, основная — причина, объясняющая сочувственный интерес к религии в массовом сознании. Речь идет о ликвидации последствий сталинской тирании, стыдливо именуемых «белыми пятнами» истории, хотя они проступают только цветом кровавым. Как известно, тягчайшие преступления против народа оправдывались официальной идеологией, говорившей от имени науки. Не последнюю роль здесь играла и теория «антирелигиозного воспитания», утверждавшая, что религия «мешает», «тормозит» развитие социализма, смыкается с «враждебной» идеологией.

Желание до конца устранить перегибы, несправедливость и «силовые» методы в религиозном вопросе

неизбежно распространялось и на однозначно обличительные суждения по адресу религии и церкви, которые связывались со сталинским произволом, порожденными им догматизмом и бездушием.

Отметим также, что нынешние религиозные представления далеко не всегда возникают как результат непосредственного воздействия церковной проповеди. Формирующееся религиозное мировоззрение вбирает широкий спектр философских, художественных, этических идей, выступая в качестве восполнителя того, что суммарно определяется как бездуховность. Не может быть сомнения в том, что вера в бога по-своему снимает чувство отчуждения, социальной неприютности, намечает простор для обретения собственного «я». Во всяком случае, серьезные суждения о религиозном сознании предполагают профессиональную способность разбираться в сложных явлениях современной культуры.

Но атеистическая мысль слишком долго замыкалась жанром узкоцеховой культпросветовской продукции, далекой от живых пульсаций новейшей духовной ситуации, чтобы сохранить способность отвечать на ее нестандартные запросы. К тому же пропагандисты научного атеизма привыкли рассуждать не столько как исследователи реальной жизни, сколько как борцы против заведомо «чуждой» идеологии и конструкторы «нового человека». Поэтому для них (как, впрочем, и для соответствующих редакторов и издателей) решающими были не критерии глубины и достоверности в объяснении религии, а идеологическая «воинственность» и неременная «наступательность». Именно поэтому, кстати, атеистические публикации постепенно стали зоной, закрытой для серьезной критики: считалось, что она неизбежно льет воду не на те мельницы.

Такое «искусственное прекращение тысячелетнего спора между мировоззрениями,— справедливо отметил С. С. Аверинцев,— уже привело к резкой умственной деградации нашего атеизма, а впрочем, и нашей религиозности». Среди борцов против религии привольно чувствовали себя люди нетворческие и профессионально беспомощные. Предельно впечатляющий и легко узнаваемый тип такого «просветителя» создал М. А. Булгаков в образе Ивана Бездомного. Отсюда масса диссертаций, статей и книг, написанных диле-

тантами, прорывавшимися в науку на этом слабо охраняемом участке.

А поэтому сейчас, когда оппоненты все громче стали подавать свой голос, у многих атеистов не нашлось убедительных, прочувствованных аргументов, если не считать запугивания «сдачей принципиальных позиций» и «идеологической всеядностью». Они, впрочем, не столько апеллировали к массовой аудитории, сколько грозили идеологически стерильными пальчиками, в полной уверенности, что «инстанции» отметят их рвение.

Крайне симптоматична в этой связи реакция на «Плаху» Ч. Айтматова. В романе были подняты острые, до поры до времени «закрытые» проблемы нашего общества: хищническое отношение к природе, хамство и бездушие «начальников», наркомания и т. д. Реализуя собственный художественный замысел, писатель создает образ Авдия, бывшего учащегося духовной семинарии, воспроизводит его переживания и мистические видения. Выбор такого героя позволяет Ч. Айтматову предельно остро, в трагических, уходящих в века образах поставить проблему бездуховности нашего общества, выявить планетарный масштаб нависших над человечеством проблем. Не случайно «Плаха» получила самое широкое признание среди наших читателей. Однако — факт симптоматический — многие атеисты, претендующие на особую воинственность, сразу заподозрили Ч. Айтматова в уступках религии.

«Я вижу в «Плахе», — говорил доктор философских наук А. Кочетов, — пересказ христианского учения о грехопадении как результате отхода людей от своей «божественной сущности», забвения спасительной миссии Иисуса Христа — сына божия, причем пересказ с открыто богословских позиций. В романе есть попытка имеющиеся у нас проявления бездуховности, эгоизма, вещизма, безразличия к актуальным общественным проблемам — все то, против чего ведется у нас решительная и беспощадная борьба, — отождествить с атеизмом... Рассуждения Авдия в полубредовом состоянии ищущего Иисуса... — это, по существу, рассуждения самого автора».

Как известно, Ч. Айтматов терпеливо объяснял, что обратился к религиозным сюжетам для того, чтобы подчеркнуть глобальную уязвимость человеческого ми-

ра как такового. А. Кочетов восклицает: «Следует ли в нашей борьбе за мир обращаться к религии, нужны ли нам давно пройденные и преодоленные историей азы религиозных учений?» А дальше уж нечто сюрреалистическое: позиция писателя, известного своей миротворческой деятельностью, объявляется тождественной учениям «некоторых современных так называемых «фундаменталистов» (протестантских сект в США), выводящих из Апокалипсиса неизбежность ядерной катастрофы...»¹.

Спрашивается, мог ли современный, как говорится, интеллигентный читатель всерьез отнестись к подобным заявлениям, равно как и к «научному атеизму», от имени которого они преподносились?

Если же добавить, что у нас до сих пор сохраняется потребность в религиозном «восполнении» жизни, что религиозные представления, составляющие закономерный, «внутренний» продукт общества, не только возникают и воспроизводятся, но и при определенных условиях способны расширять круг своего влияния, то нетрудно понять, что авторитет научного атеизма в той мере, в которой он держался на указаниях сверху, дал глубокую трещину.

Итак, сегодня можно констатировать растущую симпатию к религии, к церкви и верующим. Таково реальное смещение общественного мнения. Как его следует оценить?

Вопрос непростой. Если учесть всю совокупность исторических и социальных условий, посмотреть на десятилетия взаимоотношений Советского государства с религией и церковью, на политику изоляции социалистической культуры от философско-религиозной мысли как прошлого, так и современности, то этот интерес не просто оправдан — он необходим для возрождения целостности отечественной культуры, ее, так сказать, цивилизованного статуса. Дело не только в том, что без таких имен, как Чаадаев и Хомяков, Соловьев и Флоренский, не говоря уже о взглядах на религию Гоголя, Достоевского, Толстого, она останется калеккой. Духовная культура в ее общественно доступном, зафиксированном состоянии должна включать всю гамму мироощущений отдельных слоев и групп, в данном случае — десятков миллионов верующих с их не-

¹ Наука и религия. 1987. № 9. С. 21.

отъемлемым правом на свободу совести и достойное выражение собственных взглядов.

Вместе с тем в способе мотивации и выражении этого интереса, в его общем пафосе и конкретных суждениях еще много наносного, иллюзорного, замутненного спонтанными эмоциями, не учитывающими исследований ученых, заслуживающих полного доверия.

Сейчас энергично обсуждается вопрос о роли религии в истории. Совершенно очевидно, что появление христианства (а дальше мы будем говорить преимущественно о нем) означало перелом в становлении европейской культуры, и мыслить ее без Христа невозможно. Однако, вообще говоря, христианства, как такового, не существует. Реальны лишь его конкретные «исторические» разновидности, течения, объединения. Могут возразить: есть Библия, на которой основываются все разновидности христианства. Но прав Л. Фейербах: «Каждая эпоха вычитывает из Библии лишь самое себя; каждая эпоха имеет собственную, самодельную Библию»¹, и различные конфессии по-своему, а часто прямо противоположным образом формулируют собственные догматы и нормы.

Поэтому, говоря о роли христианства, необходимо исходить не из того смысла, который мы сегодня вкладываем в это понятие, а из анализа конкретных направлений, в форме которых христианство «участвовало» в общественно-историческом процессе, трезво оценивать те политические акции, программы, моральные предписания, которые данные направления агрессивно отстаивали.

Сегодняшнее внимание к религии, по-видимому, идет «от противного» и в первую очередь связано со спецификой, отличающей ее от других форм сознания (идея Бога, Абсолюта, вечности моральных норм и т. д.), а поэтому исторические формы не получают точных характеристик. В частности, это касается и православной церкви как конкретно-исторического социального института. Так 1000-летие провозглашения православия государственной религией на Руси (а речь должна идти именно об этом) в массовом сознании отождествляется с христианизацией российского общества, действительно оказавшей переломное воздействие на судьбы отечественной культуры.

¹ Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 264.

Иными словами, решающая роль, которую христианство сыграло в становлении русской, как, впрочем, и мировой, культуры, выдается за исключительную заслугу православной церкви, а в общих размышлениях о прогрессивном характере христианства по сравнению с «темным» язычеством» теряется специфика самого юбиляра — определенной организации, прочно впаянной в структуры монархической власти, беспощадно расправлявшейся с проявлениями всякого инакомыслия, а тем более свободомыслия, жестоко преследовавшей даже единокровных «братьев во Христе», если веру они искали не в казенных «бревнах», а в собственных «ребрах», не говоря уже о революционных выступлениях народных масс. В результате некоторые материалы, ныне опубликованные в печати, по своему теоретическому уровню и исторической достоверности ниже работ не только революционных демократов, но и дореволюционных либерально-буржуазных критиков церкви типа С. Мельгунова, А. Пругавина, П. Милюкова и других.

Аналогичная аберрация произошла и с понятиями «атеизм», «атеисты». Сегодня на них взваливаются все смертные грехи, в том числе ответственность за преследования священнослужителей и верующих, за разорение церквей и памятников культуры. Прошлое, однако, было сложнее и по-своему трагичнее: большинство атеистов было обмануто в своих искренних намерениях; их использовали для оправдания проводившейся драконовской политики, а позже грузили в те же арестантские составы, что и священнослужителей. Следует, одним словом, различать атеизм как неотъемлемый компонент мировой культуры и его, так сказать, историческую форму, прошедшую сталинскую редакцию, извратившую присущий ему гуманистический пафос и направленность.

Атеизм как материалистическое мировоззрение, исключаящее понятие бога,— не запланированная кампания, не следствие «руководящих указаний» и не наследие сталинизма. Это закономерный продукт развития мировой культуры, ее неотъемлемый, органический компонент. Истоки свободомыслия уходят в глубокую древность. Напомним об учениях Демокрита, Эпикура, Лукреция. Великими борцами за свободомыслие, за ликвидацию духовной деспотии церкви представлена эпоха Возрождения — Реформации, а

позже — уже атеистическими концепциями — эра Просвещения. Велик вклад в богатство атеистической мысли восточных культур и культуры российской, хотя безбожие здесь проявилось и не столь воинственно, как во Франции XVIII века. Атеизм — это мощная культурная традиция, вплоть до размышлений о религии Маркса, Энгельса, Ленина. И когда называют имена многих известных мыслителей, разделявших религиозные взгляды, им можно противопоставить не менее внушительный перечень выдающихся критиков религии: Спинозу и Гёте, Фрейд и Ницше, Камю и Сартра, Шоу и Марка Твена, Рассела и Хайдеггера, Сомерсета Моэма и Жюлио Кюри, не говоря уже об атеистической традиции русских революционных демократов.

И если сегодня мы все решительнее осуждаем игнорирование религиозно-философского наследия отечественной культуры, то не менее губительно и забвение антицерковных, антирелигиозных выступлений, представленных крупнейшими мыслителями и художниками прошлого. Только нужно избежать лакировки (как атеистической, так и религиозной) противоречивого хода истории, попыток подогнать неповторимый «жизненный мир» крупного мыслителя под примитивную схему конфронтации «света и тьмы», «науки и религии», «знания и суеверий». Одним словом, пришло время трезво взглянуть и на реальное положение религии в нашем обществе, и на представление об этом положении, которое постепенно возобладало в официальной идеологии. Здесь прежде всего предстоит определить отношение к тому, что называется научным атеизмом.

2. Научный атеизм и марксистское понимание религии

Понятна обида, которую испытывают пропагандисты или лекторы, встречая в печати выражения «атеистическое мракобесие», «атеистический топор», необоснованные, фактам противоречащие оценки православной церкви и социально-нравственной программы, которую она отстаивала в прошлом. Тем более что среди противников религии немало тех, кто глубоко уверен в гуманистической сути собственной деятельности. Ника-

кие эмоции, однако, не могут заслонить суровой истины: в системе обществоведения именно научный атеизм, пожалуй, оказался в наибольшей мере пораженным догматизмом и пустословием, а его глашатаи в немалой мере ответственны за ошибки и перегибы, которые проявлялись в отношении к верующим, за поверхностные представления миллионов людей о религии. Нет сомнения и в том, что в сложившемся хрестоматийно-пропагандистском виде такой атеизм не может удовлетворить ни научные, ни идеологические потребности нашего общества.

Поставим вопрос без особой дипломатии: оправдана ли его квалификация как «научного»? На мой взгляд, ответ может быть только отрицательным. Исследование может считаться научным в том лишь случае, если оно направлено на получение неизвестного знания и его итог никак не зависит от сложившихся идеологических клише. Официальный атеизм, увы, такому критерию не соответствует: его функция сводилась к оформлению, так сказать, *post festum* выводов и суждений, которые складывались не в научной, а в политической сфере, к оправданию практического отношения к церкви и верующим — во многом несправедливого, незаконного, а порой и криминального. Можно, правда, найти слова утешения: эту миссию научный атеизм разделял со всем обществоведением.

Последствия весьма серьезны: мы, в сущности, не отдаем себе ясного отчета в тех глубинных умонастроениях, нравственно-психологических процессах, которые в своей совокупности составляют общественное сознание страны. Лишь приблизительное и поверхностное представление имеем мы о подлинных механизмах образования и воспроизводства религиозных убеждений.

Можно сказать еще категоричнее. Не так опасно незнание, если оно осознано. Это стимулирует исследования, удерживает от скороспелых, субъективистских решений. Но совсем плохо, когда в качестве знания фигурируют псевдонаучные идеологические стереотипы, иллюзорные и фетишистские представления, которые от имени марксизма преподносятся как истины в последней инстанции. Тогда отменяются творческие идеи и новые подходы, наука впадает в неизлечимую летаргию, лишь тиражируя устоявшиеся догмы. К сожалению, таким духом самодовольства и теоретиче-

ского мессиянства проникнуты многие разделы научного атеизма.

Мне могут возразить: «При всех своих недостатках, это *атеизм*, решительно противостоящий мистике, религиозным предрассудкам, суевериям и всякой чертовщине. Не расшатываем ли мы материалистическое мировоззрение подобной критикой, не льем ли, так сказать, воду на..?» Да, это атеизм, причем воинствующий. Однако не в научном, а в обличительном, заведомо ругательном регистре. Подобная воинственность проявилась задолго до марксизма, и нам тягаться, скажем, с французскими материалистами невозможно, да и не нужно. Печальнее другое: современные публикации по атеизму по своей теоретической глубине обычно не возвышаются над произведениями буржуазных критиков религии.

Обратимся, например, к такому ключевому вопросу, как причины воспроизводства в нашем обществе религиозных представлений. На этот счет атеистические издания предлагают готовый ответ. Это, однако, не результат достоверного анализа и изучения существующего образа жизни, а фрагмент описания по сути дела фиктивной реальности, созданной догматиками, — не подлинной, а книжной, плакатной.

Подлинная реальность — это десятки миллионов верующих, взгляды и убеждения которых сформировались уже *после* Октября, то есть в обстановке атеистически ориентированной культуры и пропаганды. Причем за последнее десятилетие растет число верующих, которые получили неплохое образование, начитанны в философско-богословской литературе — следовательно, избрали религиозную веру сознательно, вопреки атеистическим доводам, им более или менее знакомым.

Все эти факты известны не вчера и нуждаются в объяснении. Для этого необходимо исследовать реальные чувства, настроения людей, их реакции на известные трагические события, которыми отмечена наша история, ощущения масс. Но разве мы найдем ее хотя бы глухие отголоски в атеистических трактатах?

Известно, что возникновение религии обычно объясняется чувством «страха» (дикаря — перед грозными силами природы, трудящихся — перед угрозой разорения и т. д.). Однако применительно к прошлому нашей страны подобный аргумент отсутствует. Между тем

тот страх, который десятилетиями сковывал страну, был глубже, чем любой иной. Тот еще поддавался какому-то объяснению, но как оправдать репрессии, от которых не спасало ни звание маршала, ни международное признание, ни безупречное революционное прошлое.

А теперь сопоставим с реальностью хрестоматийные объяснения (отставание сознания от бытия, «родимые пятна капитализма», наличие капиталистического окружения, недостаточное овладение силами природы и т. п.) и всерьез задумаемся: неужели это и есть творческое развитие марксизма? Что общего у таких банальностей, например, с предельно четким суждением Маркса об условиях исчезновения религии, высказанным в «Капитале» (Т. 23. С. 90). Как замороженные, мы твердим, что у нас религия — это «пережиток», что вера в бога не имеет социальных корней. Твердили, потому что полагали: при социализме иначе быть не может, и ссылались на слова Маркса: «...религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм» (Т. 45. С. 474). Ну а если были извращены сами принципы партийной и государственной деятельности, если развитие сменилось деградацией? К тому же подобные объяснения для верующих носят оскорбительный характер.

Напомним сакраментальную фразу: «Советский человек не нуждается в религиозном утешении». Как же тогда отнестись к тем десяткам миллионов наших граждан, которые разделяют религиозные убеждения? Считать их «несоветскими» или советскими «не до конца». Далее, если влияние религии объясняется не объективными социальными причинами, то соответствующие убеждения приходится списывать за счет невежества, легковерия, социальной пассивности и даже моральной неполноценности; они предстают как не «внутренние» убеждения, а некие «заблуждения», навязанные ловкими проповедниками. И тогда атеистическая мысль, желая того или нет, возвращается на проторенные круги домарксистской концепции «обмана».

Речь у нас шла об одной проблеме, где атеисты прямо зависели от штампов официальной пропаганды. Но при обсуждении ее фигурировали и обретали деформированный смысл все основные категории научного атеизма, в результате чего покорный дилетантизм не-

избежно распространился и на другие разделы. Даже проблема происхождения религии и ранние этапы ее развития трактовались в соответствии с нынешним «социальным заказом», ориентированным на обличительство.

Таково упорное навязывание сомнительной концепции «безрелигиозной эпохи», идеи о том, будто вера в сверхъестественное породила практический культ, а религия «присвоила» моральные нормы, созданные трудящимися, и т. п. Да, подобные рассуждения обычно пестрели высказываниями классиков марксизма-ленинизма. Но работы их цитировались весьма произвольно, а приводимые цитаты носили скорее декоративный характер.

Дело не ограничилось внутривнутриполитическим аспектом. Сейчас общепризнано: невозможно понять и прогнозировать ключевые социальные процессы, не принимая во внимание так называемый религиозный фактор, который по-разному, но весьма ощутимо проявляется в Иране, на Ближнем Востоке, в Северной Ирландии, в Индии, Польше, Центральной и Латинской Америке и т. д. Иными словами, исследование религии ныне никак не ограничивается узкоцеховыми интересами пропагандистов атеизма.

Можно сказать категоричнее. Наступление ядерной эпохи, возникновение планетарных проблем, способных привести человечество к гибели, вовлечение всех стран и регионов в единый общественно-исторический процесс и т. п. обозначили переломный момент в истории, когда надламываются, переплавляются прежние идеологические ориентиры: культ разума, науки, техники, расцветают антисциентистские, арационалистические доктрины, активизируется взаимодействие культур Запада и Востока, осознается потребность в моральной революции, не менее радикальной, чем в научно-технической сфере, осознается приоритет общечеловеческих ценностей.

Существенным и активным компонентом этих процессов является религия, остающаяся для подавляющего большинства населения господствующим мировоззрением. А поэтому ее глубокое понимание в наше время, которое справедливо обозначить термином К. Ясперса «осевое время», когда закладывается матрица развития культуры на грядущее тысячелетие,— фундаментальнейшая задача человеческой мысли.

До сих пор она составляла монополию научного атеизма. Как можно оценить его дальнейшие судьбы? Нередко рассуждают так. Ныне созданы условия для восстановления подлинного статуса общественных наук, ощущается объективная потребность в знании, независимом от идеологических стереотипов. Поэтому профессиональным атеистам надлежит срочно исправить прежние ошибки и упущения, углубить принципиальные формулировки, максимально учесть новейшие факты и тенденции — одним словом, «обновить» теорию за счет тех идей и высказываний, которые ранее не высказывались по причине запрета.

Подобное представление едва ли серьезно. Изъяны теории научного атеизма не сводятся к отдельным неточностям, поверхностным суждениям, нерепрезентативным фактам. Она формировалась прежде всего как особая учебная дисциплина, продиктованная сугубо прагматическими соображениями. Поэтому многие понятия и термины, из которых она сконструирована, являются элементами не научного знания, а «руководящего» административно-бюрократического мышления, обобщившими его «руководящую» направленность.

Немаловажно и другое: господство подобных имитаций парализовало альтернативные, действительно перспективные соображения. Их еще нужно создавать в процессе целеустремленного изучения реальности и получения знания, пока никому не известного. Нужен качественный прорыв в неизведанные глубины, нетривиальные подходы и выводы, пока ощущаемые лишь интуитивно. Это вовсе не означает, что следует зачеркнуть всю проделанную работу. Имеется немало серьезных и содержательных трудов (особенно касающихся истории), множество любопытных фактов, наблюдений, общих констатаций.

Однако в целом, особенно в его хрестоматийно-учебниковом виде, современный научный атеизм представляется мне чем-то весьма сходным с лысенковщиной. Ведь и у Лысенко было немало цитаций из научных трудов, агрессивная целеустремленность в светлое будущее с жирномолочными реками, была и намеренно артикулируемая непримиримость к идеализму, и забота о народном благе. Тем не менее это был тупик в развитии биологической науки.

В 1922 году, размышляя о путях совершенствовани-

ния антирелигиозной деятельности, Ленин высказал уверенность, что старый атеизм и старый материализм будут дополнены «теми исправлениями, которые внесли Маркс и Энгельс». Что ж, приходится признать: задача эта не выполнена. Глубокое, перспективное для дальнейших исследований марксистское понимание религии в эпоху сталинщины подверглось грубой вульгаризации, и предстоит гигантская исследовательская работа, чтобы восстановить сам творческий дух марксистского анализа, теоретически воспроизвести религию во всей ее глубине и сложности.

Такова общая ситуация, в которой мы сегодня живем. И каждый, кто сколько-нибудь связан с нею — пропагандист и лектор, церковный проповедник или священнослужитель, верующий и местный руководитель, определяющий судьбу местных религиозных объединений, журналист, пишущий на данные темы, или просто интеллигент, размышляющий о судьбах культуры и нравственном потенциале общества, повторяю, каждый должен выработать собственное понимание существующей обстановки и действовать в соответствии с ним.

3. Место религии в духовной культуре

Религия — одно из самых сложных общественных явлений. Поколения величайших мыслителей пытались проникнуть в ее сущность. Литература о ней необозрима. Поэтому нет возможности даже бегло сказать о всех возникающих в связи с нею проблемах. Предельно кратко остановимся на некоторых из них. И начать, по видимому, целесообразно с наиболее общего вопроса о месте и роли религии в становлении человеческой культуры.

Здесь атеисты легко находили язык с философскими догматиками. Мы пока не до конца осознали (во всяком случае, не зафиксировали) тот вред, который был нанесен философии ее «кратким» сталинским пониманием и последующим подобострастным комментаторством. Наиболее губительным, пожалуй, стало сведение истории философии к победоносной истребительной войне материализма с идеализмом, который постоянно пытался запутать истинную картину. Тем самым становлению философии придавался отчетливо телеологический характер: венцом ее развития объявлялся

«диамат», символизирующий конец всяких поисков и сомнений.

По столь же вульгарной схеме рассматривалось и прошлое религии. Развитие культуры сводилось к непримиримой борьбе двух начал: науки (разума, «света») и ей «во всем противоположной» религии (невежества, «тьмы»), борьбе, неуклонно приближающей полное изгнание веры в бога из сознания людей. Отсюда сакраментальный (в сущности, нелепый) вопрос: «Играла ли религия когда-либо прогрессивную роль в истории?» — на который стойкому атеисту полагалось отзывать лишь негодуя: «Нет, никогда. Религия всегда только «присваивала», «тормозила», «извращала». Такой подход в конце концов выливался в особую историософскую концепцию, согласно которой религия вообще не входит в человеческую культуру, а представляет собой «эрзац культуры», «антикультуру». Примером может служить хотя бы такое высказывание: «Религия как вид общественного сознания в своих сущностных специфических компонентах ни на каком этапе исторического развития человечества не является элементом его духовной культуры, не входит в состав национального или общечеловеческого культурного наследия и подлежит преодолению в ходе строительства коммунистического общества»¹.

Едва ли данная оценка соответствует марксистскому подходу. Уже на склоне лет Энгельс писал: «Христианство, как и всякое крупное революционное движение, было создано массами» (Т. 21. С. 8). Больше того, автора «Откровения Иоанна Богослова» он характеризовал как представителя «совершенно новой фазы развития религии, фазы, которой *предстояло стать одним из революционнейших элементов в духовной истории человечества*» (Т. 22. С. 478 — Подчеркнуто мною.— Л. М.). Революционность эта прежде всего состояла в том, что христианство предложило новую шкалу ценностей, категорически осудив жестокость, насилие, возвеличив «страждущих и обремененных».

Впервые на Европейском континенте оно в общедоступной форме поставило вопрос о смысле и специфике человеческой истории, выдвинуло идею равенства

¹ Михновский Д. В. Духовная культура общества и религия // Общественная жизнь и религия. Л., 1972. С. 35.

всех людей, представление о нравственной, вменяемой личности, «внутренней свободе», о совести, наконец. Да, все это было выражено в мистифицированной форме, но иначе тогда и быть не могло. Остается, однако, фактом, что на протяжении многих веков широкие массы выражали свои социальные идеалы и упования на языке христианства, оно было идеологией, в лоне которой произрастали свободомыслие и гуманизм, как правило выступая в виде «еретических», сектантских движений в защиту народной «живой» веры, противопоставлявшей себя «книжной», пергаментной мудрости, насаждаемой официальными церквями.

В таком утверждении ничего неожиданного нет. Нужно лишь до конца отрешиться от представлений критиков религии до Маркса о том, что религия — это нечто вроде «идеологической заразы», вносимой в общество корыстными обманщиками, увидеть в ней закономерную форму общественного сознания, стихийно порождаемого материальными условиями жизни людей, или, как отмечал Маркс, «звено действительного мира». И в этой своей роли она играла крайне сложную, противоречивую роль, достоверно определить которую можно лишь в результате совершенно конкретного исторического подхода. Можно привести множество примеров, когда религиозные концепции выступали оплотом мракобесия, жестокого угнетения, орудием реакционнейших политических сил, и вместе с тем многие выдающиеся проявления культурной жизни начинались в русле христианского учения, даже если впоследствии черпали силу в противостоянии господствовавшим религиозным догмам.

Это справедливо и относительно развития науки, которая привычно объявляется «во всем противоположной» религиозным представлениям. Приведу лишь принципиальное суждение П. П. Гайденко: «...без тех «накоплений», которые дала средневековая наука, так же как и без того изменения в понимании человека и космоса, которое внесло христианство (а оба эти момента непосредственно друг с другом связаны), невозможно представить себе научной революции, положившей начало новой эпохе в развитии науки»¹. То же самое можно сказать о музыке, праве, морали, литературе и искусстве.

¹ Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982. С. 72—73.

Десятилетиями у нас замалчивались или искажались художественные произведения, связанные с религией, а, скажем, библейские сюжеты и персонажи рассматривались как нечто несущественное для их понимания. Рассуждали так: все совершенное, впечатляющее в искусстве идет от человека, от реальной жизни, а религиозные элементы лишь искажают, в конечном счете омертвляют всякий шедевр, а поэтому художественное произведение совершенно в той самой мере, в которой автор способен освободиться от плена религиозных предрассудков.

Возникает, однако, простой вопрос: а разве переживания верующего не являются «человеческими»? Кажется, ясно, что религия служила способом регулирования и ориентации не только внешнего поведения, но и «внутреннего» мира людей. Неужели эмоции перестают быть земными, если они вызваны верой в бога или участием в культовых действиях? Например, в средневековье, когда, как подчеркивал Энгельс, «чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей» (Т. 21. С. 314). Уместно напомнить и его характеристику религии — «непосредственная, т. е. эмоциональная форма отношения людей к господствующим над ними чуждым силам...» (Т. 20. С. 329).

Подобная практика замалчивания религиозно-философского наследия прошлого, современной мировой культуры ныне все больше уходит в прошлое, и произведения религиозных авторов постоянно появляются в печати. Однако все отчетливее проявляется другая, столь же неприемлемая тенденция: если раньше игнорировалась религиозная традиция, то теперь стало признаком интеллигентности и гражданской чуткости автоматически воспринимать религиозные положения, не утруждая себя знакомством с достижениями атеистической мысли, с профессиональным анализом их содержания. В результате возрождается тот же примитивизм и дилетантизм — только с обратным знаком.

Это отчетливо проявляется, например, в рассуждениях о религиозной морали как единственно неизбежной основе моральных предписаний. Ныне не только теологи, но даже и люди, религии так или иначе «сочувствующие», полагают, что «социалистическая мораль» не выдержала испытания временем и стала причиной нынешней бездуховности. Такой результат, уверяют они, неизбежен: у религиозной морали имеется

прочная основа — представление о боге, о его «вечных» заповедях, а социалистическая («классовая») мораль, как таковая, неизбежно носит релятивистский характер, в ранг нравственных она возводит чисто прагматические, изменчивые соображения и критерии. Вспоминаются выразительные слова одной баптистки: «У вас, безбожников, все, что нравится, то и нравственно».

Десятки лет у нас людей насильственно переделывали в «винтики» и иные детали пирамиды власти, которые должны были подчиняться тому, что преподносилось как «общественные интересы». Подобная практика разрушала специфику морального сознания: в обществе, где шла охота на людей независимых, свободомыслящих, высокие нравственные качества, чувство независимости и собственного достоинства становились не только излишними, но и опасными. В этом смысле Сталин был не первым деспотом, который стремился освободить людей от «химеры совести».

Можно ли такие отношения и формируемые ими нравы расценить как реализацию принципов социалистической нравственности, возникшей по причине торжества безбожия? Уверен, это было бы заведомым упрощением: причины борьбы с личностными убеждениями, с моральными ценностями, выходящими из-под контроля сверху, определялись чисто политическими соображениями, с заботой об атеистическом просвещении народа никак не связанными. Другое дело, что расхожие атеистические аргументы (например, о «противоположности» морали коммунистической и морали религиозной) использовались для оправдания такой практики.

Какую же роль во всем этом играла религия? На наш взгляд, в обстановке грубой ломки привычных норм и традиций религиозные представления способствовали сохранению и защите моральных ценностей на бытовом уровне, поскольку они противопоставлялись аморализму «нового порядка», который в сознании верующих прочно ассоциировался с безбожием, с «миром греха», а приверженцы атеизма символизировали насилие и двоемыслие. Можно сказать категоричнее. На ранних этапах истории, когда личностное, автономное сознание только формировалось, именно представление о «всевидящем» боге во многом способствовало переходу от исключительно «внешних» (принудитель-

ных) способов регуляции поведения к «внутренним», подчиняющимся соображениям совести. Все это факты бесспорные. Вопрос, однако, заключается в том, как их интерпретировать. И здесь четко проявляется различие в подходе богословов и философов, апологетов религии и ее критиков.

Об интерпретации богословов мы говорили: нравственный закон дан богом, что обеспечивает прочность и незыблемость моральных предписаний. Однако поколения выдающихся мыслителей, в том числе и людей верующих, убедительно показали, что религия и мораль — вещи существенно различные.

Специфика нравственного сознания в том, что оно бескорыстно ориентировано не на практические результаты, а на решения «по совести» и предполагает полную свободу человеческих решений. Все это противоречит религиозному запугиванию «геенной огненной», вечным проклятием, установке на полное подчинение божьей воле и т. д. Классическим примером такого подхода было учение И. Канта, который, как известно, утверждал автономность, независимость морали от религии, невыводимость из нее нравственного закона. Кант не отвергал религии, но объяснял ее как необходимый постулат «практического» разума.

Иными словами, бесспорный факт существования религиозных представлений он рассматривал не как «доказательство» существования бога, а в качестве «свидетельств», которые еще предстоит объяснить. Не случайно его учение оказало мощное воздействие на последующие обсуждения проблемы «морали и религии», в том числе и в современной философии и теологии. Здесь можно назвать множество блистательных имен: К. Барт и Р. Нибур, М. Хайдеггер и З. Фрейд, Ж. П. Сартр и А. Камю, Тейяр де Шарден и А. Швейцер, Г. Марсель и П. Тиллих, Э. Фромм и К. Юнг. И не может современный человек, занимаясь данной проблемой, игнорировать это богатейшее культурное наследие.

Столь же уязвимым оказывается представление, будто идея бога обеспечивает «вечный», «неизменный» характер моральных предписаний. Для этого достаточно изучить, каким реальным содержанием в различные времена наполнялись эти нормы, какие социально-нравственные программы выдвигались теми «историческими религиями», церквями, проповедниками, кото-

рые и были проводниками христианской морали в обществе. Тогда и выяснится, что церкви, претендующие на статус «святых», «неземных» образований, нередко играли роль заурядных и достойных осуждения (в том числе и с точки зрения евангельских заповедей) учреждений, с их чиновной иерархией, глухой к вечным ценностям «горнего мира». Нет возможности иллюстрировать это утверждение, но, думается, достаточно напомнить о нравах, которые царили в Ватикане, о позиции православной церкви, жестоко преследовавшей «еретиков», «сектантов», не говоря уже об антиправительственных выступлениях трудящихся. Не случайны же гневные высказывания Ленина против «чиновников в рясах», «жандармов во Христе», поддерживавших самую реакционную политику царизма. Дело, разумеется, не в стремлении к обличительству и морализированию, а в необходимости действительно трезвого взгляда на историю, где «ни убавить ни прибавить».

4. Отношение государства к религии и церкви

Остро обсуждается сегодня и вопрос об отношении Советского государства к религии и церкви. На этот счет высказываются различные, часто взаимоисключающие точки зрения. В этой связи воспроизведу мои возражения в ответ на письмо преподавателя Воронежского университета марксизма-ленинизма А. Быковского, направленное в «Журналист»¹.

В письме «Уродливый симбиоз» А. Быковский цитирует пожелания «религиозников» относительно совершенствования законодательства о культурах: нужно, чтобы «новое законодательство отвечало ленинскому декрету о церкви», чтобы «выбор любым гражданином религии, атеизма или безразличного отношения к ним» осуществлялось «исключительно на добровольных началах» и законодательно «воспрепятствовало искусственному делению граждан на верующих и неверующих». В письме эти пожелания сурово оцениваются как «измышления», как стремление «вылить свою ложку дегтя на наше социалистическое общество» и добиться «реставрации дореволюционного положения

¹ Журналист. 1989. № 4. С. 9—15.

церкви в условиях Советского государства», поскольку, утверждает автор, «все это именно так у нас и осуществляется!.. Никакого насилия над совестью человека, посягательства на личность не допускается, наоборот, это карается по ст. 228 УК РСФСР. А вот со стороны некоторых церковников и сектантов такие посягательства бывают».

Мне подобные оценки представляются в высшей мере странными. Общеизвестно, что в первые послеоктябрьские годы отношение к религии и церкви выступило как острая политическая проблема, далеко вышедшая за рамки мировоззренческой конфронтации. Участие церковных организаций на стороне контрреволюции привело к крайним мерам: закрытию церквей, монастырей, разгонам молитвенных собраний, репрессиям в отношении духовенства и верующих, находившихся (или подозревавшихся) в сговоре с антисоветскими силами. Веками копившаяся в народе ненависть к «попам» приводила к необузданным, разрушительным действиям, издевательствам над чувствами верующих. Сказывалась и недостаточная подготовка местных партийных и советских работников, действовавших «силовыми» методами — вопреки предостережениям партии и положениям ленинского Декрета об отделении церкви от государства.

К концу 20-х годов, однако, основные религиозные организации заявили о своей лояльности в отношении Советской власти. Создавались все предпосылки для изживания прежних ошибок и перегибов. Этого, как известно, не произошло: начинался процесс формирования мрачного единовластия Сталина.

Не слишком ли мы ушли в историю? Думается, нет. «В законодательстве о культурах,— пишет А. Быковский,— развиты положения «ленинского декрета о церкви», в частности утратил силу пункт о том, что церковь не имеет прав юридического лица». Взаимоотношения государства и церкви по сию пору регулируются постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», принятым 8 апреля 1929 года. Именно в нем сформулированы сохранившие юридическую силу положения о том, что «религиозные общества и группы верующих не пользуются правом юридического лица» (Ст. 3), условия регистрации и право отказа в ней, запрет оказывать «материальную поддержку своим членам», запрещение организованно

обучать детей религии и т. д. Правда, позже в постановление вносились некоторые изменения, но его суть в полной мере сохранилась.

Постановление это носит по меньшей мере двусмысленный характер. Внешне оно сформулировано в русле декрета 1918 года, но его конкретные нормы прямо или косвенно регламентируют каждый шаг церкви и не содержат гарантий для соблюдения даже тех прав, которые оно декларирует.

Могут, правда, возразить: партия и в 30-е годы неоднократно предостерегала против насильственных действий в отношении церкви. Действительно, в словах недостатка не было. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» осуждались «совершенно недопустимые искривления партийной линии в области борьбы с религиозными предрассудками... Мы имеем в виду административное закрытие церквей без согласия подавляющего большинства села, ведущее обычно к усилению религиозных предрассудков».

Когда же был провозглашен этот демократический призыв считаться с «подавляющим большинством села»? Поверить трудно — 14 марта 1930 года! Да, в «то самое время». И наряду с предостережением против «головокружения от успехов» и лицемерного «сын за отца не отвечает» он стал еще одним примером циничной демагогии той поры. Расхождение широковетельных деклараций и тайных указаний, которые определяли практические действия, официальных законов и инструкций «для служебного пользования», — короче говоря, слов и дела — принимало все более зловещий характер.

Да и о каком «отделении» церкви можно говорить, если в переписном листе 1937 года фигурировал прямой вопрос об отношении к религии! (Напомним, что при переписи 1920 года такой вопрос был исключен по прямому настоянию В. И. Ленина.) Именно священнослужители и верующие приводились как излюбленные примеры для оправдания пресловутого тезиса об обострении классовой борьбы. В авторитетном «Антирелигиозном учебнике» (1940 г.), собравшем весь цвет антирелигиозной мысли, говорится: «Классовый враг, разгромленный внутри страны, еще не добит окончательно. Одним из его убежищ продолжает быть религиозная организация, распространяющая реакционные,

враждебные социализму идеи. Выбитые из своих гнезд монахи и монашки, тысячи священников разных религий, которые еще не так давно поднимали знамя восстания против Советской власти, еще не все примирились с мыслью, что дело их окончательно проиграно».

Как известно, в 1943 году Сталин восстановил патриаршество, до этого грубо разогнав Союз воинствующих безбожников с его 3,5 миллиона членов. Но вскоре «силовые» методы в отношении церкви возобладали вновь. Их не коснулась капризная хрущевская «оттепель», а после XXII съезда партии (1961 г.), на котором была торжественно провозглашена программа построения коммунизма за 20 лет, они возобладали масштабно. За несколько лет число церквей уменьшилось почти на 10 тысяч. В так называемые годы застоя подобный стиль сохранился.

Все более усложнялась регистрация новых общин, которой был придан характер разрешительного акта. Причем местные власти всячески противились регистрации, поскольку, как считалось, это свидетельствовало о промахах в воспитательной работе. Отсюда ссылки на «политическую нецелесообразность», на наличие «ближайших» молитвенных домов, липовые акты о несоответствии молитвенных зданий требованиям противопожарной безопасности и т. д.

Порой административно-бюрократические методы связывают с фигурой узколобого чиновника, перекладывающего бумажки. Как это наивно! Бюрократизм — это четкая социальная философия. Главное здесь — убеждение, что люди — придаток управленческих структур. Сами по себе они бестолковы, ограничены, и лишь начальство знает, чего они должны хотеть, чему радоваться, когда до одури аплодировать.

В отношении к религии такое представление выступает особо рельефно. Мы строим социалистическое общество, формируем «нового человека» с научным мировоззрением. Верующие же — досадная издержка истории, социальный компонент, подлежащий планомерному изживанию. Религиозные требования, чувства, надежды — отзвук «прошлого», и всерьез принимать их не следует. Главное — чтобы они не мешали руководству жить, рапортовать, бить в фанфары. К сожалению, приходится констатировать, что такой подход так или иначе ощущается и в письме А. Быковского. Иначе трудно объяснить такое, например, его заявление:

«Никакого насилия над совестью человека, посягательства на личность не допускается, наоборот, это карается по ст. 228 УК РСФСР».

Кому оно адресовано? Миллионам верующих, у которых на глазах закрывали и разрушали церкви, пятидесятникам, адвентистам-реформистам, «свидетелям Иеговы», которым в соответствии с Инструкцией 1961 года автоматически отказывали в регистрации и подвергали преследованиям, верующим, ставшим жертвами произвола судов, руководителей предприятий и учебных заведений (таких фактов немало сообщалось в нашей печати), религиозным обществам, которые и поныне безуспешно добиваются регистрации и предоставления молитвенных помещений?

В Уголовном кодексе имеется статья 142 — «Нарушение закона об отделении церкви от государства и школы от церкви», — которая направлена против противозаконных действий как религиозных деятелей, так и должностных лиц. Со времени принятия этого кодекса (октябрь 1960 г.) немало религиозных активистов осуждено по статье 142. Она, однако, не смогла предотвратить случаи перечисленных выше преступлений должностных лиц. Причина? Она проста до слез. За минувшие четверть века ни одного случая их серьезного наказания не зафиксировано.

Автор письма прав: церковное руководство сейчас настойчиво добивается права на благотворительную деятельность. Это прежде всего вызвано потребностями внутрицерковной жизни. Так, священнослужители ни от государства, ни от профсоюзов пенсии не получают, а церкви в таком праве отказано. Религиозное объединение не вправе также оказывать материальную помощь особо нуждающимся верующим: инвалидам, престарелым, одиноким и т. д. Это жизненная проблема для достаточно многочисленной категории советских граждан, и лишать ее законных прав несправедливо.

Аналогично обстоит дело и с миссией милосердия. Вопреки утверждению А. Быковского, церковь вовсе не ставит вопрос о передаче ей «домов престарелых и инвалидов, больниц и т. п.». Речь идет о том, чтобы верующие помогали в уходе за тяжелобольными, одинокими, инвалидами и т. д. Уверен, что такая потребность имеется во многих больницах. Неужели дух милосердия, бескорыстной помощи выветрился у нас до

такой степени, что мы не способны верить в искренность его проявлений у других и непременно усматриваем в этом «ностальгию», «мечту о реставрации», лицемерное стремление добиться фальшивых «ореолов милосердия»?

Как стремление к «очернительству» воспринимает автор и просьбы церкви о предоставлении ей права юридического лица, поскольку, как он пишет, пункт, отказывающий в этом, «утратил силу». Да, сейчас в определенной мере церковь пользуется таким правом. Но лишь де-факто. И пока такое право не закреплено законодательно, оно не имеет надежных гарантий. Об этом как-то неудобно напоминать сейчас, когда ставится задача создания правового государства.

Наконец, А. Быковский неудовлетворен тем, как освещается положение религии в нашей стране. По его мнению, в последние годы образовался «какой-то уродливый симбиоз между религиозными организациями и некоторыми органами печати, радио и телевидения», «в средствах массовой информации религиозники заняли довольно прочные позиции и свободно ведут пропаганду религии», причем со злонамеренными целями.

Что ж, в подобных упреках немало справедливого. Это и подмена конкретного анализа реальной истории общими интеллигентскими рассуждениями о «духе» религии, и чисто обывательская оценка деятельности поколений атеистов, и некритическое воспроизведение теологических концепций, никак не учитывающее взгляды выдающихся мыслителей прошлого и настоящего. Так что вполне правомерны серьезные претензии к ряду журналистов, склонных к поискам сенсаций, к подмене знаний общими гуманитарными эмоциями. Поэтому необходима конструктивная критика, советы, рекомендации. Целый ряд справедливых конкретных замечаний высказаны и в самом письме. Действительно, к священнику естественнее обращаться по имени и отчеству, а еженедельник «Семья» — явно неподходящее место для публикации (тем более без серьезных комментариев) «Четы-Минеи».

Однако, мне кажется, пафос письма в другом: в осуждении самого факта подробного рассказа о нашей религиозной ситуации, тем более устами священнослужителей и самих верующих. Создается впечатление, что при этом автор исходит из убеждения, будто

чувства и переживания верующих «советскому человеку» знать не нужно, а сами они представляют некое инородное, «вредное» образование для социалистического общества. Это подход, удивительно органически сочетающий догматизм недавних десятилетий и изъяны домарксистского религиозоведения.

В письме, например, сказано, что «Четьи-Минеи» не могут «навязываться советскому читателю как источник нашей нравственности», и с этим можно согласиться. А вот аргументация вызывает удивление. «...Не религия дала людям правила, ставшие общечеловеческими нравственными нормами. Их выработали народные массы в ходе исторического развития. А религия заимствовала у народа нравственные нормы, придав им мистическую окраску».

А кто же, спрашивается, выработал религию, если не сами народные массы? Иначе придется выводить ее либо из откровения свыше, либо из заговора «тиранов и попов», преследовавших своекорыстные цели. Именно последнее объяснение господствовало до Маркса, и, мне представляется, оно же лежит в основе оценок, которые автор дает работе средств массовой информации.

Иными словами, советские люди в религии не нуждаются, вера в бога может возникать лишь по наущению религиозных проповедников, а поэтому следует всячески «охранять» нашу аудиторию от их тлетворного воздействия, поскольку всякое выражение подобных взглядов равносильно пропаганде антинаучных, вредных идей. Фактически это призыв к той самой практике изоляции от мировой культуры и ее существенного фрагмента — религиозно-философской мысли, которая существовала у нас десятилетиями и породила состояние, которое без особых натяжек можно назвать духовным одичанием.

В письме упоминается программа «Взгляд», рассказывающая о крещении баптистов и беседе репортера с новокрещеными молодыми людьми. «Кому и зачем нужна и полезна эта пустопорожняя демагогия Мукусева с «отцом Марком»? Во всяком случае не советской молодежи». Что ж, приятно встретить человека, способного говорить от имени всей советской молодежи. Неясно только: а собеседники репортера — это не «советские» молодые люди? Если следовать логике автора, то нет. Да и высказывания их, как ви-

дим, не что иное, как «пустопорожняя демагогия». А ведь, если вдуматься, это и есть то, что называется оскорблением чувств верующих.

Я не случайно так подробно остановился на письме А. Быковского. Это не просто частное мнение. «Все вышеизложенное, — говорится в нем, — носит характер заигрывания с церковниками, с религией, вызывает у слушателей нашего университета марксизма-ленинизма недоумение, смятение мыслей, чувств». Надо отдать должное автору: далеко не каждый решится обнародовать столь жесткую позицию, которая по-своему носит цельный характер. Это цельность особого мироощущения, типа восприятия радикальных перемен, совершающихся в нашем обществе, восприятия, на мой взгляд, или не приемлющего или не понимающего закономерности изменений, совершающихся у нас в отношении церкви и верующих.

Такая позиция сама по себе понятна. Десятки лет настойчиво внушалось, что церковь является носителем враждебной нашему обществу идеологии, в священнике видели «чужого», а в верующем — человека «второго сорта», и такие представления стали господствующими у большинства советских и партийных работников. Вернуть их к глубоко научному и творческому подходу за несколько лет невозможно. Но этого не избежать. Как писал Маркс: «И воспитатель должен быть воспитан».

И такие перемены происходят. Достаточно отметить, что уже за 1988 год было зарегистрировано свыше 1800 новых религиозных объединений, открыты многие церкви, молитвенные дома, мечети и костелы. Нет сомнения в том, что процесс демократизации, упорядочению отношений государства и церкви в значительной мере поможет Закон о свободе совести, который предполагается принять в ближайшее время. Однако, как показывают многочисленные факты и публикации в периодической печати, процесс идет сложно, противоречиво. Еще сильны остатки прежних представлений, еще немало местных руководителей, которые считают, что удовлетворение законных прав верующих не что иное, как уступка «враждебной» идеологии, сползание с «идейных» позиций.

Говоря о путях восстановления в полной мере ленинских принципов отношения к религии и церкви, следует вернуться к той проблеме, которая была за-

тронута вначале, а именно о необходимости творческой разработки проблем религиоведения, о создании подлинно научного понимания религии.

5. Немного о самой религии

Беда научного атеизма в том виде, как он сложился за минувшие десятки лет, в том и состояла, что он утратил вкус к постановке ключевых теоретических проблем и постепенно свелся к «теоретическому» оправданию сложившейся практики. Поэтому наиболее актуальными и неотложными сейчас оказываются фундаментальные, можно сказать, хрестоматийные проблемы. И если мы пытаемся разобраться в том, какое место религия занимает в нашем социалистическом обществе, то сделать это невозможно, серьезно не разобрав «давно решенный» марксизмом вопрос о специфике религии и ее социальной функции.

Общепринятое мнение известно: суть религии в том, что она «удваивает» реальность, наряду с действительным, чувственно осязаемым миром признает мир сверхъестественный, божественный. Что ж, с этим можно согласиться. Однако такая характеристика носит чисто описательный характер и мало что дает для понимания причин появления и постоянного воспроизводства религии в человеческой культуре. Как известно, на самых ранних этапах истории возникают культовые действия (а впоследствии и соответствующие представления), направленные не на реальные, враждебные природные стихии, но на силы воображаемые. Логично утверждать, что они являются не только бесполезными, но и вредными, лишь растрачивающими ограниченную производительную силу рода, а поэтому должны были постепенно исчезнуть как «тупиковые» варианты социальной деятельности. Но этого-то и не произошло. Следовательно, имеются какие-то особые общественные потребности, удовлетворить которые способна только религия. Но какие?

Приведем сравнительно малоизвестное высказывание Маркса, которое, как нам представляется, способно помочь решению нашей проблемы. Говоря о товарах, которые «становятся средством господства над рабочими» и которые «суть» лишь результаты процесса производства, его продукты», Маркс подчеркивает, что подобное господство вещи над человеком — это то

же самое отношение, «какое в идеологической области представляется в *религии*, превращение субъекта в объект и наоборот». И далее Маркс формулирует категорическое суждение: «Рассматриваемое *исторически*, это превращение является необходимым этапом для того, чтобы добиться за счет большинства создания богатства как такового, т. е. создания неограниченных (*gücksichtlosen*) производительных сил общественного труда, которые только и могут образовать материальный базис свободного человеческого общества. Необходимо было пройти через эту антагонистическую форму совершенно так же, как человек должен первоначально в религиозной форме противопоставлять себе свои духовные силы как независимые силы. Это — *процесс отчуждения* его собственного труда» (Т. 49. С. 47). Иными словами, религия — не досадная издержка в истории, а закономерный и лишь исторически преодолеваемый способ «практически-духовного освоения» мира, способ регуляции как социальной деятельности, так и «внутреннего мира людей».

Именно такой методологический подход следует применить, осмысливая как прошлое религии, ее реальные корни в культуре, так и ее удивительную выживаемость в эпоху, гордо именующую себя «эрой научно-технической революции». В нашей философской литературе сейчас высказывается немало соображений, которые помогают это сделать. Особо отмечу выступление М. К. Мамардашвили на недавней «Философской беседе». Всегда уникальный и постоянно возобновляемый акт философствования, говорил он, совершается в некоторой точке внутри человека. «Это символ некоторых предельных условий сознания, условие сознательной жизни как таковой. И если мы мыслим как нравственные существа и если мы осуществляем философский акт, мы находимся в той же точке жизни и смерти, в которой находился Кант и Сократ, Гуссерль или Маркс, в точке вне мира, но весьма населенной».

Чтобы прояснить связь этой мысли с размышлениями о природе религии, приведу другое рассуждение М. К. Мамардашвили: «Философию можно определить и так: философия есть такое занятие, такое мышление о предметах... когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания.

Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории является частью человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть следующее: исполниться в качестве человека. Стать Человеком.

Теперь я выражусь иначе. Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье — это символ, соотнесенно с которым человек исполняется в качестве человека. Человек не создан природой и эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная создаваемость и задана для него в зеркальном отображении самого себя символом «образа и подобия Божьего».

Никогда человек не назвал бы ничего Богом, если бы в нем уже не действовала сила, которую он вне себя назвал «Богом»¹.

Суммируя все высказанные выше соображения, можно следующим образом охарактеризовать специфику религии. Надежное функционирование и выживание общества предполагает непрерывность и устойчивость его жизнедеятельности и социально целесообразное поведение его членов. Это достигается системой запретов, табу, норм, ценностей, которые способны придать цельный, завершённый вид социальным процессам, «восполнить», «компенсировать» разрывы как в социальной ткани, так и в общей ориентации людей, обеспечивая тем самым условия для предельной интенсификации «внутреннего мира» человека: целеустремленности, уверенности, последовательности.

В обстановке, когда такие механизмы не могли быть сконструированы из реальных элементов жизни, из наличных, эмпирически очевидных фактов и доводов, предельно надежные регуляторы и ценности (то есть абсолюты) необходимо предполагают соотнесенность со всемогущими сверхъестественными силами и персонажами, с представлениями о внеприродных зависимостях и связях, осуществляющихся автоматически. Именно в этом состоит религиозная функция «восполнения», в целом усиливающая стабильность и выживаемость общественного организма².

¹ Юность. 1988. № 12. С. 9.

² Ср. Маркс: «Фантазия о близкой гибели мира воодушевляла древних христиан в их борьбе против Римской империи и дава-

Приведу простой пример. Хотя христианство распространяет принцип «не убий» на всех людей, начиная с V века теологи утверждают понятие «священной», «справедливой» войны, то есть массового, преднамеренного убийства. По мере активизации антивоенных настроений идет поиск аргументов, непроницаемых для любых милитаристских соображений. И они отыскиваются. В XVI веке внутри протестантизма возникают «секты» (меннониты, квакеры), которые учат: в каждом человеке имеется «внутренний свет» («живой бог»), а следовательно, убить человека — значит убить бога, что нельзя оправдать никакими «земными» соображениями. Не случайно такой пацифизм получил название абсолютного. В равной мере протестантские лидеры, осознавшие себя «небесными мстителями», «божьими метлами» (Кальвин, Кромвель, Нокс и другие), обнаруживали неукротимую решительность, которая в ту пору едва ли могла быть обеспечена светскими доводами.

Особый, надмировой взгляд, возвышающийся над конечными житейскими ситуациями и воспринимающий человеческое существование, историю в целом в ее ценностном, смысложизненном измерении, в ее «пределе», и есть то, что мы называем мировоззрением. Это — взгляд, брошенный из некоей точки, где совершается акт философствования. Сам по себе он не есть прерогатива отдельных мудрецов, философов, гур, отшельников: к таким размышлениям житейская реальность подталкивает каждого. Человек не может существовать, отмеряя свои цели, переживания, надежды, упования лишь отмеренным ему временем, потому что он — звено, момент непреходящей истории человеческого рода и лишь в этой роли себя осознающий.

Одним словом, нахождение некоторых оснований, «превосходящих» его личное время, стоящих «над» конечностью его жизни, — неперенное условие развития человечества, которое так или иначе, прямо или косвенно отражается в сознании людей. Поразительно точно об этом сказал Фазиль Искандер: «Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и

ла им уверенность в победе» (Т. 35. С. 132); Энгельс: «Сильная вера средневековья придавала, несомненно, всей этой эпохе значительную энергию...» (Т. 1. С. 590).

его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе»¹. В этой способности выходить за рамки конечных, «замкнутых» ситуаций, «жить в ритме столетий» (Г. Башляр) проявляются величие и свобода человеческого духа.

В зависимости от эпохи, от историко-культурных традиций, от меры личностного начала человека результат может быть разным. На определенном этапе истории (продолжающемся и сейчас) он часто завершается апелляцией к сверхъестественной опеке. «Язык» теологических (или философских) систем и есть тот механизм, та система духовно-психологических координат, которая позволяет человеку отыскать нужную ему «точку» в безбрежном пространстве духовной культуры².

Иными словами, в нашем обществе люди испытывают потребность в решении фундаментальных смысло-жизненных (обычно их именуют экзистенциальными) проблем, решение которых они пока не представляют без веры в бога. Проблемы эти вечны, они определяются спецификой человеческого существования. А поэтому будущее религии при социализме определяется тем, как скоро общество создаст условия для решения таких проблем светским путем, не требующим обращения к идее бога, к религиозной мотивации нравственных ценностей и норм. От этого зависит, в какой форме будут представлять себе люди Абсолюты, ориентирующие их «внутренний мир». А что такое вынесение неких символов в трансцендентный мир сохранится — в этом сомнения быть не может.

¹ *Искандер Фазиль*. Повести, рассказы. М., 1989. С. 24.

² Выразительно рассуждение одного из персонажей «Доктора Живаго» Б. Пастернака: «Я сказал, надо быть верным Христу... Можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны. Для этого пишат симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии» (Новый мир. 1988. № 1. С. 14).

Л. В. Карасев

ПАРАДОКС О СМЕХЕ

Это парадокс, сэръ. Ненавижу парадоксы...

О. Уайльд.

Идеальный муж

О смехе за тысячелетия человеческой истории написано уже столько, что братья за перо, не имея в виду сказать чего-то хоть сколько-нибудь нового, просто не имеет смысла. Нового хотя бы в паскалевском ироническом понимании: и в самом деле, новизна, состоящая — всего лишь! — в ином расположении старого материала, уже дает немало пользы. Что же сказать о мыслях, которые могут возникнуть при взгляде на такое новое расположение?

Мы не слишком погрешим против истины, если скажем, что никому еще не удалось выразить суть комизма лучше, чем Аристотелю, заметившему в дошедшей до наших времен первой части «Поэтики»: «...смешное — это некоторая ошибка и безобразие; никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное»¹. Разумеется, и это определение несовершенно, но не более, чем тысячи других, пришедших ему на смену. К тому же остается надежда на то, что самые сокровенные мысли о сути смеха содержатся во второй, утерянной части «Поэтики». Именно о ней, исчерпав наличные интеллектуальные возможности и привычно уповая на всеислие античной мысли, вспоминают обыкновенно теоретики комизма. Именно ее скрывает от посторонних глаз в монастырской библиотеке Хорхе в «Имени Розы» Умберто Эко. Скрывает как нечто, заключающее в себе действительную силу, иначе, истину, проливающую свет на тайну смеха. Вторая часть «Поэтики» стала для нас уже мифом, поддер-

¹ Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 53.

живающим иллюзию того, что вопрос разрешим и — более того — что кто-то уже разрешил его за нас. По неволе начинаешь отдаваться во власть этой иллюзии, навевающей интеллектуальную дремоту. Будто нашептывает кто-то: «А может быть, и в самом деле там, в трактате, специально отданном разбору комики, гений Аристотеля разрешил тайну смеха?»

Может быть. Но утешения это не приносит: потеря все равно остается потерей. К тому же рассудок подсказывает, что некая по-настоящему важная мысль о смехе не исчезла бы полностью из памяти культуры. Не должна была исчезнуть! Пересказанная, подхваченная адептами учения или же оспоренная его критиками, она все равно пришла бы к нам долгим, кружным путем, вошла бы инкогнито в романы и трактаты, приобрела бы в конце концов форму обкатанного и скучного суждения здравого смысла.

И все же... Будем справедливы: история изучения смеха проходит под знаком Аристотеля. Всякому, кто знакомился с ней хотя бы отчасти, известно, что все видимое и устрашающее многообразие теорий комизма имеет единый корень — формулу Аристотеля, согласно которой смешное есть часть безобразного. «Негативизм» Гоббса, представления о контрасте, противоречии, лежащем в основе комизма (Кант, Гегель), «деградационная» теория Стерна, идея «несоответствия» Шопенгауэра, концепция «нисходящей несообразности» Спенсера — во всех этих и других менее значимых теоретических разработках так или иначе предполагалось, что в основе комизма и смеха лежит отклик на какую-то отрицательную ценность. Одни проводили эту мысль более последовательно, другие — менее, но, по сути дела, никто от аристотелевского определения далеко не ушел. Да и некуда было идти, ибо автор «Поэтики» почувствовал главное, что есть в смехе, — его парадоксальную ценностную ориентацию, ничуть не изменившуюся за истекшие тысячелетия.

Сегодня, учитывая все основные теоретические варианты, включая концепции Фрейда и Бергсона, можно осмелиться утверждать: в написанном до сих пор о смехе с неумолимостью повторяются, варьируются две идеи, которые вряд ли могут быть поколеблены в обозримом историческом будущем:

— сущность смеха, невзирая на все кажущееся бесконечным многообразие его проявлений, *едина*;

— сущность смеха — в усмотрении, обнаружении смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой доли негативности, известной *«меры зла»*.

Собственно говоря, здесь даже не две, а одна мысль: второй тезис просто указывает на то, что именно вызывает в человеке желание смеяться. Однако если с первой частью утверждения все более или менее ясно, то вторая часть всегда рождала недоумения и вопросы: сарказм или ирония вроде бы действительно нацелены на обнаружение зла, но как быть с другими видами смеха — с «беззаботным», «доброжелательным» смехом, с «ласковой» улыбкой и «мягким» юмором?

Именно эта трудность бесспорного охвата всей области смеха рамками названного утверждения нанесла наиболее тяжкий урон теории комического. Не помогали даже самые изошренные и расширительные толкования тех мыслителей, которые, как выразился бы Декарт, видели единство всех форм смеха «яснее солнечного света». Отчасти это и понятно: ведь и самые широкие толкования не смогут убедить сомневающегося, ибо в его распоряжении имеются личные впечатления, воспоминания, примеры, в которых он никакого противостояния смеха злу не усматривает и потому решительно отказывается считать негативное начало источником любого рода комизма. Ограниченность взгляда, помноженная на неизбежную узость любого, пусть самого впечатляющего, набора объяснительных примеров теоретика, делает скептика неуязвимым, «непробиваемым». Почти что убежденный в предлагаемом ему объяснении существа дела, он отыскивает в памяти случай, противоречащий, как ему представляется, такому объяснению, и все возвращается на круги своя. Объяснение и определение уже кажутся несовершенными, неверными; тайна смеха, словно проворная рыбка, проскальзывает сквозь ячею самых безупречных классификаций и формул. Все нужно начинать заново. И нет таких сил на свете, которые смогли бы заставить сомневающегося усомниться в справедливости собственного сомнения. Убедить его в том, что любое определение смеха окажется либо непомерно широким, либо, если его хоть чуточку конкретизировать, непомерно узким. Стоит ли этому удивляться? Ведь нет, пожалуй, ничего более грандиозного и «несосчитываемого» в мире, чем то, что скрывается

за лаконично-безобидной и простой на первый взгляд формулой — «данный субъект в данной ситуации»...

Не станем душить смех петлей классификационного анализа. Смех — дело легкое, и обращаться с ним надо легко: ведь всего себя он все равно в подлинном свете не покажет. Поэтому попытаемся заглянуть за барьеры определений и классификаций, с тем чтобы дать общий контур смеха и внимательно взглянуться в существо чувства, разрешающегося в смехе, в котором все очевидно и все — тайна.

Смех и его двойник

Парадоксы притягательны, ибо сочетают в себе вещи, казалось бы, несочетаемые: то, что поначалу выглядело спорным или даже невероятным, на поверку оказывается истиной. Ум нуждается в парадоксах и сам их исправно рождает, поверяя хитросплетения жизненной мозаики лекалом антиномической мысли.

Смех парадоксален. Смех парадоксален потому, что *не соответствует* предмету, который его вызывает, и в этом внешне неприметном несоответствии кроется, может быть, главнейшая особенность смеха. Человеческие эмоции, если, конечно, не брать в расчет патологию и «бытовую» истерию, суть отклики на соответствующие им по своему прагматическому значению предметы. Нечто неприятное вызывает в нас огорчение и неприязнь. Что-то удивительное влечет за собой удивление, интерес, нечто страшное — испуг, ужас. Иначе говоря, характер вещи, ее «знак» обнаруживаются в чувстве, которое она провоцирует.

Могут сказать, что точно так же и нечто смешное вызывает в человеке смех, и потому к только что рассмотренной цепочке соответствий можно добавить еще одно звено, не нарушив при этом общего принципа сочленения. Нельзя, ибо нарушение здесь есть, и, хотя дело идет о смехе, нарушение весьма серьезное. Смех — единственный из всех эмоциональных ответов, который во многом противоречит предмету, его породившему. А это означает, что смех, выражающий, несомненно, приятное, радостное чувство, оказывается при пристальном рассмотрении ответом на событие, в котором человеческий глаз или ухо уловили, помимо всего прочего, нечто достойное осуждения и отрицания.

Конечно же речь идет о зле в самом широком толковании, обнимающем и реальную угрозу, бессильную перед твердостью духа, и бесхитростные цирковые обливания водой, удары по голове, падения на арене, и самые тонкие проявления негативности, возникающие в ситуациях пресловутого «несоответствия формы и содержания»; кстати, приставка «не» уже оповещает нас о какой-то деформации, отклонении от нормы. Сюда же идут и случаи контекстных нелепостей (опять знакомое нам «не»!), когда сама по себе несмешная вещь попадает в такое окружение, что делается смешной. Рассказанная Версиловым в «Подростке» история о человеке, который — то ли от нервного напряжения, то ли еще от чего — вдруг неожиданно для себя самого «засвистал» на похоронах, охватывает почти всю шкалу вариантов негативности, порождая смех читателя, надежно прикрытого от события эстетической дистанцией. Здесь есть зло и в виде смерти, и в аномальной реакции персонажа, и вообще в самом факте абсурдности, нелепости случившегося. Нелепости, впрочем, лишь по меркам нынешним: архаический ритуал хорошо знаком с такого рода превращенными «радостными» формами отношения к смерти...

Отголоски зла всегда слышны в раскатах смеха. Но необходимы внимание и усердие, чтобы различить их в звуках ликующей радости: разгадка парадокса требует терпения.

Именно это, повторим, парадоксальное несоответствие между бросающимся в глаза положительным характером смеха и злом, таящимся в вещи, которая вызвала улыбку, служило и служит по сию пору основным препятствием для уяснения сути смеха.

Главный вопрос, который необходимо задать для того, чтобы приблизиться к пониманию проблемы, должен звучать так: почему смех «ненормален» по сравнению с остальными «нормальными» эмоциями; почему эволюция — биологическая и культурная — подарила человеку столь парадоксальный, *радостный* способ оценки существующего в мире зла, пусть не всего, но все же значительной его доли?

Наш вопрос сразу же может быть атакован другим. Разве улыбающийся младенец борется со злом? Где в смехе ребенка можно найти что-то такое, что соответствовало бы сущности истинно человеческого

смеха — радости, возникшей в момент усмотрения зла?

Кажущаяся сила этого вопроса сбивала с толку многих и вынуждала их скрепя сердце произнести: увы, единая концепция смеха невозможна. Смех может быть не только ответом на негативность, но и просто выражением радости, чистого удовольствия. Что младенец! Даже молодые здоровые люди смеются так часто и беспричинно лишь оттого, что они просто малы, здоровы и наивны...

Однако спросим, в свою очередь, и мы себя: не смешиваются ли в этих всем хорошо знакомых рассуждениях представления о *двух разных вещах* — о смехе подлинно человеческом и смехе «формальном», лишь внешне напоминающем первый? Разве не очевидно, что за этим «формальным» смехом, которым обладают даже идиоты, стоят миллионы лет генетической эстафеты, донесшей до нас остатки древнейшей интенции жизнеутверждающей агрессивности, проявление преизбытка чисто физических возможностей? Облагороженная психосоматикой вида homo sapiens, эта интенция сохранилась в обкатанных культурой формах так называемого «здорового», или «жизнеутверждающего», смеха, в котором, вообще-то говоря, от начала подлинно человеческого и осталась-то одна лишь только форма. Понадобилась вся «доистория» человечества, чтобы придать смеху — выразителю специфически человеческого отношения к злу — тот вид, который он имеет на памяти культуры. Но при этом в нас сохранилась «память» и об исходной точке этого движения. Рядом с подлинным смехом существует, причем в тех же самых формах, некий прасмех, по самой сути своей неинтеллектуальный и неоценочный. Внешне они неразличимы, и мы, смеясь, не задумываемся над тем, что движет нами и заставляет совершать привычный смеховой ритуал.

А в начале жизни стоит нечто и вовсе удивительное: улыбка — утонченный и одухотворенный модус смеха, его венец, — играет на губах новорожденного; он не хохочет, а улыбается легко и безмятежно, будто узнал какую-то сокровенную, всеобъясняющую тайну. Культура выдает щедрый аванс существу, почти целиком еще принадлежащему миру природы.

Так намечаются контуры решения проблемы существования двух видов смеха, скрывающихся под одной

и той же маской, но выражающих различные чувства: смешное охотно становится радостным, тогда как само радостное совсем не обязательно должно быть смешным...

Улыбающийся младенец — обладатель чистой формы, доставшейся ему даром от поработавшей над этой формой культуры. Когда он улыбается, никакого несоответствия между характером эмоции и предметом, ее вызвавшим, действительно нет и не может быть: перед нами никакая не парадоксальная, а абсолютно нормальная, естественная реакция — приятное событие (появление матери или новая игрушка) рождает приятное чувство. Такое положение сохраняется довольно долго. Ребенок уже умеет говорить, а смех его все еще остается смехом, условно говоря, «дочеловеческим», хотя по форме своей, как мы уже говорили, он ничем от смеха подлинного не отличается. Идет время, ребенок смеется десятки раз на дню, получая от смеха удовольствие, которое ничем другим он заменить не может. Перед нами любопытная и явно переходная по своей сути ситуация: человек уже научился смеяться, но не обрел еще объекта, достойного осмеяния; круг ситуаций, которые смешат ребенка, пока еще остается крайне ограниченным и наполненным на редкость однообразным «материалом». Пока что в смехе разрешается лишь переполняющая ребенка «радость бытия», субъективное физиологическое ликование, родственное восторгу играющего щенка.

Но вот наступает фаза перелома. Незаметно для себя ребенок совершает первые, пока еще нерешительные и не вполне удачные попытки смеяться над тем, что по-настоящему смешным ему вовсе не кажется. Наблюдая за взрослыми, смеющимися своим «взрослым» смехом над чем-то еще непонятным ребенку, он, подчиняясь заразной силе смеха, начинает смеяться вместе с ними. Его смех формален, поверхностен, он лишь имитирует понимание того, что на самом деле пока еще не кажется ребенку ни смешным, ни понятным. Но постепенно дело идет на лад: он начинает все чаще угадывать, выделять те ситуации, которые следует оценивать посредством «взросло-го» смеха. И в конце концов у ребенка вырисовывается смутный образ того *общего*, что наличествует в различных, осмеянных взрослыми вещах, а в итоге он и сам научается безошибочно узнавать признаки этого

общего, чему он еще не знает имени, а если и знает, то уже не осознает, что смеется именно над ним, а не над чем-то иным.

С этого момента перед ребенком встает непреодолимый барьер, заслоняющий от его интеллектуально-го взгляда источник смеха. Путь назад отрезан решительно и окончательно. Обретя наконец-то истинно человеческий смех, он теряет способность понять, отчего смеется: положительный характер смеха надежно скрывает причину, его породившую. Кто, будучи в здравом уме, увидит в плюсе минус? Собственно, такой барьер сложен не только для ребенка, его не смогли одолеть и многие теоретики комизма. Негативность растворялась в улыбке и не давала возможности себя опознать: смех становился непроницаемым, «зеркальным». Такова амальгама зеркала — в ней можно увидеть все, но только не ее саму...

Переворот в сознании и неприметный для сознания может свершиться почти мгновенно. Вот сидит у цирковой арены мальчик. Клоун падает, растягивается на опилках, но мальчик не смеется. Он еще не знает, не догадывается о том, что случившееся смешно, что над падением человека можно смеяться. Но пройдет совсем немного времени, и уже в следующий раз мальчик будет вместе со всем залом хохотать и хлопать в ладоши. Он совершил открытие — научился видеть мир в зеркале смеха, однако понадобятся годы, прежде чем это зеркало станет двусторонним и заставит его смеяться над самим собой.

История знает множество форм смеха. Но хотя в различных культурах люди смеялись над разными вещами и смеялись по-разному, это не меняло главного: «...сущность смешного остается во все века *одинаковой* (курсив мой.— Л. К.)»¹, идет ли речь о «гротескном» (в бахтинском понимании) образе тела и его отправлениях, поэзии английского нонсенса, «надгробном» юморе или же о гоголевском смехе, прорывающемся сквозь невидимые миру слезы. Присутствие в вещи известной «меры» зла, которая и пробуждает в нас способность к смеховой оценке, обнаруживается повсеместно. И эта парадоксальная черта смеха — радости, осмеивающей зло,— наводит на мысль о том,

¹ Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 7.

что некий парадокс кроется в самой гримасе смеха, в форме его бытия на человеческом лице. И вот на этом пути исследования тайны смеющегося лица нас ожидает поначалу пугающее, но затем просветляющее и возвышающее нас открытие.

Взгляд изнутри и снаружи

В «Проблемах комизма и смеха» Владимир Пропп останавливает свой анализ чуть раньше, чем того требовала логика изучения предмета. К сожалению, он не ставит вопроса и соответственно не дает ответа на вопрос о том, почему смех выражается именно так, как он выражается, а не как-либо иначе.

Казалось бы, ход рассуждений должен был неминуемо подвести В. Проппа к этому вопросу, но все же последнего и решающего шага он не делает. «Когда мы пугаемся,— пишет В. Пропп,— мы вздрагиваем; от страха мы бледнеем и начинаем дрожать; когда человек смущается, он краснеет, опускает глаза; от удивления он, наоборот, широко раскрывает глаза и всплескивает руками. От горя мы плачем, плачем мы также, когда бываем растроганы. Но отчего человек смеется?»¹

Очевидно, что в последнем звене цепочки В. Пропп, сам того не желая, совершает содержательную подмену. Его вопрос: «Отчего человек смеется?» — правомерный в любом другом случае, здесь, согласно логике рассуждения, должен был звучать по-иному, а именно: «Когда человеку смешно, как он смеется? Каким образом осуществляется его смех?» А это уже совсем другой вопрос и соответственно другая проблема, которая, несмотря на свою «поверхностность», может дать кое-что из области «внутреннего» и существенного.

Взгляните на смеющегося: только что бывшее спокойным лицо вдруг преобразилось. С напряженным выдохом приоткрылся рот, сощурились глаза, поползли в длину и вширь губы, являя взору два ряда зубов. Смех усиливается, спазматические сокращения мышц диафрагмы переводят его в хохот: рот открыт, из гортани доносятся торжествующе-стонущие звуки, зубы обнажены полностью — они уже самая замет-

¹ Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976. С. 26.

ная, бросающаяся в глаза примета лица. Перед нами — осклаб, оскал рта, удивительным образом совпадающий с формой проявления чувств совсем иного свойства, находящихся свое выражение в гримасах страдания, безудержного плача (Леонардо да Винчи) или же — в масках ярости и гнева (К. Лоренц); во всяком случае, у них гораздо больше сходств, нежели различий: обнажение верхних зубов, столь характерное для проявлений ярости или страдания, оказывается одной из существенных черт смеха и даже спокойной улыбки¹.

Каков же смысл этой удивительной схожести? Чувство комизма выражается в гримасе радости, столь очевидно напоминающей нам гримасы плача и ярости. Только ли о формальном совпадении может идти речь в нашем случае? Нет ли здесь совпадения более существенного, порожденного мощным диктатом единой эмоциональной интенции, которая хотя и раздваивается парадоксальным образом на столь различные потоки, но тем не менее выражается с помощью одного и того же универсального мимического механизма?

Не пытаясь говорить об особенностях физиологии смеха, попробуем все же дать принципиальный ответ на этот вопрос. Простота ответа может в данном случае смело соперничать с его гипотетичностью. Однако при таком взгляде многие прежде необъяснимые в смехе вещи неожиданно объединяются в единую цепочку, а сама гипотеза приобретает вид системы, значимого конструкта, для опровержения которого требуется построение другой, хотя бы и совершенно иной, но также отвечающей правилам системности, гипотезы.

Итак, если вспомнить об уже упоминавшемся основополагающем тезисе теории комизма, высказанном

¹ О том, почему столь схожи между собой такие разные вещи, как смех и плач, не говорит ни Леонардо, ни специально занимавшийся этим вопросом Дарвин. Для него единство выражения смеха и плача — загадка, не имеющая ответа, потому что он не ставит вопроса о возможных глубинных основаниях для такого рода сходства. По Дарвину, смех и плач просто обязаны выражаться по-разному, хотя реальность говорит как раз об обратном. Для Лоренца же, обратившего внимание на связь между смехом и агрессивностью, разница между так называемыми «триумфальными» церемониями у животных и человеческим смехом оказывается, несмотря на его выводы, в общем-то несущественной. См.: Lorenz K. On Aggression. N. Y., 1966. P. 152, 253—254.

еще Аристотелем, то можно предположить следующее: коль скоро мы допускаем, что в глубинных основах негативных эмоций и положительного смеха лежит *одна и та же причина*, а именно то, что не только плач или ярость, но и смех есть реакция на обнаружение в вещи зла, все становится на свои места: реликтовая, функционально бесполезная мимика — обнажение зубов в гримасах страдания или ярости — закономерно сохраняется и в смехе, но смягчается, маскируется и обретает иной смысл. Мимика улыбки и смеха оказывается смягченной, эвфемизированной формой оскала недовольства — меньшей доле увиденного зла соответствует «ослабленный» вариант агрессии; по сути, перед нами ее «тень», имитация, не оставляющая, однако, сомнений относительно источника своего происхождения.

Другое дело, что сразу же перед нами встает проблема объяснения того, почему вообще существует феномен этого парадоксального разделения, почему появляется аномальная положительная эмоция, разрешающаяся в смехе.

Скорее всего, здесь мы имеем дело не с произвольной возникающей эмоциональной антитезой, а с реальным наложением, соединением двух различных эмоциональных порывов, осуществляющихся в единой форме выражения: радости, удовлетворенности тем, что зло неопасно, преодолимо, и ярости или страдания, указывающих на то, что речь идет все-таки об оценке зла. Смех оказывается результатом сшибки, противоречивого соединения двух по крайней мере эмоциональных движений, в котором побеждает позитив, сообщающий смеху в целом и стоящему за ним чувству выраженную приятную окраску. Может быть, этим обстоятельством объясним отчасти и взрывной, внезапный характер усмотрения человеком чего-то смешного в вещи: сшибка эмоциональных потоков неожиданна, чувство «щекочет» разум; и как итог этой коллизии — слияние двух эмоциональных интенций¹, выражающихся в гримасе, несущей на себе печать и радости, и агрессивности или страдания.

¹ Здесь, если не забывать о решающей роли интеллекта, происходит нечто напоминающее кестлеровскую «бисоциацию». См.: *Koestler A. Association and Bisociation // Play — Its Role in Development and Evolution. N. Y., 1976. P. 646, 647.*

Для обоснования такого предположения мы имеем примерно столько же аргументов, сколько и для его опровержения, так как нам неизвестны древнейшие формы выражения чувств, имевшиеся в «распоряжении» пращеловека; аналогии же с нынешними приматами хотя и не противоречат напрямую такого рода гипотезе, но также и не доказывают ее: отсутствие прямого генетического родства делает любые сопоставления обезьяны и человека в высшей степени приблизительными.

Эта сшибка, слияние противоположных эмоций, о котором мы еще скажем впоследствии несколько слов, дает жизнь удивительному феномену повторных спазмов и звуков смеха, позволяющих нам «удержать» ощущение смешного даже после того, как ситуация, вызвавшая смех, уже оценена и разгадана. Смех рождает приятные ощущения, и оттого мы с неохотой расстаемся с ним, держа его «на привязи» повторяющихся «взрывов» и продлевая тем самым чувство удовольствия, насколько это возможно. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с особым случаем проявления механизма «обратной связи» (У. Джемс). Внезапное (вот она, «внезапность», присутствующая в стольких определениях комизма!) обнаружение того, что зло преодолимо, рождает удивление и радость, которые, в свою очередь, производят в нас своеобразный шок. Время останавливается и бежит вспять — чтобы еще и еще раз вернуться к точке, где нам открылась несостоятельность зла. И мы охотно возвращаемся к ней с каждым новым спазмом смеха и проживаем ее заново благодаря этой удивительной «икоте» разума.

Смеющемуся достаточно своего смеха. В этом смысле смех полноправно входит в мир «феноменов эстетики — таких же, как он, «неутилитарных» и «непрагматичных». Смеясь, человек не выходит в своих помыслах за пределы, положенные и очерченные самим смехом. Он не претендует на вещь, вызвавшую у него смех, и не отрицает ее (совсем иное мы видим в чувствах интереса, зависти, вожделения или ненависти, неприятия, отвращения, ориентированных на обладание вещью или на ее уничтожение). В этом смысле смех самоценен и родствен игре. В акте улыбки или хохота человек выносит свою оценку миру, не принуждая его к изменению, и если мир при этом все-таки

изменяется, то происходит сие оттого, что смех располагает «знанием», каким мир должен быть на самом деле.

Мы уже говорили, что зло, ответом на которое выступает смех, должно пониматься предельно широко. Иначе все можно свести к абсурду: будто бы, кроме негативности, в мире ничего больше не существует. Если бы осмеиваемая вещь была насквозь «пропитана» злом, то смех, по крайней мере смех обычный, был бы перед ней бессилён. Надо помнить о том, что смех способен оценивать и преодолевать далеко не все проявления зла, а весьма ограниченную его часть, ту самую «меру», что была оговорена еще в аристотелевском определении.

Однако, коль скоро дело идет об обобщении, нас это смутить не должно: в философском размышлении фиксация конкретного, сиюминутного положения вещей — ничто по сравнению с видением тенденции, потенциальной траектории движения. Увиденный так — *sub specie aeternitatis*, — смех действительно представляет собой высший и адекватный существу человека способ оценки зла, превышающий возможности любых иных прагматически более значимых эмоций, «готовых» стать действием. В противоположность им, направленным либо на разрушение внешней ситуации (гнев, ярость), либо на саморазрушение субъекта (горе, страдание), смех ничего не разрушает, но зато сам стойко противостоит любым мыслимым в принципе формам и видам разрушения.

* * *

Момент происхождения смеха укрыт от нас столь же надежно, как и тайна рождения мысли и слова.

В первобытности, по крайней мере в той, о которой мы можем судить более или менее достоверно, смех уже представляет собой целостность, в которой соединены, спаяны древнейшие, еще животные, истоки и те элементы, которые, несомненно, относятся к миру смеха подлинно человеческого. С одной стороны, нам ясно, что этот смех тесно связан со злом (ритуальное осмеяние умирания, смерти), но с другой — видно, что речь идет о таком монолите, в котором нельзя четко выделить ни то, что мы сегодня именуем «злом», ни то, что обозначается нами как «добро». Надо сделать еще один шаг назад, в доисторию, для того чтобы по-

нять существо смеха сегодняшнего. Разобраться в этой проблеме можно лишь в том случае, если учитывать факт существования в культуре одновременно и в *одинаковых формах* двух видов смеха — подлинного, условно говоря, «комического», являющегося тогда, когда человеку бывает смешно, и дочеловеческого, исходного, выросшего из феномена чистой агрессивности, память о которой, возможно, сохранилась даже на уровне единства обозначений оскала и смеха в латинском *ictus* и *risus*, в немецком *Rachen* и *Lachen*, совпадения смыслов глаголов «осклабиться» и «улыбнуться» в русском и т. д. Более того, само слово «смех», звучащее почти одинаково на всех славянских языках, оказывается родственным не только английскому *smile* (улыбка), но и напоминает обозначения улыбки в языках иных языковых семей. Такое сходство обусловлено тем, что улыбку надо как бы «изобразить» в слове — сжать и немного разомкнуть губы, то есть опять-таки обнажить зубы.

В самом же смехе, а тем более хохоте, намек на потенциальную агрессивность явлен недвусмысленно. Но эта гримаса, эта *masca ridens*, обнажающая зубы столь очевидно, что не оставляет сомнений относительно изначальных «нравов» ее носителей, не должна обмануть нас. Вопреки своей далекой от утонченной духовности форме выражения, смех обладает явной интеллектуальной природой. Для того чтобы рассмеяться, глядя в глаза злу, необходимо суметь увидеть его взглядом особым, отстраненным. Надо прозреть существо и меру зла и тем самым, примерившись к нему, осознать свое превосходство. Смешное — это в общем-то осознанное, побежденное, а потому прощенное зло. Отсюда — победительная и одновременно великодушная позиция смеющегося: он отвечает злу смехом, иначе — добром, так как сумел оценить степень зла и соотносить с ним свои возможности. Он сильнее. Его ответ не плач и не удар, но улыбка.

Поистине парадоксальная и достойная изумления картина: столкнувшись с наличием в мире зла, человек не бесится от злобы и ненависти, не рыдает, но, повторяя маску ярости, звериного, боевого оскала, являет радость, ликование, заменяя рык смехом.

Этот механизм замены, эвфемизации «сильных» движений души оказался настолько надежным, что сделался универсальным средством выражения чувств-

ва комизма для всех тех многообразных типов мироощущения, которыми изобилует путь развития цивилизации. Исходная агрессивность впервые умирает, растворяется в смехе, и именно в этот момент начинает свой отчет история homo ridens.

В «реестре» эмоциональных ответов на факт существования зла смех занимает свое, вполне определенное время. Зло, превышающее наши контрвозможности, оценивается набором выраженных отрицательных эмоций, распадающихся довольно четко на круг агрессии и круг пассивного переживания. Тут нам «не до смеха». Смех является тогда, когда зло оказывается принципиально преодолимым. Когда, усмотрев в вещи изъян или враждебность, человек может интуитивно «достроить» должный образ этой вещи. Обезвреженное таким, в сущности, интеллектуальным путем, зло «прощается» нами в смехе, сохраняющем, однако, намеки на возможность совсем иного, далеко не безобидного ответа: в доброй улыбке можно разглядеть и оттенок страдания, и, если воспользоваться удачной замятинской метонимией, боевой блеск «злых зубов».

Мы много уже говорили о зле, всякий раз призвая понимать его предельно широко. И все же, несмотря на оговорки и указания на разное, порой самое безобидное содержание этого понятия, оно все-таки способно исказить и «омрачить» общую картину. При желании элементы зла можно отыскать в чем угодно, включая сюда и само это желание. Но смещит нас далеко не все: вызвать смех способно лишь зло *выразительное*, правда ставящее тут же и очередную преграду для смеховой оценки. Ведь выразительность предполагает силу, действенность, а они губительны для смеха, и если он не найдет для себя опоры, не сумеет защититься, то неминуемо погибнет. Тут-то и приходят на выручку всемогущие контекст и «эстетическая дистанция» (Э. Баллоу): всего лишь пересказ события, а не оно само, всего лишь воспоминание о факте, а не он сам, и вот уже бледнеет, сходит на нет былой страх или напряженность, и сквозь них просвечивает смешная сторона случившегося, только теперь и ставшая очевидной. Дистанция способна творить чудеса, она может придать эстетический оттенок чему угодно, вопрос лишь в том, с какого расстояния взглянуть на вещь: как сказал бы в таком случае Г. К. Че-

стертон, можно шутить даже по поводу смерти, достаточно лишь отойти от ложа умирающего...

Не зло само по себе смешит нас, а способ его подачи, его оформление. Прибавим к этому нашу готовность к смеху, меняющуюся от минуты к минуте, и общий абрис «смехотворной» — в прямом смысле слова — ситуации предстанет во всей своей причудливости. Здесь и берет начало все многообразие видов смеха. Весь его арсенал, начиная от «мягкого юмора» и «доброй улыбки» и кончая «едким сарказмом» и «злой иронией», окажется отражением, снимком с действительного многообразия вариантов подачи «выразительного» зла, уравновешенного или пересиленного ценностным антиподом — позитивом. Таков живой, полнокровный мир. Отсутствие же подобной коллизии даст нам скучный, серый «образ», который не только не будет осмеян, но и вообще вряд ли спровоцирует в нас какое-либо чувство: ведь не замечаем же мы, спеша на троллейбус, цвет асфальта под ногами...

Итак, «мера» зла, наличествующая в вещи, ее выразительность, и радость, и изумление, явившиеся в момент неожиданного обнаружения¹ того, что зло действительно, преодолимо, дают нам общий, крайне приблизительный чертеж запуска механизма смеха.

Кто-то способен рассмеяться перед лицом опасности, а кто-то будет смеяться, когда эта опасность станет угрожать другому. Принцип смеха в обоих случаях один и тот же, хотя глубоко различным будет наше отношение к смеющимся. Но сам смех, если подходить к делу непредвзято, тут неповинен: микроскопом можно забивать гвозди, из чего не следует, что он предназначался именно для этого. Смех не может быть источником зла, хотя его постоянный и, главное, закономерный контакт с темным началом действительно может вызвать такую иллюзию. Смеющаяся над распятым Христом толпа кажется нам сегодня более жестокосердной, чем она была на самом деле: толпа не знала, кто и за что погибает на ее глазах; она смеялась над «обманщиком» и «самозванцем», а не над Сыном

¹ Известный пример с так называемым смехом «от повтора» нисколько не противоречит принципу неожиданности: повторный жест комедийного персонажа смешит лишь тогда, когда мы внешне обнаруживаем, что он повторный, а вовсе не в момент первого с ним знакомства; повтор снижает, оглушает его и от этого делает смешным,

Божьим, а потому ее смех был, может быть, грубым, варварским, но все же вполне человеческим.

Механизм смеха един для всех культурных эпох, каким бы различным ни было их наполнение. «Мера» зла, необходимая для смеха, — величина переменная, но сам по себе принцип «меры» столь же постоянен, как Полярная звезда. «Мера» пульсировала, менялась, и вместе с ней изменялись и объект смеха, и сам смех. Так, сугубо зловещий, мрачный облик бесов романского искусства, начиная с эпохи готики, воспринимается во все более и более легкомысленном и даже фарсовом ключе. Дистанция между внушавшим ужас дьяволом раннего средневековья и дьяволом — героем современных фантазмагорий Джона Кольера порождена в конечном счете разбуханием той исходной «меры», которая когда-то налагала нерушимую печать на смеющиеся уста и приводила в трепет любого острослова.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». В этих словах — суть границы, пролегающей между злом, вызывающим слезы, и злом, рождающим смех. Степень значимости события обнаруживает себя в мощи чисто эмоциональной реакции, которая гасит свет разума, погружая все во мрак животного страха или гнева. Это имел в виду Анри Бергсон, когда писал о том, что чувство убивает смех¹.

Свет разума гаснет и во сне: спящий почти не отделяет себя от того, что видит в своих снах. Любая, даже самая нелепая ситуация принимается им за чистую монету. Спящий не способен к отстраненному взгляду на посещающие его фантомы и потому не замечает комизма, чудовищной несуразности и нелепости являющихся ему гротесков и метафор. Сны свободны от смеха, ибо сон разума убивает смех².

Сходным образом и иной полюс — «абсолютный» разум, чистая духовность — также губителен для смеха. Так, последовательная серьезность Христа, отмеченная еще Иоанном Златоустом, отчасти преодолева-

¹ См.: Бергсон А. Собр. соч. Спб., 1914. Т. 5. С. 98.

² Пусть не обманет нас улыбка, появляющаяся иногда на губах спящего: она — свидетельство переживания во сне чего-то приятного, может быть радостного, но отнюдь не смешного. Смех во сне — аномален, он примитивен и всегда связан с неврозом. См.: *Grotjahn M. Beyond Laughter. Humor and Subconscious.* N. Y., Toronto, London, 1966. P. 177—186.

ется и компенсируется в раскатах *risus paschalis* — пасхального смеха, в котором выразилось народное понимание сущности празднуемого события: воскресает Христос, «смертью смерть поправ». Зло смерти уничтожено, посрамлено; рождение и жизнь торжествуют свою победу над могилой и смертью. Из этого же источника (официальная серьезность вероучения и ритуала) проистекает и потребность средневековья в смеховом переосмыслении религиозной идеологии, обстоятельно исследованная в книге М. Бахтина о Франсуа Рабле. Если прежние архаические, родовые боги могли самозабвенно смеяться или даже рождать мир, давясь от хохота, то боги новых религий оказались куда серьезнее. Однако, как бы то ни было, сама психологическая потребность в смехе никуда исчезнуть не могла, и ему пришлось искать для себя какое-то новое место. Оно нашлось, но, правда, нашлось уже не «под солнцем». В облике дьявола и его окружения нетрудно угадать некоторые черты прежних родовых богов. Внушавшие некогда чувства весьма «сильные», они частью исчезают, а частью входят в новое сознание, например в массовое христианское, на правах шутов — «мелких бесов» или «петрушек», — начисто растеряв всю свою былую значительность.

Полюсу серьезности настоятельно, жизненно необходима ценностная антитеза, и она возникает, пронизывая собой все тело человеческой культуры, включая сюда и область искусства, где можно достаточно уверенно проследить судьбу двух «жанровых подкладок» (О. М. Фрейденберг) одного и того же сюжета, существующего в устойчивых парах: трагедия — комедия, роман страстей — плутовской роман, эпос — сатира. А еще раньше сходным путем язык и мифология производят целый набор терминов-сюжетов, «онтологизирующих» два полюса естественной человеческой чувственности, и на одном из них складывается цепочка связанных между собой и семантически близких друг другу мотивов: солнце — свет — утро — весна — рождение — рост — радость — смех. Цепочка, замыкающаяся в круг, где солнце и смех оказываются, в сущности, предметными «синонимами» (см. воспроизведение такого рода представлений в метафоре «солнце смеха» в романе В. Гюго «Человек, который смеется»; здесь, в описании спектакля в театре Урсуса, она, собственно, и перестанет быть метафорой).

Этот своеобразный *свето-смеховой «словарь»* был настолько основательно усвоен последующими эпохами, что в конце концов вообще перестал осознаваться, хотя и не вышел из употребления окончательно. Сегодня, когда мы читаем о смеющейся утренней лазури (Ф. Тютчев), говорим о том, что на чьем-то лице «сияла улыбка», или даже воочию видим ее на детском рисунке, изображающем смеющееся солнце, мы уже не отдаем себе отчета в том, какие древние смыслы звучат в столь легко проговариваемых нами словах, не чувствуем, что за набором этих как будто случайно-красивых эпитетов смеха скрывается целая линия культурной преемственности, истоки которой следует искать еще в первобытном прошлом. Но это уже тема для специального культурологического исследования.

Антитеза смеха

Что может быть противопоставлено смеху как эмоциональная антитеза? Казалось бы, ответ напрашивается сам собой: конечно же плач, страдание. Слезы — знак душевной боли — с такой легкостью появляются на лице смеющегося...

Однако не станем спешить, ведь смех смеху рознь. Проблема смеха не в том, что человек смеется, а в том, что *иногда ему бывает смешно, и потому он смеется*. А раз так, то все оказывается сложнее.

Плач, разумеется, несомненная и полноправная антитеза смеха. Но какого? Вот в чем дело. Плач есть противоположность того смеха, который с чувством смешного не связан. Это смех формальный, наследственный, смех «женихов и невест» (А. Платонов), достигающий нам даром в момент вступления в жизнь вместе с плачем. Тут действительно противоположность несомненная: выражению радости физического бытия, избытка здоровья и силы противостоит не менее телесная по своей сути эмоция недовольства, разрешающегося в слезах и гримасе страдания или ярости.

Противопоставлять же плач смеху, рожденному осознанием комизма, смеху подлинно человеческому, оценочному, — значит ничего в нем не понять. Прав был Г. Шпет, предостерегавший, как от чумы, от попыток выведения «понимания и разума из перепуганного дрожания и ослабленной судороги протоантро-

поса»¹. Смех и плач, взятые как антитеза, гораздо ближе к упомянутым «ослабленной судороге» и «дрожанию», нежели к смеху истинному, комическому и тому, что может быть предложено ему в качестве настоящей антитезы — причем не только эмоциональной, но и этической.

Ее искали, формулируя принципы комического, и находили то в «возвышенном» (Жан Поль), то в «серьезном» (Ф. Шлегель, И. Фолькельт), то в «трагическом» (Новалис), то в «лирическом» (Б. Кроче). Однако узость или, наоборот, предельная широта таких определений выходили наружу довольно скоро: антитеза смеха формулировалась в соответствии с тем, как понимался сам смех, а он, в свою очередь, брался то слишком узко, то слишком широко, что создавало иллюзию неразрешимости проблемы.

Откажемся от соблазна поиска очередной категории и вернемся к самим человеческим чувствам. Слепой поиск тут бесполезен. Выбирать альтернативу нужно, сознательно ограничивая область выбора, так чтобы один полюс соответствовал другому по возможно большему числу параметров. А раз так, то, во-первых, смеху, который мы определили как явление интеллектуальное, должно противостоять нечто не менее «умное» (плач тут явно не подходит) и, во-вторых, этот антипод должен быть равен или близок смеху психологически, в то же время резко отличаясь от него по своему «заряду».

Такие ограничения сразу же позволяют освободиться от большинства возможных «претендентов». Огорчение, страх, печаль, раздражение, ненависть, гнев, ярость с очевидностью оказываются чуждыми смеху либо по степени интеллектуальности, либо по своему психологическому облику. Им недостает то одного, то другого, а иногда и того и другого вместе. И главное — все они слишком прагматичны, «сильны» в бергсоновском смысле слова, чтобы встать на один уровень со смехом.

Отыскивая чувство, удовлетворяющее всем оговоренным условиям, мы остановим свой выбор на *феномене стыда*. Может показаться неожиданным, но именно эта тихая, интимнейшая эмоция представляет собой копию, кальку смеха. Правда, смеха, перевер-

¹ Шлегель Г. Эстетические фрагменты. Пб., 1923. С. 22—23.

нутого с ног на голову, чего, впрочем, и следовало ожидать от настоящей антитезы.

Стыд, в сущности, есть обратная сторона смеха, его отрицательный вариант. Подобно смеху, стыд рождается как удар, взрыв, не подготовленный длительным созревaniem, вынашиванием, как это можно видеть в переживаниях раздражения, озлобления или горя.

Так же как и подлинный смех, существующий бок о бок со своим примитивным предком-двойником, стыд происходит из реакции застенчивости, целиком относящейся к миру телесно-сексуальных переживаний, и сосуществует с застенчивостью в *одних и тех же формах*, отличаясь от нее в принципе. В обоих случаях — единство выражения при различии в содержании. В обоих случаях удивительная метаморфоза: полная смена внутреннего смысла, ошеломляющая по своей решительности, — почти чудо, не объяснимое никаким простым накоплением или постепенным историческим развитием.

Чуть более ясна их отправная точка в онтогенезе. Она, по сути дела, общая: смех возникает в момент неожиданного обнаружения преодолимости, недействительности зла, что рождает в нас явно преувеличенную радость. Стыд же, напротив, возникает в тот момент, когда столь же неожиданно выясняется, что наша бывшая правота оказалась ложной, что мы совершали нечто недостойное, и это самообвинение опять-таки оказывается чрезмерно преувеличенным по отношению к проступку, уже потерявшему свою прежнюю значимость.

В какой-то мере, видимо, вообще можно говорить о принципиальной неразделенности эмоций стыда и смеха; столкнувшись с ситуацией, требующей немедленной оценки, человек некоторое время как бы колеблется в выборе эмоции: стыд и смех борются друг с другом и иногда выходят наружу одновременно, образуя химеру. Так называемый стыдливый смех так же част, как и защитная реакция стыдящегося — бессмысленная, виноватая улыбка.

Возникнув, стыд и смех ведут себя очень схоже: и тот и другой являются непрошено, завладевают нами полностью, останавливая время и пуская его вспять. Со стыдом справиться так же трудно, как и с приступом хохота. Подобно спазмам смеха, возвращающим

нас к чудесному моменту обнаружения нашего превосходства, «спазмы» стыда возвращают к ситуации, в которой наша вина стала явной и осознанной как бы извне. Причем в обоих случаях какая-либо реальная прагматика отсутствует: стыд, приносящий нам сильнейшие страдания, на самом деле не связан с актуальной угрозой. Смех же, дающий не менее сильное наслаждение, никак не соотносится с тем благом, которое мы можем извлечь из ситуации реально. Стыдясь, мы не становимся беднее, а смеясь — богаче, в прагматическом смысле разумеется...

Смех чаще ориентирован на другого. Стыд — на самого стыдящегося. Однако эта разница несущественна: мы можем стыдиться и за другого, но для этого нужны любовь, сочувствие, делающие чужие переживания твоими собственными. Стыд сугубо персонален и даже просветленно-эгоцентричен. Усмотренное зло осуждается человеком в одиночку; внешние свидетели становятся ненужными, их помощь бесполезна, ибо силы для преодоления чувства вины человек может найти только в себе самом, в отличие, скажем, от переживания грусти, тоски или раздражения, которые облегчаются внешними усилиями сочувствующих и сопереживающих. Стыд же нельзя переживать вдвоем или коллективно, если, разумеется, вина не была коллективной. Поэтому стыдящийся принципиально одинок и незащищен. Стыдясь своего проступка, человек выступает по отношению к себе вчерашнему как внешний, иначе, посторонний наблюдатель: он проецирует значимую для него сегодняшнюю нравственную парадигму на сюжеты прошедшей жизни и судит их и себя, как судья подсудимого, не теряя, однако, при этом ощущения целостности своего «я».

Взрывная реакция стыда — удар изнутри, краска на щеках — свидетельство глубоко интимного процесса переживания личного позора. Она напоминает взрывной характер смеха, в котором, напротив, выражается уверенность в силе, личной правоте смеющегося: смеется тот, кто *смеет* смеяться... Стыд и смех почти изоморфны, они и были так «задуманы»: не случайно стыдливость больше всего боится насмешливости, ибо смех ранит стыдящегося в самое сердце, а если быть точнее, то в ум. И если искать идеальный, абсолютный ответ на смех, то им будет именно стыд.

При восстановлении смысловой и исторической связи, существующей между понятиями стыда, срама, греха и смеха, становится ясной причина негативного отношения христианства к смеху, особенно христианства православного. На Руси смех вообще становится одной из опознавательных черт не стыдящегося своей срамоты беса, и эта концепция входит и в древнерусскую литературу, и в фольклор, четко проявляясь, например, в наборе пословиц, на все лады обыгрывающих связь смеха и греха: «Где смех, там и грех», «Смехи да хи-хи ведут во грехи» и т. д. Отсюда, в частности, идет устойчивый интерес к бесовскому смеху у Гоголя и Достоевского. Преизбыток смеха у Петра Верховенского, его «странная улыбка» могут быть прочитаны как прямая отсылка к предшествующей русской традиции истолкования сути бесовства (сравните с подчеркнутой мрачностью булгаковского Воланда, за которой — тень иной, западной традиции, сказавшейся и на многих других чертах «дьяволиады» «Мастера и Маргариты»).

Смех рассчитан на то, чтобы быть услышанным. Стыд молчалив, чужд общения: человек как бы временно умирает — цепенеет, опускает голову, прячет глаза, и только румянец красноречиво — в прямом смысле слова — свидетельствует о том, какой пожар бушует в его душе.

Подобно тому как смех преодолевает зло в другом, не побуждая человека к физическому преодолению зла, стыд выступает как осознание зла в себе, его власти над нами, но без помысла ответить, отомстить тому, кто заставил нас испытать стыд. Предельным, но вполне логичным исходом состояния, не поддающегося снятию стыда, может, скорее, оказаться самоубийство, то есть обращение физического действия на себя самого, но никак не на другого.

Когда мы говорим, что смех и стыд более других эмоций связаны с интеллектом, может возникнуть вопрос: а разве есть чувства, не прошедшие — так или иначе — обработку сознанием? Таковых в человеке и в самом деле нет. Поэтому, указывая на специальный статус смеха и стыда, мы имеем в виду их принципиальную, особую зависимость от интеллекта. От аристотелевского определения человека как «смеющегося животного» до соловьевского парафраза: «Стыжусь, следовательно существую» — такова антитеза, на по-

люсах которой находятся чувства, составляющие квинтэссенцию человеческого в человеке.

«Умственный» характер стыда очевиден: паралич мысли и эмоциональная нищета не дают возможности испытать мук стыда. Потому-то идиоты, как это заметил еще Ч. Дарвин, не краснеют, и они же так часто смеются тем самым формальным, «идиотским» смехом, который безнадежно далек от подлинного человеческого смеха.

Итак, если стыд, как правило, эгоцентричен, направлен внутрь, то смех, напротив, ориентирован вовне: смеющегося интересует прежде всего не он сам, а кто-то другой. Смех над собой — высшая ступень комической оценки — доступен лишь тому, кто способен встать над собой, сделать еще один нравственный и интеллектуальный рывок — взглянуть на себя со стороны и увидеть как другого. А это доступно далеко не каждому; еще А. Бергсон заметил, что комический персонаж смешон настолько, насколько сам не осознает себя таковым. Оттого-то осмеянный часто и вполне искренне не понимает, почему над ним смеются. Ему не хватает главного, того, чем с самого начала обладают смеющиеся, — взгляда со стороны.

Стыдящийся уязвим и мирен. Он переживает стыд, осознавая свое бессилие, невозможность что-нибудь сделать; в нем начисто отсутствует самоуверенность. Смеющийся же полностью уверен в себе и поэтому также не настроен на какое-либо действие, он не пытается распространить свое преимущество — реальное или иллюзорное — далее границ собственного смеха. Так феномены смеха и стыда сходятся, совпадают в своем неутилитарном характере, хотя причина его в каждом из случаев противоположная.

Смеющийся, так же как и стыдящийся, самодостаточен. Но окраска этих состояний полярна. Переживающий стыд не нуждается в сострадании, тогда как смеющемуся непременно нужны сосмешники; стыдящийся переживает наиболее нравственную из всех возможных форму страдания, превозмочь которое никто, кроме него, не в силах, тогда как смехом можно заразить извне, как чисто внешней силой. Поэтому-то состояния сострадания, жалости, так, казалось бы, подходящие на роль полноценной антитезы смеха, оказываются на самом деле феноменами совершенно иного психологического регистра — их противополож-

ностью будут душевная черствость, безразличие, но только не смех.

Стыд, если говорить не о физиологии, а о феноменологии чувства,— это и есть смех, но с иным, альтернативным знаком. Смех и стыд, идущие в паре, в отличие от *архаической пары смех — плач*¹, составляют ядро истинно человеческой, иначе, интеллектуализированной чувственности. На эту пару интуитивно выходит Г. К. Честертон в своем описании «прекрасного безумия смеха» и «тайны стыда», напоминающей человеку о существовании чего-то высшего, чем он сам².

Впрочем, можно помыслить и такой условный мир, в котором этический смысл, потеснив прежнее чисто телесное содержание, наполняет лишь один из полюсов оппозиции, оставляя свою антитезу в состоянии динамического ожидания и напряжения. Таков мир «Чевенгура» и «Котлована» А. Платонова. Бросающееся в глаза тотальное отсутствие в нем смеха, поначалу воспринимаемое как загадка, эстетическая односторонность, становится объяснимым и внутренне оправданным, когда мы обнаруживаем, что главное и все подчиняющее себе чувство, которым живут и мучаются платоновские «самодельные» люди,— это стыд.

Платоновским людям-сиротам действительно было не до смеха. Им, если воспользоваться авторским самописанием, было «некогда расти», им надо было сразу «нахмуриться и биться». Поэтому отсутствие у них смеха не случайно: оно спровоцировано тем особым типом детско-взрослого сознания («недоделанного», «вымороченного»), который сконструировал Платонов и «рассадил» по головам своих странных героев. Просыпаясь к неведомой им прежде «сознательной» жизни, вступая в чертоги нарождающегося «Царства сознания», они уже ощущают в себе ростки рефлексии, но не способны еще понять ни мира, ни себя в нем. Отсюда своеобразная убогость их жития и мироощущения: всепобеждающий стыд заполняет, оккупирует то пространство души, исковерканной битвами

¹ Этот момент особо подчеркивает О. Фрейдберг, говоря о семантике архаических образов смеха и слез: для родовой эпохи «смех» и «слезы» — «это метафоры смерти в двух ее фазах, возрождения и умирания, и ничего больше» (Фрейдберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 87).

² См.: Chesterton G. C. Everlasting Man. L., 1927. P. 39, 40.

«социальной войны», которое первоначально предназначалось для смеха. Платоновский мир — «яростный» и «унылый» — живет в ожидании восстановления этического баланса, живет в ожидании смеха. Он нуждается в нем больше, чем в каком-либо из иных лекарств, ибо нарушенное равновесие — потеря одного из полюсов альтернативы — делает другой аморфным и бессмысленным и ведет такой мир к неминуемому самоуничтожению.

...Везде, где мы встречаем смех, рожденный восприятием смешного, и везде, где есть стыд как итог моральной самооценки, а не физиологической стыдливости, можно говорить о выраженной духовности этих феноменов, в каких бы грубых или, напротив, утонченных вариантах они ни представляли.

История стыда не менее богата и разнообразна, чем история смеха. В ней существовали не только знакомые нам сегодня, но и иные формы переживания «греха», никак не связанные с идеологией прочно вошедшего в нашу культуру христианского мифа. Чувство «родовой» вины, самоосуждения за нарушение запрета, пусть и самым причудливым образом мотивированного и осуществлявшегося, реально противостояло первобытному хохоту, отголоски которого столь явно слышатся в «гомерическом», вернее «олимпийском», смехе богов, потешающихся над редкостно выразительным уродством хромого на обе ноги Гефеста:

...Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится...

(II. I, 595, 600)

Телесное в широком смысле слова, и особенно телесно-производящее, таящее в себе зачатки стыда (вспомним цепочку: срам — стыд — смех), — это вообще излюбленный объект архаического смеха: оскорбленный Гефест хочет изобличить неверную жену, «готовя Арею стыд» — западню, и это зрелище легко вызывает «несказанный» смех всемогущих богов (Od. VIII, 275, 305, 325). Вот такому смеху «женихов и невест» и соответствовал далекий от утонченности, целиком почти еще связанный с плотскими переживаниями стыд. В «Одиссее» нестерпимый телесный стыд, имеющий выраженную военно-эротическую подоплеку, испытывают женихи Пенелопы; развернутая метафора — неудачные попытки женихов натянуть Одиссеев

лук — семантизирует физическую и одновременно этическую несостоятельность их претензий (Od. XXI, 320, 325). Постыдное, проявившее свою негероическую природу начало осмеивается и тем самым объявляется недействительным, достойным порицания. Стыд как уникальный социальный регулятор был настолько значим для греков, что даже дал в культурологии термин «стыд-культура» (shame-culture), предназначенный для описания древнегреческой культуры¹. Впрочем, это справедливо не только для нее. История повсеместно объединила смех и стыд в устойчивую *этическую пару* и дала нам возможность лицезреть быстро развивающееся многообразие оттенков этих чувств, столь между собой несхожих внешне, но в то же время глубоко родственных и живущих по установлениям единого универсального закона.

* * *

Смех невозможен без осознания наличия в мире зла. Он не может существовать как форма культурного поведения в условиях, свободных от негативности. Отрицание для смеха абсолютно, оно всегда превалирует над позитивом, и это видно не только в целостности средневекового «карнавального», но даже в монолите «первобытного» смеха, где «низ», «земля», «могила» дают смех куда чаще, чем «рождение» и «небо». Что же сказать о заточенном на рефлексии лезвии смеха иронического?

То, что так ловко получалось у Чеширского кота из сказки Л. Кэрролла, не проходит в «стране реальности»: улыбка, существующая сама по себе, — удел «страны чудес». Человеку необходимы внешнее или внутреннее противодействие, импульс, составляющие ему ощутимую оппозицию. Без этого смех недействителен, он дряхлеет, вырождается в чисто биологический хохот и сходит на нет.

В этом смысле в европейском этико-культурном универсуме смех выступает как знак подчеркнуто значимого деяния, имеющего в своих истоках феномен «героического» мироощущения, отозвавшегося и в отношении к смерти у киников, и в судьбе Сократа, и даже в редкостной по своей лаконичности версии-ги-

¹ См.: Dodds E. R. The Greeks and the Irrational. Berkeley, Los Angeles, 1951. P. 28—63.

перболе, согласно которой Софокл скончался от смеха.

...«Понятно без слов», — говорят в тех случаях, когда для понимания достаточно интуиции и контекста. Молчание обретает статус высшей формы коммуникации в иерархии способов общения: знающий молчит, но его молчание красноречивее слов, ибо оно чревато возможными ответами на любой из вопросов.

Однако молчание при всей своей силе все-таки «однобоко». Оно свидетельствует лишь о мощи разума, иначе, о замкнутой на себя мысли. Оно почти ничего не говорит нам о жизни человеческого чувства. Поэтому, возможно, задумавшийся роденовский молчаливец, уткнувшийся подбородком в кулак, назван скульптором не «Человеком», но «Мыслителем». Для того чтобы предстать символическим изображением «Человека», он должен улыбнуться. И тогда, взятые символически, две ипостаси человеческого духа — мысль и чувство — воплотятся в многозначном молчании, «освященном», как говорили древние, мягкой улыбкой.

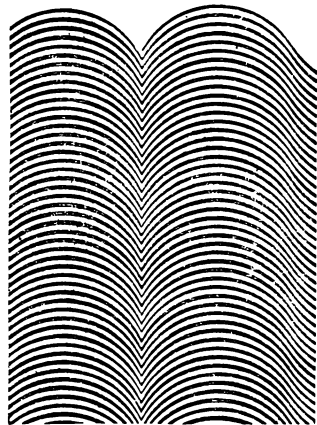
Нам знакомо это удивительное сочетание спокойствия лица и оживляющей его улыбки. Такой бывает первая улыбка младенца. Так улыбается Будда, коры и курсы времен греческой архаики. Так улыбается женщина на самой знаменитой картине Леонардо.

...Говорят, что о лице незнакомого человека трудно бывает сказать, симпатичное оно или неприятное, до тех пор, пока он не засмеется. Не более чем предположение или даже «предрассудок» в ницшеанском духе, однако что-то истинное мы здесь угадываем.

В самом деле, ни в чем ином не проявляет себя человек так, как в улыбке и смехе, соединяющих в себе столь различные душевные движения. Глядя на смеющегося, мы видим помимо общего его положительного «контура» еще и нечто совсем другое, неумолимо проступающее сквозь маску улыбки. Смех говорит нам не только о том, как и над чем человек смеется, но и о том, как он способен страдать или гневаться. В мгновение улыбки мы столь же мгновенно прорываемся сквозь все заслоны внешнего, наносного в человеке и притрагиваемся к самой его сути.

Что же еще нужно, чтобы раскрыть тайну незнакомого лица? Пожалуй, и в самом деле достаточно одной лишь улыбки.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



П. А. Сорокин

ГОЛОД И ИДЕОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА

В современную эпоху интерес читающей аудитории к проблемам исторического развития общества и их социологической интерпретации неизмеримо возрос. И это вполне закономерно, поскольку внутренняя потребность людей обсуждать вопросы, затрагивающие существенные характеристики социального строя, со всем тщанием преследуемая долгие годы в нашей стране, лишь только сейчас постепенно удовлетворяется. Особый читательский отклик при этом всегда имеют публикации научного и социально-политического наследия первых послереволюционных лет, в том числе и немарксистского направления.

Одной из ярких фигур отечественного обществоведения накануне и сразу после Октябрьской революции был Питирим Александрович Сорокин — выдающийся русско-американский социолог XX века, столетие со дня рождения которого отмечалось в 1989 году. Обрисуем в общих чертах основные вехи его нелегкой судьбы и блистательной научной карьеры.

П. А. Сорокин родился 20 января 1889 года в небольшом селении Устюжского уезда. Его отец — рабочий, мать — крестьянка. Азы образования он получил в Гамской двухклассной школе, а после — в учительской семинарии. Приехав в начале века в Петербург, он с головой погружается в бурлящий котел революции. В 1906 году он был впервые арестован. Находясь в заключении, Сорокин познакомился с трудами классиков социологии XIX века, в том числе Г. Спенсера и О. Конта. Экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости, в 1909 году Сорокин поступает во всемирно известный по тем временам Санкт-Петербургский психоневрологический институт. Именно в этом году он попадает в поле зрения крупнейших русских ученых социологов Е. В. де-Роберти и М. М. Ковалевского, основавших кафедру социологии в этом институте и оказавших на первых порах сильное влияние на его творческое формирование.

Буквально с первых дней пребывания в стенах института Сорокин возобновляет свою революционную активность. В здании института многократно проводились митинги, организованные партией эсеров, а с 1910 года на его квартире стали собираться участники так называемых «тайных собраний». 27 февраля 1911 года, согласно одному полицейскому донесению, группа молодых

революционеров была застигнута врасплох на одном из таких «неразрешенных заседаний» на дому у студента Сорокина, и с тех пор в департаменте полиции на него была заведена отдельная карточка и за ним была установлена слежка.

Проучившись год в Психоневрологическом институте, Сорокин поступает в Петербургский университет, где проходил специализацию по кафедре уголовного права под руководством выдающегося русского правоведа начала столетия Л. И. Петражицкого. В течение 1911—1913 годов молодой ученый начинает интенсивную публикационную деятельность, печатаясь одновременно на страницах журналов «Вестник знания», «Запросы жизни», «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» и как автор научных рефератов, обзоров и статей по проблемам прогресса и эволюции, религии и преступности, и как специалист в области современной философской и социологической мысли. Зимой 1912/13 года Сорокин усиленно занимается дипломной работой, которая позднее выйдет в свет в виде отдельной монографии — «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали» (1914 г.). Книга была по достоинству оценена в отзывах и рецензиях ведущих специалистов того времени. М. М. Ковалевский, руководивший исследовательскими студиями П. А. Сорокина, в предисловии к его книге, предвосхитив дальнейший взлет социолога, летом 1913 года написал: «...в этой будущей русской социологической библиотеке не один том будет принадлежать перу автора».

В начале 1913 года Петербургская группа эсеров решает распространить прокламацию по случаю празднования 21 февраля 1913 года трехсотлетия дома Романовых с призывом выразить протест против празднования однодневной забастовкой всех торгово-промышленных предприятий и высших учебных заведений столицы. Об этом, как явствует из архивных документов, стало известно отделению по охране общественной безопасности и порядка, и 10 февраля был проведен обыск на квартире Сорокина, после которого «деятельный член» партии социалистов-революционеров был арестован и помещен в Спасскую часть. Через несколько дней после заключения арестанту было разрешено написать письмо своему патрону. Однако до адресата письмо не дошло, было перехвачено и подшито к делу Сорокина, и, таким образом, этот любопытный документ сохранился до наших дней. В этом письме к члену Государственного совета профессору М. М. Ковалевскому, которое, кстати, бережно хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР, П. А. Сорокин «с прискорбием» сообщает, что не может выполнять обязанности его секретаря, так как находится под арестом. Решительно отмежевываясь от своей революционной деятельности, он, в частности, пишет: «Арест для меня — полнейшая неожиданность, остановившая, помимо всего, возможность дальнейшей научной работы, ибо ни книг, ни пособий здесь нет и не дают. Бумаг и чернил — тоже. Света так мало, что я при своей близорукости боюсь ослепнуть. Одним словом, скверно. Единственной надеждой и утешением является то, что должно же это недоразумение кончиться, должна же истина выявиться». И тут же добавляет: «Неужели же ни за что ни про что сидеть?..» Профессору Ковалевскому все же стало известно о прискорбной участи его секретаря, и по его прошению Сорокин из-под стражи был

освобожден. После этих событий П. А. Сорокин на время несколько отстраняется от революционной активности и вновь обращается к ней лишь после смерти своего учителя в 1916 году.

Накануне и в годы первой мировой войны Сорокин всецело отдает себя науке, много печатается, в том числе и в научно-публицистическом жанре. В 1915 году он был зачислен в преподавательский штат Психоневрологического института, а в 1916 году сдал магистерские экзамены. Им был прочитан не один курс по философии, праву, психологии, эстетике, но все же его основные интересы остаются в области социологического знания.

Февральскую революцию Сорокин встретил с воодушевлением и на какое-то время вновь возвратился к общественной деятельности. Пишет несколько получивших широкую известность социально-политических трактатов, среди которых: «Автономия национальностей и единство государства» (1917 г.), «Формы правления» (1917 г.), «Проблемы социального равенства» (1917 г.), «Основы будущего мира» (1917 г.), «Причины войны и пути к миру» (1917 г.), «Что такое монархия и что такое республика?» (1917 г.), «Кому и как выбирать в Учредительное собрание?» (1917 г.), «Сущность социализма» (1917 г.). Старые связи приводят его к руководству партией социалистов-революционеров; некоторое время он даже выступает в качестве личного секретаря А. Ф. Керенского и редактирует эсеровский журнал «Народная воля». После Октября 1917 года Сорокин фактически прекращает свою бурную революционную активность, хотя и не уходит от общественной жизни вовсе. Основным объектом его социально-политической пропаганды становится крестьянство русского Севера. Неоднозначно в этой связи складывались его отношения с большевистским правительством. Судя по всему, он даже не раз был арестован, а возможно, и судим.

В 1917 году, после окончания Петербургского университета, П. А. Сорокин был избран приват-доцентом, а в 1920-м — профессором кафедры социологии. В это время он проводит систематизацию прочитанных им общих и частных курсов по социологии, в первую очередь по социологии уголовного права, и при этом выступает, пожалуй, крупнейшим популяризатором социологических знаний. Сотрудничал с Наркомпросом — в Ярославле им были опубликованы два учебных пособия: «Общедоступный учебник по социологии» (1920 г.) и «Элементарный учебник общей теории права» (1920 г.). В 1922 году он вступает в открытую дискуссию с Н. И. Бухариным в связи с выходом его книги «Теория исторического материализма» (М., 1922) о предмете, сущности и методах социологии. Венцом всего творчества Сорокина этого периода становится его двухтомная монография «Система социологии» (1920 г.), вокруг которой разгораются ожесточенные дебаты. 22 апреля 1922 года в здании Петроградского университета при большом стечении студентов и именитых ученых был устроен открытый диспут по поводу «Системы социологии» П. А. Сорокина. На нем выступили крупнейшие общественеды того времени, среди которых Н. И. Кареев, К. М. Тахтарев, И. М. Гревс, И. И. Лапшин, С. И. Тхоржевский, Н. А. Градескул. Все выступавшие без исключения назвали книгу выдающимся достижением русской социологической школы. Высказанные замечания и разногласия, судя по краткому стенографическому отчету, который был опубликован в журнале «Экономист» (1922. № 5), были с блеском отведены профессором Сорокиным. Обсуждение

завершилось тем, что «многочисленная публика наградила диспутанта долгими несмолкаемыми аплодисментами».

Однако пионер и один из основателей советской социологии покидает Советскую Россию и уже более не возвращается. Чуть меньше года он провел в Праге, а с 1923 года окончательно переехал в США, где прожил до 79 лет. По поводу причин внезапного отъезда Сорокина существует несколько гипотез. Одни убеждены, что, проявляя лишь внешне свою «аполитичность», Сорокин, в действительности нелегально участвовал в белогвардейских контрреволюционных заговорах и, попавшись в 1922 году, был приговорен к смертной казни, которая была в последний момент заменена на высылку. Эта версия, в частности, поддерживалась им самим в бытность американским гражданином. Другие утверждают, что, когда в 1922 году В. И. Ленин поставил вопрос о необходимости коммунистического контроля над программой и содержанием курсов по общественным наукам (ПСС. Т. 42. С. 320—321; Т. 45. С. 29—33), П. А. Сорокин наряду с другими «буржуазными профессорами» был отстранен от преподавания, а позже и депортирован. Сейчас трудно докопаться до истинных причин отъезда П. А. Сорокина, но, как бы то ни было, уезжая из России, Сорокин увозил с собой неоднозначный, хотя и оптимистичный в целом образ молодой республики, сохранявшийся у него еще долгие годы. Собранный в годы революции и первые годы Советской власти эмпирический материал был обобщен им в труде «Социология революции» (1925 г.).

На протяжении всей своей заокеанской жизни он не позволял себе открыто неприязненных и тем более враждебных выпадов в адрес Советского Союза. Напротив, стремился восстановить, по крайней мере, «нормальные» научные контакты с учеными Советской России. Однако то был период, когда сделать это было совершенно невозможно. Во времена культа личности, а по инерции, к сожалению, и гораздо позже, вокруг П. А. Сорокина был создан заведомо ложный ореол «враждебности и антисоветизма», основанный лишь на том, что он не разделял марксистских убеждений и находился в эмиграции. Но когда «железный занавес» окончательно пал и, казалось, были созданы все условия для возрождения с ним дружеских отношений, на первых порах этого шага все еще опасались, а потом... стало уже поздно. Питирим Александрович Сорокин скончался в 1968 году, так ни разу и не побывав на родине после своего отъезда.

Пик научного творчества профессора факультета социологии Гарвардского университета П. А. Сорокина приходится на 30—50-е годы. В составе большого авторского коллектива он принимает участие в создании фундаментального труда по социологии крестьянства (1930—1932 гг.); пишет системное исследование по социологии общества, культуры и личности (1947 г.). Всемирную известность ему приносит четырехтомная монография «Социальная и культурная динамика» (1937—1941 гг.), основанная, между прочим, и на эмпирических материалах, собранных им еще в России. Интерес к России, по заверению социолога, сохранялся у него на всем протяжении его жизни. Так, в зените славы Сорокин ведет продолжительную переписку об исторических судьбах России с выдающимся английским историком и философом А. Тойнби.

Прожив долгую и достаточно сложную жизнь, Сорокин успел сделать немало. Его влияние на американскую, а впрочем, и

на мировую науку чрезвычайно велико, хотя не может и не должно быть однозначно оценено. Только лишь за русский период своей эволюции (1911—1922 гг.) он написал около 40 статей, дюжины книг и брошюр, более ста обзоров и рефератов. Анализируя проблемы своего времени, он всегда, как казалось, выступает с позиций социолога «с большим опытом», хотя в действительности именитому ученому — профессору Петроградского университета — едва перевалило за тридцать.

Творчество Сорокина никогда не носило чисто кабинетный характер. И в России, и за рубежом многие из своих работ он оформлял в научно-популярном жанре. Обладая острым пером, универсальным логическим мышлением и широчайшей эрудицией, Сорокин был способен придать любой проблеме законченную форму, мастерски ее исследовать. Испытывая интерес практически ко всем сферам материальной и духовной культуры, он писал о формах индивидуального и группового поведения, о теории справедливости и национальной проблеме в нашей стране, о социальной стратификации и мобильности населения, о расцвете и падении общественных организаций и институтов, о социальной и сексуальной революциях, о сущности демократии и социализма и т. п. Гораздо труднее в этом смысле назвать те темы, которые Сорокин полностью обошел вниманием. Однако при этой исследовательской всеядности довольно отчетливо проявляются различия в общих методологических установках ученого-энциклопедиста в русский и американский периоды.

Главная колея развития буржуазной социологии в России в начале XX века была позитивистской. Крупнейшими ее представителями были учителя Сорокина М. М. Ковалевский и Е. В. де-Роберти. Они отвергали традиционное противопоставление наук о духе наукам о природе, а поэтому считали, что социология должна пользоваться естественнонаучными методами. Ее объектом является поведение людей, в исследовании которых должен быть устранен всякий психологизм и любые оценочные суждения. Задачи социологии они видели: а) в описании социальных явлений; б) в установлении между ними функциональных связей. Позиции же самого Сорокина несколько отличались от взглядов его учителей, представляя собой скорее смесь позитивизма с популярной в те времена бихевиористической теорией. Он делал особый упор на эмпиризм в исследованиях, считал возможным формулировать универсально действующие и функциональные социальные законы. Сорокин многократно подчеркивал необходимость «изгнания» монизма — хотя нередко становился на его позиции — из социологического знания, то есть исследовательского метода, при котором любое общественное явление выводится из одного всеобъемлющего фактора. Также он ратовал за предельно четкое различие между социологией и этикой, так как первая, по его мнению, изучает «сущее», а вторая лишь указывает рецептуру «должного».

П. А. Сорокин всегда достаточно открыто отмежевывался от материализма как метода, называя свой метод субъективистским. В США, уже после создания Гарвардского социологического факультета, субъективистский «крен» в творчестве ученого значительно усилился. В результате этого окончательного поворота к индивидуализму П. А. Сорокин создает беспрецедентную по степени умозрительности в истории социологии систему, в которой он напроочь отказывается от позитивистского метода и перекраи-

вает все свои взгляды с точки зрения философии культуры. Правда, именно эта титаническая попытка принесла ему поистине мировую славу.

Но вновь вернемся к тому времени, когда Сорокин П. А. работал в качестве профессора кафедры социологии Петроградского университета и подвергал анализу события предреволюционных лет и первых шагов Советской власти. Пытаясь установить связь между наблюдаемыми явлениями и придать им необходимое социологическое обоснование, Сорокин никак не мог пройти мимо важнейшего феномена эпохи — голода. Этой проблеме он посвящает несколько работ, в том числе и отдельное исследование — «Голод, как фактор» (1921 г.). В несколько переработанном виде позднее он включит свои разработки на эту тему в монографию «Человек и общество в бедствии» (1942 г.). Впоследствии, в 1975 году, жена ученого, Е. П. Баратынская, по его рукописям составит для англоязычной публики эссе этого блестящего исследования. Для настоящей публикации был выбран наиболее яркий, на наш взгляд, наиболее интересный для современного читателя ракурс, рассмотренный Сорокиным в статье «Голод и идеология общества». В ней автор пытается выявить связь между голоданием (и бедностью) и уравнительными (или, как изредка он их именует, «коммунистически-социалистическими») идеологиями, общественными настроениями и тенденциями. Многие, о чем пишет автор, искушенному читателю может показаться «наивным» или, возможно, слишком прямолинейным. Но ни к чему излишняя строгость, тем более что за этой «простотой» скрываются действительно любопытные наблюдения и принципиально важные положения, не потерявшие своей актуальности и сегодня.

Текст статьи воссоздан по изданию 1922 года (Экономист. 1922. № 4—5) с незначительными изменениями и частичным сокращением библиографической части работы. Знаки препинания и орфография приведены в соответствие с современными требованиями.

Под идеологией общества я разумею совокупность представлений, понятий, суждений, комплексы их: убеждения, верования, теории, «мировоззрение», свойственные членам агрегата. Причем мной в понятие идеологии включаются как убеждения, теории, верования и т. д., только переживаемые и мыслимые про себя, так и проявленные вовне: словами, письменными знаками, рисунками, жестами и другими способами. На объективном языке совокупность таких явлений можно назвать терминами: субвокальных и речевых рефлексов человека.

Исследование поведения и идеологии отдельного индивида показывает, что «содержание сознания» последнего резко меняется при резких изменениях кривой количества и качества пищи, поступающей в его организм. Это изменение состоит в том, что при голоде идеология человека деформируется в направлении

усиления и укрепления суждений, теорий, убеждений и верований, при данных условиях благоприятствующих, «одобряющих» применение мер, способных дать пищу, с одной стороны, с другой — в сторону ослабления и подавления речевых и субвокальных рефлексов, мешающих, препятствующих этому утолению. Грубо говоря, голод как бы вынимает из «сознания» человека одну пластинку с определенными ариями и вкладывает туда другую. В итоге человек-граммофон начинает петь, говорить или думать новые слова, песни, арии, мысли, убеждения и выражения.

Раз так дело обстоит с отдельным человеком, то то же явление должно происходить и с идеологией массы лиц или целого агрегата, поставленного в те же условия резкого колебания кривой питания, в частности при переходе агрегата от сытости к голоду и обратно.

Иными словами, я утверждаю, что существует функциональная связь между колебанием кривой питания общества и варьированием ее идеологии. С изменением первой «независимой переменной» (*ceteris paribus*) меняется и «идеология общества», и меняется в том же направлении. В «эпохи Голода» это изменение сказывается в усиленной и успешной прививке членам общества такой идеологии, которая при данных условиях благоприятствует насыщению голодного общественного желудка, и в падении успеха идеологий, препятствующих — мешающих — этому насыщению. Обратное происходит в эпохи перехода общества от голодного к сытому состоянию.

Таким образом, я утверждаю, как бы это ни казалось парадоксальным, существование функциональной связи между количеством и качеством калорий, поглощаемых обществом, и сменой успеха или неуспеха ряда идеологий, циркулирующих в нем.

Это изменение идеологии под влиянием указанного фактора многообразно и чрезвычайно разнородно по своей конкретной форме. Перечислять и описывать все эти разнобразные сдвиги здесь не место. Целесообразнее будет остановиться на какой-либо одной — крупной и типичной — системе верований или идеологии, на ее судьбах уяснить суть дела и проверить указанную связь. Так я и поступлю. В качестве такой типичной системы верований и убеждений я возьму социалистически-коммунистические и уравнивательные

теории, воззрения и идеологии. Изучение кривой их успеха и выявит нам эту связь.

А теперь — пару слов, объясняющих эту связь.

Пока общество или огромная часть его сыта (дефицитно и сравнительно), нет никакой необходимости в коммунистически-уравнительных актах и поступках, вроде насильственного отнятия, грабежа, поравнения богатств и пищевых скопов агрегата. И без этих мер люди сыты. В таком состоянии у них устанавливаются соответственные формы поведения, рефлексy и убеждения, запрещающие посягать «на чужое достояние», признающие «собственность священной», «отнятие чужого добра — **недозволенным**» и т. д.

Но вот наступает голод. Допустим, что все другие меры (ввоз продовольствия, эмиграция, завоевание другой группы и т. д.), кроме захвата богатств и «скопов» у богачей данного общества, не покрывают голода. В таких условиях пищетаксис толкает голодных к захвату, разделу и «коммунизации» этих последних, как к единственному средству утоления голода. Чтобы такое поведение было возможным, необходимо «развинчивание» и подавление всех, мешающих этому рефлексу, в том числе и речевых и субвокальных (убеждений). Иначе они будут мешать тем актам, к которым сейчас толкает пищетаксис. В таких случаях пресс голода действительно в первую голову начинает давить на них, подавлять рефлексy и убеждения, препятствующие его утолению, прививает и усиливает рефлексy и убеждения (вроде: «Собственность — священна», «Отнятие чужого достояния недопустимо» и т. д.), «оправдывающие», «мотивирующие», благоприятствующие совершению актов, требуемых пищетаксисом («Собственность — кража», «Да здравствует экспроприация эксплуататоров», «Захват богатства — великое и справедливое дело» и т. д.).

Поскольку обладатели таких «скопов» препятствуют захвату их достояния, пищетаксис прививает рефлексy и убеждения, «одобряющие» применение насилия в борьбе с «буржуями».

Это значит: голод у голодных, поставленных в указанные условия, должен вызывать появление, развитие и успешную прививку коммунистически-социалистически-уравнительных рефлексов, в частности рефлексов речевых и субвокальных (убеждений), иными словами, «коммунистически-социалистической идеологии». По-

следняя в таких голодных массах находит прекрасную среду для прививки и распространения и будет «заражать» их с быстротой сильнейшей эпидемии. Совершенно не важно, под каким соусом она будет подана и как обоснована: по методу ли Маркса или Христа, по системе ли Бабефа — Руссо, якобинцев или по системе Катилины и анабаптистов, на принципе ли «прибавочной стоимости» и «материалистического понимания истории» или на принципе Евангелия: «Кто имеет две рубашки — пусть отдаст одну неимущему».

Эти обосновывающие, мотивирующие и оправдывающие «тонкости» массе совершенно не важны, они ей недоступны, она ими и не интересуется. Это — «соус», для нее совершенно не имеющий значения. А важно лишь то, чтобы идеология благословляла на акты захвата, раздела, поравнения, чтобы она прямо на них наталкивала, их одобряла. А почему, на каком основании — это дело десятое. Если какое-нибудь обоснование есть — отлично. Если нет — тоже не беда. Если при данных условиях всего более подходит для «оправдания» Евангелие — идеология будет ссылаться на него и во имя заповеди Христа будет благословлять «обобществление». Если сейчас более подходящей является идеология Маркса — будет взята она, будет широко прививаться и под ее флагом будет идти соответственное «обобществляющее» движение.

Такова в основном связь между колебанием питания и колебанием идеологии.

Значит, для успеха таких идеологий необходимы два основных условия: 1) резкий, значительный рост дефицитного или сравнительного голодания масс, при невозможности утоления его иными путями; 2) наличность имущественной дифференциации в стране. Чем резче будут оба условия, тем — при равенстве прочих условий — подъем успеха коммунистически-социалистической идеологии будет быстрее и сильнее, тем легче она будет прививаться к голодным, тем больше будет ее успех.

Отсюда следуют выводы:

1-я теорема

Ceteris paribus, сытые и голодные (богатые и бедные) группы при указанных условиях не могут иметь одну и ту же социально-политическую идеологию. В частности, коммунистически-социалистическая идео-

логия должна иметь успех и легко прививаться к группам бедняков и не может иметь успеха и легко прививаться к богато-сытым. Последние должны быть иммунитетны по отношению к ней, первые, наоборот, легко подвержены ее «заразе». Антикоммунистические идеологии, наоборот, должны преуспевать среди богатей и трудно прививаться к голодной бедноте.

2-я теорема

1) *Ceteris paribus*, при одной и той же степени имущественной дифференциации кривая успеха и прививки этой идеологии будет подниматься всякий раз, когда уровень питания масс понижается (когда голод — дефицитный и сравнительный — растет).

2) При одном и том же уровне питания масс эта кривая будет подниматься всякий раз, когда имущественная дифференциация усиливается (растет сравнительный голод).

3) Особенно резок будет подъем кривой роста и успеха этих идеологий, когда растет и имущественная дифференциация (богачи еще сильнее богатеют) и когда понижается уровень питания масс (бедняки еще сильнее беднеют). В этом случае голод — дефицитный и сравнительный — растет вдвое, вдвое давит и пищевых таксис.

3-я теорема

И обратно. *Ceteris paribus*, кривая успеха и прививки коммунистически-социалистической идеологии будет падать всякий раз, когда: 1) поднимается уровень питания масс и уменьшается имущественная дифференциация (падает и сравнительный и дефицитный голод); 2) когда при неизменности имущественной дифференциации поднимается уровень питания масс; 3) когда при неизменности уровня питания масс уменьшается имущественная дифференциация (в том и другом случае голод — особенно сравнительный — падает).

4-я теорема

Наконец, когда степень дифференциации растет, но соответственно поднимается и уровень питания масс или наоборот, уровень питания понижается, но соответственно уменьшается и степень имущественной дифференциации, оба эти процесса нейтрализуют друг

друга и кривая роста или падения этих идеологий может остаться неизменной.

Такова «механика» колебания успеха этих идеологий и их связь с варьированием кривой дефицитного и сравнительного голодания. Теоремы совершенно четки и ясны¹. Почему это так должно быть — установлено выше. Таким образом, требуемый мост между числом калорий и невесомой идеологией перекинут.

Связь установлена. «Причины» — «объяснены».

Остается для большей достоверности эти теоремы проверить.

Проверка 1-й теоремы

Она в особо подробной проверке не нуждается.

Кому не известно, что в прошлом и теперь коммунистически-социалистические идеологии (во всех их многочисленных формах) вербовали своих адептов и носителей почти исключительно из бедноты и встречали противников в богатых и сытых группах.

Напомню основные исторические факты.

В *Древней Греции*, со времени обеднения крестьянства, носителем этих идеологий были бедняки. Во всяком бедном гражданине таился социалист, пролетарий позднейших веков — прирожденный революционер (П. Тиро). Он готов разрушить мир, преграждавший бедняку доступ к богатству и блаженству. Целью его является социальный переворот, экспроприация бога-

¹ Всего более точную формулировку положения, близкого к установленным теоремам, дает Г. Изамбер. Его положение гласит: социалистические идеи и идеологии появляются (это не вполне верно: появление их — вещь «случайная», являющаяся функцией многих переменных, а не только указанных условий.— П. С.) и распространяются в эпохи, когда дана: 1) «громкая аккумуляция богатств в немногих руках, в то время как рядом свирепствует пауперизм», 2) когда чрезвычайно живо в обществе обсуждаются и дебатированы социальные проблемы. Последнее условие малоценно: оно само должно быть объяснено, поставлено в связь с какой-либо иной «переменной», а не фигурировать в качестве «объясняющего» момента, — это раз; во-вторых, оно неверно: в англо-американском мире за истекшие столетия XIX века социальные проблемы обсуждались не менее живо и не реже, чем в других странах, однако там успех социалистических идей был наименьшим. Остается только первое условие (см. *Isambert G. Les idées socialistes en France de 1815 à 1848. P., 1905. P. 20—22*). Этим, конечно, я не хочу сказать, что нет других, кроме установленных, условий роста и падения этих идеологий. Они есть (например, война), но я сейчас их не затрагиваю, ибо они лежат вне темы моей работы.

чей и диктатура пролетариата, или, как выражались греки, «господство кулаков». Образовалась «коммунистическая алчность пролетариата», и мысль об экономическом уравниении посредством простой экспроприации ренты и земельной собственности прямо-таки вошла пролетарию в плоть и кровь. И именно пролетариат, голытьба, беднота, или, по словам Аристотеля, «сброд», составлял главную армию всех многочисленных социальных революций, с их коммунизациями, дележкой и уравниением богатств, убийствами и гражданской войной, которыми богата история Греции с V века до н. э. Сообразно пролетарскому идеалу: «Не следует, чтобы один был богачом, а другой — нищим», при революциях Агида, Клеомена, Хилона, Набида и других «систематически отбиралось у собственников все их имущество, кассировались долги, переделывалась земля», «все выделившиеся из массы богатством и репутацией умерщвлялись или убивались, дома и поля, жены и дети убитых отдавались пролетариату, гелотам и сброду» и т. п.¹ Словом, указанное положение здесь, бесспорно, подтверждается.

Не иначе обстоит дело и в *Риме*. И здесь практически-уравнительная и примитивно-коммунистическая идеология, требовавшая конфискации имущества богачей, «национализации» и передела земель плюс, конечно, опалы и убийства самих богачей, идеология, выступавшая во всех основных социальных движениях и революциях Рима (Гракхов, Цинны, Катилины, Целия, Долабеллы, Рулла, Спартака, Сатурнина, Друза и т. д.), вербовала своих сторонников и adeptов из среды рабов, бедноты, голодных пролетариев, обедневших крестьян, нищих солдат, из тех, по выражению Цицерона, «жалких и голодных пиявиц казны, из которых набирались батальоны анархистов». Его современник Саллюстий говорит прямо, что разделительно-уравнительное «направление вообще свойственно самой природе этого класса. Ведь всюду неимущий относится к собственникам с завистью и недоброжелательством; он увлекается зачинщиками смут, ненавидит существующее и стремится к новым порядкам. Он жаждет всеобщего переворота; мятеж и возмущение питают его.

¹ См.: *Пельман Р.* История античного коммунизма и социализма. Спб., 1910. С. 451—452, 469—470, 487, 489—490 и т. д.

Ему нечего опасаться потерь, так как бедноте терять нечего»¹.

Возьмите, далее, идеологию *раннего христианства*. В первое время она была идеологией коммунистической, предписывавшей если не юридически, то морально: у кого две одежды, тот дай нищему; и у кого есть пища — делай то же; богатый — раздай имущество бедным, ибо легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное². В ряде первых христианских общин, в частности в Иерусалимской, «никто ничего из имени своего не называл своим, все было общее» (Деяния Апостолов, 4, 32, 34; 4, 44—45). Здесь был полный потребительский коммунизм; и Анания и Сапфира, утаившие часть имущества, были наказаны смертью. В более мягкой форме, но тот же коммунизм потребления существовал и в других ранних общинах: Коринфской, Фессалийской, Ефесской и т. д.

Словом, как ни пытались и пытаются смягчить эту черту ряд теоретиков христианства — она, несомненно, была ему присуща.

Ему присущ и ряд других черт коммунистически-социалистической идеологии, вроде положений, формулированных рано и повторявшихся позже: «Не трудящийся, да не ест» (апостол Павел), «Богатые — ленивые трутни» (Иоанн Златоуст), «Частная собственность по своей природе есть неправда» (Климент Александрийский), «Природа создала общее право для всех, узурпация отдельных лиц вызвала частное право, корысть разделила владения» и т. п. «Бесстыдная речь!» — говорит св. Амвросий защитнику собственности. «Частная собственность противоречит природе» и т. п.

К кому же всего легче прививалась эта идеология? Из кого рекрутировались ее адепты?

«Кто составлял большинство общины? — Босяцкий пролетариат» (К. Каутский).

Нищие, беднота, рабы — вот тот слой, к кому она быстро прививалась и среди кого имела успех. Герои

¹ Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. С. 503—582.

² См.: Ев. от Матф., VI, 19, 20, 24, 25—34; XIX, 23—24; Ев. от Марка, IV, 19; Ев. от Луки, XVIII, 22, 24, 25; VI, 20—25, 29—34; Деяния Апостолов, IV, 32—35 и др.

христианства — «блаженны нищие». Имущество церкви — *patrimonium pauperum*¹.

И первые христианские монастыри-коммуны состояли из бедноты. «Те же слои народа, которые дали первых христиан, явились и материалом для монастырей. Это были в большинстве бедняки... Большинство монастырей представляло собой союзы бедняков»². «Служению Божию», жалуется Августин, посвящают себя большей частью рабы, или вольноотпущенники, или крестьяне, ремесленники и прочие плебеи. Здесь особенно сильно проводился коммунизм.

Чувство частной собственности особенно сильно подавлялось в монастырях. Правило гласило: «Пусть никто не владеет никакой собственностью, ни книгой, ни пером, ни письменной доской, ничем, абсолютно ничем».

Позже в состав христиан вошли и богачи, но дух и практика разбогатевшей христианской церкви к этому времени (как увидим ниже) резко изменилась. Если время от времени по разным поводам и воскресала первичная коммунистическая идеология, то без всякого результата и успеха в официальной церкви; фактическое же оживление ее принимало формы «ереси», возникало опять-таки среди бедноты и преследовалось самой церковью и носителями ее власти.

И позже коммунистические идеологии, возникавшие на почве христианства, опять-таки вербовали своих адептов из среды бедноты главным образом. Коммунизм древнего христианства соответствовал потребностям бедного пролетариата.

«За весьма малым исключением господствующие классы почти не принимали участия в зарождении (такой) ереси. Как общее правило, ересь первоначально распространялась среди массы простого народа... Уда-

¹ 500 галилеян (первые христиане в Иерусалиме) были «по большей части бедняками». В Коринфской общине Павла, по его словам, — «немного мудрых по плоти, немного богатых, немного благородных». Он же говорит и о глубокой нищете фессалоникийской и филиппийской общин. См.: *Добшютц Ф.* Греческий мир и христианство // Христианство в освещении протестантских теологов. Спб., 1914. С. 55. В этом отношении Р. Пельман особенно ярко показал, что идеология христианских пастырей первых веков в отношении коммунизма «по смелому оптимизму не уступала фантазиям Бебеля».

² *Каутский К.* От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. Петроград, 1920. Т. 1, С. 95.

ры, поставившие существование (официальной церкви и иерархии) в опасность, были нанесены людьми темными, проповедовавшими между бедняками и угнетенными, оскорбленными и униженными»¹.

Так именно обстояло дело с патаренами и катаррами, у которых практика и идеология была коммунистической в значительной мере и которые вербовались главным образом из низших слоев народа.

Так было с арнольдистами, католическими бедняками, вальденсами, гумилиатами, с апостольскими братьями и беггардами².

Не представляют из этого правила исключение и крайние секты лоллардов, носившие разные названия (в Англии: «диггеры», «люди пятой монархии» и т. д.) и имевшие явно выраженную уравнилельно-коммунистическую идеологию. Главная масса их членов опять-таки состояла из бедняков.

Не иначе обстояло дело и с таборитами, основавшими в Таборе настоящее коммунистическое государство, с полным отсутствием частной собственности и с «равенством в условиях жизни всех членов общины». Главный контингент их состоял из бедняков, «секвестрировавших в общий котел» сначала свои богатые группы и католическую церковь, потом — соседние народы, области и города. Позже к ним стеклись «подонки всех народностей»³.

То же приходится сказать и о богемских братьях-коммунистах (секта Хельчицкого), и о последователях Томаса Мюнцера, основавших в Мюльгаузене коммунистическую общину с принципом: «Все имущество общее, и каждому все должно даваться по мере его потребностей», и о коммунистических сектах Швейцарии XIV—XV веков, и о Мюнстерских коммунистах во главе с Иоанном Лейденским, организовавших коммуну «Нового Иерусалима», и к ряду крайних течений анабаптизма. Их последователи рекрутировались

¹ Ли Ч. История инквизиции. Спб., 1911. Т. V. С. 39, 53 и др.

² У арнольдистов, которые вербовались главным образом из тех же низших слоев, антисобственнические настроения — вне сомнения. У вальденсов, по их словам, «нет собственности». Около них спланивались главным образом средние и низшие слои населения. То же и у гумилиатов. См. подробнее: Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии в XII—XIII вв. Спб., 1915. С. 5, 22, 52, 67—70, 76, 80, 89, 96, 139—140, 165, 216, 238—239.

³ Каутский К. От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. С. 189, 198—199, 187—203.

преимущественно из бедноты, из пролетариата, мелких ремесленников или, по словам Меланхтона, из «черни»; по словам Фишера — из «простонародья»¹.

Нужно ли говорить, что то же явление мы видим в XVIII, XIX и XX веках. Многочисленные и разнообразнейшие по форме, но сходные по своим практическим рецептам и осуществлениям, социалистические, коммунистические, коллективистические и уравнилельные теории и идеологии — не важно, как они называются: социализмом, коммунизмом, коллективизмом, якобинством, эгалитаризмом или иначе, а важно то, что они требуют поравнения и раздела богатств, конфискации достояния богачей, пытаются ввести равенство не только юридическое, но и имущественное, организовать на общественных началах всю жизнь и т. д., — все эти идеологии, начиная с якобинства, бабувистов и кончая марксизмом, анархизмом, прудонизмом и т. д., находили и находят своих последователей не среди богачей-банкиров, капиталистов, крупных аграриев и т. п., а среди бедноты, среди пролетариата городского и сельского, интеллигентов и неинтеллигентов, среди беднейшего крестьянства, среди нищих и голодных групп без определенных занятий и — еще точнее — среди групп, плохо и недостаточно питающихся. Исследование питания различных социальных групп в XIX и XX веках показывает, что в ряду их питание индустриальных рабочих (кроме небольших высокооплачиваемых слоев) больших городов, порвавших связи с деревней и земледелием и живущих исключительно заработной платой, является наихудшим во Франции, Германии, Бельгии, Австрии и других странах. Оно хуже даже, чем питание крестьян, местных провинциальных ремесленников, рыбаков и прислуги, не говоря уже о питании зажиточных слоев. Оно недостаточно и количественно и качественно². Эти же слои в XIX и XX веках были слоями, к которым всего легче прививались крайние коммунистические идеологии и

¹ *Каутский К.* От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. С. 203, 253, 262, 280—281, 288—289, 320—321, 337—344, 347, 361—366.

² См.: *Grotjahn A.* Über Wandlungen in der Volksernährung // Staats- und Sozialwissenschaft Forschungen. 1902. В. XX. Н. 2. S. 34—35, 54—57, 64—72. А. Гротьян в своей работе дает общую сводку многочисленных исследований «пищевых режимов» (количества и качества пищи, хлеба, картофеля, жиров, мяса, молока и т. д.) различных основных групп.

лозунги. Из них же главным образом вербовались и вербуются члены и последователи этих идеологий и соответственных партий¹. Недаром же сами эти последние присоединяют к своему названию «социал-демократическая» или «коммунистическая» партия прилагательное «рабочая», «пролетарская» или еще «партия бедноты»; недаром их девиз — «диктатура пролетариата» или «диктатура бедноты»; недаром же в их гимнах и песнях, начиная с «Интернационала», поется: «Вставай, проклятем заклеянный, весь мир *голодных и рабов!*» Наконец, прямое исследование состава таких партий показывает, что большинство их членов образуют действительно рабочие, беднота и необеспеченные лица².

То же явление мы видим во всех странах и в наши годы: армия коммунистов и социалистов и теперь рекрутируется из бедных слоев пролетариата, из голодных солдат, безземельных батраков, неустроившихся интеллигентов, из босяков и т. д.

И обратно, и в прошлом идеологии и партии антиэгалитарные, антисоциалистические, антикоммунистические, антиколлективистические имели успех, легко прививались и вербовали себе сторонников среди групп богатых, сытых, «жирных», обеспеченных и привилегированных.

Так было в прошлом, так обстоит и теперь. «Сходные причины вызывают сходные следствия»³.

На протяжении всей истории мы видим эту связь между степенью обеспеченности, и в частности обеспеченности в пище, ее количеством и качеством, и подверженностью заразе коммунистической или антикоммунистической идеологии.

Правда, и среди последователей коммунизма мы находим определенный процент богачей и людей сытых (особенно среди лидеров таких течений), и обратно, среди сторонников антикоммунизма и т. д. мы видим нередко бедноту. Но, во-первых, они тут и там всегда составляли меньшинство, исключение, а не правило; во-вторых, я не утверждаю, что принятие той или иной

¹ Целый ряд исследователей, вроде В. Зомбарта, правильно указывают, что существеннейшей чертой пролетарского движения является тенденция к коммунистическому устройству жизни.

² См. краткие данные и литературу: *Сорокин П.* Система социологии. Петроград, 1920. Т. II. С. 205—211.

³ См. там же о группировках: имущественных, профессиональных, партийных; учение о кумулятивных группах и о социальном классе.

идеологии определяется только одним фактором питания и ничем больше. Даже голодание ведет к этому результату, как указано выше, не всегда, а только при наличии в агрегате имущественной дифференциации или «скопов» пищи и богатств, «притягивающих» голодных человеческих инфузорий. Без их присутствия — нечему притягивать, нечего делить, нечем поживиться, а следовательно, нет почвы и для успеха коммунистических теорий и лозунгов среди голодных. Но принятие коммунистической и сродных идеологий может быть вызвано и другими кроме голода детерминаторами. Мы знаем, что ряд «интеллигентов», богачей и «буржуев» числились и числятся в рядах коммунистов и социалистов; видим и обратное — бедняка в роли резкого антикоммуниста и антисоциалиста.

Проверка 2-й теоремы

Историческая проверка подтверждает в основном и вторую теорему. Возьмем ли мы обширные агрегаты или агрегаты небольшие, в общем и целом рост успеха коммунистической и сродных идеологий происходит именно или в момент обнищания масс, или в момент усиления имущественной дифференциации, или в момент совпадения обоих процессов, то есть в моменты роста дефицитного и сравнительного голодания.

Сделаем беглую прогулку по истории.

В *Древней Греции* коммунистическая, уравнилельно-передельная идеология появляется в VII—VI веках до н. э. и распространяется особенно быстро с V и IV веков, то есть со времени пролетаризации крестьянства, появления бедноты в городах и селах, концентрации богатств в руках небольшой группы. С конца V и начала IV века давно уже заметная тенденция имущественного неравенства теперь стала проявляться сильнее. И в то время как Спарта IV века слыла богатейшим городом Эллады, в ней быстро прогрессировало обеднение широких народных слоев. Бесправная и безземельная масса сосуществовала с незначительным количеством тех, в руках которых все больше и больше концентрировалась земельная собственность. Процесс продолжается в IV и III веках; неудержимо исчезает среднее сословие, и наряду с возрастающим значением денег проявляется изнанка этого явления — пауперизм. Посему в обществе, приведен-

ном в расстройство крайностями маммонизма и пауперизма, проявление коммунистических тенденций настолько естественно, что нужно было бы удивляться, если бы в тогдашней Спарте отсутствовал этот лозунг социального недовольства. Раз грубая и одичавшая масса не могла достигнуть удовлетворения своих притязаний на почве существующего строя, это психологическое изменение породило коммунистические вожделения. С жаждой как можно большей наживы соединилось стремление к разделу и уравниванию. Целью становится социальный переворот, экспроприация богатей и диктатура пролетариата, или, как выражались греки, «господство кулаков». Имущественное неравенство становится побудительным мотивом, вызывающим беспрестанно возобновляющиеся революции, переворот в имущественных отношениях в смысле радикального уравнивания становится все чаще и чаще раздающимся боевым кличем «партии кулаков».

И мы видим, как с VI—V веков начинает развиваться идеология коммунизма, выражающаяся в идеализации древней коммунистической Спарты, в ее стилизации (учения Исократы, Эфора и т. д.), в идеализации естественного состояния, появляются коммунистические теории и идеологии, чем далее, тем более растут (Платон и другие), волна этих учений захлестывает воззрения, разливается в IV—III веках широким потоком и в форме упрощенных лозунгов переходит в революционное действие. Словом, ухудшение социального питания масс и рост имущественной дифференциации идут рука об руку с ростом успеха коммунистических идеологий¹. В итоге эта идеология (и соответственные рефлексы) вошла в плоть и кровь греков, стала привычной нормой.

«Дележ стал прямо-таки постоянным учреждением в образцовом демократическом государстве — в Афинах. С середины IV века там существовала особая касса для раздела остатков государственных доходов между гражданами в виде денежных раздач и подарков. На многих праздниках демос пиршествовал и распределял между собой по жребию остатки жертвы на общественный счет. Алчность доходила до того, что державный народ непосредственно распределял между

¹ Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. С. 51—53, 71 и сл., 371—376, 388 и сл., 451—452.

отдельными лицами конфискованное им на суде имущество гражданина»¹.

Сходное явление мы видим и в *Риме*. И здесь появление и рост этих идеологий начинается с момента обезземеливания крестьянства, «возникновения многочисленного сельского пролетариата» и переселения его в Рим — в место пребывания политической и финансовой аристократии, в руках которой стекались богатства мира, где наглядно бросалось в глаза чудовищное преобладание капитализма в экономической жизни. К концу периода республики оба эти процесса резко выявились. Не замедлила обнаружиться и их функция — быстрый рост коммунистической и сродных идеологий, развитие успеха лозунгов вроде передела земли, кассирования долгов, имущественного поравнения, экспроприации богачей и т. д., перешедших, как и везде, в действие и выразившихся в революционных движениях Гракхов, Друза, Цинны, Спартака, Долабеллы, Руфа, Катилины и других. Решающее значение с этого времени имеет борьба за собственность. «В грандиозном социальном движении в эту эпоху не было недостатка в элементах, увлекавшихся самыми крайними социалистическими и разрушительными идеями»². Этот рост идеологии коммунизма шел рядом с практическим осуществлением принудительного коммунизма, рассмотренным в моей статье «Влияние голода на общественную организацию» (*Экономист*. 1922. № 2).

Не случайным фактом в этом процессе разлива уравнилельно-социалистических идей является появление и быстрое развитие *христианства*. Если само по себе его появление — случайность, результат совпадения многих причин, то чрезвычайно быстрое завоевание этой идеологией умов и душ в I, II и III веках — явление вполне понятное с точки зрения проверяемой теории. Бедности и нищеты в эту эпоху было бесконечное изобилие. Богатству и роскоши не было границ. Почва для коммунистической идеологии была готова. Мудрено ли поэтому, что христианство, с его коммунистическими чертами, как идеология «нищих», «обездоленных», «труждающихся» и «обремененных», быст-

¹ Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. С. 423—424.

² Там же. С. 514—517, 519—521, 588, 503—582. Каутский К. От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. С. 17—18.

ро заразило многочисленные слои бедноты и выросло в религию сотен тысяч.

Являясь идеологией нищих бедняков, будучи интернациональным, проповедуя царство бедных и проводя потребительский коммунизм, оно быстро завоевало низы, жаждавших этого, низы — голодные, отвыкшие от работы, страдавшие и убеждавшиеся в беспешности государственной помощи.

Так как в ближайшие века империи положение масс не улучшалось, а ухудшалось, то и распространение этой идеологии росло. И вплоть до III—IV веков отцы церкви Тертуллиан, Василий Великий, Климент Александрийский и другие не раз подчеркивали коммунистические черты христианства и выступали идеологами коммунизма.

С того же момента, когда церковь разбогатела, когда в ее лоно вошли богатые слои, началось обратное движение христианской идеологии: она мало-помалу стала затушевывать и терять первоначальные коммунистические черты, сначала робко, потом резче и резче, пока в конце концов не выкристаллизовалась в идеологию, вполне «приемлющую» мир с его богатством и бедностью, деспотизмом одних и унижением других.

Но чем сильнее христианская идеология официальной церкви эволюционировала в этом направлении, тем менее и менее пригодной делалась она в качестве идеологии бедноты, тем неизбежнее становился отрыв последней от нее и тем необходимее вызывалось появление новых идеологий, на почве того же христианства, но с чертами раннего христианского коммунизма. Так оно и было в действительности.

Возврат к «чистому слову Божию» и «к апостольской бедности», то есть к первичному христианству, в форме «коммунистических ересей», обнаруживается тогда, когда церковь уже разбогатела и перестала выражать чаяния бедноты, когда бедность возросла, когда появилась довольно резкая имущественная дифференциация бедных масс — крепостных, ремесленников, пролетариата, с одной стороны, клириков, богатых землевладельцев, феодалов и городской аристократии — с другой.

К X—XI векам церковь, как известно, стала богачом¹. В VIII веке собственность церкви в Галлии со-

¹ Ли Ч. История инквизиции. Гл. I.

ставляла третью часть всей заселенной территории. В конце периода Каролингов получились еще более обширные владения церкви.

В Англии вплоть до XV века половина земель принадлежала церкви¹. Мудрено ли поэтому, что идеология официальной церкви растеряла весь коммунизм и не могла быть больше идеологией бедноты. К последней отныне должны были прививаться иные идеологии, с коммунистическим оттенком, хотя бы возникшие на почве того же христианства, но носившие явно антицерковный характер. В этих идеологиях мог появиться и лозунг захвата и раздела церковных богатств, как главных «магнатов», притягивавших бедноту.

И действительно, подобные идеологии появились.

Они были идеологией бедноты, носили коммунистический (и в теории, и в практике) характер, неизбежно попадали в конфликт с церковью, объявлялись «ересями» и под разными формами нередко требовали отказа церкви и клириков от их богатств и раздачи их нищим и бедным.

Их широкий разлив мы видим именно в X—XIII веках, когда появилась «невероятная бедность народных масс», когда «условия жизни тогдашнего общества были ужасны» и «всякое изменение общественного строя приветствовалось ими, так как оно могло лишь улучшить их жизнь, сделать же ее более тяжелой ничто не могло». Не случайно также и то, что этот разлив мы находим громадным на юге Франции и Италии, ибо «нигде в Европе образование и роскошь не достигали такого развития, как здесь», а потому «нигде в то же время в Европе разбогатевшее духовенство не пользовалось таким презрением народа»².

Таковые черты мы видим и в движении патаренов, и катарров, и Арнольда Брешианского в Риме, скопившем в XI—XII веках колоссальные богатства, вследствие чего «у населения легко могло возникнуть желание возвратить духовенство к евангельской бедности, то есть присвоить себе сокровища, собранные цер-

¹ Косалевский М. М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880. С. 17—32.

² Каутский К. От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. С. 123—126.

ковью и сохранившиеся в Риме»¹, и в движении патаренов в Милане в 1058 году (где также резкой стала имущественная дифференциация), и в движении Сегарелли и Дольчина, и в вооруженном восстании коммунистов 1306—1307 годов², и в течениях вальденсов и гумилиатов, и в других сродных идеологиях, быстро развивающихся и распространявшихся в XI—XIII веках, то есть в века быстрой экономической эволюции в Италии и Южной Франции, с ее спутником — дифференциацией, обеднением и обогащением, и в века чрезвычайного обогащения церкви.

Ту же резкую имущественную дифференциацию мы находим и в гуситском движении; в Богемии оно было огромно; причем главным богачом была церковь³. Отсюда — появление и рост (под влиянием сравнительного голода) коммунистической идеологии среди более бедных слоев и разорившегося мелкого дворянства. Эта идеология, освящавшая раздел церковных богатств, быстро вербует адептов, ведет сначала к конфискации церковных имуществ, затем к захвату имуществ богатого дворянства и буржуазии, а вслед за тем и к организации коммунистического государства таборитов с его разнородной, но резко коммунистической идеологией (николаитов, беггардов, вальденсов, лионских нищих, адамитов и т. д.), носителями коей была беднота, усиленная «подонками всех народностей», привлеченными возможностью грабежа и захвата⁴.

Далее, XV—XVI века были богаты революционными движениями и широким распространением примитивно-уравнительных и «коммунистических» идеоло-

¹ Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии в XII—XIII вв. С. 553.

² Там же. С. 132 и др.

³ Духовенство здесь владело $\frac{3}{5}$ или $\frac{3}{4}$ всех доходов государства. «Все владения Богемии, всякая собственность мало-помалу была обложена податью и налогами в пользу церкви. Отсюда — ненависть против духовенства» и т. д. Далее громадный имущественный и правовой контраст между колонами и сеньорами, между разорившимися мелким дворянством и немецкой буржуазией. К тому же «феодалные повинности делались более и более тягостными, налоги более обременительными, натуральные повинности более многочисленными» и т. д. И Э. Дени правильно указывает, что «религиозная оболочка» этого движения была оболочкой, под которой скрывались эти причины и антагонизмы. См.: Denis E. Huss et la guerre de Hussites. P., 1878. P. 8—10, 32—33.

⁴ Там же. С. 175—203.

гий. Эти же века были веками обеднения масс, с одной стороны, с другой — роста имущественной дифференциации. Упразднение коллективных порядков пользования землей, огораживание альменд и выгонов, рост податей, вздорожание, опережавшее рост заработной платы,— все это ухудшило положение масс. Податные изъятия и рост привилегий духовенства и богачей, усиление их богатств имущественный контраст углубило. Этих причин было достаточно, чтобы создать готовую почву для появления и успеха коммунистически-уравнительных идеологий (то есть расторможение одних рефлексов и прививки других). И они появились. Они росли и эпидемически заражали бедноту. И выявились в сотнях волнений, одними из которых были: создание Мюнцером коммуны в Мюльгаузене, Иоанном Лейденским в Мюнстере («Новый Иерусалим»), в которых были практически реализованы имущественное уравнение и коммунизм потребления.

В Англии такой эпохой оживления коммунистических идеологий была вторая половина XVII века. Перед революцией 1648 года положение масс резко ухудшилось. Дефицитный и сравнительный голод возросли. Стала расти и коммунистическая идеология. Революция (увы! как и всякая глубокая революция) это положение не улучшила, а ухудшила. Интересы народного демоса не были приняты английской революцией в расчет; религиозно-политический переворот лишь содействовал упрочению интересов земельных собственников¹. Положение беднейших классов с падения республики 1660 года до конца этого столетия было постоянно плачевным. Господство ленд-лордов влекло ухудшение положения надолго. Дороговизна росла, а заработная плата упала низко. В 1696 году бедные и нищие составляли $\frac{1}{4}$ всего населения.

При таких условиях успех коммунистических идеологий был неизбежен. Мы его и видим в развитии сект диггеров, броунистов, баровистов, людей 5-й монархии, квакеров, в учении Дж. Беллера и других. Рост успеха этих идеологий следует хотя бы из того, что с 1651 по 1656 год было приговорено к тюрьме не менее 1900 квакеров, с 1661 по 1697 год — не менее 13 562².

¹ Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному. Спб., 1906. Т. 2. С. 393.

² Там же. С. 393—396.

Следующей эпохой вспышки этой идеологии в Англии была первая половина XIX века, когда, как мы видим, положение рабочего класса было очень тяжелым, а имущественная дифференциация не падала. В этот период появляются и быстро прививаются к массам разнообразнейшие идеологии уравнилельно-социалистического толка, начиная от определенных систем, вроде идеологии Р. Оуэна, Томсона и других, и кончая множеством других коммунистических воззрений, не связанных с определенными именами их творцов, тем не менее «заражавших» массы и выявлявшихся в целом ряде волнений и движений этого периода, самым крупным из которых было движение и идеология крайнего чартизма.

Позже, с улучшением положения рабочих во второй половине XIX века, их идеология становилась все более и более умеренно-буржуазной. Если отдельные вспышки успеха социалистических идей здесь и были, то опять-таки в периоды относительного ухудшения их положения — в периоды кризисов. Промышленный застой 80-х годов покончил с верой (рабочих) в непогрешимость принципа *laissez faire*. С этого времени весь мир тред-юнионизма, представлявший раньше неодолимый оплот против идей коллективизма, проникнут этими идеями, и на конгрессах рабочих союзов коллективистское движение достигло господства.

Во Франции в XVIII веке, особенно во второй половине, положение масс было очень тяжелое. И дефицитный, и сравнительный голод резко повысились. Рядом с этим мы видим появление и быстрое распространение идей просветительской философии XVIII века (Вольтер, Руссо, Мабли, энциклопедисты и т. д.), в практических выводах которой в избытке имелись и лозунги равенства, и лозунги «коммунизации», и лозунги полного отчуждения личности в пользу общества, и лозунги экспроприации достояния богачей и т. д. — словом, все те основные практические выводы, которые характерны для всякой коммунистически-социалистической идеологии, не важно, называется ли она официальными социалистами этим именем или нет¹. Эта идеология, сопровождаемая принудительно-коммунистической практикой власти, широкой волной

¹ Кареев Н. И. История Западной Европы. Спб., 1913. Т. III. С. 146—288.

разливается к концу XVIII века во Франции еще до революции¹, а с ее началом она приобретает неистово заразительную силу и кристаллизуется в теории и практике якобинства и жирондизма, в теории и практике, воплотившей до конца эти лозунги, экспроприировавшей достояние богачей, пытавшейся водворить полное равенство, уничтожить эгоизм, принудительно сделать всех альтруистами, сведшей «на нет» ценность личности, отдавшей ее в полную собственность власти, не признавшей за ней никаких прав, словом, будем ли

¹ А. Токвиль особенно четко отметил это. Уже в идеологиях физиократов и экономистов XVIII века были даны основные черты якобинской идеологии уравнивания. «Уже в их книгах отлично выявляется тот революционно-демократический темперамент, который мы знаем так хорошо. Они не только ненавидят привилегии, для них однозно даже самое несходство: они обожают равенство даже в рабстве. Договора они не уважают; частные права — игнорируют; в их глазах нет никаких частных прав, а есть только общественная польза... Здесь уже видна мысль всех тех социальных и административных реформ, которые революция осуществила». Здесь же дана была уже идеология, благословлявшая всемогущее вмешательство государства, его право «не только управлять гражданами, но и формировать их по определенной, заранее предложенной модели», то есть дана была «та частная форма тирании, которую зовут демократическим деспотизмом и которая осуществлена была якобинцами и Наполеоном. Сообразно с этим до революции еще «искали идеал такого общества в Азии. Я не преувеличиваю, говоря, что не было почти писателя, не высказывавшего горячее восхваление Китая». «Обычно думают,— продолжает Токвиль,— что те разрушительные теории, которые известны под именем социализма, имеют недавнее происхождение; это ошибка: эти теории — современники первых экономистов. Уже у Морелли социализм был четко сформулирован». Токвиль далее правильно замечает, что централизация (рост принудительного коммунизма, прослеженный мной выше в XVIII веке во Франции) и социализм — продукты одной и той же почвы: они находятся в таких же отношениях друг к другу, как культивируемое дерево по отношению к дикому дереву». См.: *Tocqueville A. L'ancien régime et révolution*. P., 1877. P. 234—243 и сл.; вся II кн. и 3-я гл. III книги. Не случайным является и факт широкого разлива этических теорий, приписывающих государству громадную роль, благословлявших его всестороннее вмешательство в жизнь населения и требовавших его регулирующих функций чуть ли не во всех областях общественных взаимоотношений. Эти черты, что особенно интересно, мы находим рельефно выраженными не только у этакстов, но и индивидуалистов того времени. Они свойственны идеологиям Вольтера, Монтескье, Гольбаха и энциклопедистов, Руссо и физиократов, Тюрго, Мирабо и других (см.: *Мишель А. Идея государства*. М., 1909. С. 1—37). Как административная монархия, просвещенный деспотизм и деспотизм конвента были разными одеждами одного и того же явления — развитого этактизма,—так и все идеологии, освящавшие их, были разными изданиями одной и той же книги — оправданием этактизма.

мы называть ее «социалистической» или нет, но по существу она была такой и воплощала в себе все ее основные практические лозунги.

Общее обеднение и истощение страны, вызванное революцией, на время приостановило этот успех, хотя в низах наиболее крайние идеологии, вроде идей Бабефа и «общества равных», продолжали прививаться. Наполеон сумел дать «пищетаксису» иной выход — выход войн и грабежа населения других стран, почему в этот период не было острой надобности покрытия дефицита путем «обобществления» богатств самой Франции.

Но с закрытием этой отдушину и с прекращением грабительски-завоевательных войн, пищетаксис пролетариата, в имущественном отношении ничего не получившего от революции, снова вызывает рост разнородных «коммунистических» идеологий, которые с 20-х годов и начинают снова оживать и «роиться» (сен-симонизм и т. д.). К 30-м и 40-м годам положение рабочих не улучшилось. Между тем имущественная дифференциация, уменьшенная и нарушенная революцией, к этому времени снова резко усилилась: новая буржуазия успела вылупиться, оформиться, период первоначального накопления капитала закончился и налицо были снова: богачи и беднота, роскошь и голод. Мудрено ли поэтому, что именно в этот период развитие социалистических идеологий приобретает бешеный характер. Они плодятся и рождаются десятками и быстро завоевывают сознание пролетариата и бедноты. Появляются идеологии Энфантена и других сен-симонистов, П. Леру, Бюше, Луи Блана, Фурье, Кабэ, Прудона, оживляются бабувисты, бланкизм и т. д. В это время «рабочий класс открылся социалистической пропаганде». «Все эти доктрины делали тогда прогресс более быстрый, чем при реставрации»¹. Согласно сказанному, иначе и быть не могло.

Наконец, то же совпадение резкого ухудшения [положения] масс и резкого подъема кривой коммунистической идеологии мы видим в 1870—1871 годах, завершившихся Парижской коммуной.

Рост голода в осажденном Париже шел рука об руку с ростом «заразы» разнообразнейших идеологий

¹ Подробный анализ роста успеха этих идеологий и экономического положения масс см.: *Isambert G. Les idées socialistes en France de 1815 à 1848. P. 25—40, 115, 180.*

этого порядка и вылился в объявление «коммуны» со всеми обычными ее лозунгами и практическими мерами.

Ту же связь нетрудно проследить и в истории Германии. Здесь рост мессалианства, марксизма и других идеологий этого рода опять-таки намечается с 30-х и 40-х годов — годов индустриальной революции, ухудшения положения рабочих слоев и роста пауперизма. Именно в этот период (30-е и 50-е годы) происходит быстрое распространение этих идеологий, в их наиболее резких формах. В дальнейшем, с наступлением улучшения положения рабочих в 70-х, 80-х годах и позже (как и в Англии), идеология, особенно на практике, принимает более умеренный, «буржуазный», «социал-соглашательский» характер, чем далее, тем более эта умеренность растет, и в начале XX века до годов войны от непримиримого коммунизма былых годов остается немного, разве одна фразеология, да и та приняла весьма умеренные формы¹.

Наконец, особенно яркое подтверждение проверяемой теореме дают последние годы, начиная с 1915—1916 годов. В это время, особенно к 1918 году, бедность масс во всех воюющих странах возросла; но имущественная дифференциация не уменьшилась, а в связи с военными прибылями усилилась. С этих же годов начинается и небывалый рост исследуемых идеологий. Он наблюдается и в количественном отношении, в смысле завоевания ими все новых и новых слоев обедневшего населения, и в отношении качественном, в смысле роста крайних течений за счет более умеренных, в смысле общего сдвига этих идеологий «на лево».

В нашей стране мы были свидетелями, как с 1916 года, когда уже обеднение дало себя знать, особенно в городах, левосоциалистические идеологии стали быстро развиваться. В 1917 году социализм стал религией большинства масс. Со времени революции приток adeptов в социалистические партии совершался сотнями тысяч. Идеология социализма и коммунизма — в рафинированной или примитивной форме — захлестнула все сознание народных слоев. Маркс и другие идеологи стали божествами. Программы социа-

¹ См. об этой эволюции от непримиримости к социал-соглашательству у Новгородцева П. (Об общественном идеале. М., 1917).

листов — в их практических лозунгах — символами веры.

Вместе с этим количественным ростом, с увеличением голода происходил и качественный рост крайних течений за счет умеренных. Уже в апреле — мае 1917 года умеренный социализм потерял позиции. К октябрю ушла почва из-под ног у «центристов». Торжество коммунизма — с быстрым прогрессом бедности и голода и с наличием в то время «скопов» богатств и имущественной дифференциации — было неизбежным. Оно и наступило, и повлекло за собой полную дежку этих «скопов».

В менее резких формах, но то же происходило и во всех воюющих, а частью и в нейтральных странах. Всюду здесь, хотя и не в одинаковой степени, к 1917—1921 годам бедность масс усилилась, голод — дефицитный и сравнительный — возрос, имущественная дифференциация не уменьшилась. Отсюда — рост (количественный и качественный) этих идеологий, быстрое увеличение числа их сторонников, их влияния, их веса, разбухание соответственных партий, увеличение числа подписчиков соответственных газет и журналов, вроде «Rote Fahne», «Avantil», «L'Humanité», «Daily Herald» и т. д., сдвиг самой социалистической идеологии налево в сторону III Интернационала, зарождение и рост силы последнего за счет II Интернационала, победы коммунистов на конгрессах в Галле, в Туре, зарождение коммунистической партии в Англии, полевение здесь лейбористов, массовые попытки захвата и «социализации» фабрик и заводов, земель и богатств в Италии и других странах; словом, небывалый разлив идеологий коммунизма и социализма.

Дальнейшие судьбы их, согласно теореме, ясны: если и далее процесс обеднения масс и имущественной дифференциации будет расти — будет подниматься и кривая успеха этих идеологий; если наступят обратные явления — эта кривая будет падать.

Таким образом, при всей беглости исторической проверки теоремы она подтверждается. Это дает основание считать ее правильной¹. И здесь «сходные причины дают сходные следствия».

Все это частные случаи очерченного общего явления.

¹ Исследуемая связь и ее механизм еще рельефнее могут быть проверены на изменениях идеологии отдельных лиц и не-

Третья теорема — обратная сторона второй. Как указано было выше, с обогащением какой-либо группы, без усиления имущественной дифференциации, пищетакис ее ослабляется; значит, притяжение ее «скопами» и богатством падает, слабее поэтому становится и ее стремление к захвату достояния других групп или лиц. Если же бывшая бедная группа, хотя бы путем «коммунизации», обогатилась настолько, что под ней образовались еще более бедные группы, для которых уже достояние первой становится притягательным магнитом, то декоммунизация идеологии этой первой группы идет еще быстрее, ибо теперь ей угрожает опасность захвата захваченного достояния ее самой, из уравнителей теперь они попадают в положение богачей, которых могут уравнивать так же, как они сами уравнивали бывшую до них «буржуазию». Попав в положение последней, эти разбогатевшие уравнители неизбежно получают ее антиэгалитарную идеологию, вытесняющую былую идеологию.

Наконец, если данная группа не богатеет, но иму-

больших групп при росте обеднения и голода. Голодный смотрит на достояние другого как на кражу, как на глубочайшую несправедливость, на сытых — как на врагов; раздел богатств для него делается требованием справедливости и т. д. То же может быть наблюдаемо на деформации идеологии отдельных групп рабочих той или иной фабрики, судоходцев, ответственных работников, ученых, красноармейцев и т. д. при лишении или уменьшении их пайков, когда это уменьшение не всеобщее, когда остаются привилегированные. В таких случаях убеждение, что если их лишили, то нужно лишить и привилегированных, желание «социализировать» и их достояние («не нам, так никому»), разверстать их паек на всех и т. д. резко усиливаются. Это одна из частных форм описываемого общего явления. То же в более широком масштабе наблюдалось и у нас в годы голодовок. Например, при голоде 1891—1892 годов весть о «способии», о «царском пайке» широкой волной разлилась по всему пространству пострадавших губерний и внушило населению глубоко в него вкоренившуюся мысль о том, что оно имеет право на пособие, что правительство обязано его кормить, и притом кормить всех крестьян без разбора. На каждое исключение из списка нуждающихся крестьяне стали смотреть как на злоупотребление... Бывали случаи самых назойливых, даже нахальных, со всевозможными угрозами требований от лиц, заведовавших раздачей ссуд даже на частные средства, чтобы они всем давали хлеб, пайки, чтобы они в столовых кормили всех. Это же явление отмечал и Л. Н. Толстой, подчеркивавший возвращающее действие бесплатной помощи. См. отрывки из его статей, приведенные в «Вестнике литературы» (1921. № 8. С. 6).

ществленные контрасты ее с окружающими группами уменьшаются, то есть последние беднеют, то опять-таки пищетаксис первой — особенно сравнительный — ослабляется, падает и коммунистическая идеология. Если же это обеднение всеобщее и очень сильно, то есть делить нечего и этой дележкой не накормишь голодный желудок, то здесь для коммунистической идеологии нет места; она не поможет. Так обстоит дело с массой. Конечно, если для нескольких индивидов обществление дает «и стол и дом», а декоммунизация грозит голодом, у них такого сдвига идеологии не будет. Из существа третьей теоремы и этих кратких замечаний следует, что она будет подтверждена, если будет показано, что: 1) множество лиц и групп, бывших адептов коммунистической и сродных идеологий в бедном состоянии, разбогатеет, хотя бы путем того же поравнения, становятся носителями антикоммунистических убеждений и особенно антикоммунистической практики; 2) что в обширном агрегате, например в населении большого государства, с ростом благосостояния и сытости масс, без обгоняющего его роста имущественной дифференциации, успех коммунистической и сродных идеологий падает и количественно и качественно; 3) что то же имеет место и при резком падении имущественного неравенства.

Постараемся бегло подтвердить каждое из этих положений и путем прямого наблюдения, и исторических свидетельств. Начнем с явлений первого рода.

Они мной были описаны и охарактеризованы уже во 2-м томе «Системы социологии»¹. Там они формулированы были в зависимости от положения индивидов в системе социальных координат; теперь я подвожу под эту зависимость «основу», даю «объяснение» этого частного случая трансформации человеческих душ и поведения, наступающих при перемене индивидом «бедной» позиции на «богатую» и обратно. Одна из причин такой трансформации — колебание кривой питания и пищетаксиса.

«Человек, бывший в группе бедняков, этот человек, перейдя в группу богатых, фатально будет иным человеком. Из его тела при таком переходе помимо его воли вынимается душа «бедняка» и вкладывается «ду-

¹ См.: *Сорокин П.* Система социологии. Петроград, 1920. Т. 2. Гл. V—VI и особенно с. 452—457.

ша богача»... Какой-нибудь бедняк, яростно бичующий и ненавидящий богачей-«грабителей», провозглашающий собственность кражей, попав в богачи, быстро трансформируется и очень скоро с пеной у рта начинает защищать священные права собственности» и т. д.¹

Так было всегда. Исключений из этого правила нет².

Так было и так есть. Для большей убедительности не мешает привести ряд исторических фактов, показывающих, как одна и та же социальная группа, являясь носителем коммунистической и сродных идеологий в бедном состоянии, разбогатеv, «декоммунизируется» в своей идеологии, в своих поступках, убеждениях и речевых рефлексах.

Античный мир. Мы видели, что здесь немало было социальных революций и социальных групп, совершавших последние под знаменем идеологии и лозунгов уравнивания, обобществления, коммунизма.

Каков был итог таких революций? — Простой и стереотипно тождественный. Передаю слово Пельману, резюмирующему итог этих попыток.

«В Греции... в продолжение нескольких веков против собственников велась борьба, девизом которой было равенство, справедливость и братство, и как часто решающая роль доставалась массе и ее вожакам! Обнаруживались ли в ее образе действий следы того идеального сознания права и солидарности, которое считали возможным внушить массе чарами своего наскоро задуманного плана спасения апостолы ликурговой государственной идеи? Неистовые взрывы ненависти и мстительности, кровавые насилия, убийства, грабеж, разбой, дикая разнузданность — таковы были явления, которыми сопровождалась попытка практического осуществления экономического и социального уравнивания. В достаточной степени обнаружилось, что коммунистические чувства массы, идея братства, по крайней мере, настолько же обуславливались эгоистическими интересами, как и капиталистический индивидуализм, что элементарное влечение индивидуальным самолюбием не менее сильно сказывалось в политике

¹ Сорокин П. Система социологии. С. 452—453.

² См. ряд правильных замечаний на эту тему: Pareto W. Trattato di sociologia generale. Milano, 1916. Т. 1. § 1153 и сл.; Т. 2. P. 248.

обездоленных, чем среди партий, отстаивавших интересы собственников. Не обнаруживалась ли беспрестанно наряду с правомерным озлоблением, вызываемым нищетой и эксплуатацией, еще алчность к имуществу ближнего, которого изгоняли для того, чтобы самому — и притом только самому — занять его место...» «Идею равенства порождает у массы отнюдь не абстрактная теория о равенстве людей, а... влечение к повышению счастья, желание обладать большим, занять другое, более выгодное положение... Масса желает иметь то и стать тем, что имеет и чем является выше ее стоящий класс... Низший желает прежде всего стать равным высшему, но что же будет, когда он станет равным ему?.. Став равными с другими, люди желали бы уже и стать господами... Желают, как метко замечает Платон, овладеть не только имуществом других, но и ими самими...» «Поэтому не случайно, конечно, в последние века греческой истории почти всегда, когда равенство было лозунгом в кончавшейся победой борьбе низшего против высшего, стремление индивидуума стоять выше других принимало грубейшие формы тирании. В этой последней характерно воплощалась алчность масс... Лица, выигрывавшие от революции, не обнаруживали того духа солидарности и справедливости, на который претендовала социальная демократия... Нигде не оказывалось ни следа... равенства и братства. Чуть только достигалась ближайшая цель социальной революции, то есть более или менее значительное число ее участников овладевало капиталом или земельными участками, вскоре обнаруживалось, что побудительный мотив их действий имел совершенно индивидуалистический характер, что не самоотверженная преданность идее общности, а личные интересы влекли отдельных лиц к борьбе. А эти интересы требовали, чтобы отдельное лицо удерживало то, что было приобретено им при общем грабеже, и чтобы это приобретенное им достояние точно так же, как и для прежнего собственника, становилось для него средством для повышения уровня существования. Теперь эти люди скорее имели основание бояться сатурналий революционной фразы. Так как от нового переворота они могли уже не выиграть, а лишь потерять, то им нечего уже было драпироваться в пролетарски-революционное облачение. Они обыкновенно становились реакционными — как в экономическом, так и в

политическом отношении. *Beati possidentes!* (блаженны имущие!).

Этот девиз удерживается и после экспроприации прежних собственников. Изменился лишь личный состав собственников. И новые собственники мало смущались тем, что возле них снова возникали неравенство и бедность. О том, что для предупреждения этого следовало бы беспрестанно возобновлять раз произведенный передел, они, конечно, не желали и слышать, раз только они сами оставались собственниками... Поэтому братство вряд ли длилось значительно дольше, чем пока не была побеждена враждебная партия и не был закончен грабеж. Истинно демократическое государство, в котором уже не существовало бы никаких различий между богатыми и бедными, оставалось вечно откладываемой надеждой»¹. Таков обычный исход множества греческих социальных революций и делавших их групп. Пока группа бедна — она берет коммунистическую идеологию; разбогатела — отшвыривает ее.

То же происходило и в Риме². То же повторялось, как сейчас видим, и во всех успешных социальных революциях позже: и они кончались тем, что рать уравнителей, завладев богатствами, «декоммунизировалась» в своих поступках, убеждениях и речевых рефлексах. Беру второй крупнейший факт и соответствующую группу: христианство и христианскую церковь.

Оно дебютировало как идеология коммунизма, как идеология бедноты, составлявшей в первое время главную массу христиан. В этой первой стадии здесь было и известное равенство, и братство, и обобщение имуществ.

Прошли века. Из гонимой религии бедноты и из группы неимущих христианская церковь уже в IV—V веках стала богатой, а в VII—IX веках — главным богачом, овладевшим где $\frac{1}{3}$, где $\frac{1}{2}$ всей территории. И мы видим, как идеология и практика церкви и христианства декоммунизируется. В истории христианства в экономическом отношении необходимо различать два периода: время до признания Константином христианства господствующей религией (321 г.) и время

¹ Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. С. 469—470.

² Там же. С. 503—582.

после этого. В течение первого периода экклезию (церковную общину) составляла вся христианская община вообще, согласно принципу всеобщего священства. Члены ее были равноправны. Даже рабы не представляли исключения. Состояние, когда «все принадлежит всем», всегда выдвигалось отцами церкви в качестве идеала. На постоянных братских трапезах (агапах) господствовало в полном смысле слова общее потребление.

После Константина эти трапезы прекратились и даже были запрещены. В течение этого второго периода и экклезия была (уже только.— *П. С.*) община клира в более тесном смысле слова. Благотворительность духовенства шла на убыль по мере роста церковных богатств. Расходы на бедных, в начале поглощавшие почти весь бюджет церкви, теперь понизились до четверти. Законодательство Каролингов признает $\frac{1}{4}$ церковных доходов принадлежащими епископу, $\frac{1}{4}$ — остальному духовенству (недурно приспособились! — *П. С.*), $\frac{1}{4}$ — бедным и $\frac{1}{4}$ входит в состав строительного фонда. Но даже эта пропорция сохранялась недолго. Начиная с псевдо-Исидора (IX в.) под бедными стали разумеать только бедных членов духовного сословия. Таким образом, церковь окончательно разделалась со своей прежней ролью благотворительницы, и... из клира (как и везде из уравниателей и коммунизаторов.— *П. С.*) постепенно сложилось поднимавшееся над мирянами и иерархически построенное первое сословие, материально и духовно независимое.

Церковь, упрочивая себе господство, должна была принести немало жертв. В течение долгой борьбы, которая вознесла духовную власть над светской, смирение, любовь к ближнему, самоотвержение исчезли. Скромная пустыня с открытием мощей превращалась в разукрашенный монастырь; суровые подвиги основателей отходили в область преданий, а монастыри превращались в места лени, обжорства, разврата и т. д. Жадность, корыстолюбие и стяжательство церкви росли. Теперь всякий шаг священника должен был давать доход (венчание, похороны, причащение и т. д.); при жизни верующего каждый шаг его подлежал оплате; но жадность духовенства не останавливалась и перед смертным ложем верующего (плата за похороны, напутствие, место могилы); введены были пошлины, взяточничество, продажа индульгенций, как акций за

счет банка — Христа и его подвигов — при казначее — папе и т. д. В итоге в средние века недвижимость церкви обнимала значительную часть наиболее плодородных земель Европы.

Уже при Григории Великом (ум. в 604 г.) «папский двор стал напоминать императорский. Наладилось управление церковными землями и организация на них хозяйства под контролем особых чиновников. Папы выступают как политические вожди»¹.

При такой эволюции декоммунизация идеологии церкви была неизбежна. И мы ее видим. Основные принципы христианства (равенство, общность имущества) позже были значительно изменены или им придано было особое значение. Например, «естественный закон» равенства был так изменен, что он допускал неравенство имущества и положения.

Некоторое время вслед за прекращением коммунистической практики церкви сохранялись еще коммунистические традиции древнего христианства. Отцы церкви, как прежде, громили богатство и неравенство (в IV в. — Василий Великий, Иоанн Златоуст, даже в VI в. — Григорий Великий и другие). Но это уже были отдельные вспышки, чем далее, тем делавшиеся более и более редкими, пока совсем не заглохли или пока коммунизм не был перенесен в потусторонний «град Божий», а на земле были признаны: и частная собственность, и неравенство, и привилегированное положение духовенства, и право эксплуатации, и право торговли и даже в определенной форме ростовщичество². От былой идеологии бедноты у разбогатевшей церкви не осталось ничего, особенно в применении к себе самой (к другим мы вообще строги!). «Церковь стала богатой. Неудивительно, что по мере возрастания ее богатства она перестала управлять своим имуществом в пользу бедных; в церкви, особенно в богатых епископствах, распространились алчность и расточительство. Из коммунистического учреждения церковь превратилась в грандиоз-

¹ Карсавин Л. П. Культура средних веков. Пг., 1918. С. 46—47. См. также и Добшютц Ф. Греческий мир и христианство. С. 64—65, 66—67. В социальной области в итоге «христианство просто становится на почву существующего», даже в отношении признания рабства.

² Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному. Т. I. Гл. III—IV.

ный механизм для эксплуатации, какой когда-либо видел мир... С тех пор имущество церкви стало считаться собственностью духовенства»¹. Церковь превратилась в «вавилонскую блудницу», ее идеология совершенно «декоммунизировалась».

Описанное явление — типично. Оно в громадном масштабе рисует то, что в меньших размерах происходило и происходит постоянно. Та же история произошла и с нищенствующими орденами, дебютировавшими коммунизмом, но разбогатевшими и кончившими противоположной идеологией. Они забыли свои обеты и не помнят целей, для которых они учреждены. Их основатели хотели, чтобы они не имели никакого имущества. Позже, разбогатевши, они, чтобы приобрести имущество и собрать деньги, объявляют добро злом, а дурное — хорошим, соблазняют князей лестью, народ — ложью и ведут тех и других на ложные пути.

Правда, на почве христианства возникало множество коммунистических идеологий, но они возникали не из лона официальной церкви, направлены были против нее и боролись с ней. Они, как мы видели, исходили из бедных слоев, не пользовавшихся богатствами церкви и потому стремившихся «коммунизировать» их, что и делалось не раз. Но как только сами эти «еретические группы» коммунизаторов добивались до богатств и захватывали их, то с ними снова и снова повторялась «вечная история»: разбогатев, они теряли коммунистическую идеологию и заменяли ее или более умеренной, или совершенно обратной. Сходные причины вызывают сходные следствия. Приведу несколько фактов.

Гумилиаты. С обогащением резко изменилась и их идеология. Компромиссность постепенно росла. В итоге «гумилиаты к половине XIII века — не гумилиаты начала его, религиозное воодушевление покинуло орден, и он уже не стоял на гребне религиозной волны»².

Табориты, состоявшие главным образом из более бедных слоев, выступили коммунистами, захватили богатства и основали коммунистическое государство с полным и равным коммунизмом потребления. Но по мере обогащения путем грабежа и захватов коммуни-

¹ Каутский К. От Платона до анабаптистов // Предшественники нового социализма. С. 14—34.

² Там же. С. 183.

стическая идеология у них стала выветриваться. Они «скоро уничтожили адамитов и открыли частной собственности путь в свое общество. И эта последняя с присущим ей образом мысли — с завистью и жадностью — тем быстрее вытесняла коммунизм и его братские отношения, чем скорее росло благосостояние; даже богатство таборитов — плод их беспрерывных грабежей. Равенство средств существования начало исчезать, в Таборе уже можно было найти бедных и богатых, и, последние становились все менее склонными уделять первым от своего избытка»¹.

Сходное происходило и в коммунистическом «Новом Иерусалиме» Иоанна Лейденского. Главные лидеры коммунизма во главе с «королем» И. Лейденским, захватив богатства, львиную часть присвоили себе, уделяя крохи — и то в первое время — рядовым adeptам; позже, когда наступил ужасный голод, «лидеры» не обнаружили никакого желания равномерно делиться со всеми коммунистами продовольствием. «Коровы, которые там еще есть (200 коров), — писал современник, — съедаются королем и его приближенными за спиной коммуны. Мы удивляемся, что община не замечает обмана короля»².

Такая же «декоммунизация» идеологии произошла и с вальденсами, и богемскими братьями. По мере обогащения они становились в значительной степени «оппортунистами и буржуа». «Некоторые вальденсы, — пишет брат Грегор, — сознавались, что удалились с пути своих предшественников. У них существовал вредный обычай принимать от людей деньги и накапливать богатства, не заботясь о бедных».

«Участь вальденсов постигла вскоре и богемских братьев. Благодаря прилежанию и трудолюбию они разбогатели. Но с увеличением благосостояния многие из важных членов секты стали находить строгую дисциплину все более стеснительной. Дисциплина эта не допускала в интересах равенства, чтобы один был богаче других, запрещала увеличение имущества путем торговли и ростовщичества. С увеличением благосостояния начали возникать столкновения по имущественным делам. Между братьями начало возникать мало-помалу более умеренное направление», признавав-

¹ Каутский К. От Платона до анабаптистов. С. 198. См. указанную работу Е. Дени.

² Там же. С. 364.

шее и собственность и не требовавшее при вступлении в общину (с 1480 г. и особенно с 1491 г.) отказа от имущества, допуская участие во власти, занятие должностей, ведение войны, получение прибыли и занятие торговлей. В итоге «исчезли все установления богемских братьев, напоминавшие первоначальный коммунизм, из их литературы старательно выброшены были все коммунистические традиции, и они стали очень зажиточными капиталистами, почтенными отцами семейств, приличными бургомистрами и присяжными, талантливыми генералами и государственными деятелями»¹.

Обращаемся к якобинцам, с их лозунгом имущественного равенства. Пока они были санкюлотами — они провозглашали уничтожение богачей, захват и секвестр их достояния, равенство и общественное благо. Но как только дорвались до этих богатств — картина меняется: вместо «национализации» идет присвоение богатств себе, их грабеж и воровство, взяточничество и вымогательство и — при их положении — весьма выгодная покупка ими национализированной недвижимости, сделавшей их богачами. На этом-то и строят свои громадные состояния ловкие террористы; этим объясняется происхождение их колоссальных богатств, которыми мирно пользуются после Термидора эти заведомые негодяи, бывшие до Термидора каждый в своем кантоне маленькими Робеспьерами, эти патриоты, которые теперь строят вокруг Орлеана дворцы, которые в Валансьенне, разграбив общественную и частную собственность, владеют домами и имуществом эмигрантов, приобретенным ими на торгах за цену в сто раз ниже их действительной стоимости.

Комитеты якобинцев забирали себе лучшее из всего; в то время как масса голодала, они старались путем угроз, грабежа, конфискации сколотить деньгу про черный день в будущем. Разбогатеv, они забыли быстро старую идеологию, стали рьяными собственниками, составили класс будущих капиталистов, у которых не возьмешь легко их собственность, которые положат за нее душу и жизнь с усердием новообращенного прозелита. Из их-то среды при Наполеоне и реставрации и вышли самые рьяные дельцы капитализма и защитники собственности.

¹ *Каутский К.* От Платона до анабаптистов. С. 208—211.

То же явление происходило и позже в многочисленных коммунистических общинах, особенно в Австралии и Америке. Они или богатели и тогда «декоммунизировались», превращаясь в капиталистическое товарищество, допуская неравенство, нанимая часто рабочих и т. п., как случилось с шекерами, гармонистами, с коммунарами Зоар, Аврора и Бетель, или переходили в собственность ловких членов, или беднели и распадались.

То же самое видим и в новое время на истории социалистических и коммунистических партий. Есть ли хоть одна из них, которая провела бы фактически эти принципы в пределах своей партии для начала? Нет. Всюду здесь царит неравенство¹.

Обратите далее внимание на эволюцию самих этих партий и их лидеров. Как только они получают полный или частичный доступ к власти и к жирным местам, очень быстро появляется среди них дух оппортунизма, умеренности, принципы «реальной политики», нередко ведущие к «поклонению тому, что сжигали, и к сжиганию того, чему поклонялись», когда были бедными и лишенными влияния, власти, богатых мест и синекур. В наши годы иллюстрацию этого дали: и шейдемановцы, и французские социалисты во главе с Реноделем, Тома, и др., и часть английской «Рабочей партии», и русские меньшевики и эсэры времени Временного правительства. Персональную иллюстрацию дают: Вивиан, Клемансо, Бриан, Самба, Тома, Вандервельд, Де-Брукер, Гендерсон, Ренодель, Шейдеманн, Носке и т. д. и т. д.— все бывшие социалисты, многие из коих были очень левыми когда-то. Но теперь, когда они у власти, они поистине декоммунизировались и могут говорить о себе:

Все это было когда-то,
Но только не помню когда.

Иногда словесная старая рефлексология многими из них пускается в ход. Но это видимость, и то редкая.

Сказанного, полагаю, достаточно для подтверждения первой категории явлений, говорящих о правильности теоремы.

Перехожу ко второму разряду фактов, показывающих, как в обширных агрегатах с ростом благосостоя-

¹ Подробнее об этом см. мою «Систему социологии». Т. 2.

ния масс кривая успеха коммунистических идеологий падает.

Буду здесь очень краток. Ограничусь двумя-тремя фактами. При желании читатель может сам увеличить их и произвести историческую проверку.

Беру судьбы социалистической и сродных идеологий в Англии со второй половины XIX века. С этого времени в общем и целом благосостояние рабочих масс в Англии росло. Что же делалось с идеологией? Она в рабочих массах, по сравнению с идеологией чартизма первой половины XIX века, становилась более умеренной, буржуазной и растеряла все свои коммунистически-революционные черты. Социализма до времени мировой войны английское рабочее движение почти не знало. «Рабочая партия» — не была социалистической. Да и масса рабочих шла не за ней, а либо за либералами, либо за консерваторами. «Прямое действие» и революционные вождения были чужды политике и тактике рабочих. Их идеология и рефлексy, на российский масштаб, были архисоглашательскими, архибуржуазными, архиумеренными.

Факт достаточно характерный. Понижение уровня жизни, вызванное войной, вызвало подъем кривой успеха коммунистической идеологии. Менее резкой, но по существу такой же была эволюция идеологии германского рабочего класса с 70-х годов XIX века, с которых началось улучшение благосостояния Германии и ее рабочих слоев. Вплоть до годов войны германская социалистическая идеология «вырождалась», из задорно-непримиримой первого периода делалась все более и более оппортунистической, ревизионизм вытеснил в ней революционность, соглашательство — чистоту принципов, буржуазность — пролетарскую целостность. В итоге, несмотря даже на численный рост, качественно от социал-демократизма, лассальянства и марксизма 40-х годов в конце XIX века и в начале XX века осталось мало. Социалисты стали совсем ручными, «добрыми буржуа», разве изредка «вспоминавшими старину», а по существу, ставшими, на русский масштаб, настоящими либералами, и только.

Сходная эволюция произошла и с французской социалистической идеологией. И она размягчилась и качественно декоммунизировалась.

Больше того. Ту же эволюцию испытывал и весь II Интернационал, ставший действительно «социал-со-

глашательским». Все это характерно и говорит снова о правильности проверяемой теоремы. Мало того. Заслуживает внимания и тот факт, что рабочие англосаксонских стран (Англии и Америки), лучше обеспеченных, всего менее были подвержены «социалистической заразе». Здесь эти идеологии имели наименьший успех. В других же странах, где их уровень жизни был гораздо ниже, и успех первых был значительно большим.

Не раз также явления, частью рассмотренные выше, происходили и раньше.

Ограничусь этими фактами, ибо приведенные выше факты — того же рода.

Наконец, о падении коммунистической идеологии, при уменьшении имущественной дифференциации, свидетельствует и наш опыт. Пока была имущественная дифференциация, идеологи коммунизма и социализма пользовались огромным кредитом в наших пролетарских, армейских и крестьянских массах. Они росли и поднимались. Но вот имущественные контрасты исчезли. И картина резко меняется. Они перестают прививаться. У многих обращенных — отвиваются. Кривая их успеха резко падает. И агитация стала лучшей и лучше поставлена, но прививка стала плохой¹.

На основании всего сказанного третья теорема приобретает характер большей правдоподобности, а все три, вместе взятые, подтверждая друг друга, подтверждают и основной тезис данной статьи.

Связь между «идеологией» и колебанием кривой питания действительно есть.

Мост между ними перекинут и укреплен, чрез нашу независимую переменную «объясняются», таким образом, и многие явления идеологического порядка.

Да и как иначе может быть! Допустить, что такой колоссальный детерминатор, как питание, не влияет

¹ «Мы славились своей умелой и успешной агитацией и пропагандой,— пишет Трилессер в 1921 г.,— и вдруг, сейчас, наши наиболее чуткие и подвижные отделы оказались слабыми, действуют с переборами, теряют связь с местами, не руководят. Ослабела наша агитационно-пропагандистская работа не только в Питере, но и во всероссийском масштабе» (Петроградская правда. 1921. 18 февраля). С Урала пишут: «Партийная организация распадается, работа не идет». Из Новороссийска: «Работа в ячейках ведется слабо, местами разваливается, падает интерес к докладам, посещаемость слабая». И в городе, и в деревне — «невеселая картина», и так по всей России (Правда. 1922. 12 февраля).

на наши речевые и субвокальные рефлексy, на наши убеждения и идеологию,— значит сделать невероятное допущение. Оно невероятно дедуктивно, неверно и индуктивно.

Посему исследователю жизни идеологий, механизма и закономерности их подъемов, падений, колебаний и смены, нельзя игнорировать число и качество калорий, поступающих в организм общества. Часто разгадка многих загадочных явлений в сфере общественных настроений и верований лежит в колебании этой последней «переменной».

*Предисловие и публикация
А. Ю. Согомонова*

Б. Рассел

ЭССЕ

Имя Бертрана Рассела сегодня уже не гремит, его не используют в политических баталиях, как это было раньше (а ведь еще в 60-е годы люди противоположных взглядов могли цитировать философа, считая его «своим»), однако более глубокое освоение идей английского мыслителя, по-видимому, только начинается, и с каждым годом интерес к его творчеству будет возрастать. За свою долгую жизнь (1870—1970 гг.) Рассел создал огромное количество произведений в самых разных жанрах — от математических трактатов до художественной прозы. И среди самых любимых его занятий было писание коротеньких «заметок», лучше сказать, «заметочек», более всего похожих на то, что англичане называют «эссе». Эссе это или не эссе, пусть судит специалист. А широкий читатель с удовольствием читал (чаще всего в газетах или массовых журналах) половину колонки, отданную чудачу профессору, одновременно насмешливому и серьезному, выступающему от имени науки и тут же торжественно хоронящему ее со слезами от еле сдерживаемого смеха.

Именно за эссе, надо думать, Расселу была присвоена Нобелевская премия (1948 г.).

Теперь, после по необходимости краткого вступления, следует, видимо, также коротко сказать о каждом из помещенных ниже эссе.

Первое, самое коварное из трех, содержит, по сути дела, серьезную критику вульгарных представлений об угнетении, эксплуатации, революции. Заключительное рассуждение этого эссе заслуживает особого разбора. Мыслитель не соглашается с теми «интеллектуалами», которые считают пролетариат «лучшей» частью человечества, более того, он говорит об «идеализации пролетариата» у Маркса. Однако как раз ни у Маркса, ни у серьезных его последователей вовсе не было желания поставить пролетариат над всей остальной массой населения, наделить его какими-то высшими, элитарными чертами. Речь шла только о том, что именно пролетариату, как самому бесправному и эксплуатируемому классу, предстоит освободить человечество от оков угнетения и бесчеловечных условий жизни. Но, разумеется, вокруг марксовщины учения сразу, да и потом, возникало немало демагогии и попыток

религиозно-сектантского прочтения «Коммунистического манифеста». Именно эти «интеллектуалы-демагоги» и являются объектом расселовской критики. Эссе впервые опубликовано в «Nation» (1937. Vol. 144. P. 731—732).

Второе эссе по-своему уникально. Оно написано незадолго до смерти Сталина, и хотя высмеивается в нем прежде всего принцип Амог *vincit omnia* («Любовь побеждает все»), который использован в качестве подзаголовка, отношение к «вождю народов» высказано недвусмысленное. Рассел всегда относился к Сталину однозначно отрицательно и связывал поворот в развитии советского общества с его смертью. Опубликовано впервые в книге «Nightmares of Eminent Persons and Other Stories» (L., 1954. P. 49—53).

Наконец, третье эссе находится в одном ряду с антивоенными произведениями мыслителя, наиболее известным из которых является так называемый «Манифест Рассела — Эйнштейна», положивший начало влиятельному Пагуошскому движению ученых за мир и ядерное разоружение. В центре внимания Рассела — не ядерное оружие, а бактериологическое, о мощи которого, кстати, не стоит забывать и сегодня. Опубликовано впервые в «Scribner's Magazine» (1934. Vol. 90. P. 380).

Лейтмотив социально-философских, политических произведений Рассела — это гуманизм, вера в лучшие потенции человеческого существа; философ призывает нас не забывать и о худших сторонах, тоже вполне человеческих.

Высшая добродетель угнетенных

Человечество постоянно делает одну и ту же ошибку, считая, что одни его части лучше или хуже других. Формы, в которые это выливается, разнообразны, но ни одна не имеет рационального основания. Хорошо относиться к самому себе — дело вполне естественное; поэтому мы хорошо относимся к своей половой и классовой принадлежности, к своей нации и возрасту. Но среди писателей — особенно того направления, которое печется о морали, — самодовольство принимает более скрытые формы. На дурном счету у них близкие и знакомые, и они лучше относятся к тем частям человечества, к коим сами не принадлежат. Лао Цзы умилялся «благообразным старцам», жившим до того, как наступили «трудные конфуцианские времена». Тацит и мадам де Сталь обожали германцев, у которых отсутствовал император. Локк был расположен к «деловому американцу», не давшему себя обмануть картезианской софистикой.

Одной из нелепейших форм восхищения группами, к которым их обожатель не принадлежит, является вера в высшую добродетель угнетенных: угнетенных

наций и угнетенных бедняков, угнетенных женщин и угнетенных детей. Восемнадцатый век, отняв у индейцев Америку, доведя крестьянство до нищеты и подвергнув людей жестокостям первого этапа индустриализации, очень любил сентиментальничать насчет «благородного дикаря» и «простодушного бедняка». При дворе, утверждалось, добродетели нечего и искать; но придворным дамам добродетель не заказана, и они могут к ней приблизиться, изображая из себя пастушек. Что касается мужеска пола,

Счастливы мужи, коих желания и заботы
Устремлены к отеческим полям.

Хотя, конечно, сам папа предпочитал Лондон и свою виллу в Твикенхеме.

Во времена французской революции высшая добродетель бедняков стала вопросом партийным и с тех пор таковой и остается. Для реакционеров беднота превратилась в «быдло», «толпу». Богачи с удивлением обнаружили, что есть, оказывается, люди, которые не владеют даже «отеческими полями». В то время как либералы продолжали идеализировать деревенскую бедноту, социалисты и коммунисты обратили взоры на городской пролетариат (к этому увлечению, ставшему особенно распространенным в XX в., я еще вернусь).

В XIX веке национализм сменил благородного дикаря на патриота угнетенной нации. Греки вплоть до освобождения от турок, венгры до соглашения 1867 года, итальянцы до 1870 года и поляки после войны 1914—1918 годов выглядели романтически, как талантливые и поэтические расы, слишком возвышенные, чтобы процветать в этом грубом мире. Англичане вплоть до 1921 года считали, что ирландцы обладают каким-то особым обаянием и мистическим даром; потом выяснилось, что цена угнетения слишком высока. Одна за другой эти нации обрели независимость, и обнаружилось, что они ничем не отличаются от других; однако опыт тех, кто освободился, никак не способствовал разрушению иллюзий. Английские матроны все еще лепечут о «мудрости Востока», а американские интеллектуалы судят-рядят о «земной» негритянской душе.

К женщинам — объекту сильнейших эмоций — отношение еще более иррациональное, чем к несчастным

угнетенным нациям. Я даже имею в виду не столько поэтические изыски, сколько более трезвые взгляды. Для церкви, например, женский вопрос имеет две стороны: с одной — женщина — соблазнительница, источник греха, с другой — она способна к святости, и при этом чуть ли не в большей степени, чем мужчина. Теологически рассуждая, эти два типа представлены Евой и Девственницей. В XIX веке образ «соблазнительницы» отошел на второй план; несмотря на то что «дурные женщины» существовали, викторианские персоны, в отличие от св. Августина и его последователей, ни в коем случае не признали бы, что эти грешницы способны их соблазнить. Идеалом обычной замужней женщины была своего рода комбинация из мадонны и дамы сердца. Женщина нежна и грациозна, контакт с грубым миром для нее опасен, ее идеалы могут быть попорчены соприкосновением со злом; подобно кельтам, славянам и благородному дикарю, и даже в большей степени, она духовна, что делает ее существом высшим; и она не способна заниматься политикой и распоряжаться собственным имуществом. Такая точка зрения жива и сегодня. Не так давно, после того как я произнес речь в защиту равной оплаты труда, английский учитель прислал мне памфлет, опубликованный ассоциацией учителей. О женщине там сказано: «Мы с радостью ставим ее на первое место по духовной силе; признаем и преклоняемся перед ней как перед «ангельской частью» человечества; признаем ее превосходство во всех изяществах и утонченностях, к которым способны человеческие существа; желаем сохранить за ней всю ее женственность и привлекательность. «Это требование» — что женщинам следует платить меньше — «идет от нас к ним», и «не из духа эгоизма, но из уважения и преданности к нашим матерям, женам, сестрам и дочерям... Наша цель священна, это подлинный крестовый поход духа».

Пятьдесят или шестьдесят лет назад на такие слова не отреагировал бы никто, кроме горстки феминисток; сегодня, когда женщины получили право голоса, они, эти слова, выглядят анахронизмом. Мнение о «духовном» превосходстве женщин было теснейшим образом связано со стремлением держать их в худшем экономическом и политическом положении.

Нечто похожее происходило во взглядах на детей. Дети, как и женщины, с теологической точки зрения

порочны, особенно у евангелистов. Это отродья Сатаны; д-р Уотс прелестно выразил это:

Один удар Его хлыста —
И грешники молодые уж в Аду.

Поэтому необходимо их «спасать». В школе Уэсли «было как-то проведено общее обращение... и только один мальчик, к сожалению, противился Святому Духу, за что был жестоко порот». Но в XIX столетии, когда отеческая власть, подобно власти королей и мужей, оказалась под угрозой, вошли в моду более тонкие методы утихомиривания непослушных. Дети «невинны»; подобно добродетельным женщинам, это «цветы»; их должно уберегать от зла, чтобы лепесточки не увяли. Кроме того, они обладают особого рода мудростью. Вордсворт сделал этот взгляд популярным среди англоязычных народов, введя в обыкновение наделять детей

Высшими порывами, пред ними смертная природа
Дрожит в удивленьи и чувстве вины.

Никто в XVIII веке не сказал бы своей дочери:

Ты возлежишь на груди Авраама,
В сиянии храма тебе поклонюсь.

Но в XIX столетии все это распространилось; и уважаемые члены епископальной церкви — даже католической церкви — бессовестно игнорировали первородный грех, развлекаясь модной ересью, будто

Слава Господня исходит
От Бога — нашего дома:
Рай окружает нас в детстве.

Нечего удивляться всему последующему. Как вы будете давать шлепка существу, возлежащему на груди Авраама? Как можно пользоваться розгой, когда перед вами «высшие порывы»? Итак, родители и учителя лишились удовольствия, которое получали раньше от битья детей; появилась теория воспитания, согласно которой кроме удобств взрослых и их желания повластвовать имеются и интересы детей.

Единственным утешением для взрослых было изобретение новой детской психологии. Дети, после того как они побывали отродьями Сатаны в традиционной теологии и мистически просветленными ангелочками в умах реформаторов системы образования, преврати-

лись теперь в маленьких бесенят — не в теологических демонов, порожденных Самим Злом, а в научных фрейдистских чудовищ, выползших из глубин Бессознательного. Следует заметить, что теперь они — гораздо более порочные существа, чем полагали диатрибы монахов; они обнаруживают, согласно новейшим учебникам, изобретательность и настойчивость в греховных помыслах, которые можно сравнить разве что с мыслями, посещавшими св. Антония.

Как явствует из различных рассмотренных нами случаев, этап, на котором высшая добродетель приписывается угнетенным, быстро заканчивается. Наступает он, когда угнетатели начинают терзаться муками совести, а это случается, когда они теряют власть. Идеализация жертвы какое-то время приносит пользу: если добродетель — величайшее из благ и если угнетение делает людей добродетельными, то не следует подпускать их к власти, ибо это разрушило бы их добродетельность. Если богатому трудно вступить в царствие небесное, то с его стороны благородно будет держаться за свое богатство и подвергать опасности собственное вечное блаженство ради сырых братьев своих. Великим самопожертвованием было со стороны мужчин освободить женщин от грязной работы в сфере политики. И так далее. Но рано или поздно угнетенный класс принимается доказывать, что высшая добродетель дает ему основание для захвата власти, и угнетатели видят, что их оружие направлено против них самих. Когда наконец вопрос с властью разрешается, всем становится ясно, что разговоры насчет высшей добродетели бессмысленны.

Что касается итальянцев, венгров, женщин и детей — тут мы прошли все этапы. Но мы все еще на середине пути в том случае, который сегодня обрел громадную значимость, а именно в случае с пролетариатом. Восхищение пролетариатом характерно для новейшего периода. Когда XVIII век восхвалял «бедняков», он подразумевал сельских жителей. Демократия Джефферсона пасовала при виде городской толпы; сам он желал, чтобы Америка оставалась аграрной страной. Превознесение пролетариата, подобно превознесению плотин, электростанций и аэропланов, принадлежит идеологии машинного века. Проще говоря, в пользу пролетариата так же мало доводов, как в пользу веры в кельтскую магию, славянскую душу,

женскую интуицию и детскую невинность. Если бы, действительно, скверное питание, плохое образование, недостаток свежего воздуха и солнца, стесненные жилищные условия и чрезмерная работа порождали людей получше тех, кто порожден нормальной едой, свежим воздухом, правильным воспитанием, нормальными жилищными условиями и достаточным количеством свободного времени, то экономический переворот был бы не нужен и мы бы радовались тому, что такой большой процент населения живет в условиях, способствующих добродетели. Но, при всей очевидности этого аргумента, многие интеллектуалы почитают своим долгом думать, будто пролетарии более приятные люди, чем все остальные, и они намереваются уничтожить условия, которые, согласно их же точке зрения, только и порождают наилучших человеческих существ. Дети идеализировались Вордсвортом и были развенчаны Фрейдом. Маркс — Вордсворт пролетариата, но наступит черед и его Фрейда.

Кошмарный сон Сталина

(Amor vincit omnia)

Приняв изрядную порцию перцовки, Сталин задремал в своем кресле. Молотов, Маленков и Берия стали у дверей, охраняя сон великого человека и отваживая надоедливых родственников. Пока они этим занимались, Сталину приснился такой вот сон.

Третья мировая война была проиграна, и он находился в плену. Нюрнбергский процесс вызвал симпатию к нацистам, поэтому западные союзники наметили на сей раз иной план: Сталина передали квакерам, которые утверждали, что силой любви даже Сталина можно привести к покаянию и превратить в добропорядочного гражданина.

Было решено, что до тех пор, пока не произойдет духовного преображения, окна в его комнате останутся зарешеченными, чтобы исключить возможность необдуманного поступка, а в столовом приборе не будет ножей, чтобы в припадке ярости Сталин не прикончил тех, кто собрался его преобразить. Сталина поселили в двух комнатах старого уютного загородного дома и надежно заперли двери; и только раз в день, конвоируемый четверьмя здоровенными квакерами, он выхо-

дил на прогулку, дабы душа его могла умилиться красотам природы и песне жаворонка.

Ему было позволено читать, исключение составляла литература, которая могла бы его разжечь. Принесли Библию, «Путь праведника», «Хижину дяди Тома». А иногда, ради эксперимента, сентиментальные романы. Табак, алкоголь, перец были запрещены. А вот какао он мог попросить в любое время дня и ночи, так как наиболее выдающиеся из его опекунов являлись поставщиками этого невиннейшего из напитков. Чай и кофе разрешались в умеренных дозах, но не в таких количествах и не в такое время, чтобы это могло помешать полноценному ночному отдыху.

Утром и вечером по целому часу серьезные люди, чьей заботе он был препоручен, разъясняли ему принципы христианского милосердия и намекали, что счастье все равно может ему достаться. Задача переубеждения была возложена в особенности на троих, считавшихся наимудрейшими. Это были мистер Тобиас Тугуд, мистер Сэмюэл Свит и мистер Уилбрэгем Уэлдон¹.

Сталин знал этих людей еще в дни своего величия. Незадолго до Третьей мировой войны они приезжали в Москву, пытались внушить ему мысль об ошибочности его путей, говорили о всеобщей благодати и христианской любви, о радости смирения, пытались убедить его, что не страх, а любовь приносит счастье. Какое-то время он терпеливо слушал, крайне удивленный, а затем воскликнул: «Что вы, господа, знаете о радостях жизни? о том, как пьянит господство и террор, осуществляемый над целой нацией? о том, сколь сладостно знание, что во всем мире враги занимаются разгадыванием твоих тайных мыслей? что ты будешь властвовать после уничтожения не только врагов, но и друзей? Нет, господа, ваш образ жизни меня совсем не привлекает. Идите и занимайтесь своими мелкими делишками, с позолотой благочестия, а меня увольте».

В тот раз квакеры вернулись домой ни с чем. Но уж теперь-то, как они надеялись, Сталин, свергнутый и оказавшийся в их власти, будет посговорчивей. Но, странное дело, он заупрямился. У этих людей, впрочем, был большой опыт в обращении с юными грешниками,

¹ Фамилии переводимы: Тугуд (Тоogood) — Добрейший; Свит (Sweet) — Блаженнейший; Уэлдон (Welldone) — Праведнейший. (Пер.).

распутывании комплексов и наставлении на путь честного, а потому наилучшего поведения.

«Мистер Сталин,— сказал Тобиас Тугуд,— мы надеемся, что теперь вы поняли неразумность того образа жизни, который до сих пор вели. Не буду говорить о несчастье, которое вы принесли миру, поскольку вам на это, по-видимому, наплевать. Но подумайте, что вы натворили в отношении самого себя. Вы теперь всего лишь скромный узник и обязаны теми удобствами, которыми пользуетесь, тому только, что ваши тюремщики не придерживаются максим вашей морали. Грубые наслаждения, о которых вы говорили во время нашего к вам визита, более вам недоступны. Но если бы вы переступили через свою гордость, раскаялись, научились находить счастье в счастье других людей, то у вас могла бы появиться какая-то цель и удовлетворенность на остаток дней».

Тут Сталин вскочил, разъяренный: «Пошел к черту, ты, распутивший сопли лицемер! Из всего, что ты здесь наговорил, мне понятно только одно: ты взял надо мною верх и теперь меня оскорбляешь и унижаешь, да так ловко, как в свое время мне бы и в голову не пришло!»

«Но, мистер Сталин,— сказал мистер Свит,— можно ли быть столь несправедливым? Разве вы не видите, что у нас самые благие намерения? что наше желание — спасти вашу душу и что мы сожалеем о насилии и ненависти, которые вы насаждали и среди врагов, и среди друзей? Мы вовсе не желаем вас унижить».

«Это уж чересчур,— вскричал Сталин.— Еще мальчишкой, в грузинской семинарии, я покончил с такими разговорами, а взрослому человеку вовсе не пристало ими заниматься. Если бы я верил в ад, то с удовольствием представил бы себе, как вас вместе с вашей вкрадчивостью пожирают языки пламени».

«Ну пожалуйста, мистер Сталин,— сказал мистер Уэлдон,— просим вас, не волнуйтесь так сильно, ведь только в покое душевном вы узрите мудрость наших слов».

Прежде чем Сталин успел что-нибудь сказать, Тугуд добавил: «Уверен, мистер Сталин, что человек вашего ума не может навсегда остаться слепым к истине, но в настоящий момент вы перевозбуждены, и я думаю, что чашечка какао будет вам полезнее, чем чрезмерно крепкий чай, который вы до сих пор пили».

Здесь терпение Сталина лопнуло. Он схватил чайник и запустил им в голову Тугуду. Кипяток обжег тому лицо, но Тугуд лишь сказал: «Ну-ну, мистер Сталин, ведь это не аргумент».

В приступе ярости Сталин проснулся и напустился было на побледневших и задрожавших от страха Молотова, Маленкова и Берию. Однако вскоре сонные видения развеялись, гнев Сталина поутих, а перцовка вновь привела его в доброе расположение духа.

Люди или насекомые?

Войны и слухи о войне заслоняют от нашего внимания другой конфликт, вероятно даже более важный,— я имею в виду конфликт между людьми и насекомыми.

Мы уже привыкли быть Хозяевами Вселенной и не боимся, подобно пещерным жителям, львов, тигров, мамонтов и медведей. Мы чувствуем себя в безопасности, страх же испытываем только друг перед другом. Но если крупные животные больше не угрожают нашему существованию, иначе обстоит дело с мелкими тварями. В истории жизни на этой планете крупные животные однажды уже уступили место мелким. Долгое время динозавры спокойно разгуливали по болотам и лесам, ничего не боясь и не сомневаясь в абсолютности своей империи. Но затем они исчезли, уступив место мелким млекопитающим — мышам, ежам, миниатюрным лошадям размером с крысу и тому подобному зверью. Почему динозавры вымерли — неизвестно, но предполагают, что у них почти не было мозгов, так что они посвятили всю свою жизнь отращению орудий нападения — многочисленных рогов и шипов. Как бы то ни было, жизнь дальше развивалась не по линии динозавров.

Млекопитающие, захватив господствующее положение, стали расти. Но крупнейшее на суше животное, мамонт, вымерло, другие же крупные твари теперь встречаются редко. Человек — благодаря своему разуму и несмотря на небольшие размеры — достиг успеха в добыче пропитания. Сейчас он в безопасности. И теперь единственное, что ему угрожает,— это насекомые и микроорганизмы.

Во-первых, насекомые имеют преимущество в количестве. В небольшой рожице столько же муравьев, сколько человеческих существ во всем мире. У них есть

еще одно преимущество — они спокойно пожирают нашу пищу, раньше чем она становится для нас достаточно пригодной. Многие вредные насекомые были занесены человеком в другие районы, где причинили громадный ущерб. Путешествия и торговля полезны для насекомых, как и для микроорганизмов. Желтая лихорадка, существовавшая до недавнего времени только в Западной Африке, была занесена в Западное полушарие работоторговцами. Сегодня, когда мы открыли Африку, она постепенно продвигается на Восток. Когда она достигнет восточного побережья, пострадают Индия и Китай, где, как ожидается, население сократится вдвое. Та же история с сонной болезнью.

К счастью, наука открыла способы борьбы с болезнями, которые разносят насекомые. Большинство из них можно уничтожить с помощью паразитов, которые убивают такое множество насекомых, что уцелевшие экземпляры перестают представлять какую-либо опасность. Энтомологи как раз и занимаются изучением и разведением таких паразитов. Официальные сообщения о деятельности ученых поистине удивительны; они изобилуют такими, например, фразами: «Он отправился в Бразилию по просьбе правительства Тринидада на поиски естественных врагов сахарной лягушки». Ясно, что теперь у сахарной лягушки нет никаких шансов выжить. К сожалению, пока в мире существуют войны, всякое научное знание может принести как добро, так и зло. Например, недавно профессор Фриш Хабер изобрел способ получения нитрогена. Он надеялся с его помощью увеличить плодородие почвы, но немецкое правительство использовало его для производства взрывчатки. В следующей войне ученые каждой из воюющих сторон напустят на противника вредных насекомых, и потом их едва ли возможно будет уничтожить. Чем больше мы знаем, тем больше вреда способны нанести друг другу. Если человеческие существа, распаленные гневом, прибегнут к помощи насекомых и микроорганизмов (что, конечно, произойдет в случае большой войны), то, по-видимому, насекомые и останутся единственными победителями. С космической точки зрения, наверное, об этом сожалеть не стоит; но как человеческое существо, я не могу не вздохнуть с сожалением о конце моего вида.

*Предисловие и перевод
А. А. Яковлева*

Н. Н. Трубников

[ПРОСПЕКТ КНИГИ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ]¹

Николай Николаевич Трубников (14.2. 1929—19.5. 1983) родился в Москве. Во время войны был в эвакуации в Сибири. Там — работой в Баргузинском заповеднике — начался его трудовой путь. Можно сказать, что там же началась и его творческая философская деятельность. Ему едва исполнилось 14 лет, когда в жизнь его навсегда вошел важнейший и сложнейший из философских вопросов — вопрос о жизни и смерти, о смысле, цели и времени человеческого бытия. Правда, рано или поздно он посещает многих, если не всех. Но большинство людей стремятся поскорее забыть, заглушить его. Лишь немногие терзаются всю жизнь, однако и из них большинство терзается не самим вопросом, а его якобы уже существующим высшим решением — жестоким и окончательным приговором, который нам вынесет бог или природой. И только единицы убеждены, что перед ними именно вопрос, открытая проблема, которую можно и непременно нужно решить человеку.

Возникшая духовная жажда требовала немедленного утоления. В местной библиотеке нашлись прекрасные книги. Запоем читаются Гамсун и Гауптман, Ибсен и Достоевский, Шопенгауэр и Ницше. Но их ответы не принесли удовлетворения. Пришлось уповать на специальное философское образование. И вот он — студент философского факультета МГУ (1954—1960 гг.), затем — аспирант Института философии АН СССР (1960—1963 гг.) и, наконец, — на всю оставшуюся жизнь — научный сотрудник этого института. Увы, здесь дело обстояло еще хуже. Оказалось, что в системе самой передовой и единственно научной философии не только отсутствует какой-либо ответ на этот вопрос, но и нет места для самого-то вопроса. Нет ни в учебных программах университета, ни в исследовательских академических программах. Причины? Простые до смешного (впрочем, это сейчас они так однозначно воспринимаются, а тогда, при всем том, что для любого нормального, не задуренного нашей догматической философией человека они действительно были смехотворными, в них таилась некая злобная и опасная сила). Во-первых, бытовала такая схема рассуждения: о смысле жизни и особенно о смерти много говорить

¹ Название книги не сохранилось (Е. Н.).

экзистенциалисты, и это естественно, ибо их как апологетов буржуазного строя очень волнует и пугает вид умирающего капитализма, гибель которого они, в силу своей классовой ограниченности, отождествляют с гибелью всего человечества; мы же с оптимизмом смотрим в наше светлое будущее и ни о какой смерти думать не должны. Во-вторых, составители нашей философской системы и программ исходили из буквы марксизма, из «указаний», содержащихся в сочинениях классиков; а поскольку на счет смысла жизни и смерти не было дано никаких «указаний», то и говорить не о чем, проблемы просто нет.

Правда, во второй половине 50-х годов начался процесс известного оживления, если угодно, первой перестройки нашей философии. Однако он шел весьма неравномерно. И дело в данном случае не столько во временной, сколько в пространственной неравномерности, если иметь в виду «пространство» многочисленных и разнообразных философских дисциплин. В общем и целом процесс был тем активнее, чем «спокойнее», удаленнее от насущных нужд человека оказывалась дисциплина. Так и вышло, что наибольшее развитие в это время получают гносеология и методология науки. Стало даже казаться, будто философия только ими и живет и чуть ли не только из них и состоит. Н. Н. Трубников резко выступает против такого положения дел — статья-доклад «Философия и методология науки (о сегодняшнем понимании предмета и специфики философского знания)». Ни в коей мере не подвергая сомнению важность методологически-гносеологических исследований и результатов, он только возражал против сведения к ним всей философии, против превращения их в ее главную цель, поскольку в действительности они выступают «лишь как средство» решения «фундаментальных философских мироведческо-мировоззренческих проблем». Философия не имеет права ограничиваться обслуживанием науки (в процессах своего функционирования) или обобщением данных науки (в процессах своего роста), но должна соотноситься с более широким — предельно широким — контекстом бытия (статья «Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии» и «Пределы философской проблемы (к вопросу о соотношении философии и науки)»). И дело не только и даже не столько в том, что, вопреки многочисленным позитивистским заклинаниям и прогнозам, философия в «век науки» отнюдь не потеряла своей самооценности, а, напротив, приумножила ее и потому не должна терять и чувства собственного достоинства. Дело в том, что ныне, когда мир раздирают страшные противоречия, вызванные глубокими рассогласованиями во вселенной человеческого духа, например между наукой и нравственностью и внутри самой нравственности (статья-доклад «Наука и нравственность (о духовном кризисе европейской культуры)»), философия призвана решать куда более важные и неотложные задачи, фокусирующиеся в проблемы жизни и смерти человека и человечества. Они-то и являются «фундаментальными философскими мироведческо-мировоззренческими проблемами».

Итак, вопреки тому, что говорилось в официальной философии, он хорошо знал, что проблема смысла, цели и времени человеческого бытия, проблема жизни и смерти, существует и притом является самой главной и центральной, и какой-либо вопрос ставится философским лишь тогда, когда он «приводится в прямую связь с проблемой смысла и сущности человеческого бытия». В своей кандидатской диссертации (защищена в 1965 г., опубли-

ликована в 1967 г.: «О категориях «цель», «средство», «результат» (М., Высшая школа); кстати сказать, в нашей литературе это была первая книга по данной тематике) он еще не рассматривает саму эту проблему, а готовит общетеоретические предпосылки для подхода к ней. Здесь ставится задача осуществить предельно общий анализ цели как необходимого элемента человеческой деятельности в соотношении с другими такими же элементами — средством и результатом, построить «абстрактную модель законченного акта человеческой деятельности». Ясно, что модель такого акта может быть создана лишь при условии анализа конечных же целей (равно как средств и результатов), то есть таких, которые автор обозначает термином «конкретные цели деятельности» и отличает от «абстрактных целей-идеалов».

Но вскоре Н. Н. Трубников приступает к работе над следующей книгой — «Понятие цели в связи с проблемой времени (к вопросу о взаимоопределении понятий цели и времени)», в которой, напротив, говорит лишь о целях второго рода, об их роли в процессе осуществления человеком своей жизни, наполнения времени своего бытия смыслом, то есть непосредственно обращается к заветной теме. Рукопись книги, представленная на обсуждение в 1973 году, многими коллегами была встречена весьма критически. Автора обвиняли в попытке возродить давно опровергнутый наукой телеологизм, в шпенглеризме, бергсонизме и во многих других «тяжких грехах». Два года он «учитывал замечания», а вернее, заново писал книгу, в которой теперь уже ничего не говорилось ни о цели человеческой жизни, ни о ее смысле, ни о многом другом, что было так дорого ему и ради чего первоначально только и затевалась книга. В итоге получилась работа о времени человеческого бытия. Однако и это не спасло положение...

В августе 1975 года он сдал в официальные институтские инстанции рукопись этой книги, с чего и начались ее — и его — долгие злоключения (сразу же замечу, что в свет она вышла ровно через 12 лет — в августе 1987 года, когда автора уже не было в живых). Она то подолгу лежала в институте, то уходила в издательство («Наука») и лежала там. Потом возвращалась назад и т. д. На ее пути встала масса самых различных людей — от директора института до «черных» рецензентов. Всех их объединяло одно — стремление доказать, что его концепция противоречит науке, то есть судить его именем науки. Какое нелепое стремление! Идея книги — идея качественного отличия времени человеческого бытия от времени бытия биологических, а тем более физических объектов — непосредственно и явно вытекала из эйнштейновских положений об относительности времени и его теснейшей связи с материей. Они же настаивали на универсальности и, стало быть, абсолютности физического времени. Тем самым его, стоявшего на позициях науки и философии XX века, судили именем науки и философии века XVIII! Дефицит познаний и интеллекта «судьи» компенсировали властью и свободой от каких-либо нравственных запретов.

...Только самые близкие знали, чего все это ему стоило. Для других он всегда оставался невозмутимым, никогда ни на что не жалующимся... Дух его выдержал все. Увы, тело оказалось не столь всесильным...

Это был философ по призванию. И потому он писал не только плановые труды (всякий наш читатель знает, что у нас все де-

ляется по плану, однако не у всякого хватит фантазии представить, что в это «все» входят, например, и научные открытия, и сочинение философских трактатов и многое другое). Он не мог не работать над своей заветной проблемой, не мог не излагать наработанное на бумаге. Изложения эти в большинстве своем были во всех отношениях доведены «до кондиции», однако он никогда не пытался их публиковать. Интересно, что он пробовал себя в разных жанрах, пробовал свою проблему разными жанрами. Здесь и художественные произведения (рассказы «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары», «Скальпель и кисть ретушера», «Светик мой Олешенька» и другие, повесть «Зефи, Светлое мое Божество, или После заседания (из записок покойного К.)»), и литературно-философское эссе «Притча о Белом Ките» (см.: Вопросы философии. 1989. № 1), и, наконец, собственно философские работы, в частности книга о смысле жизни. Правда, сама книга не была написана. Сохранились лишь два материала: фрагменты, объединенные в сравнительно последовательный и целостный текст — «Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности)» (см.: Философские науки. 1990. № 2), и публикуемый здесь проспект. Последний проработан весьма неравномерно. Одни разделы (особенно введение и первая глава) представлены вполне готовыми к печати текстами, большинство же глав лишь обозначено перечнем тем, которые предполагалось рассмотреть. Однако при всем этом наиболее оригинальные и дорогие автору идеи высказаны здесь достаточно определенно и систематически, в чем легко убедиться, сопоставив данный проспект с названной публикацией в «Философских науках» и конечно же с «Притчей о Белом Ките» — произведением, без сомнения, завершенным и совершенным.

Я пишу это не для хорошо устроенных и довольных собой. Не для тех, кто прочно осел на своем месте, пустил корни и нашел покой самоудовлетворения. Не для спящих. Они своего почти достигли. Осталась малость, чтобы они достигли всего и не просыпались. Я пишу для тех, кто не спит, кто ищет иных почв, иных, более чистых соков жизни, чем те, какие могла бы она дать сама собой. Для тех, чей дух не устал жить, растет и развивается, независимо от числа и тяжести прожитых лет, и требует пищи, тепла и света, то есть необходимых условий жизни.

Я и сам, седой и беззубый, более прожившийся жизнью, чем проживший жизнь, скорее получавший шлепки и удары, чем наносивший их, хотя могло быть и это, в чем (не во всем, однако) сейчас искренне каюсь, все еще ищу эту свою почву, этот свет и эту пищу. И эта жажда сильнее, чем желание покоя и ощущение старости. Я все еще не устал — так ощущаю себя, — все еще молод той неукорененностью или незакоренелостью

духа, которая не позволяет остановиться на том, что есть, и требует иной, более чистой, более осмысленной и разумной, более достойной жизни, чем оказывается она доступной, которая не позволяет позабыть о давно прошедшей, бесконечно требовательной к себе и к миру юности, о запросах и вопросах, мучивших когда-то. Они, эти запросы и вопросы, прошли со мной всю жизнь, всякий раз заглушая временами настойчивый ропот и шепот, звавший остановиться, осесть и быть «как дома». Бывало и «как дома», но не было дома. Был постоянный двор, ночлег, временное пристанище. Не было дома, потому что наш дом «не от мира сего». Жизнь не раскрыла его, не принесла удовлетворения. Не ответила на запросы и вопросы. И я знаю сейчас — это-то я знаю хорошо, — что жизнь сама по себе, какова бы она ни была, мудрая или неудавшаяся, достойная подражания или дурная, сама по себе не может раскрыть и ответить. Она сама «не от мира сего». Она сама ищет и все еще не нашла постоянного пристанища. Она сама, эта слегка потерявшаяся и растерявшаяся жизнь, тоже нуждается в том, чтобы получить то и другое, если бы нашелся кто-то, кто захотел бы и смог приютить ее и ответить ей. Она тоже «не у себя дома», «в гостях» и «в людях» и не хуже других знает, каково бывает слишком загоститься. И она, в нас, людях, находящая себя, вправе требовать приюта и ответа от нас, живых, живущих ее, живущих ею и благодаря ей.

* * *

Давным-давно, в пору моей далекой сибирской юности, на вытоптанном дворе Баргузинской средней школы — на *плацу*, где мы, ученики этой школы, ежедневно маршировали с деревянными винтовками в руках, в добрую или — не теперь и не здесь судить об этом — недобрую минуту пробудились эти вопросы о человеческой жизни и смерти, о человеке, смысле и сущности человеческого бытия. И дело не только в винтовках и маршировках. Не в школьных занятиях, не дававших пищи для ума и скорее отвращавших от знания, чем вызывавших в нем жажду и удовлетворявших ее. Не в безграмотных учителях, отнимавших веру в истинность «дважды двух». Дело не только в этом. И даже не в «возрасте человеческого пробуждения». Скорее в «человеческих условиях» этого пробуждения,

первым и главным из которых была война — шла весна 1943 года, и потом была эвакуация, был голод, была дистрофия, тоска «по дому» в условиях чуждой жизни. Были эти условия, и было обусловленное. На фоне всего этого — незаметно, без видимой причины и, может быть, просто по контрасту и как своеобразная компенсация, в своеобразный отрицательный резонанс с действительностью возникшая, — было неожиданное состояние озарения, своего рода «ясновидения» — иначе трудно назвать — отчетливейшего сознания беспредельной и беспредельно прекрасной и величественной красоты мира и красоты в этом мире человека. — Не просто внешней и телесной, не красочной красоты форм, не женственно округлой и теплой, но скорее разумной и внутренней, не избегающей остроты прямых углов, органической или даже «технической» красоты человеческой слаженности с миром, разумной красоты мира и красоты человеческого тела, его костяка и тканей, его вертикальной, ввысь устремленной организации, гармонической красоты его облика и его лица, человеческих глаз, изумительных не столько своим рисунком и формой, сколько способностью проникать в большое и малое, светлое и темное, бесцветное и окрашенное, способностью видеть легчайшую пылинку и громоздкую плотность близких и далеких гор; красоты человеческих пальцев, изумительных своей подвижностью и умением взяться за вещь, какова бы ни была ее форма и сущность, столь же чутких, как и глаза, но более могущественных, способных взять то, что они увидели, и создать то, чего не видели никогда, но что хотели бы увидеть; ощущение безграничной возможности, всемогущества и вездесущества человеческой, обнимающей мир мысли, всегда согласной с тем, что открывают глаза и пальцы, но еще более мощной, способной преодолеть расстояния, каких не достигает глаз, различать и созидать формы, недоступные человеческим рукам; способной понять все, вобрать в себя весь этот безмерно большой и многообразный мир, измерить и взвесить его, определив его цену.

И вместе с тем, вместе со всем этим, бесконечно величественным и прекрасным, было одновременное и даже больше, чем одновременное, — это было одно и то же состояние, столь же «ясновидящее», проникающее сквозь толщу материи, не говоря уже об истончавшей

человеческой плоти, почти телесное ощущение до физической боли обидной хрупкости, непрочности, безобразно, бессмысленно легкой разрушимости всего этого величественного, гармонического и совершенного, уравновешенного с ничтожными «девятью граммами», и безвозвратно исчезающего даже не в силу одних только примитивных и грубых орудий человеческого убийства — на то ведь и война,— а в результате легкого, как прикосновение ветра, головокружения, в котором, пошатнувшись, падает свет, меркнет мир, собирается в точку и гаснет навсегда. Собирается, гаснет и уплывает в небытие.— Не в темноту ночи, в которую уходит гаснущий день и в которой всегда есть свои далекие и близкие светила — если не свет Луны, или свечи, или лучины, то отблеск воды, или стекла, или, по крайней мере, свет погасшей надежды на утро,— но в беспросветную тьму небытия. Гаснет и уходит. Гаснут и уходят: и он, человек, и весь этот бесконечный светлый его мир, это беспредельное голубое и зеленое его бытие. Во тьму небытия. В *ничто*.

Через годы я прочитал у Гегеля, что «чистое бытие есть ничто». И не поверил. И усомнился в Гегеле, хорошо прилагавшем слово к слову, а не мысль к делу. «Чистое бытие». Чистое бытие есть свет. Нечистое — цвет. Ничто же есть просто небытие, ни чистое, ни нечистое, просто небытие.

Что есть небытие, было понятно уже тогда, без Гегеля, и несравненно понятнее и проще, чем потом у Гегеля. Оно было просто и ясно: *не это, не то и не то, ни что*.— Даже не тьма и пустота, в которых все же есть что-то положительное, способное наполниться и осветиться, а *ничто*, лишенное какой бы то ни было, даже самой малой емкости и меры, способной что-либо принять в себя.

Что есть небытие, было, таким образом, просто и ясно. А что есть бытие? Что есть это? И то? Что есть жизнь? Каков ее смысл? И имеет ли она этот смысл? Обладает ли, и если обладает, то каким именно? Что оно есть?

На эти вопросы ответа не было. Было отсутствие ответов: тьма и пустота, небытие мысли в ее бытии, противоречие. В ответе было отсутствие ответа, парадокс, жажда наполнения, неутоленная, еще более разожженная прекрасной (не чета нынешним столичным) районной, когда-то в «доисторические» времена «го-

родской» библиотекой (Кнут Гамсун, Ибсен, Гауптман, даже Шопенгауэр и Ницше, не говоря уже об изгнанном тогда из библиотек Достоевском).

Ответов не было. Была жажда, сохранившая и даже усилившая новым полужнанием старые вопросы, породившая новые и сохранившаяся на всю жизнь, заглушаемая лишь мгновениями минутного забвения.— Не того само-забвения, которое поглощает все наше существо, растворяет его в том, что бесконечно чище, лучше и больше нас,— оно начало приходить много позднее, уже как вызревающий плод прожитой жизни,— а другого, мелкого и частичного, которое ничего не изменяет и в котором мы только отвлекаемся на время, как от надоевшего большого зуба, от привычного состояния, ставшего частью нашего существа.

Всю жизнь эти вопросы прошли рядом, как верные спутники, как бы ни гнал я их иной раз, ни прятался от них за личину благополучия и довольства собой.

Всю жизнь. И это, пожалуй, единственная верность, с какой довелось мне встретиться в жизни, в людях и в себе самом. И если сейчас мне кажется, что я имею, что сказать об этом, что я знаю если не ответ, то возможность ответа, то я знаю и то, какой ценой это знание и эта возможность оплачены. И даже больше: я знаю — и это я тоже знаю наверно, как говорили когда-то, то есть убежден в абсолютной истинности этого,— какой ценой приходится нам, всем без исключения, расплачиваться за попытку спрятаться от этих вопросов, за попытку трусливо избежать ответа. И я не смею молчать. Я не имею права перед своим настоящим, которое могло бы каким-нибудь образом оправдать меня, перед своим прошлым, в котором также не вижу оправдания, перед своей совестью и судом тех, кто еще не способен судить, и тех, кого уже нет и кто навсегда утратил силу осудить, у кого я искал это знание и обретал его, кто помогал мне искать его и общал,— перед всем этим я не имею права, найдя (или думая, что найдя,— для меня это одно и то же), унести это знание в могилу. На мне лежит долг сказать — желают или не желают меня слушать — о том, что я знаю. Долг перед собой, это знание искавшим и нуждавшимся в нем, перед ними, искавшими его и тоже нуждавшимися в нем, перед теми, кто будет искать его, кто был и кто есть, кто уже пришел и кто еще при-

дет в этот мир, в котором были они, в котором был я и который я, как и они, любил, как самого себя, как мир и как жизнь.

* * *

У меня нет иллюзий. Я ни в малейшей мере не думаю, что мой ответ способен изменить мир. Но я хотел бы все же предложить ту точку человеческой опоры, по крайней мере указать область, где был бы небезнадежен поиск этой точки, всем тем, кто захотел бы слушать и мог слышать, кто имеет для этого не слишком уж длинные, как заметил в свое время некто, уши. Я слишком хорошо знаю, что мой ответ мало что изменит, если вообще изменит что-либо. Он и не должен изменять что-либо. И эта речь — только это и воодушевляет меня сейчас, только на это я хотел бы надеяться и в это хотел бы верить — может быть, поможет и дальше искать эту «точку человеческой опоры», этот «смысл человеческой жизни» тому, кому знакома эта тоска по осмысленности, кто не умеет довольствоваться тем, что есть, и знает или узнает когда-либо зов иного, более просторного и ясного человеческого мира. Кто нуждается или будет нуждаться в этой «точке опоры», не для того, чтобы «перевернуть» этот мир, — упаси бог! пускай себе спит и видит сны, пока не проспался, чтобы, не ровен час, не наделал спресонок новой беды! — но чтобы себя повернуть лицом к миру, к жизни, от их словесного портрета к истинному их облику, получив возможность сличать приметы, узнавать их и судить.

И хочется надеяться, что эта небольшая книжка поможет не только тем, кто страдает юношеской остротой зрения, обоняния и слуха, не успев еще обрасти шерстью и мясом и не нажив курдюка так называемой закалки жизнью, но и тем также, кто знает более зрелую зоркость, позволяющую не столь болезненно, как в юности, реагировать на близкое и находить интерес в отдаленном, меньше обращать внимание на мелкое и охотнее глядеться в глубокое.

1. О смысле и сущности человеческой жизни

(Формула человеческой жизни. Екклезиаст: «Суета сует и томление духа». «Бытие к смерти» старого и нового экзистенциализма. «Мemento мори» стойков и

«мemento виви» как его истина. «Грань жизни и смерти» Герм. Мелвилла. День первый — день последний. Беспредельная ценность мгновения — Гёте. Идея целостности человеческой жизни и личности.)

Вряд ли о какой-нибудь другой вопрос было источено больше перьев и изломано больше копий, вряд ли о чем-либо другом было столь же легко сказать очередную пошлость — если бы все очередные и внеочередные пошлости не были давно сказаны, — вряд ли какой-нибудь другой из них был так бессовестно извращен и оболган, как вопрос о смысле и сущности человеческой жизни.

Если отвлечься от непроходимо наивной и беспомощной житейской мудрости, вроде того, что человек каким-то образом (кем-то или чем-то, богом или природой и т. д.) создан для чего-то одного, как птица для чего-то другого; что человек существует «для общества», как это утверждает одна из героинь Островского-драматурга, или «для другого человека», как говорит горьковский Лука; если отвлечься от не столь наивной и более «проходимой», более изощренной профессиональной мудрости, вроде тех, что человек существует «для общества» (совсем уже в другом смысле), «ради будущего» или «ради будущего человека» и т. д., то есть всякий раз ради чего-то такого, что оказывается за пределами конечной и частной человеческой жизни, за пределами единственной и неповторимой человеческой личности и судьбы, — любопытный — не правда ли? — способ понимания сущности человеческой жизни и сущности вообще, которая оказывается по ту сторону существования, за его пределами, — или если не по ту сторону и не за ее пределами, то «ради самой жизни», что он «живет ради жизни», что также мало продвигает нас к пониманию сущности человеческой жизни, потому что и умирает-то человек тогда не иначе, чем «ради смерти» и т. д., если, таким образом, отвлечься от всякого рода наивных или хитрых, наивно-бесхитростных или наивно-хитрых, в равной мере неубедительных формул человеческой жизни, то единственный более или менее правдивый ответ мог бы заключаться лишь в том, что человеческая жизнь, если она не есть бессмыслица и абсурд, если она и обладает каким-то смыслом — а это предположение тоже

очень нуждается в обосновании,— то это, скорее всего, очень печальный, в сущности, трагический смысл, ибо человек в муках рождается, в слезах вырастает, в страхе проводит свои дни, в поте лица трудится, в грязи заканчивает жизнь, испытав очень мало коротких радостей и очень много, никак не меньше, чем в меру своих надежд, а часто и много больше этой меры, разочарований и горя, чтобы в конце концов предстать пред лицом неминуемой и неумолимой смерти, на которую был обречен с самой первой минуты своего бытия.

«Из грязи произошел и в грязь возвратишься» — такова формула древнейшей из человеческих истин.

«Суета сует и томление духа», — говорит о человеческой жизни Бессмертный Муж Скорби, Соломон-Екклезиаст, или Когелет. «Нет ничего нового под Луной», «Все было и все прошло». «Живому псу лучше, чем мертвому льву», — добавил он еще. Но вот и пес мертв, и ничем ему не лучше, и «нет ни у кого перед другим преимущества». А потому — «суета сует и всяческая суета» и «лучше всего вовсе не родиться» — таков окончательный вывод мудрейшего из людей, завидно счастливого в творчестве, в любви, в детях, в богатстве, славе, власти, во всех мыслимых и немыслимых человеческих благах. Таков вывод могущественнейшего «Короля Иудейского» — «короля грез» трагических героев Достоевского.

«Вот почему тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби, смертный этот не может быть прав — он либо лицемер, либо простак», — подтверждает эти выводы еще один из той же компании бессмертных — Бессмертный Муж Великой Мысли — Герман Мелвилл.

«Жизнь абсурдна в самом своем основании», «жизнь есть трагедия абсурда» — истина современного экзистенциализма, самой субъективной из философий, когда-либо создававшихся человеком.

«Человек рождается, чтобы умереть» — вот первая и последняя целесообразность человеческой жизни и в то же время единственно надежная ее достоверность с точки зрения самой объективной и строгой науки.

В чем же дело? В чем корень этого трагизма человеческой жизни?

Жизнь глупа и печальна? Да, бывает глупа и печальна, очень даже глупа и очень печальна.

Жизнь абсурдна? Да, бывает, слишком часто бывает абсурдна. Но ведь не сплошь же абсурдна, не беспредельно, иначе мы просто не определили бы ее так, если бы не знали этого предела.

Человек умирает? Да, умирает. Но ведь и рождается. И одно, вероятнее всего, стоит другого, если даже самый усталый не устает от жизни и проклинает свое рождение лишь перед лицом смерти, тогда как нерожденный не благословляет и не проклинает, не устает и не отдыхает, вообще не имеет никакой участи, ни плохой, ни хорошей, и тут просто нет того, что можно было бы с чем-либо сравнивать, что лучше или хуже.

Жизнь трагична? Да, бывает и трагична. Но почему только трагична? Гибель прекрасного? Но тогда и прекрасна. И в чем корень трагизма человеческой жизни? Почему именно трагедия? Почему не фарс, не смешная «незадача», не комедия чудаков, поверивших в бессмысленность и не пожелавших протянуть руку и сорвать уже созревшие плоды? Поверивших в Судьбу и Случай и начавших искать там, где никто для них ничего не припрятал. Поверивших в Необходимость и захотевших жать там, где никто не позаботился ни вспахать, ни посеять. Взыскавших смысл в том, чему никто — ни сами они прежде всего — не позаботился сообщить этот смысл, который они захотели найти.

Да имеет ли, может ли иметь жизнь «сама по себе» какой-нибудь смысл, трагический или нетрагический, разумный или абсурдный? Каков, например, смысл жизни — она ведь тоже *живет* — улитки? А земляного червя? Муравья или клопа? И может ли бóльшим изначальным смыслом обладать «сама по себе» человеческая жизнь, если искать его в самой ее изначальности? Она или вовсе не имеет никакого изначального смысла, или если и имеет его, то никак не больше — и с какой, собственно, стати больше? — чем имеет его жизнь улитки или червя. А это, приходится согласиться, не так уж много, чтобы можно было удовлетвориться. Это не слишком уже щедро, даже если это и достойнейшая во всех отношениях жизнь вечного труженика муравья.

«Не забыл ли ты завести каминные часы?» — в такую чисто английскую форму выражения заключает другой Бессмертный Муж, Муж Иронии — Лоренс Стерн, тот же трагический вопрос об изначальном смысле человеческой жизни. И в этой изначальности,

которую Стерн имеет в виду, заключено, может быть, стократ больше смысла, чем в какой-нибудь другой, потому что этот вопрос, как почка или как семя, заключает в себе возможность...

Но — и это существеннейшее и для нас важнейшее из «но» — это еще никак не означает, что жизнь, по крайней мере взятая в формах человеческой жизни, не может иметь смысла. Не того, каким она могла бы обладать изначально и в самом своем основании, — и где, в семействе каких улиток, каких насекомых или земноводных могли бы лежать эти основания и скрываться эта изначальность? — но того, какой человеческая жизнь могла бы приобрести и какой она так или иначе приобретает в человеческих делах, в которых люди, заводя или забывая заводить свои каминные часы, реализуют в конце концов не рок или судьбу, не случай или необходимость, не какую-то изначальную заданность своего бытия, хотя то и другое играет свою роль в этой реализации, но свою человеческую, по одному или другому образу и подобию понимаемую ими сущность. И этот смысл человеческой жизни и эта ее сущность — это одно и то же: смысл и сущность — не есть то, чем человеческая жизнь обладает с самого начала, но то, что приобретается ею в процессе человеческого осуществления жизни и познается в процессе ее осмысления.

Значит, надо сначала разделить наш вопрос, чтобы, так сказать, по принципу *divide et impera*¹ овладеть им и получить ответ. Надо спросить: жизнь не имеет смысла, потому что вообще и в принципе есть нечто бессмысленное, или не имеет, потому что еще не обрела его, хотя и могла бы его иметь, если бы сумела приобрести этот смысл, или, что, пожалуй, еще больше соответствует истине, она уже имеет смысл и обрела его, просто это — не совсем тот смысл, какой мы хотели бы найти в ней, хотя в принципе, если бы не этот приобретенный ею смысл, ничто не противоречило бы тому, чтобы она могла приобрести тот, какой можно было бы счесть достойным и разумным.

В том-то как раз и заключается корень вопроса, что в жизни самой по себе вообще нет никакого раз и навсегда заданного, однажды определенного смысла. Но в ней нет и до конца определившегося и неспособ-

¹ Разделяй и властвуй (лат.) (Прим. ред.).

ного каким бы то ни было образом изменяться смысла, как нет и сплошь необходимой необходимости, вполне случайной случайности, целиком рокового рока и однажды суженой судьбы. В том-то как раз и заключается дело, что жизнь — прежде всего человеческая жизнь — не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаем ей.— В одном случае глубокого и емкого, как жизнь Сократа, но к очень многому и нелегкому обязывающего; в другом — поверхностного и мелкого, позволяющего легко скользнуть по ней, без страха погрузиться в нее слишком уж глубоко, но и легко ускользающего и хрупкого.

Жизнь не имеет никакого, ни мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагического, ни какого другого заранее заданного смысла. Этот ответ представляется более удовлетворительным. Не только более честным, но и более обнадеживающим, чем какой бы то ни было другой. И этот ответ не только не нуждается в громоздких обоснованиях, что является видимым его преимуществом, но и обладает тем неявным, однако чрезвычайно важным для нас, что предполагает возможность не столько находить смысл, сколько искать его, не столько открывать его, как нечто уже существующее, но еще не найденное, сколько созидать, творить и сообщать жизни. Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об *изначальном смысле*, бесплодность которого очевидна, на вопрос об *окончательном смысле*, позволяя судить и о том *срединном* и *промежуточном*, где находимся сегодня мы и где этот вопрос имеет неотвлеченный смысл, где он, собственно, и приобретает всю полноту своего значения, где он насущнее, чем какой-нибудь другой, *изначальный* или *конечный*, взятый сам по себе.

Смысл человеческой жизни можно искать поэтому не в происхождении человека, не в ретроспекции — в конце концов, не так уж и важно, откуда, от какого «Адама» мы идем,— но в проспекции, которая дала бы нам представление о том, куда, к кому и к чему мы идем, а значит, в самом этом движении, в становлении, в человеческом осуществлении и человеческом осмыслении жизни. Ибо как нет сущности без осуществления, так не существует и смысла без осмысления. Смысл человеческой жизни, таким образом, *находится*

(в двойном смысле этого слова, то есть пребывает и открывается) в становлении, а значит, и в перспекции, как в перспекции находится жизнь новорожденного младенца и в становлении жизнь ребенка, юноши и мужа, человеческая сущность которых выявляет себя не прежде, чем младенец становится ребенком, ребенок взрослым; не раньше, чем человек становится человеком, если, конечно, человеческим является его становление, если он проявляет заботу о том, чтобы сделать его человеческим.

Но, значит, человек все-таки становится человеком. Значит, все-таки можно стать им. Значит, можно придать жизни человеческий смысл, чтобы она имела его, как можно и отнять этот смысл, превратив человека — нет, не в животное, в животном ведь нет ничего позорного, оно не знает добра и зла, — но в знающее то и другое и превращающее одно в другое своеобразное сверхживотное. Но если так, если человеческое есть то, что становится, то мы имеем как раз то самое, что мы искали и не находили в изначальности жизни, в ее основании и происхождении. Значит, жизнь все-таки имеет какой-то смысл, если она имеет что приобретать и что утрачивать, неважно пока — хорошее или дурное. И если мы придем сейчас к выводу, что человеческая жизнь, понятая как становление человека и человеческого, не вовсе лишена смысла — пока неважно, повторяю, какого именно, — то, может быть, мы будем чуть ближе к истине, чем были вначале.

Мы искали смысл человеческой жизни в необходимости, в изначальности, в миропорядке и горевали, что не находим его. Но, может быть, это просто превосходно, может быть, это величайшее человеческое счастье, что мы не находим его там, где искали до сих пор. Найди его в изначальном и необходимом, в самом миропорядке, не лишили бы мы себя самой *возможности выбирать и созидать* свою человеческую сущность? Разве не лишили бы мы себя возможности придавать человеческой жизни — нет, нет, не на словах, на деле, хотя и не без помощи слов, которые помогают нам овладеть делом, — не какой-нибудь вообще, но именно тот смысл, какой мы хотели бы придать ей, получив взамен одну только *возможность исполнять* кем-то или чем-то заданное, навязанное судьбой, необходимостью или случаем.

А если так, то не продвинулись ли мы еще на один

шаг в решении нашего вопроса? И не открыл ли нам этот шаг некоторые новые горизонты? Не нашли ли мы нечто большее, чем искали, и нечто лучшее, чем когда-либо рассчитывали найти там, где до сих пор искали,— *возможность*, возможность поиска человеческого смысла жизни, возможность его созидания, то есть *свободу*?

Уже один этот шаг коренным образом меняет существо дела. Важно лишь не остановиться и сделать еще один шаг, начать искать этот смысл и эту сущность и воплощать их в своей жизни, чтобы она, таким образом, приобретала то и другое. Не в том, однако, что лежит за пределами человеческой жизни, но в ней самой. Не в предыстории человеческого, но в его истории. Не в биологии, геологии или космологии, но в человеческом становлении человека. Искать в этом становлении и воплощать в нем.

Значит, можно и нужно искать и находить смысл человеческой жизни сегодня, коль скоро человеческая история уже началась и пока она еще не закончилась. Не в том, что было вчера, или не только в том, что было вчера и чем определены формы нашего сегодняшнего бытия, и не в будущем, которое когда-нибудь определит действительный смысл и сущность этих сегодняшних форм. Не в том отвлеченном будущем, которое когда-то наступит, когда отойдет ставший негодным нынешний человек и родится свободный и прекрасный человек будущего, но в том, что сегодня зачинает, вынашивает этого человека, чтобы родить его вопреки тому, что было вчера, как и вопреки тому, что захотело бы сделать с ним настоящее и будущее. Значит, можно и нужно трудиться сегодня и всякий день жизни, ибо как прошлое посеяло семена тех плодов, которые мы с радостью или отвращением вкушаем сегодня, так и будущее — вопреки надеждам героев нашей комедии — родит лишь то, семена чего будут выбраны и посеяны сегодня, и лишь там, где сегодня для этого будет возделана, отчасти уже возделанная прежде, отчасти уже не «дикая», что значительно облегчает нашу работу, отчасти уже культивированная прошлыми поколениями людей человеческая «почва», на которой, стало быть, возможно произрастание отчасти уже культурных плодов.

Так может быть поставлен, так только и может быть поставлен и так может решаться вопрос о смы-

сле и сущности человеческой жизни. Другого способа, помимо наивной веры в отвлеченные сущности, в провидение или необходимость, которые сами собой что-то делают или что-то не делают, кроме наивного и ненаивного суеверия этих сущностей или веры в отсутствие каких бы то ни было сущностей вообще, помимо суеверия бессмысленности или абсурда, помимо веры и суеверия, связанных всегда с чем-то таким, что запрещает одну свободу и разрешает другую, загибая, так сказать, пальцы в одну лишь сторону,— кроме этого всего, нам ничего другого не дано. А если дано и мы не знаем об этом, то пускай это данное не скрывается, пусть оно выскажет себя, ибо для этого давно уже настало время.

* * *

Однако будущее оказывается здесь камнем преткновения. Будущее — для других, не для себя, для «них», не для «я», которое «я» лишь в настоящем. Будущее для «я» — рано или поздно — смерть. И от нее никуда не уйти. Она приходит и напоминает о тщете всех человеческих усилий. Что мне толку от будущего? От будущего рая, если я жил и прожил в аду?

(Забота о будущем? Ходить босиком и плести лапти для будущих поколений людей, чтобы они наконец перестали ходить босиком? А если они не захотят ходить в лаптях? Если они все, как один, захотят надеть «полсапожки»? Что тогда?) (Для того чтобы победить человеческий страх перед жизнью, для того чтобы человек понял смысл и сущность своей человеческой жизни, он должен понять смысл и сущность смерти, не как начала, противоположного жизни: жизнь противоположна безжизненности, как смерти — рождение, ибо смерть и рождение — полюсы и границы человеческой жизни, ее пределы, и если мы принимаем один предел (рождение), то мы должны принять и другой (смерть), поняв пустоту жизни без рождения (это не жизнь — у того, что не имеет рождения) и без смерти, потому что то, что не имеет смерти, не имеет и рождения. Надо просто по-иному понять смерть, поняв ее гуманистическую, нравственную сущность. А для этого надо мыслить не только «ужас смерти», но и «ужас бессмертия», представив на минуту, что человек обречен на него и не имеет *исхода*. Жизнь без смерти была бы безысходной жизнью, бесконечной пыткой, страшнее всякого ада.)

«Вот почему,— пишет далее Мелвилл,— тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби, смертный этот не может быть прав — он либо лицемер, либо проstack». Однако, добавляет он тут же, «существует мудрость, которая есть скорбь, но есть также скорбь, которая есть безумие», и «даже Соломон и тот говорит: «Человек, сбившийся с пути разума, водворится (то есть, покуда он жив) в собрании мертвецов».

Это и происходит. Человек водворяется в собрании мертвецов, ибо он сбился с пути разума как раз в том пункте, который касается смерти. (Идея бессмертия — негативное бессмертие — как простая противоположность смертной жизни — ужас бессмертия и отрада смерти, возможности умереть, не обреченности на жизнь.)

Если посмотреть на дело с этой стороны, то придется признать, что вера в бессмертие отнюдь не начисто лишена смысла. Может быть, в ней выражается вполне здоровый человеческий «инстинкт жизни», как в вере младенца, что грудь матери питает его. Она есть суеверие, когда это вера в загробную жизнь. Она не лишена смысла как посюсторонняя жизнь в тех пределах, какие доступны, с одной стороны, и желательны, когда смерть есть не навязанная мне необходимость, но акт моей воли, моего желания, моей свободы.

Надо понять бессмертие. Мысль о бессмертии тоже может напугать страшнее всякой смерти, и я допускаю время, когда философ будет рассуждать, что «бессмертия нет», как «нет и смерти», есть лишь жизнь, начало которой рождение, а конец — мое желание закончить ее, сознательное или подсознательное. Если мы имеем такое бессмертие, когда смерть невозможна, то такая жизнь была бы обречена на вечные муки, была бы самым мрачным адом. Но ведь «природа» уже позаботилась о том, чтобы человек умирал не позже, чем человек может прожить, и теперь дело человека позаботиться о том, чтобы он умирал не раньше, чем хочет умереть.

Смерть ужасна. Ужасно и бессмертие. Хороша жизнь досыта, «от пуза», не голодная или полуголодная, но и не сверх меры, когда тошнит и рвет.

Не есть ли она (смерть) вообще дело нашего произвола, хотя мы еще не знаем этого?

— Вот,— заявляет восьмидесятидвухлетний Гёте,— умер Земмеринг, едва дожив до семидесяти пяти лет. Что за несчастные создания люди: у них нет смелости прожить дольше! Я за то и хвалю моего друга Бентама, этого высокорадикального болвана, что он несколькими неделями старше меня, а держится крепко.

— Как?— восклицает с изумлением Эккерман в другой раз при подобном же разговоре, незадолго до смерти Гёте.— Вы говорите о смерти, как будто она зависит от нашего произвола?

— Я часто позволяю себе так думать,— отвечает Гёте.— И если вы иного мнения, то я готов поговорить с вами об этом основательно, потому что в настоящую минуту мне дозволено высказать мои мысли¹.

К величайшему нашему сожалению, Эккерман, очевидно, не был «другого мнения» или ему «не было дозволено» выслушать Гёте, и «основательный разговор», который мог бы иметь для нас ни с чем не сравнимый интерес, так и не состоялся. «Дозволение выслушать» отчасти выпало на долю З. Фрейда, который пытался определить психическое заболевание как подсознательное «бегство в болезнь» от действительности, поставившей перед человеком неразрешимые противоречия. Мысль не лишенная глубины. И приходится подождать, пока не появится еще один умный врач, которому будет «дозволено» выслушать Гёте и Фрейда, который определит не только болезнь, но и самую смерть как такого же рода «бегство в небытие», как своеобразное самоубийство, когда старческие немощи и отношение к старости делают невыносимым дальнейшее продолжение жизни. Очевидно, человек должен очень хорошо жить, чтобы жить очень долго. И бесконечно продолжительная жизнь предполагает бесконечно хорошие условия жизни.

Жизнь как «целое» предполагает не только рождение, но и смерть, первый и последний день, ибо лишь последний день актуально выявляет сущность первого, как последующее время определяет значение этой сущности. Лишь первый день в связи с последним проявляет до конца сущность человеческого становления:

¹ См.: *Эккерман И. П. Разговоры с Гёте.* Спб., 1905. Ч. 2. С. 273, 404—405.

генерал Делла Ровере¹; Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года: не только физически, ибо физически родился младенец Левушка. А сколько Левушек родилось в этот день? В метафизическом смысле он рождался каждый день своей жизни, как каждый день своей жизни и умирал. И, даже физически умерев 20 ноября 1910 года, продолжал и продолжает ежедневно рождаться, уже «не для себя», правда, а для миллионов читателей. Но ведь и жил он «не для себя».

(«Тайна нашего отцовства лежит в могиле». «Туда мы должны последовать, чтобы узнать ее», — говорит Мелвилл. «Туда мы должны последовать, чтобы *узнали* ее».)

(Безличное бессмертие — недостаточность его. Не его ложь. Оно есть истина, ибо бессмертны Толстой, Сократ, Будда и т. д. — в пределах, конечно, бессмертия человеческого рода, а за этими пределами вряд ли кто-нибудь захотел быть «бессмертным».)

II. Полюсы человеческой жизни.

Рождение и смерть

(Л. Стерн об истине человеческого рождения — «каминные часы» и Гёте об истине человеческой смерти — «умер Земмеринг». З. Фрейд — психическое заболевание как подсознательное бегство в болезнь от неразрешимых противоречий жизни и понятие смерти как — сознательного или бессознательного (подсознательного) — бегства в небытие. Мощь сознания и мощь подсознательного. Т. Манн: это было невыносимо. Смерть — всегда убийство или самоубийство. И. Мечников.)

Пересечение рождения и смерти дает центр, вокруг которого вращается человеческая жизнь. Рождение человека и его смерть есть крайние точки этого вращения, «альфа» и «омега» человеческой жизни. Жизнь не противоположна смерти, как смерть не противоположна жизни. Жизни противоположна безжизненность,

¹ Герой одноименного фильма Р. Росселлини. В «Проблеме смерти...» Н. Н. Трубников пишет: «Генерал Делла Ровере: жулик (и спекулянт) в роли героя и герой, самозванец, павший смертью героя, освятившей дурную и бессмысленную жизнь. Смертью, оправдавшей его жизнь. Не зря проживший, потому что не зря умерший». (Прим. ред.)

как смерти—рождение. Неверное сопоставление и противопоставление жизни и смерти дало повод для многих ошибок, и само оно есть серьезнейшее заблуждение. Нужно правильно сопоставить понятия, чтобы раскрылся их истинный смысл. Снег есть белое и холодное, и белое дает нам иллюзию холодного, однако отношение белого и холодного не есть необходимое отношение, и противоположное отношение черного и горячего также не является необходимым. Белое противоположно черному, независимо от температуры того и другого. Горячее—холодному, независимо от окраски и цвета. Жизнь не противоположна смерти. Она находится в таком же с ней отношении, как и с рождением. Отсутствие смерти не предполагает жизни. Оно предполагает отсутствие рождения, то есть в конечном счете отсутствие жизни. Смерть предполагает жизнь, начинается с жизнью и с жизнью же—каким бы парадоксальным это ни показалось—заканчивается. Конец жизни есть конец смерти, то есть умирания. По существу, смерти нет, есть смертное, то есть живое. Есть умершее, то есть жившее. Есть жизнь в определенном времени. Смерть вне жизни и вне времени. Она есть *противопонятие*. Негативное определение жизни.

— Как похоронить тебя, Сократ? — спросил кто-то из друзей в день его смерти.

— Плохо же ты научился, если задаешь такой вопрос. Меня похоронить ты не сможешь (и т. д.)¹...

V. Истина и ложь христианства²

(Христианская культура. Ее начало и конец. Истина и истины нашего времени. Трагедия и абсурд. Экзистенциализм. Религия и Наука. Религия Бога, Науки и Человека. Наука о человеке.) (Исходное и конечное единство веры и знания. Без веры нет знания, как без знания действительной веры.— Фома (?).)

VI. Идея смерти — идея жизни

(«Новая идея смерти рождает новую культуру». — О. Шпенглер. Близость этой мысли к истине и ее оши-

¹ См.: Платон. Федон, 115 с-е.— (Е. Н.)

² Страницы с изложением содержания глав III и IV не сохранились.— (Е. Н.)

бочность. Тождество идей смерти и жизни. Новую культуру рождает новая идея бессмертия, то есть идея новой жизни. Археология о культурах и о погребениях. Идея смерти, более сильная, чем существующая идея жизни, убивает культуру. Новая идея «бессмертия», то есть возможности *иной, полной и истинной* жизни, возрождает ее в формах новой, на новое знание и новый опыт опирающейся, иначе относящейся к жизни и иначе ее понимающей, иначе относящейся к смерти и иначе ее понимающей культуры.)

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

Ф. И. Тютчев

VII. Идея и идеал жизни

(«Чтобы полюбить жизнь, надо полюбить смерть» — парадоксальность и истинность этой мысли Л. Толстого. Направление и предел жизни. Образ и подобие. «Падшесть» (отпадшесть от Бога) и «ставшесть» человека. Истина «отпадения» и становления. («Рождение человека в Боге и рождение Бога в человеке» — Н. Берд[яев].) Истина жизни и смысл человеческого становления и осуществления жизни. Рождение человека в человеке. Свободы — в необходимости. Личности — в стаде или стае.)

...И я хочу верить, что мысли, которыми я поделился здесь с читателем, не были слишком уж обычными и привычными и смогли, не усыпив, занять внимание и вызвать интерес у всех тех, кто, как и я, тогда и теперь, одинок перед лицом этого мира, перед лицом жизни и смерти, кто нуждается не столько в словах, имитирующих человеческую речь и человеческое общение, сколько в собеседнике, потому что самый глубокий смысл заключен не в том, что и о чем мы говорим, а что и как мы это делаем, кто нуждался в союзнике или союзнике, способном если не ответить, то понять вопрос, если не услышать его, то на него ответить, с кем можно было бы разделить эти узы жизни, ибо негоже человеку быть одному, преодолеть одиночество, как пришлось научиться преодолевать его мне, наедине с самим собой и во взаимном понимании, сочувст-

вии и сомыслии с теми, кого уже не было, с мыслью о тех, кого еще не было, о других столь же одиноких «я», с надеждой, верой и упованием на радость встречи, общения и узнавания.

И если мой читатель узнал теперь меня, то ведь и я в какой-то степени узнал теперь (вот оно, время!) его, моего читателя. Но ведь он узнал [и их], а через меня и они его тоже, моих собеседников, с кем и они теперь знакомы и могут общаться без чьего-либо посредства. Я назвал их имена. Пепел их живой мысли стучался, стучится и стучит в моем сердце. С ними и я не был одинок, узнавая минуты самой высокой и чистой радости. И я хотел бы спросить: не это ли их бытие — бытие смертных в жизни и бессмертных в смерти — есть истинное и подлинное наше бытие, то самое, которое не знает тления, где розы цветут без шипов и агнцы возлегли с волчищами, где Моби Дик все еще бороздит великую гладь океана рядом с беспокойным «Пекодом», где сто раз распятый Аввакум добрососедствует с «жюком» Никоном и без разума жестоким Пашковым, где однажды распятый Иешуа беседует наконец на лунной дорожке с пятым прокуратором Иудеи всадником Понтием Пилатом, где даровавший этим двоим новое бессмертие Михаил Булгаков обрел наконец своего любимого и любящего читателя, ради которого жил и умирал, и где читатель обрел своего любимого и любящего автора, собеседника и друга, на миру с которым и смерть красна.

Завидная жизнь. Завидная судьба. Смерть, отняв все, что дала жизнь, сторицей возвратила то, что та отняла. Так она обычно и поступает. Со всеми. С ними и с нами. Их творчество раскрывает величие и ценность человеческой жизни. В воздаянии по заслугам — величие и ценность человеческой смерти.

*Публикация В. П. Желтовой и Е. П. Никитина,
предисловие Е. П. Никитина.*

КВИНТЭССЕНЦИЯ

Философский альманах

Заведующий редакцией *В. И. Кураев*
Редакторы *О. Ю. Бойцова, Д. А. Замилов*
Младший редактор *О. П. Осипова*
Художник *А. Л. Чириков*
Художественный редактор *А. Я. Гладышев*
Технический редактор *О. В. Лукоянова*

ИБ № 8914

Сдано в набор 04.12.89. Подписано в печать 27.03.90. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч.-изд. л. 24,01. Тираж 100 тыс. экз.
Заказ № 424. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.